

Эрнест Хемингуэй



- [ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Примечания](#)
-

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

ОСТРОВА В ОКЕАНЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эрнест Хемингуэй не раз обманывал смерть. И вот он обманул ее снова: пролетело без малого десятилетие с того июльского утра 1961 года, когда он покончил с собой, а читатель знакомится с «новым» его романом. Хемингуэй работал над ним много лет, называл его своей «Большой книгой», но так и не успел закончить. И все же пусть труд остался незавершенным, пусть в нем встречаются недоработки, а местами длинноты, которые рука писателя, несомненно, исправила и удалила бы при дальнейшей отделке рукописи, мы находим в «Островах в океане» многие страницы блистательной прозы и радуемся новому свиданию с их замечательным автором.

Современникам не всегда дано полностью оценить большого писателя. На Западе творчество Хемингуэя постоянно вызывало противоречивые отзывы, ожесточенные споры, несправедливые нападки. У нас некоторые критики, поклонники ранних произведений Хемингуэя, готовы были отрицать то, что он писал впоследствии. Время все поставит, а может быть, уже поставило на свое место. Никто теперь, кажется, не оспаривает, что в произведениях Хемингуэя получила отражение наша бурная эпоха, что без него нельзя представить себе литературу века.

Многие авторы пытались подражать его диалогу, кажущейся простоте повествования, сдержанности в описании страстей человеческих. Но все это относится к стилю Хемингуэя. То, что придает ему подлинное величие, что роднит его с русской литературной классикой, — это всепоглощающее стремление писать правду, какой бы суровой она ни была. Он идет на войну — на три войны, — чтобы написать о ней правду. Он встречает фашизм лицом к лицу, в смертельной схватке — и пишет о нем правду.

Эрнесту Хемингуэю принадлежат слова: «Задача писателя неизменна. Сам он меняется, но задача его остается та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта».¹

Упорно, порой мучительно писатель ищет ответа на вопрос, в чем правда. Что делать человеку в том обществе, которое в самой основе своей враждебно правде и человеческой Личности? Какими духовными ценностями надо дорожить в условиях, когда кругом эти ценности растаптываются? Вместе со своими героями Хемингуэй проходит нелегкий путь в поисках ответа на эти вопросы.

Истины, к которым он пришел, нам по душе. Человек должен бороться против зла, даже если силы зла сильнее него. Бороться до конца, не склоняя головы, не сдаваясь, «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения, — говорит рыбак Сантьяго в «Старике и море». — Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».

Эти простые истины положены и в основу романа «Острова в океане». Есть в нем и другой близкий Хемингуэю лейтмотив: труд и долг. На протяжении всей книги героем романа владеют два желания: хорошо работать, честно выполнить свой долг. Испытав тяжкие удары судьбы, потеряв двух младших сыновей, а потом и третьего, своего первенца, герой романа говорит себе: «Давай разберемся. Сына ты потерял. Любовь потерял. От славы уже давным-давно отказался. Остается долг, и его нужно исполнять». Имеется в виду великий солдатский долг в войне против фашистского варварства, но Хемингуэю, как и его героям, претят громкие слова, и он пишет просто: долг.

Первая часть романа носит заглавие «Бимини». Бимини — два маленьких островка из группы Багамских в Атлантическом океане неподалеку от Кубы. Они славятся своей экзотической красотой. Из биографии Хемингуэя известно, что он побывал на Бимини, ловил в его водах крупную рыбу.

С островами Бимини связана древняя индейская легенда, от которой они и получили свое название. На острове Бимини — гласит легенда — бьет ключ вечной молодости: стоит умыться его водой, и сгорбленный старец превращается в стройного юношу. Испанские мореплаватели минувших веков, очарованные чудесами Нового Света, верили этой дивной легенде и настойчиво искали мифический остров с его волшебным источником. В их числе был Понсе де Леон, первооткрыватель Флориды, поискам которого Генрих Гейне посвятил трогательную и горькую балладу о старом испанце и сказочном острове Бимини. Строфы этой баллады, несомненно, звучали в памяти Эрнеста Хемингуэя, когда он писал свою «Большую книгу». Помните?

На пустом побережье Кубы,

*Над зеркально гладким морем
Человек стоит и смотрит
В воду на свое лицо.*

*Он старик, но по-испански, как свеча, и прям и строен;
В непонятном одеянье:
То ли воин, то ль моряк, —
Он в рыбацких шароварах...*

2

О ком это? Не о самом ли Хемингуэе в те годы, когда он работал над «Большой книгой»? Или о ее главном герое?

...Жил у самого синего моря художник Томас Хадсон, многими чертами похожий на Эрнеста Хемингуэя. Как и Хемингуэй, Томас Хадсон — то ли воин, то ль моряк. Он много путешествовал, провел молодость в Париже, где принадлежал к тому же кругу людей литературы и искусства, с которыми был связан в свои парижские дни Хемингуэй. Как и Хемингуэй, Хадсон прошел через войну и по ночам, когда дом сотрясается от ударов атлантического прибоя, вспоминает те дни, когда под ним сотрясалась земля от залпов орудий его батареи. Как и Хемингуэй, он трудится самозабвенно, упорно добиваясь высшего совершенства, порой переделывая свои творения вновь и вновь. И как Хемингуэй, Хадсон прожил бурную жизнь, любил многих женщин, дружил со многими хорошими людьми.

Остается предположить, что, наделив своего героя столькими свойственными ему самому чертами, писатель передал ему и некоторые свои раздумья. Не потому ли роман остался незавершенным, что его главный герой так похож на автора? Возможно, естественная сдержанность мешала писателю всецело раскрыть себя перед публикой. Но сейчас, когда Эрнест Хемингуэй ушел из жизни, его посмертный роман именно потому приобретает для нас особый смысл, что на его страницах мы видим автопортрет писателя и знакомимся с миром его сокровенных помыслов...

Сразу за порогом дома Томаса Хадсона — море, которое он так любит, что «нигде в другом месте не хотел бы жить». Море с его прозрачными зелеными и синими волнами, лагунами и рифами, с его радостями и опасностями, с водным спортом и охотой на большую рыбу. Море, которое Хадсон пишет на полотне, как Хемингуэй писал его на бумаге.

Рядом — друзья, люди самого различного общественного положения и рода занятий. Друзья, которым можно верить, как самому себе, на которых можно положиться при любых обстоятельствах, которые выручат в минуту трудную.

С приездом на летние каникулы детей (как и у Хемингуэя, у Хадсона три сына) в доме воцаряется полное и беспредельное счастье. В своих сыновьях художник вновь обретает молодость, словно на него плеснули водой из сказочного источника Бимини.

Но в книгах Хемингуэя, как и в жизни человеческой, печаль и горе всегда присутствуют где-то рядом со счастьем: жизнь сурова, а человек так уязвим под ее ударами. Телеграмма приносит злую весть: два младших сына погибли вместе с матерью в автомобильной катастрофе. Томас Хадсон проходит через все круги ада, а кругов в этом аду много, и они не имеют таких четких границ, как у великого флорентийца.

А потом приходит война. Она похищает последнего, третьего сына.

Вторая часть «Островов в океане», «Куба», в которой действие разворачивается на фоне последней мировой войны, написана в ином эмоциональном и ритмическом ключе, чем первая. Если первая, за исключением финала, вся как бы пронизана лучами горячего солнца, напоена радостью безмятежного бытия и вдохновенного творчества на чудном острове Бимини, то вторая часть романа дышит атмосферой войны и ощущением надвигающейся трагедии.

На Западе некоторые критики объявили войну одной из главных, сквозных тем творчества Эрнеста Хемингуэя. Конечно, он с большой силой отобразил и первую мировую войну («Прощай, оружие!»), и войну в Испании («По ком звонит колокол»), и Западный фронт во второй мировой войне («За рекой, в тени деревьев»). Но если говорить об одной из главных, сквозных тем творчества Хемингуэя, я выразил бы ее иначе: *человек на войне, а точнее, человек против войны.*

Эрнест Хемингуэй ненавидит «puta guerra» — «шлюху-войну», по выражению персонажей настоящей книги. Есть, однако, войны, от участия в которых честный человек не может уклониться (вспомним Роберта Джордана из «Колокола»). Как и его старший сын Джон, Томас Хадсон

становится солдатом в войне против фашизма. Но, знакомясь с его рассуждениями, читателю следует помнить, что у мыслящего американца отношение к второй мировой войне, а главное, к той роли, которую играло в ней его государство и правительство, в силу понятных причин складывалось иначе, чем у советского человека.

Впрочем, даже в далеком от полей сражений уголке земного шара чувствовалось биение пульса войны. Небольшая деталь позволяет нам с приблизительной точностью определить время действия этой части романа: Хадсон читает в одной из газет о боях на Апеннинском полуострове. Высадка союзников в Калабрии, а затем в бухте Салерно состоялась в сентябре 1943 года; действие романа происходит зимой; значит, это предпоследняя или последняя военная зима. Иными словами, события романа происходят на заключительном этапе войны, когда Советская Армия наносила удар за ударом по фашистским войскам и над гитлеровской Германией уже навис призрак неминуемого поражения. Но она еще сопротивлялась, и сопротивлялась отчаянно.

На просторах Атлантики гитлеровское командование стремилось нанести возможно больший урон судоходству союзников, парализовать линии их снабжения. Немецкие подводные лодки, базировавшиеся в портах оккупированной Франции и франкистской Испании, доходили до побережья Америки, пуская ко дну встречные суда союзных держав. Военно-морские и воздушные силы Соединенных Штатов и Англии вели систематическую охоту за подводными лодками противника. В непосредственной близости от побережья в действиях против подводных лодок участвовали и небольшие катера береговой охраны.

Как известно, сам Хемингуэй в 1942-1943 гг. с благословения американского военно-морского командования охотился близ Кубы за подводными лодками на своем катере «Пилар»; на борту его имелось необходимое оборудование и военное снаряжение, включая пулеметы, противотанковые ружья, глубинные бомбы. Экипаж «Пилара» состоял из девяти человек, в числе которых были испытанные друзья командира — испанские республиканцы, эмигрировавшие на Кубу после победы Франко. Хемингуэю так и не удалось потопить немецкую подводную лодку, но его донесения помогали обнаруживать противника. Действия Томаса Хадсона и его экипажа в романе в какой-то мере основаны на личном опыте Эрнеста Хемингуэя.

В тот период, о котором ведется повествование, Куба официально принадлежала к лагерю Объединенных Наций, сражавшихся против фашистских держав. Однако порядки на Кубе были тогда весьма

своеобразными. Несколькими беглыми штрихами в разговоре Хадсона со случайным знакомцем в баре писатель рисует нравы старой Кубы с ее поголовной продажностью властей, коррумпированных сверху донизу, нравы злосчастной страны, где громкие фразы буржуазных политиканов в ходе избирательных кампаний не могли скрыть их грязных махинаций в погоне за личным обогащением, где даже прокладка водопровода, столь необходимого населению, становится источником наживы.

Не мудрено, что в этих условиях, которым позднее положила конец кубинская революция, на острове кишела фашистская агентура. Она поддерживала постоянную радиосвязь с немецкими подводными лодками. Отсюда необходимость в конспирации для тех, кто за ними охотился.

Команда Хадсона маскируется под научную экспедицию. Почти все члены экипажа — испанские республиканцы, баски по национальности. У них свои счеты с фашистами. Хадсона связывает с ними крепкая дружба. Но на берегу он очень одинок. Совсем недавно он получил известие о гибели старшего сына, военного летчика. Тщетно Хадсон пытается забыть, запрещает себе думать о своем горе. Пусть гибель младших сыновей им не забыта, свежая рана ноет больнее (впрочем, то, что о младших сыновьях Хадсона вовсе не упоминается во второй части романа, следует, по-видимому, отнести к числу авторских недоработок).

Стержень третьей части романа — эпопея преследования и уничтожения отряда нацистских моряков, совершивших тяжкое преступление против человечества, типичное для практики вооруженных сил германского фашизма. Невозможно отделаться от впечатления, что участь этой группы нацистов символизирует у Хемингуэя судьбу гитлеровской Германии.

Группа моряков с немецкой подводной лодки, то ли потерпевшей аварию, то ли подбитой глубинными бомбами с самолетов, высадилась на маленьком островке, чтобы завладеть необходимыми для бегства рыбацкими шхунами, запасами продовольствия, пресной воды. Судя по всему, их расчет заключался в том, чтобы добраться до любого порта, куда заходят суда франкистской Испании, и через нее вернуться к своим. Решив замести следы, они убивают все население рыбацкой деревушки, включая детей и женщин. Ведь останься эти люди в живых, они могут рассказать о численности немецкого отряда, о его вооружении. «За это, очевидно, и стоило их убить — с немецкой точки зрения. Что, мол, с ними считаться — негры!»

Но, учинив зверское преступление, нацистские моряки поставили себя вне закона, сожгли за собой все мосты. Прощения им быть не может, путь в

плен для них отрезан. Теперь, если настигнет погоня, им остается только драться до конца, подороже продать жизнь.

Так было и с фашистским режимом в Германии. Запятнав себя чудовищными злодеяниями, фашистская верхушка сама подписала себе приговор, сделала расплату неминуемой. Главарям нацизма оставалось только отсиживаться до последней возможности в своих бункерах, посылая на смерть все новые и новые когорты немцев, а там — принять яд или дожидаться петли.

Пытаясь уйти от возмездия, моряки с потопленной нацистской подводной лодки проявляют и хитрость, и сноровку, и ту храбрость, которая зовется храбростью отчаяния. Томас Хадсон и его команда следуют за ними по пятам, как неумолимый рок в древнегреческой драме. И вот преступники настигнуты. Им приходится принять бой. Описание схватки, в самом начале которой Хадсон получает роковое ранение, сделано рукой большого мастера, к тому же видевшего подобные сцены собственными глазами. Как и на многих страницах в других произведениях Хемингуэя, здесь отразилось убеждение писателя, что человек проявляет себя полностью и до конца в минуту смертельной опасности.

Хадсон и его друзья дерутся так, как умеют драться герои Хемингуэя. Не их вина, если в пылу боя им не удастся выполнить свою главную задачу — взять пленного, который мог бы дать необходимые военно-морскому командованию союзников показания о действиях германского подводного флота. И все же эта неудача окрашивает горечью последние часы Томаса Хадсона.

Подобно Роберту Джордану из романа «По ком звонит колокол», герой «Островов в океане» Эрнеста Хемингуэя находит смерть в бою с фашизмом, величайшим злом нашего века. Хадсон выполняет свой долг до конца. Быть может, передай он сразу после ранения штурвал в другие руки, займись он своей раной, он остался бы жить. Но, истекая кровью, Хадсон не бросает штурвала. Теряя силы, он не перестает командовать боем.

Последние мысли Томаса Хадсона — о своей работе. Он смотрит в синее небо, которое всегда так любил, на лагуну, которую уже никогда не напишет. Вот так, наверно, смотрел Эрнест Хемингуэй в последний раз 2 июля 1961 года из окна своего дома в Кетчуме на лес, горы и на веселую Солнечную долину.

Умирающему Хадсону приходит на ум чисто хемингуэевская мысль: «Жизнь человека немногого стоит в сравнении с его делом». Томас Хадсон выполнил свое дело: он писал хорошие картины, он храбро бился с врагом. С чистой совестью уходит он туда, где течет река из древних сказаний, о

которой говорится в музыкальных строфах Генриха Гейне:

*Та река зовется Летой.
Выпей, друг, отрадной влаги —
И забудешь все мученья,
Все, что выстрадал, забудешь.*

*Ключ забвенья, край забвенья!
Кто вошел туда — не выйдет,
Ибо та страна и есть
Настоящий Бимини.*

В тот край ушел и большой писатель, подарив нам на прощание роман о Томасе Хадсоне, столь похожем на Эрнеста Хемингуэя.

Борис Изаков

Готовя эту книгу к печати, я работала над рукописью Эрнеста вместе с Чарльзом Скрибнером-младшим. Помимо чисто технической правки, касавшейся орфографии и пунктуации, мы сделали несколько сокращений, которые, я уверена, Эрнест сделал бы и сам. Вся книга написана Эрнестом. Мы не добавили ни одного слова.

Мэри Хемингуэй

Часть первая

БИМИНИ

Дом был построен на самом высоком месте узкой косы между гаванью и открытым морем. Построен он был прочно, как корабль, и выдержал три урагана. Его защищали от солнца высокие кокосовые пальмы, пригнутые пассатами, а с океанской стороны крутой спуск вел прямо от двери к белому песчаному пляжу, который омывался Гольфстримом. В безветренную погоду вода здесь была совсем синяя, если смотреть на нее с берега. Но вблизи она зелено светилась над мучнистым белым песком, и тень крупной рыбы мелькала в ней задолго до того, как рыба подплывала близко.

Днем это было отличное и вполне безопасное место для купания, а вот ночью купаться здесь нельзя было. По ночам близко к берегу подплывали акулы, охотившиеся у края Гольфстрима, и в тихую погоду с верхней веранды было слышно, как плещет в воде испуганная рыба, а если спуститься на пляж, можно было увидеть фосфоресцирующий след, который акулы оставляли за собой. По ночам они ничего не боялись, а все остальное боялось их. Но днем они старались держаться подальше от светлого прибрежного песка, а если какая-нибудь и сунулась бы к берегу, то можно было по тени издалека заметить ее приближение.

Человека, который жил в доме, звали Томас Хадсон. Он был хороший художник и большую часть года проводил за работой дома и на острове. Когда долго живешь в этих широтах, привыкаешь ценить здесь смену времен года не меньше, чем в других местах, и Томасу Хадсону, любившему этот остров, жаль было пропустить хоть одну весну или лето, осень или зиму.

Лето порой выдавалось слишком знойное — если пассаты слабели в июне и в июле или вовсе не дули в августе. В сентябре же и в октябре, даже в начале ноября всегда можно было ожидать урагана, а какая-нибудь шальная тропическая буря могла налететь в любое время начиная с июня. Но даже в самый сезон ураганов выпадали, при затишье, чудесные дни.

Томас Хадсон за много лет хорошо изучил тропическую погоду и, глядя на небо, мог предсказать надвигающуюся бурю задолго до того, как ее покажет барометр. Он умел составлять карту бурь и знал, какие нужно

принимать меры предосторожности. Он знал также, что значит пережить ураган вместе с другими обитателями острова и как подобное испытание роднит тех, для кого оно было общим. Знал он и то, что бывают такие страшные ураганы, в которых никто и ничто уцелеть не может. Но он давно решил, что, уж если случится такое, лучше быть здесь и погибнуть вместе с домом.

В этом доме он чувствовал себя почти как на корабле. Построенный так, чтобы выдержать любую бурю, дом словно врос в остров, стал его частью; из всех окон видно было море, и комнаты продувало насквозь, так что даже в самые жаркие ночи спать было прохладно. Он был покрашен в белый цвет, чтобы лучше сохранять прохладу в летние дни, и его издали можно было разглядеть с моря. Выше его поднимались только верхушки выраженных рядами казуариновых деревьев — первое, что вы замечали, приближаясь к острову. Вскоре после того, как на горизонте темным пятном замаячат посадки казуарины, появлялся перед глазами белый куб дома. А потом, по мере приближения к берегу, разворачивалась вся панорама острова — с кокосовыми пальмами, с домиками, обшитыми тесом, с белой полосой пляжа и темной зеленью острова Южного на горизонте. У Томаса Хадсона, когда бы он ни завидел дом издали, становилось хорошо на душе. В мыслях дом был для него живым существом, как корабль для моряка. Зимой, когда задувал норд-вест и становилось холодно не на шутку, в доме было уютно и тепло, потому что в нем, единственном из всех домов на острове, имелся камин. Камин был большой, открытый, и Томас Хадсон топил его плавником.

Целая куча плавника была сложена за домом, у южной стены. Добела высушенные солнцем, обточенные ветром и песком, некоторые куски дерева так нравились Томасу Хадсону, что ему жаль было жечь их. Плавника много оставалось на берегу после каждой сильной бури, и в конце концов Томас Хадсон сжигал с удовольствием даже особенно нравившиеся ему куски. Он знал, что море наготовит еще, и в холодные вечера он сидел в большом кресле у огня и читал при свете лампы, стоявшей на дощатом столе, временами поднимая голову от книги, чтобы прислушаться к реву ветра и посмотреть, как горит в камине обесцвеченное морем дерево.

Иногда он гасил лампу и, растянувшись на ковре, вглядывался в цветные ободки пламени, возникавшие там, где сгорали остатки песка и морской соли. Когда он лежал, глаза его приходились вровень с подом камина и ему видно было, как пламя отрывается от поверхности дерева, и от этого становилось и грустно и хорошо. Всегда с ним бывало так, когда

он смотрел в огонь. А если горел плавник, это вызывало у него особое чувство, которое трудно было определить. Вероятно, думал он, нехорошо жечь то, что тебе так нравилось; но вины он не ощущал.

Лежа на полу, он как будто укрывался от ветра, хотя на самом деле ветер хлестал по нижним углам дома и по самой короткой на острове травке и забирался в сухие водоросли на берегу и даже в самый песок. Пол под ним сотрясался от глухих ударов прибоя, как когда-то в юности сотрясалась земля от залпов тяжелых орудий, когда он лежал невдалеке от полевой батареи.

Великое дело был этот камин зимой, и все незимние месяцы он поглядывал на него с нежностью и думал о том, как будет, когда опять настанет зима. Пожалуй, зима была лучшей порой на острове, и все остальное время он заранее радовался ее возвращению.

II

Зима уже прошла и весна была на исходе, когда сыновья Томаса Хадсона в этом году приехали на остров. По уговору, они все трое должны были съехаться в Нью-Йорке, а оттуда поездом, а потом самолетом добираться до места. С матерью двоих младших, как всегда, не обошлось без осложнений. Она задумала путешествие по Европе, разумеется не предупредив отца мальчиков, и вдруг объявила, что на лето отпустить их не может. Пусть он их берет к себе на рождественские каникулы, только после рождества, разумеется. Рождество они должны провести с ней.

Томас Хадсон уже привык к этим фокусам, и дело, как всегда, кончилось компромиссом. Решено было, что мальчики погостят у отца на острове пять недель, а потом вернутся в Нью-Йорк и оттуда поплывут пароходом французской компании по школьному тарифу. С матерью они встретятся в Париже, где она тем временем успеет сделать необходимые покупки к лету. В пути они будут находиться под присмотром старшего брата, Тома-младшего. А из Парижа Том-младший уедет к своей матери, которая снималась на юге Франции.

Мать Тома-младшего не требовала его к себе и охотно оставила бы у отца на все лето. Но она, конечно, обрадуется ему, и в общем это был достойный компромисс — при той железной решимости, которой обладала мать двух других братьев. Эту прелестную, очаровательную женщину

ничто в мире не заставило бы отступить от раз принятого плана. Планы свои она строила в глубокой тайне, как опытный полководец, и так же неуклонно проводила их в жизнь. Компромисс еще допускался. Но коренное изменение плана — никогда, возник ли этот план среди бессонной ночи, или скучным утром, или вечером, при содействии джина.

План был планом, и уж тем более решение было решением, и Томас Хадсон, отлично зная это и пройдя хорошую школу бракоразводного процесса, радовался, что компромисса удалось достигнуть и дети приедут хотя бы на пять недель. Пять недель — не так уж мало, если можно провести их с теми, кого любишь и с кем хотел бы всегда быть вместе. А зачем вообще я расстался с матерью Тома? Лучше не задумывайся об этом, сказал он себе. Это такая вещь, о которой лучше не задумываться. И та, вторая, родила тебе чудесных детей. Очень непростые, очень, своеобразные оба, но ты знаешь, как много хорошего они унаследовали именно от нее. Она прекрасная женщина, и с ней тебе тоже не следовало расставаться. Тут он сказал себе: нет. Иначе нельзя было.

Но все эти мысли теперь не слишком его волновали. Он давно уже перестал волноваться, и свою вину, точно заклятием, отгонял работой, и сейчас думал только об одном: вот приедут мальчики, и нужно, чтобы они хорошо отдохнули здесь это время. А когда они уедут, он вернется к своей работе.

Он сумел сделать так, что работа заменила ему почти все, кроме детей, — работа и та размеренная, спокойная трудовая жизнь, которую он себе создал на острове. Он верил, что обрел нечто прочное и надежное, то, что надолго и крепко удержит его здесь. Теперь, если на него нападала тоска по Парижу, он просто вспоминал о Париже, вместо того чтобы ехать туда. И так было с другими местами в Европе и со многими в Азии и в Африке.

Ему приходили на память слова Ренуара, сказанные, когда тот узнал, что Гоген уехал писать свои картины на Таити: «Зачем так далеко ехать и тратить столько денег, когда так отлично пишется здесь, в Батиньоле?» (по-французски это выходило лучше: «Quand on peint si bien aux Batignolles?»), и Томас Хадсон думал об острове, как о своем quartier³. Здесь он чувствовал себя дома, знал всех соседей кругом и работал усердно, как никогда, разве что в Париже, когда Том-младший был еще ребенком.

Иногда он ненадолго уезжал с острова — половить рыбу у берегов Кубы или осенью побродить в горах. Свое монтанское ранчо он сдал в аренду, потому что лучшее время в Монтане — это лето и осень, а к осени мальчики теперь должны были возвращаться в школу.

Иногда ему приходилось ездить в Нью-Йорк, к своему агенту. Но чаще агент теперь приезжал к нему и увозил с собой законченные полотна. Томас Хадсон был художник с именем, широко признанный и на родине, и в Европе. Кроме того, ему приносили регулярный доход разработки нефти, которые велись на земле, когда-то принадлежавшей его деду. Земля была продана под пастбища, и по условиям аренды право эксплуатации недр сохранялось за прежним владельцем. Половина этих денег шла на алименты, но и того, что оставалось, было довольно, чтобы обеспечить ему существование, и поэтому, он мог писать что хотел и как хотел; нужда на него не давила. И жить мог там, где ему нравилось, и путешествовать, если приходила охота.

Успех сопутствовал ему во всем, кроме семейной жизни, хотя, в сущности, он никогда не думал об успехе. Думал он о живописи и о своих детях и до сих пор любил ту женщину, которая была его первой любовью. После нее он был влюблен во многих женщин, некоторые даже гостили у него на острове. У него была потребность видеть женщин, и поначалу он всегда радовался, когда они приезжали. Ему приятно было их присутствие в доме, иногда даже довольно долгое время. Но в конце концов он провожал их с чувством облегчения, даже если это был кто-то, кто ему очень нравился. Он выработал в себе умение не ссориться с женщинами и не жениться на них. Научиться этим двум вещам было не легче, чем упорядочить свою жизнь и привыкнуть работать размеренно и ровно. Однако он научился, и теперь уже, думалось, навсегда. Владеть кистью он умел давно и считал, что делает это с каждым годом лучше и лучше. Но внести порядок в свою жизнь и дисциплинировать свою работу ему оказалось очень и очень трудно, потому что было в его жизни время, когда он был далек от всякой дисциплины. Безответственным он никогда не был, но был недисциплинирован, эгоцентричен и беспощаден. Теперь он знал это не только потому, что многие женщины ему об этом говорили, но потому, что в конце концов сам к этому пришел. И тогда он решил, что впредь будет эгоцентричен только в своих картинах, беспощаден только в работе и что сумеет дисциплинировать себя и примириться с дисциплиной.

Он будет наслаждаться жизнью в рамках той дисциплины, которую предписал себе, и усиленно работать. А сегодня он чувствовал себя счастливым, потому что утром должны были приехать его дети.

— Мистер Том, вам ничего не нужно? — спросил Джозеф, его слуга. — Вы сегодня уже свое отработали?

Джозеф был высокого роста, с очень черным, очень длинным лицом и большими руками и ногами. Он ходил в белой куртке и белых брюках, но

босиком.

— Спасибо, Джозеф. Пожалуй, мне ничего не нужно.

— Может, джину с тоником?

— Нет. Я, пожалуй, зайду к мистеру Бобби, там выпью.

— Пейте лучше дома. Дешевле. Я мистера Бобби видел, он сегодня не в духе. Замучился, говорит, с этими коктейлями. Какая-то с яхты спросила что-то под названием «Белая дама», а он ей подал американской минеральной воды — знаете, на которой нарисован ручей, а у ручья дама в белом платье, похожем на москитную сетку.

— Все-таки я пойду.

— Дайте я вам хоть одну порцию дома приготовлю. На рейсовом судне привезли почту. Почитаете письма и выпьете коктейль, а потом пойдете к мистеру Бобби.

— Ну ладно, согласен.

— Вот и хорошо, — сказал Джозеф. — А то ведь я уже приготовил. Почта сегодня ничего интересного, мистер Том.

— А где она?

— Внизу, на кухне. Сейчас принесу. Два письма с женским почерком на конвертах. Одно из Нью-Йорка. Одно из Палм-Бич. Красивый почерк. Одно от господина, который продает ваши картины в Нью-Йорке. Еще два не знаю от кого.

— Может, ответишь за меня на все эти письма?

— Пожалуйста, сэр. Если вы желаете. Я ведь кое-чему учился, хоть мне это было и не по карману.

— Да нет уж, лучше принеси их сюда.

— Слушаю, сэр, мистер Том. Там еще и газета есть.

— Газету побереги к завтраку.

Томас Хадсон сел и стал читать письма, потягивая прохладное питье. Одно письмо он прочел дважды, потом спрятал всю пачку в ящик стола.

— Джозеф! — крикнул он. — У тебя для мальчиков все готово?

— Да, сэр, мистер Том. Даже два лишних ящика кока-колы. Том-младший, верно, уже меня перерос, а?

— Ну, нет еще.

— Как вы думаете, сможет он теперь меня побороть?

— Едва ли.

— Мы с ним часто боролись в мое свободное время, — сказал Джозеф. — Чудно все-таки называть такого парнишку «мистер». Мистер Том. Мистер Дэвид. Мистер Эндрю. Замечательные ребята, прямо как на подбор. А Эндрю из всех троих самый хитрющий.

— Он и маленький был хитрец, — сказал Томас Хадсон.

— А чем дальше, тем больше, — сказал Джозеф с восхищением.

— Ты им будь хорошим примером это время.

— Мистер Том, как вы хотите, чтобы я теперь был им хороший примером? Три-четыре года назад, в невинном возрасте, это бы еще можно. Я сам думаю взять себе за образец Тома. Он учится в дорогой школе, у него и манеры такие, что дорого стоят. Я, конечно, не могу стать на него похожим. Но держаться, как он, этому я могу научиться. Чтобы и свободно, и легко, и вежливо в то же время. А умом я попробую быть похожим на Дэва. Это, пожалуй, будет трудней всего. И еще постараюсь вывести у Энди, как ему удастся быть таким хитрым.

— Ты только здесь потом не вздумай хитрить.

— Что вы, мистер Том, вы меня плохо поняли. У вас в доме мне хитрость ни к чему. Она мне пригодится в мое свободное время.

— А хорошо, что они приезжают, правда?

— Мистер Том, такого великого события не было со времен большого пожара. Я считаю, что это стоит второго пришествия. Хорошо ли, вы меня спрашиваете? Не то что хорошо — прекрасно.

— Надо будет подумать, как их развлекать, чтобы они не скучали.

— Нет, мистер Том, — сказал Джозеф. — Нам надо будет подумать, как их уберечь от всяких их собственных опасных затей. Тут нам Эдди поможет. Он их лучше знает, чем я. И я им приятель, это затрудняет дело.

— Как он сейчас, Эдди?

— Немножко выпил по случаю дня рождения королевы. Но при этом в самом лучшем виде.

— Пойду-ка я все же к мистеру Бобби, он, должно быть, до сих пор не в духе.

— Он про вас спрашивал, мистер Том. Мистер Бобби — джентльмен до мозга костей, и его иногда утомляет всякий сброд, который сюда наезжает на яхтах. У него был очень утомленный вид, когда я уходил оттуда.

— А что ты там вообще делал?

— Пошел за кока-колой, а заодно решил погонять немножко шары на бильярде.

— Стол все такой же?

— Еще хуже.

— Пойду, — сказал Томас Хадсон. — Вот только приму душ и переоденусь.

— Я вам все чистое приготовил, лежит на кровати, — сказал Джозеф.

- Еще джину с тоником не хотите?
— Нет, спасибо.
— Мистер Роджер приехал.
— Отлично. Я его разыщу.
— Он будет гостить у нас?
— Может быть.
— Я ему приготовлю постель на всякий случай.
— Отлично.

III

Томас Хадсон принял душ, намылил голову и потом долго стоял под колючими, острыми, напористыми струйками воды. Он был крупным мужчиной и голый казался еще крупней, чем в одежде. Кожа у него была загорелая, а волосы полосами выцвели на солнце. Он встал на весы — сто девяносто два фунта, ничего лишнего.

Надо было пойти поплавать до душа, подумал он. Но я уже утром далеко плавал перед тем, как начать работать, а сейчас я устал. Еще наплаваемся, когда ребята приедут. И Роджер здесь. Это хорошо.

Он надел свежие шорты, старую баскскую рубашку и мокасины, вышел из дома и спустился к калитке, которая вывела его на сверкающий, выбеленный солнцем коралловый известняк Королевского шоссе.

Рослый, с очень прямой спиной, старик негр в черном пиджаке из альпака и отутюженных брюках сошел с крыльца дощатой хижины, каких много стояло в тени кокосовых пальм у обочины дороги, и зашагал по шоссе впереди Томаса Хадсона. Когда он выходил на шоссе, Томас Хадсон успел разглядеть его красивое черное лицо.

Где-то за хижинами детский голос насмешливо затянул на мотив старой английской песенки:

*Дядюшка Эдвард приехал из Нассау,
Конфеты он продает.
Я съел конфетку, и ты съел конфетку,
И у нас заболел живот...*

Дядюшка Эдвард оглянулся, его красивое лицо было сердитое и грустное в ярком свете дня.

— Я тебя знаю, — сказал он. — Я тебя не вижу, но я знаю, кто ты такой. Вот пожалуйсь на тебя констеблю.

Невидимый мальчишка запел еще звонче и веселей:

*Ах, Эдвард,
Ох, Эдвард,
Старый шут-плут-спрут Эдвард,
Конфеты твои — просто дрянь...*

— Все расскажу констеблю, — сказал дядюшка Эдвард. — Констебль на тебя найдет управу.

— Привез сегодня своих дрянных конфет, дядюшка Эдвард? — крикнул мальчишка. Он предусмотрительно не показывался на глаза.

— Травят человека, — сказал дядюшка Эдвард, продолжая идти вперед и ни к кому не обращаясь. — Хотят унижить человека, сорвать с него покровы достоинства. Прости им, боже, ибо не ведают, что творят.

Впереди на Королевском шоссе тоже слышалось пение. Оно несло из раскрытых окон над баром «Понсе-де-Леон». Томаса Хадсона нагнал молодой негр, почти бегом бежавший по коралловому шоссе.

— Скандал там, мистер Том, — сказал он. — А может, уже и драка. Господин с яхты выбрасывает вещи в окно.

— Какие вещи, Луис?

— Всякие вещи, мистер Том. Все, что под руку попадет. Дама его хотела ему помешать, так он сказал, что и даму выбросит тоже.

— А что это за господин?

— Какой-то богач с Севера. Хвалился, что может купить и продать весь наш остров. Пожалуй, цена будет невелика, если он все кругом порасшвыряет.

— А что же констебль?

— Ничего, мистер Том. Констебля пока не звали. Но все думают, без констебля дело не обойдется.

— Так ты, значит, сейчас при них, Луис? А я думал, ты мне приготовишь наживки на завтра.

— Слушаю, сэр, мистер Том. Наживка у вас будет. Вы насчет наживки не беспокойтесь. При них-то я при них. Они меня подрядили сегодня с утра выйти с ними на рыбную ловлю, и с тех пор я при них. Но только никакой

рыбной ловли не было. Нет, сэр. Если только выбрасывать чашки, плошки, тарелки, стулья и всякий раз, когда мистер Бобби пытается подать счет, рвать этот счет в клочки и ругать мистера Бобби бандитом и мошенником и сволочью — если только все это не называется рыбной ловлей.

— Видно, господин из таких, с кем нелегко сладить, Луис.

— Мистер Том, я никого хуже никогда не видал и не увижу. Потребовал он, чтобы я им пел. Вы знаете, я не умею так хорошо петь, как Джози, но я пою, как умею, иногда даже лучше. Стараюсь, чтоб было лучше. Вы знаете. Вам приходилось слышать, как я пою. Понравилась ему одна песня — про маму, которой не надобен был ни рис, ни горох, ни кокосовый сок, — и другой он не хочет. Как допою ее, давай опять сначала. Это старая песня, надоело мне ее петь, я и говорю: «Сэр, я знаю новые песни. Хорошие песни. Красивые песни. И старых песен я еще много знаю, вот хотя бы про то, как Джон Джекоб Астор погиб на «Титанике», когда тот наскочил на айсберг и пошел ко дну, и я рад буду спеть их вам вместо «Ни рис, ни горох», если пожелаете». Тихо так, вежливо сказал, вы же меня знаете. А он в ответ: «Ах ты поганый черномазый неуч, да у меня заводов, и магазинов, и газет больше, чем твой Джон Джекоб Астор за всю свою жизнь в горшки наложил, простите за грубое слово, сэр, и я вот возьму тебя и обмакну в эти горшки головой, чтоб ты мне не указывал, какие песни слушать». Тут его дама вступилась и говорит: «Милый, ну зачем ты с ним так? Право, он очень хорошо пел, и я с удовольствием послушала бы какие-нибудь новые песни». А он на это: «Не будешь ты их слушать, и он их не будет петь. Заруби это себе на носу». Очень странный господин, мистер Том. А дама только сказала: «Ох, милый, до чего с тобой трудно сладить». Мистер Том, новорожденному мартышонку, только что из материнской утробы, легче сладить с дизель-мотором, чем кому-нибудь с этим господином. Вы уж извините, что я так разболтался. Очень он меня расстроил. Он и свою даму вконец расстроил.

— Что же ты теперь с ними думаешь делать, Луис?

— Вот раздобыл для дамы ракушечного жемчуга.

Они стояли в тени придорожной пальмы, куда отошли в начале разговора, и Луис, достав из кармана чистую тряпицу, бережно развернул ее и показал несколько блестящих, перламутрово-розовых, очень мало похожих на жемчуг горошин, какие иногда находят местные жители при очистке раковин. Ни одна из знакомых Томасу Хадсону женщин, кроме королевы Марии Английской, не позарилась бы на такой жемчуг. Не то чтобы Томас Хадсон мог считать королеву Марию своей знакомой — он ее видел только на картинках и в кино да еще в «Нью-Йоркере», где часто

мелькал ее профиль; но оттого, что она любила ракушечный жемчуг, ему казалось, что он ее знает лучше многих своих давних знакомых. Королева Мария любит ракушечный жемчуг, а сегодня весь остров празднует ее день рождения, думал он, но едва ли ракушечный жемчуг послужит утешением для спутницы того господина, о котором рассказывал Луис. Впрочем, может быть, и королева Мария говорила, что любит этот жемчуг, просто чтобы сделать приятное своим подданным на Багамских островах.

Они шли дальше по направлению к «Понсе-де-Леон», и Луис говорил:

— Эта его дама плакала, мистер Том. Она плакала горькими слезами. Тут я и предложил, что схожу к Рою и принесу ей ракушечного жемчуга, пусть посмотрит.

— Наверно, это ее очень порадует, — сказал Томас Хадсон. — Если она любит ракушечный жемчуг.

— Надеюсь, что порадует. Сейчас отнесу ей.

Томас Хадсон вошел в бар, прохладный и даже темноватый на первый взгляд после сверкания коралловой дороги, и выпил джинну с тоником и кусочком лимонной корки, прибавив в стакан несколько капель ангостуры. Мистер Бобби стоял за стойкой с мрачайшим видом. Четверо молодых негров играли на бильярде, слегка приподнимая одну его сторону, когда по ходу игры предстоял особо сложный карамболь. Пение наверху прекратилось, и в баре было очень тихо, только пощелкивали бильярдные шары. У стойки сидели двое матросов с яхты, ошвартованной у причала. Постепенно глаза Томаса Хадсона привыкли к освещению бара, и ему стало прохладно и приятно. Пришел сверху Луис.

— Господин уснул, — сказал он. — Я оставил жемчужины его даме. Она смотрит на них и плачет.

Томас Хадсон заметил, как матросы с яхты переглянулись, но не сказали ни слова. Он стоял, держа в руках стакан с приятно-горьковатым напитком, все еще смакуя первый долгий глоток, напомнивший ему Тангу, Момбасу и Ламу и все то побережье, и его вдруг охватила тоска по Африке. Вот он так прочно осел здесь, на этом острове, а ведь мог бы сейчас быть в Африке. Кой черт, подумал он, я всегда могу туда поехать. Нужно находить главное в себе самом, где бы ты ни был. А здесь это мне неплохо удается.

— Том, вам правда нравится эта штука? — спросил его Бобби.

— Конечно. Иначе я бы не стал ее пить.

— Я раз по ошибке откупорил бутылку, так словно хины глотнул.

— А там есть хина.

— С ума сходят люди, честное слово, — сказал Бобби. — Человек

может выбрать себе любой напиток. У него есть чем заплатить. Кажется, пей и получай удовольствие — так нет, он берет и портит добрый джин, наливая туда индийской водички с хиной.

— Мне нравится. Я люблю вкус хины в сочетании с лимонной коркой. От этого коктейля словно все поры в желудке раскрываются. Никакой другой напиток меня так не бодрит. Я себя после него отлично чувствую.

— Знаю. Вы себя всегда хорошо чувствуете, когда выпьете. А я — отвратительно. Где Роджер?

Роджер был приятель Томаса Хадсона, купивший себе рыбацкую хижину на другой стороне острова.

— Скоро появится. Мы с ним сегодня обедаем у Джонни Гуднера.

— Не пойму, что за интерес таким людям, как вы, Роджер Дэвис и Джонни Гуднер, торчать на этом острове.

— Это прекрасный остров. Вы же торчите.

— Я торчу, потому что я здесь деньги зарабатываю.

— Могли бы и в Нассау зарабатывать.

— Черт с ним, с Нассау. Здесь веселее. По части веселья лучше этого острова не найти. И кой-кому здесь случалось сколотить состояние.

— По-моему, здесь жить очень славно.

— Еще бы, — сказал Бобби. — По-моему, тоже. Если можно зарабатывать деньги. Вы эти картины продаете, над которыми все время трудитесь?

— На них сейчас много покупателей.

— Платить деньги за картины, на которых нарисован дядюшка Эдвард! Или негры в воде. Негры на берегу. Негры в лодке. Ловцы черепах. Ловцы губок. Буря на море. Смерч. Шхуна, разбитая волнами. Шхуна, еще не достроенная. Все то, что можно увидеть бесплатно. Неужели их правда покупают?

— Ну конечно. Раз в год в Нью-Йорке устраивается выставка и выставленные картины продаются.

— С аукциона?

— Нет. Тот, кто устраивает выставку, назначает каждой картине цену. Люди смотрят и покупают. Бывает, что и музей купит какую-нибудь.

— А сами вы можете их продавать?

— Конечно.

— Я бы, пожалуй, купил у вас смерч, — сказал Бобби. — Здоровенный чтоб был смерч, черный как дьявол. Или еще лучше два смерча, как они несутся над отмелью с таким ревом, что больше ничего не слышно кругом. Всасывают воду и пугают людей до смерти. И я на своей

лодочке — выехал ловить губку и попался. А смерч бушует, сорвал у меня стеклянный щиток. Чуть не всосал и лодку вместе с водой. Такой смерч, что господь бог ему сам не рад. Сколько бы вы с меня взяли за такую картину? Я бы ее прямо вот здесь и повесил. Или у себя дома, если моя старуха не умрет со страху.

— Цена зависит от размера картины.

— Делайте любого размера, какой вам захочется, — величественно разрешил Бобби. — Таковую картину, черт побери, маленькую не сделаешь. Знаете что, нарисуйте даже три смерча. Я раз видел три смерча у острова Андроса, вот как сейчас вас вижу. Они закручивались до самого неба, а один всосал лодку ловца губок, так когда она упала, мотор насквозь пробил днище.

— Вопрос в том, сколько будет стоить холст, — сказал Томас Хадсон. — Я с вас возьму только стоимость холста.

— Ну, тогда покупайте холст побольше, — сказал Бобби. — Мы такие изобразим смерчи, что, кто ни взглянет, со страху тут же выкатится из бара, а то и вовсе удерет с этого чертова острова.

Он был потрясен грандиозностью замысла, но заложенные тут возможности лишь постепенно раскрывались перед ним.

— Том, дружище, а целый ураган вы бы не могли изобразить? Самую завируху, когда с одной стороны уже отбушевало и успокоилось, а с другой только начинается. Чтобы все как есть было нарисовано: от негров, которых швыряет на кокосовые пальмы, и до кораблей, что с волной перекатываются через весь остров. И вырванные доски, как гарпуны, летят по воздуху, и мертвые пеликаны несутся мимо, будто они вылились из тучи вместе с дождем. Нарисуйте барометр, который стоит на двадцати семи, и ветроуказатель, сорванный с места. Нарисуйте большую отмель, залитую водой, и луну, которая выглядывает в просвет между тучами. Пусть там будет водяная стена, как она встает и обрушивается, хороня под собой все живое. Пусть будут женщины, которых смыло в море, а ветер сорвал с них одежду. Пусть мертвые негры качаются на волнах и взлетают в воздух...

— Понадобится очень большой холст, — сказал Томас Хадсон.

— Плевать на холст! — сказал Бобби. — Я вам достану грот-марсель со шхуны. Мы с вами напишем такую, черт побери, картину, какой еще мир не видал, и наши имена войдут в историю. Довольно вам малевать всякие ерундовые картинки.

— Лучше все-таки я напишу смерч, — сказал Томас Хадсон.

— Валяйте, — сказал Бобби, неохотно спускаясь с высот своего

грандиозного замысла. — Это разумно. Но, ей-богу, со всем тем, что мы оба видели и знаем, а к тому же еще с вашим умением, у нас получились бы замечательные картины.

— Я завтра же начну работать над смерчем.

— Ладно, — сказал Бобби. — Это будет начало. Но, ей-богу, хорошо бы нам с вами написать и этот ураган тоже. А что, гибель «Титаника» кто-нибудь изображал?

— В больших масштабах нет.

— Может, нам за это взяться? Меня всегда увлекали такие сюжеты. Вы бы постарались передать на картине холод айсберга, когда он отходит после толчка. А кругом все в густом тумане. Изобразите все подробности. Изобразите того человека, что сел в шлюпку с женщинами, потому что он, мол, яхтсмен и сможет их спасти. Нарисуйте, как он лезет в шлюпку, этот верзила, наступая прямо на женщин сапогами. Он, наверно, был похож на того типа, который сейчас спит наверху. Вот вы бы поднялись сейчас туда и нарисовали его, пока он спит, пригодится для картины.

— Мне кажется, лучше нам все-таки начать со смерча.

— Том, я хочу, чтоб вы были по-настоящему великим художником, — сказал Бобби. — Бросьте все эти ваши детские забавы. Вы просто растрчиваете себя по-пустому. Смотрите, меньше чем в полчаса мы с вами сочинили три картины, а я еще даже не открыл кранов своей фантазии. Ну, чем вы до сих пор занимались? Рисовали негра, который ловит на берегу черепаху. Даже не зеленую черепаху. Самую обыкновенную черепаху. Или двух негров в лодке, где на дне копошится куча лангустов. По-пустому, по-пустому растрчиваете свою жизнь.

Он умолк и, достав из-под стойки бутылку, торопливо глотнул из горлышка.

— Это не считается, — сказал он Томасу Хадсону. — Вы этого не видели. Слушайте, Том, три картины, что мы тут сочинили, замечательные картины. Великие картины. Мировые картины. Могли бы висеть в Хрустальном дворце среди шедевров всех времен. Ну, кроме первой, пожалуй, там сюжет поскромнее. А ведь мы еще не принялись за работу. Что нам мешает написать такую картину, которая бы превзошла все эти три? Как вы насчет этого?

Он еще раз глотнул из бутылки.

— Насчет чего?

Бобби перегнулся через стойку, чтобы его никто больше не слышал.

— Вы только не шарахайтесь, — сказал он. — Пусть вас не смущает размах. Нужно дерзать, Том. Давайте напишем с вами конец света. — Он

выдержал паузу. — В натуральную величину.

— Ого.

— Ничего не «ого». Вот слушайте. Только что разверзся ад. Трясуны собрались на радение в свою церковь на горе и голоса на непонятных языках. И тут же черт с вилами, он их сгребает и грузит на повозку, а они стонут, и вопят, и взывают к Иегове. Повсюду валяются распростертые на земле негры, а вокруг них и прямо по их телам ползают лангусты, мурены и морские пауки. В одном месте что-то вроде большого открытого люка, из которого идет пар; черти волокут туда и негров, и трясунов, и священников, и всех сваливают в этот люк, и больше мы их не видим. А в бурном море вокруг острова кишмя кишат акулы — и колючие, и сельдевые, и нокотницы, и пилоносы; и кто пытается спастись вплавь, чтобы черти его не загребли вилами, тот сразу попадает акулам в пасть. Пьяницы спешат хлебнуть напоследок и отбиваются от чертей бутылками. Но черти все-таки загребают их или же их волной смывает в море, где уже к тем акулам прибавились новые, а дальше кружат по воде киты, и кашалоты, и еще разные морские чудища, так что кого не сожрут акулы, тому все равно далеко не уйти. Склоны холмов усеяны собаками и кошками, за ними тоже охотятся черти со своими вилами, собаки скулят и увертываются, а кошки царапают чертей когтями, и шерсть на них стоит дыбом, и в конце концов они бросаются в море и плывут во всю мочь. Иная акула ударит хвостом, и видно, как она скрывается под водой. Но многим удается проскочить.

Из люка уже пышет удушливым жаром, а некоторые черти пообломали о священников свои вилы, и теперь им приходится тащить туда людей вручную. А в самом центре картины стоим мы с вами и спокойно смотрим на все, что творится кругом. Вы чего-то записываете в блокноте, а я то и дело прикладываюсь к бутылке, чтобы освежиться, и вам тоже даю. Порой какой-нибудь черт, весь взмокший от натуги, тащит чуть не прямо на нас жирного священника, а тот упирается, цепляясь пальцами за песок и истошным голосом призывая Иегову, и черт говорит нам: «Пardon, мистер Том. Pardon, мистер Бобби. Совсем запарился сегодня». А на обратном пути, когда он бежит за следующим священником, утирая с морды пот и грязь, я ему предлагаю выпить, но он отвечает: «Нет, мистер Бобби, спасибо. На работе не употребляю». Ох, и картина же получится, Том, если мы сумеем придать ей нужный размах и движение.

— Ну, мне кажется, на сегодня мы уже сочинили больше чем требуется.

— Да, черт побери, пожалуй, вы правы, — сказал Бобби. — Тем более

что от этого занятия — сочинять картины — у меня в горле сохнет.

— Был один человек, Босх, он писал в таком духе и очень здорово.

— Это тот, что по электричеству?

— Нет. Иероним Босх. Он жил очень давно. Очень хороший художник. И у Питера Брейгеля есть такие сюжеты.

— Он тоже давно жил?

— Очень давно. Очень хороший художник. Вам бы понравился.

— К чертям всех старых художников, — сказал Бобби. — Им до нас далеко. И потом конец света до сих пор не наступил, так откуда этому Босху было знать о нем больше, чем знаем мы?

— С ним нелегко будет тягаться.

— И слышать этого не хочу, — сказал Бобби. — После нашей картины о нем никто и не вспомнит.

— Бобби, нельзя ли повторить?

— Фу, черт! Совсем забыл, что я за стойкой. А какой сегодня день, мы тоже забыли! Боже, храни королеву. Выпьем за ее здоровье, Том, я угощаю.

Он налил себе стаканчик рому, а Томасу Хадсону протянул бутылку бутсовского желтого джину, блюдечко с лимоном и бутылку индийского тоника «Швеппс».

— Стряпайте себе свое питье сами. Терпеть не могу эту мешанину.

Томас Хадсон налил поровну того и другого, добавил несколько капель из сосуда со вставленным в пробку перышком чайки и поднял было стакан, но оглянулся на матросов, сидевших у другого конца стойки.

— Вы что пьете? Скажите, как называется, если знаете.

— «Песья голова», — ответил один из них.

— Точно, «Песья голова», — сказал Бобби и, сунув руку в ящик со льдом, достал им по бутылке холодного эля. — Вот только стаканов нет, — сказал он. — Нашлись тут пьяницы, целый день швыряли стаканы в окно. Ну как, теперь у всех есть? За королеву, джентльмены! Не думаю, что ей так уж интересен этот остров, и сомневаюсь, чтобы она себя хорошо чувствовала здесь. Но — за королеву, джентльмены! Храни ее бог.

Все выпили.

— Замечательная, должно быть, женщина, — сказал Бобби. — Пожалуй, только чересчур чопорная для меня. Вот королева Александра, та больше в моем вкусе. Люблю таких. Но день рождения королевы мы отпразднуем, как положено. Хоть остров наш маленький, патриотизма нам не занимать стать. Один здешний житель участвовал в войне, и ему оторвало руку. Это ли не патриотизм!

— Чей, говорите, сегодня день рождения? — спросил один из матросов.

— Королевы Марии Английской, — сказал Бобби. — Матери нынешнего короля-императора.

— Это та, что ли, в честь которой судно названо? — спросил другой матрос.

— Том, — сказал Бобби. — Следующий тост мы будем пить с вами вдвоем.

IV

Стемнело, и подул легкий ветер, так что и комары и мошки исчезли и суда уже вернулись в гавань, подняв на борт аутриггеры еще в проливе, и теперь стояли у причалов, которые тянулись от береговой линии в гавань. Отлив шел быстро, и огни судов дрожали на воде, отсвечивавшей зеленым и так стремительно убывавшей, что ее засасывало под настил причала и крутило воронкой за кормой большого катера, на который поднялся Томас Хадсон. В воде — там, где огни плескались между обшивкой катера и некрашеным настилом причала с кранцами из старых автомобильных шин, темными кругами отражавшимися в темноте у камней, — стояли, держась против течения, сарганы, приплывшие сюда на свет. Длинные, плоские, с прозеленью, как и вода, они не кормились тут, не играли; они только, подрагивая хвостами, держались против течения, зачарованные светом.

«Нарвал» — катер Джонни Гуднера, где они с Томасом Хадсоном ждали Роджера Дэвиса, — утыкался носом в убывающую воду, а кормой к корме за ним стояла яхта того самого человека, который весь день провел у Бобби. Джонни Гуднер сидел на стуле, положив ноги на другой стул, в правой руке у него был стакан «Томми Коллинза», а в левой — длинный зеленый стручок мексиканского перца.

— Замечательно, — сказал он. — Я откусываю помаленьку, и во рту у меня начинается пожар, а я остужаю его вот этим.

Он откусил первый кусочек, проглотил его, выдохнул «х-х!» сквозь свернутый трубочкой язык и потом долго тянул из высокого стакана. Его полная нижняя губа посасывала тонкую, типично ирландскую верхнюю, а улыбались одни серые глаза. Уголки губ у него всегда были приподняты, и поэтому казалось, что он вот-вот улыбнется или только что улыбнулся. Но

рот мало что говорил о нем, если бы не тонкая верхняя губа. Присматриваться следовало к глазам. Рост и сложение у Джонни Гуднера были, как у немного отяжелевшего боксера среднего веса, но сейчас, развалившись на двух стульях, он выглядел складно. А человека, потерявшего форму, такая вольная поза сразу выдает. Лицо у него было покрыто ровным загаром, лупились только нос и лоб, уходивший назад вместе с редющими волосами. Шрам на подбородке мог бы сойти за ямочку, если бы приходился ближе к серединке, а переносица была чуть приплюснута. Сам по себе нос был не плоский. Он будто вышел из рук современного скульптора, который работал сразу в мраморе и стесал тут самую малость больше, чем следовало.

— Том, пропащая твоя душа. Чем ты был занят это время?

— Работал, и довольно упорно.

— Ну еще бы! — сказал Джонни Гуднер и отправил в рот второй кусок зелёного перца. Стручок был очень вялый, сморщенный, дюймов шести в длину.

— Только поначалу жжет, — сказал он. — Как любовь.

— Черта с два. Перец жжет не только поначалу.

— А любовь?

— К черту любовь, — сказал Томас Хадсон.

— Это что за настроения? Что за разговоры? Ты в кого это превращаешься у нас на острове? В чокнутого овцевода при отаре?

— Здесь овец нет, Джонни.

— Ну, в чокнутого крабовода, — оказал Джонни. — Мы не собираемся держать тебя здесь на привязи. Возьми попробуй перца.

— Я уже пробовал, — сказал Томас Хадсон.

— Про твои прошлые дела я все знаю, — сказал Джонни. — Не щеголай передо мной своим славным прошлым. Ты, может, всех их выдумал. Знаю, знаю. Ты, может, первый ввез их на вьючных яках в Патагонию? Ну а я человек современный. Слушай, Томми. Перец фаршируют лососиной. Фаршируют морским окунем. Фаршируют чилийской скумбрией. Грудкой мексиканской горлицы. Индюшатиной и кротовым мясом. Мне его чем угодно фаршируй, я все беру. Вот, мол, я какой магнат, черт меня подери. Но это все извращения. Нет ничего лучше такого вот длинного, вялого, скучного, совсем не соблазнительного, без всякого фарша, простого перчика под коричневым соусом из чупанго. Ух ты, зверюга, — он снова дыхнул, высунув сложенный трубочкой язык, — пожалуй, я тебя все-таки малость перебрал.

Он приложился к стакану.

— Этот перец дает мне лишний повод выпить, — пояснил он. — Остужаю свою пасть. А ты что будешь?

— Пожалуй, еще одну порцию джина с тоником.

— Бой! — крикнул Джонни. — Еще порцию джина с тоником бване М'Кубва.

Фред, один из местных негров, которых капитан катера нанял для Джонни, подал стакан Томасу Хадсону.

— Пожалуйста, мистер Том.

— Спасибо, Фред, — сказал Томас Хадсон. — За королеву, дай ей бог здоровья!

И они выпили.

— А где наш милейший распутник?

— Он у себя дома. Скоро придет.

Джонни съел еще один стручок, на сей раз без всяких комментариев, допил виски и сказал:

— А на самом-то деле, как ты тут, старик?

— О'кей, — сказал Томас Хадсон. — Я уже научился жить в одиночку, да и работы хватает.

— Тебе нравится здесь? Если осесть навсегда?

— Нравится. Надоело мыкаться со всем, что есть на душе. Лучше уж на одном месте. Мне тут неплохо, Джонни. Совсем неплохо.

— Здесь хорошо, — сказал Джонни. — Для такого, как ты, с внутренним содержанием, здесь хорошо. А для такого, как я, который то гоняется за этим самым, то от этого удирает, тут гибель. А правда, что наш Роджер в красивые записался?

— Значит, уже пошли толки?

— Я слышал кое-что, когда был в Калифорнии.

— А что с ним там случилось?

— Да я всего не знаю. Но, кажется, дело было плохо.

— Действительно плохо?

— У них там на этот счет свои понятия. Не то чтобы растление, если ты об этом. Но понимаешь, при тамошнем климате, да на свежих овощах, да все такое прочее, там не только футболисты здоровенные вырастают. Пятнадцатилетняя девчонка выглядит на все двадцать четыре. А в двадцать четыре она — что твоя Мэй Уитти. Если жениться не собираешься, посмотри внимательно на ее зубы. Впрочем, и по зубам возраста не определишь. И у всех у них мамаша или папаша, а то и оба, и все они голодные. Климат такой — аппетит очень развивается. Беда в том, что человек иной раз взыграет, и нет того чтобы поинтересоваться, есть ли у

нее водительские права или карточка социального страхования. По-моему, в таких случаях надо бы судить по росту, по весу, а не только по возрасту и вообще проверять, на что они способны. Если судить только по возрасту, то часто получается несправедливо. И для нас и для них. В других видах спорта раннее развитие не наказуемо. Наоборот. Для юниоров особые нормы — вот это было бы справедливо. Как на скачках. Меня раз здорово подковали. Но Роджер погорел не на этом.

— А на чем я погорел? — спросил Роджер Дэвис.

В туфлях на веревочной подошве он бесшумно спрыгнул с причала на палубу и стал — огромный, в спортивном свитере, размера на три больше, чем нужно, и в тесно облегающих поношенных брюках из бумажной материи.

— Привет! — сказал Джонни. — Я не слышал вашего звонка. Вот говорю Тому: за что вас сцапали, не знаю, только не за малолетнюю.

— Прекрасно, — сказал Роджер. — И на этом точка.

— А вы не командуйте, — сказал Джонни.

— А я не командую, — сказал Роджер. — Я вежливо. А что, пить здесь разрешается? — Он посмотрел на яхту, которая стояла кормой к ним. — Это еще кто?

— Это те самые, из «Понсе». Вы разве не слышали?

— А-а! — сказал Роджер. — Давайте все-таки выпьем, хотя они и подали нам дурной пример.

— Бой! — крикнул Джонни.

Фред вышел из кубрика.

— Да, сэр, — сказал он.

— Выясни, чего желают сагибы.

— Что прикажете, господа? — спросил Фред.

— Мне того же, что пьет мистер Том, — сказал Роджер. — Он мой наставник и воспитатель.

— Много в этом году мальчиков в лагере? — спросил Джонни.

— Пока только двое, — сказал Роджер. — Я с моим воспитателем.

— Надо говорить: мы с моим воспитателем, — сказал Джонни. — А еще книжки пишете!

— Можно нанять человека, пусть исправляет грамматику.

— Еще нанимать. Лучше дарового найдите, — сказал Джонни. — Я тут побеседовал с вашим воспитателем.

— Воспитатель говорит, ему здесь хорошо, он всем доволен. Он надолго здесь высадился.

— Ты бы сходил посмотреть, как мы живем-поживаем, — сказал Том.

— Кое-когда он отпускает меня, и я хожу выпить.

— Женщины?

— Никаких женщин.

— Что же вы, мальчики, делаете?

— У меня весь день занят.

— Но вы и раньше здесь жили, а тогда что делали?

— Купались, ели, пили. Том работает, читаем, разговариваем, читаем, рыбачим, рыбачим, купаемся, пьем, спим...

— И никаких женщин?

— И никаких женщин.

— А это не вредно? Атмосфера вроде нездоровая. А опиума вы, мальчики, много курите?

— Как, Том? — спросил Роджер.

— Только высший сорт, — сказал Томас Хадсон.

— Выращиваете хороший урожай марихуаны?

— Выращиваем, Том? — спросил Роджер.

— Год плохой, — сказал Томас Хадсон. — Дожди все к чертовой матери залили.

— Нездоровая, на мой взгляд, атмосфера. — Джонни выпил. — Единственное спасительное обстоятельство — это то, что вы еще пьете. Вы, мальчики, не ударились ли в религию? Может, Тома осенил свет божий?

— Как, Том? — спросил Роджер.

— Отношения с богом без существенных перемен, — сказал Томас Хадсон.

— Теплые?

— Мы народ терпимый, — сказал Томас Хадсон. — Пожалуйста, упражняйтесь в любой вере. На острове есть бейсбольная площадка, можете там поупражняться.

— Я этому боженьке пошлю мяч повыше, в самый пуп, если он попробует выйти к столбу, — сказал Роджер.

— Роджер, — укоризненно сказал Джонни. — Уже темнеет. Вы разве не видите, что наступают сумерки, сгущается тьма и мрак окутывает землю? А ведь вы писатель. В темноте неуважительно отзываться о боге не рекомендуется. А вдруг он стоит у вас за плечами с занесенной битой.

— К столбу он выйдет обязательно, — сказал Роджер. — Я недавно видел, как он пристраивался.

— Не сомневайтесь, сэр, — сказал Джонни. — Да так запустит мяч, что мозги вам вышибет. Я видел, как он отбивает.

— Да. Надо думать, видели, — согласился с ним Роджер. — И Том видел, и я. Но мне все-таки хочется, чтобы он промазал.

— Давайте прекратим теологический спор, — сказал Джонни. — Надо чего-нибудь поесть.

— Этот старый сморчок, которому ты позволяешь водить твою посудину по океану, еще не разучился готовить? — спросил Томас Хадсон.

— Будет тушеная рыба, — сказал Джонни. — И еще ржанка с желтым рисом. Золотистая ржанка.

— Расписываешь, как специалист по интерьеру, — сказал Том. — В это время года никакого золота на них нет. Где ты подстрелил этих ржанок?

— На острове Южном. Мы там бросили якорь, чтобы выкупаться. Я два раза подсвистывал стаю и шлепал их одну за другой. Угощаю по две на брата.

Вечер был мягкий, и, пообедав, они сидели на корме, пили кофе, курили сигары, с другого катера пришли двое бездельников с гитарой и банджо, а на причале собрались негры, и оттуда то и дело слышалось пение. В темноте на причале негры заводили какую-нибудь песню, и тогда ее подхватывал Фред Уилсон, у которого была гитара, а Фрэнк Харт тренькал на банджо. Томас Хадсон не умел петь, он сидел в темноте, откинувшись на спинку стула, и слушал.

На берегу у Бобби праздновали вовсю, и из открытой двери на воду падал яркий свет. Отлив все еще продолжался, и там, где вода была подсвечена, прыгала рыба. Все больше серые снепперы, подумал Том. Хватают пущенных на приманку рыбешек, которых относит от берега отливом. Несколько негритянских мальчишек сидели с лесками, и слышны были их разговоры, и негромкая брань, когда рыба срывалась с крючка, и шлепки выловленных снепперов о настил причала. Снепперы были крупные, а ребята ловили их на мякоть марлина, которого еще утром привезли на одном из катеров и уже взвесили, вздёрунули на крюк, сфотографировали и разделили на куски.

Слушать пение на причале собралась большая толпа, и Руперт Пиндер — огромный негр, который считал себя могучим бойцом и, по рассказам, как-то раз один дотащил на спине рояль с правительственного причала в старый клуб, который потом снесло ураганом, — крикнул:

— Капитан Джон, ребята говорят, у них во рту пересохло!

— Купи им чего-нибудь недорогого и полезного для здоровья.

— Слушаю, сэр, капитан Джон. Рому.

— Вот именно, — оказал Джон. — И бери сразу бутыль. Дешевле

встанет.

— Большое спасибо, капитан Джон, — сказал Руперт. Он пошел сквозь толпу, которая торопливо расступалась, давая ему дорогу, и снова смыкалась позади него. Томасу Хадсону было видно, что все они двинулись к кабачку Роя.

В эту минуту с одного из катеров, стоявших у причала Брауна, с шипением взмыла в небо ракета и с треском вспыхнула, осветив пролив. Вторая, шипя, взлетела вкось и вспыхнула как раз над ближним концом их причала.

— Ах ты, черт! — сказал Фред Уилсон. — Чего же мы-то не послали за ракетами в Майами!

Ночь то и дело освещали вспышки с треском разрывавшихся ракет. Руперт со своей свитой снова появился на причале, неся на плече большую оплетенную бутыль.

С одного из катеров тоже запустили ракету, и она взорвалась над самой пристанью, осветив толпу, темные лица, шеи, и руки, и плоское лицо Руперта, его широкие плечи, и могучую шею, и оплетенную сеткой бутыль, нежно и горделиво прижавшуюся к его голове.

— Кружек, — сказал он своей свите, бросив это слово через плечо. — Эмалированных кружек.

— Есть жестяные, Руперт, — сказал кто-то.

— Эмалированные кружки, — сказал Руперт. — Достаньте. Купите у Роя. Вот деньги.

— Фрэнк, давай нашу ракетницу, — сказал Фред Уилсон. — Расстреляем те патроны, что есть, а новые где-нибудь достанем.

Пока Руперт величественно ждал эмалированных кружек, кто-то принес кастрюлю, и Руперт налил в нее рому, и она пошла по кругу.

— За маленьких людишек! — сказал Руперт. — Пейте, скромные людишки.

Пение не умолкало, но пели без особенного склада. Заодно с запуском ракет на некоторых катерах палили из винтовок и пистолетов, а с причала Брауна стрекотал пистолет-пулемет, стрелявший трассирующими пулями. Сначала он дал две очереди из трех и четырех пуль, а потом выпустил целую обойму, перекинув над гаванью красивую арку из красных трассирующих пуль.

Фрэнк Харт прыгнул на корму с ракетницей в чехле и с пачкой патронов, и как раз в эту минуту подоспели кружки, и один из подручных Руперта стал разливать ром и подавать кружки всем по очереди.

— Боже, храни королеву, — сказал Фрэнк Харт, зарядил ракетницу и

послал сигнальный патрон вдоль причала прямо в открытые двери бара мистера Бобби. Патрон ударил в бетонную стену правее двери, взорвался и ярко вспыхнул на коралловой дороге, осветив все белым огнем.

— Легче, легче, — сказал Томас Хадсон. — Так можно людей обжечь.

— Катись ты со своим «легче», — сказал Фрэнк. — Посмотрим, удастся ли мне вдарить по комиссарскому дому.

— Смотрите, как бы не поджечь, — сказал ему Роджер.

— Я подожгу, я и за поджог буду платить, — сказал Фрэнк.

Ракета описала полукруг, но не долетела до большого белого дома, где жил английский правительственный комиссар, и ярко вспыхнула, упав у его веранды.

— Милый наш комиссар! — Фрэнк снова зарядил ракетницу. — Будешь знать, подлец, патриоты мы или нет.

— Легче, Фрэнк, легче, — останавливал его Том. — Не надо дебоширить.

— Сегодня моя ночка, — сказал Фрэнк. — Королевина и моя. Не мешай мне, Том, сейчас буду лупить по причалу Брауна.

— Там бензин, — сказал Роджер.

— Недолго он там простоит, — ответил ему Фрэнк.

Трудно было сказать, мажет ли он, чтобы подразнить Роджера и Томаса Хадсона, или просто не умеет стрелять. Ни Роджер, ни Томас Хадсон не могли определить это, но оба они знали, что из ракетницы попадать точно в цель нелегко. А на причале был бензин.

Фрэнк встал, старательно прицелился, вытянув левую руку вдоль туловища, как дуэлянт, и выстрелил. Ракета попала не туда, где стояли баки с бензином, а на противоположный конец и рикошетом отлетела в пролив.

— Эй, там! — крикнул кто-то с одного из катеров, стоявших на приколе у Брауна. — Какого черта балуетесь!

— Почти в самую точку, — сказал Фрэнк. — Теперь опять попробую по комиссару.

— А ну прекрати, — сказал ему Томас Хадсон.

— Руперт! — крикнул Фрэнк, не обращая внимания на Томаса Хадсона. — Дай выпить, а?

— Слушаю, сэр, капитан Фрэнк, — сказал Руперт. — Кружка у вас есть?

— Принеси кружку, — сказал Фрэнк Фреду, который стоял рядом и наблюдал за ним.

— Слушаю, сэр, мистер Фрэнк.

Фред соскочил вниз и вернулся с кружкой. Он так и сиял от волнения и удовольствия.

— Вы хотите поджечь комиссара, мистер Фрэнк?

— Если он загорится, — сказал Фрэнк.

Он подал кружку Руперту, и тот налил ее на три четверти и протянул ему.

— За королеву, храни ее бог! — Фрэнк выпил все до дна.

Надо же было хватить такую порцию рому, да еще одним духом!

— Храни ее бог! Храни ее бог, капитан Фрэнк! — торжественно проговорил Руперт, и остальные подхватили:

— Храни ее бог! И правда, храни ее бог!

— А теперь примемся за комиссара, — сказал Фрэнк. Он выстрелил из ракетницы прямо вверх, чуть по ветру. Ракетница была заряжена парашютным патроном, и ветер понес яркую, белую вспышку вниз, прямо над яхтой, стоявшей у них за кормой.

— Так вы в комиссара не попадете, — сказал Руперт. — Что же вы, капитан Фрэнк?

— Мне хотелось осветить эту прелестную сценку, — сказал Фрэнк. — С комиссаром торопиться некуда.

— Комиссар хорошо бы загорелся, капитан Фрэнк, — говорил ему Руперт. — Я не хочу вам подсказывать, но на острове уже два месяца не было дождя, и комиссарский дом сухой, как труха.

— А где констебль? — спросил Фрэнк.

— Констебль держится в стороне, — сказал Руперт. — Насчет констебля не беспокойтесь. Если отсюда кто выстрелит, ни одна душа этого не заметит.

— На причале все лягут ничком, и никто ничего, — слышался чей-то голос из задних рядов. — Ничего не слышали, ничего не видали.

— Я дам команду, — подстрекал его Руперт. — Все отвернутся. — И добавил, подбадривая: — Дом сухой, как трут.

— А ну, проверим, как это у тебя получится, — сказал Фрэнк.

Он снова зарядил ракетницу парашютным патроном и выстрелил вверх и по ветру. При ослепительной, падающей вниз вспышке было видно, как люди лежат на причале ничком или стоят на четвереньках, зажмурив глаза.

— Да хранит вас бог, капитан Фрэнк, — слышался из темноты низкий торжественный голос Руперта, как только вспышка погасла. — Да сподобит он вас по великой милости своей поджечь комиссара.

— А где его жена и дети? — спросил Фрэнк.

— Мы их вытащим. Не беспокойтесь, — сказал Руперт. — Без вины никто не страдает.

— Ну как, подождем комиссара? — Фрэнк повернулся к тем, кто был в кокпите.

— Да брось ты, ради бога, — сказал Томас Хадсон. — Что в самом деле!

— Я утром уезжаю, — сказал Фрэнк. — Так что с меня взятки гладки.

— Давайте спалим его, — сказал Фред Уилсон. — Местным, видно, это по душе.

— Спалите комиссара, капитан Фрэнк, — подзуживал его Руперт. — А вы как скажете, ребята? — обратился он к толпе.

— Спалите его. Спалите. Да сподобит вас господь поджечь его дом, — зашумели негры на причале.

— Есть такие, кто против? — спросил их Фрэнк.

— Спалите его, капитан Фрэнк. Никто ничего не видал. Никто ничего не слышал. Никто ничего не говорил. Спалите его.

— Надо малость попрактиковаться, — сказал Фрэнк.

— Если будешь его поджигать, проваливай с катера, — сказал Джонни.

Фрэнк посмотрел на него и покачал головой, но так, что ни Руперт, ни остальные на причале этого не заметили.

— Ну считайте, один пепел от него остался, — сказал он. — Налей мне еще, Руперт, чтобы я укрепился в своем решении.

Он протянул наверх свою кружку.

— Капитан Фрэнк, — Руперт нагнулся к нему, — это будет самое лучшее, что вы сделали в жизни.

Негры на причале затянули новую песню:

*Капитан Фрэнк в порту,
Значит, вечером будет потеха.*

Потом пауза и чуть выше:

*Капитан Фрэнк в порту,
Значит, вечером будет потеха.*

Вторую строку прогудели так, будто били в барабан. И дальше:

*Комиссар обозвал Руперта черномазым псом.
Капитан Фрэнк выстрелил из ракетницы,
И гори, губернатор, огнем.*

Потом снова перешли на ритмы Африки, которые четверо на катере слышали у негров — у тех, что тянули канат на паромах через реки, пересекающие дорогу к Момбасе, Малинди и Ламу. Негры дружно тянули канат и пели тут же сочиненные песни, описывая и высмеивая своих белых пассажиров.

*Капитан Фрэнк в порту,
Значит, вечером будет потеха,
Капитан Фрэнк в порту.*

Вызов, оскорбительный, отчаянный вызов звучал в минорной мелодии. Потом припев, гулкий, как рокот барабана:

Значит, вечером будет потеха.

— Вот видите, капитан Фрэнк? — подзуживал его Руперт, наклоняясь над кокпитом. — Вы еще ничем не отличились, а песню про вас уже поют.

— Я уже отличился, да еще как! — сказал Фрэнк Томасу Хадсону. Потом Руперту: — Пальну еще разок для тренировки.

— Тренировка — великое дело, — радостно проговорил Руперт.

— Капитан Фрэнк тренируется, как убивать, — сказал кто-то на причале.

— Капитан Фрэнк злее дикого кабана, — слышался другой голос.

— Капитан Фрэнк — настоящий мужчина.

— Руперт, — сказал Фрэнк, — налей-ка еще кружку. Это не для храбрости. Просто чтобы рука не подвела.

— Господь да направит вашу руку, капитан Фрэнк. — Руперт протянул ему кружку. — Пойте песню про капитана Фрэнка, ребята.

Фрэнк выпил все до дна.

— Последний тренировочный выстрел, — сказал он, пустил ракету, и она, пролетев над яхтой, стоявшей у них за кормой, ударилась об один из бензиновых баков на причале у Брауна и отлетела в воду.

— Сволочь ты эдакая, — тихо сказал ему Томас Хадсон.

— Молчи, ханжа, — сказал Томасу Хадсону Фрэнк. — Это был мой шедевр.

В эту минуту из каюты на яхте вышел на палубу мужчина в пижамных штанах без куртки и закричал:

— Эй вы, свиньи! Прекратите немедленно! Здесь на яхте дама из-за вас заснуть не может!

— Дама? — переспросил Уилсон.

— Да, черт вас дери, дама, — сказал человек в пижамных штанах. — Моя жена. Запускают тут ракеты, стервецы, мешают ей спать. Разве заснешь под такой грохот?

— А вы бы дали ей снотворного, — сказал Фрэнк. — Руперт, пошли кого-нибудь за снотворным.

— Что же вы делаете, полковник? — сказал Уилсон. — Вели бы себя, как полагается порядочному супругу. Вот ваша жена и заснула бы. Ей, наверно, приходится угнетать свои порывы. Наверно, она обманулась в своих ожиданиях. Моей жене психоаналитик всегда так говорит.

Фрэнк и Уилсон были отпетые ребята, и Фрэнк, конечно, был кругом неправ, но владелец яхты, весь день бушевавший у Бобби, взял сейчас совершенно неправильный тон. Джон, Роджер и Томас Хадсон не сказали ни слова. Зато те двое времени не теряли, и, как только яхтсмен выскочил на палубу с криком «свиньи», они взялись за дело дружно, точно партнеры по бейсболу.

— Свиньи поганые, — сказал яхтсмен. Словарь у него, видимо, не отличался богатством. Ему было лет тридцать пять — сорок, определить точнее было трудно, хотя он включил фонарь на палубе. Выглядел он лучше, чем ожидал Томас Хадсон, наслушавшись про него за день: наверно, успел выспаться. Тут Томас Хадсон вспомнил, что этот тип отсыпался еще у Бобби.

— Я бы посоветовал ей нембутал, — доверительным тоном сказал Фрэнк. — Если, конечно, у нее нет к нему аллергии.

— Не понимаю, почему она чувствует такую неудовлетворенность, — сказал Фред Уилсон. — В физическом смысле вы же прекрасный экземпляр. Вид у вас просто великолепный. Вы, наверно, гроза теннисного клуба. Такую форму сохраняете — во что вам это обходится? Погляди на него, Фрэнк. Ты видал когда-нибудь такую дорогостоящую верхушку у мужчины?

— А все-таки вы допустили ошибку, уважаемый, — сказал Фрэнк. — Не ту часть пижамы надели. Честно говоря, я впервые вижу, чтобы

мужчина щеголял в одних пижамных штанах. Вы и в постель так ложитесь?

— Не мешайте даме уснуть, трепачи паршивые, — сказал яхтсмен.

— Спустились бы вы лучше вниз, — сказал ему Фрэнк. — А то как бы вам не влипнуть тут в историю из-за ваших словечек. Кто за вами присмотрит, шофера-то при вас нет. Вас в школу всегда шофер возит?

— Он не школьник, Фрэнк, — сказал Фред Уилсон, откладывая в сторону гитару. — Он уже большой. Он бизнесмен. Что, ты не можешь распознать бизнесмена, который ворочает крупными делами?

— Ты бизнесмен, сынок? — спросил Фрэнк. — Тогда беги вниз в каюту, это самое лучшее для тебя дело. А торчать здесь, наверху, — это вообще не дело.

— Он прав, — сказал Фред Уилсон: — На нас ты не наживешься. Ступай лучше к себе в каюту. А к шуму, ничего, привыкнешь.

— Свиньи грязные, — сказал яхтсмен, переводя взгляд с одного на другого.

— Уноси свое роскошное тело в каюту, слышал? — сказал Уилсон, — А дама твоя уж как-нибудь заснет. Я в этом не сомневаюсь.

— Свиньи, — сказал яхтсмен. — Свиньи паршивые.

— А другого словечка ты не придумаешь? — сказал Фрэнк. — *Свиньи* начинают здорово надоедать. Ступай вниз, ступай, а то простудишься. Будь у меня столь роскошный торс, я бы не стал рисковать им в такой ветреный вечер.

Яхтсмен оглядел их всех, точно стараясь запомнить.

— Ты нас не позабудешь, — сказал ему Фрэнк. — А забудешь, так я сам тебе напомню при встрече.

— Падаль, — сказал яхтсмен, повернулся и ушел вниз.

— Кто он такой? — спросил Джонни Гуднер. — Я будто видел его где-то.

— Я его знаю, и он меня знает, — сказал Фрэнк. — Дрянь человек.

— А кто он такой, ты не помнишь? — спросил Джонни.

— Он барахло, — сказал Франк. — Какая разница, кто он, что он, если это барахло.

— Пожалуй, никакой, — сказал Томас Хадсон. — Но вы оба уж очень на него навалились.

— А с барахлом так и надо. Наваливайся на него. Но мы не так уж грубо с ним обошлись.

— Свою антипатию вы от него, по-моему, не скрыли, — сказал Томас Хадсон.

— Я слышал собачий лай, — сказал Роджер. — Ракеты, наверно, напугали его собаку. Хватит этих ракет. Я знаю, вы развлекаетесь, Фрэнк. Вам везет, что никакой беды вы не натворили. Но зачем пугать несчастную собачонку?

— Это его жена лаяла, — весело сказал Фрэнк. — Давайте пальцем ему в каюту и осветим семейную сценку.

— Я отсюда ухожу, — сказал Роджер. — Мне ваши шутки не нравятся. По-моему, всякие выкрутасы с автомобилями — это не смешно. По-моему, когда самолет ведет пьяный летчик — это не смешно. По-моему, пугать собак тоже не смешно.

— А вас тут никто не держит, — сказал Фрэнк. — Вы последнее время всем в печенку въелись.

— Вот как?

— Конечно. Вы с Томом оба стали ханжами. Портите всякое веселье. Исправились, видите ли. Раньше сами не дураки были повеселиться. А теперь никто не смей. Сознательные, видите ли, стали.

— Значит, это сознательность во мне заговорила, если я не хочу, чтоб подожгли причал Брауна?

— Конечно. Она и так может проявиться. А у вас ее хоть отбавляй. Слышал я, что вы там вытворяли в Калифорнии.

— Знаешь что, взял бы ты свой пистолет и пошел бы куда-нибудь в другое место развлекаться, — сказал Фрэнку Джонни Гуднер. — Нам было весело, пока ты не начал безобразничать.

— Значит, ты тоже такой, — сказал Фрэнк.

— А нельзя ли все-таки полегче? — предостерег его Роджер.

— Я здесь единственный, кто еще умеет веселиться, — сказал Фрэнк. — А вы все переростки, религиозные психи, лицемеры, благотворители...

— Капитан Фрэнк! — Руперт наклонился над бортом причала.

— Руперт мой единственный друг. — Фрэнк поднял голову. — Да, Руперт?

— Капитан Фрэнк, а как же с комиссаром?

— Мы подожжем его, Руперт, подожжем, дружок.

— Дай бог вам здоровья, капитан Фрэнк, — сказал Руперт. — Рому не хотите?

— Мне и так хорошо, — сказал ему Фрэнк. — Ну, ложись!

— Ложись! — скомандовал Руперт. — Лицом вниз!

Фрэнк выстрелил над бортом причала, и ракета вспыхнула на усыпанной гравием дорожке почти у самой веранды комиссарского дома и сгорела там. Негры на причале охнули.

— Вот дьявол! — сказал Руперт. — Самую малость не попали. Не повезло. Еще раз, капитан Фрэнк.

В кокпите яхты, стоявшей у них за кормой, загорелся фонарь, и ее хозяин снова вышел из каюты. На сей раз он явился в белой рубашке, белых парусиновых брюках и в спортивных туфлях. Волосы у него были гладко причесаны, а лицо красное, в белых пятнах. Ближе всех, спиной к нему, стоял на корме Джон, а за ним с мрачным видом сидел Роджер. Между обоими судами было фута три воды; яхтсмен вышел на палубу и уставил палец на Роджера.

— Паскуда, — сказал он. — Вонючая, грязная паскуда.

Роджер поднял голову и удивленно взглянул на него.

— Вы, наверно, имеете в виду меня? — крикнул ему Фрэнк. — Тогда свинья, а не паскуда.

Яхтсмен не обратил на него внимания и снова набросился на Роджера.

— Паскуда толстомордая. — Он почти задыхался. — Жулик. Шарлатан. Жулик подзаборный. Паршивый писатель и дерьмовый художник.

— Что это вы? Кому вы все это говорите? — Роджер встал.

— Тебе. Тебе, паскуда. Тебе, шарлатан. Тебе, трус. Ах ты, паскуда. Паскуда грязная.

— Вы сошли с ума, — спокойно сказал Роджер.

— Паскуда! — Яхтсмен кричал через три фута воды, отделявшие одно судно от другого, будто дразня зверей в современном зоопарке, где их отгораживают от зрителей не решетки, а рвы. — Жулик.

— Это он про меня, — радостно сказал Фрэнк. — Вы разве со мной не знакомы? Я же свинья.

— Нет, про него. — Яхтсмен показал пальцем на Роджера: — Жулик.

— Слушайте, — сказал ему Роджер. — Вы же это не для меня говорите. Вы сыплете руганью только затем, чтобы потом повторить в Нью-Йорке все, что вы мне тут наговорили.

Это было сказано разумно, сдержанно, точно он на самом деле хотел, чтобы этот человек понял его и замолчал.

— Паскуда! — крикнул яхтсмен, все больше и больше распаляясь и вгоняя себя в истерику, ради которой он и оделся. — Грязная, вонючая паскуда!

— Вы это не для меня говорите, — еще спокойнее повторил Роджер, и Томас Хадсон понял, что дальнейшее у него уже решено. — Советую вам замолчать. А если хотите поговорить со мной, поднимитесь на причал.

Роджер пошел к причалу, и, против всех ожиданий, яхтсмен тоже

полез туда как миленький. Правда, ему понадобилось прежде взвинтить себя, довести себя до точки. Негры подались назад, а потом окружили их кольцом, оставив им достаточно места для драки.

Томасу Хадсону было непонятно, на что рассчитывал этот человек, поднимаясь на причал. Они не обменялись ни словом, вокруг виднелись одни черные лица, и он развернулся в свинге, а Роджер ударил его по зубам левой, и на губах яхтсмена выступила кровь. Он снова развернулся, и Роджер ответил сильным двойным хуком по правому глазу. Он сделал захват, и Роджер правой дал ему кулаком в живот с такой силой, что порвал свой свитер, а потом, оттолкнув, съездил его по лицу тыльной стороной открытой левой.

Негры наблюдали за дракой молча. Они держали их обоих в кольце, оставив им достаточно места для схватки. Кто-то включил на причале фонарь (наверно, Фред — бой Джонни, подумал Том), и все было хорошо видно.

Роджер кинулся на противника и сделал три быстрых хука по голове. Яхтсмен снова сделал захват, свитер на Роджере разорвался еще в другом месте, когда он оттолкнул противника и дал ему два раза по зубам.

— Хватит левой! — заорал Фрэнк. — Правой давай, правой! Врежь ему, стервецу!

— Имеете что-нибудь сообщить мне? — сказал Роджер и ударил его хуком по зубам.

Изо рта у яхтсмена хлестала кровь, вся правая сторона лица вспухла, правый глаз почти закрылся.

Яхтсмен вцепился в Роджера, и Роджер захватил его и не дал ему упасть. Дышал он тяжело и не говорил ни слова. Роджер держал его за локти, и Том видел, как он потирает ему изнутри большими пальцами сухожилия между бицепсами и предплечьем.

— Не хлещи на меня своей кровью, сволочь! — сказал Роджер и, размахнувшись левой, отогнул ему голову назад и снова ударил тыльной стороной руки по лицу. — Заказывай себе новый нос, — сказал он.

— Врежь ему, Роджер, врежь ему! — умолял его Фрэнк.

— Ты, болван, не видишь, что он делает! — сказал Фред Уилсон. — Изничтожает человека.

Яхтсмен вцепился в Роджера, но Роджер оттолкнул его.

— Ну, бей! — сказал он. — Что же ты? Бей!

Яхтсмен ударил его длинным боковым, но Роджер сделал нырок и вошел с ним в клинч.

— Тебя как зовут? — спросил он.

Яхтсмен ничего не ответил. Он только тяжело переводил дух, точно умирал от приступа астмы.

Роджер снова схватил его за локти.

— А ты, подлец, сильный, — сказал он. — Но кто тебе говорил, что ты умеешь драться?

Яхтсмен сделал слабый замах, и Роджер сгреб его, рванул на себя, крутнул разок и дважды ударил правым кулаком по уху.

— Ну как, постиг, что нельзя приставать к людям? — спросил он.

— Посмотрите на его ухо, — сказал Руперт. — Как виноградная гроздь.

Роджер снова держал яхтсмена за локти, нажимая с внутренней стороны на сухожилия ниже бицепсов. Томас Хадсон следил за выражением лица яхтсмена. Вначале оно испуга не выражало, просто было подлое, как у свиньи, как у подлейшего кабана. Но теперь он был перепуган насмерть. Ему, наверно, не приходилось слышать, что бывают драки, которые никто не останавливает. А может, в мозгу у него шевельнулось воспоминание о прочитанном где-то, когда упавшего затаптывают ногами. Он все еще пытался драться. Каждый раз, когда Роджер говорил ему: «Ну, бей!» — или отталкивал от себя, он пытался ударить его. Сдаваться он не хотел.

Роджер снова оттолкнул его прочь. Он стоял, не сводя с Роджера глаз. Как только Роджер разжимал свою хватку, которая делала этого человека совершенно беспомощным, страх его немного ослабевал и возвращалась подлость. Он стоял перепуганный, избитый — лицо изуродовано, губы в крови, а ухо — как перезрелая фи́га, потому что мелкие кровоизлияния в нем слились под кожей в большую гематому. И пока он стоял так, не чувствуя на себе рук Роджера, страх его ослабевал, а вместо страха накапливалась неистребимая подлость.

— Ну, что скажете? — спросил Роджер.

— Паскуда, — сказал он. И, сказав, прижал подбородок к груди, поднял стиснутые кулаки и стал боком к Роджеру, похожий на мальчишку, чье упрямство трудно переломить.

— Ну держись! — крикнул Руперт. — Ну, теперь будет по всем правилам.

Но то, что за этим последовало, не было ни особенно эффектным, ни особенно поучительным. Роджер быстро шагнул к своему противнику, поднял левое плечо и, замахнувшись правым кулаком снизу, ударил его справа по голове. Яхтсмен упал на четвереньки и уткнулся в настил лбом. Постоял так с минуту, упираясь лбом в доски настила, и потом мягко

повалился на бок. Роджер посмотрел на него, подошел к краю причала и спрыгнул на катер.

Матросы понесли хозяина домой. Они не вмешивались в то, что происходило на причале, просто подошли туда, где он лежал на боку, подняли и понесли провисавшее у них на руках тело. Кто-то из негров помог им спустить его с причала и внести в каюту. Тело внесли, и дверь за ним затворилась.

— Надо бы вызвать врача, — сказал Томас Хадсон.

— Он не очень сильно стукнулся, когда рухнул, — сказал Роджер. — Я беспокоился за причал.

— Последний удар по уху не пойдет ему на пользу, — сказал Джонни Гуднер.

— Физиономию вы ему загубили, — сказал Фрэнк. — А уж ухо! Первый раз вижу, чтобы ухо так разнесло. Сначала оно было как виноградная гроздь, а потом стало как апельсин.

— Голые руки — вещь опасная, — сказал Роджер. — Люди понятия не имеют, что ими можно натворить. В глаза бы мне не видать этого типа.

— Теперь, если встретитесь с ним, сразу его узнаете.

— Надеюсь, он очухается, — сказал Роджер.

— Драку вы провели просто блистательно, мистер Роджер, — сказал Фред.

— Ну ее к черту, эту драку, — сказал Роджер. — И кому она была нужна?

— Он сам во всем виноват, — сказал Фред.

— Бросьте огорчаться, — сказал Роджеру Фрэнк. — Я этих битых много перевидал. Ничего ему не сделается.

Негры расходились с причала, толкуя между собой о драке. Их смутил вид этого белого человека, когда его уносили на яхту, и вся их бравада насчет поджога комиссарского дома понемногу испарилась.

— Всего вам хорошего, капитан Фрэнк, — сказал Руперт.

— Уходишь, Руперт? — спросил его Фрэнк.

— Да, мы хотим заглянуть к мистеру Бобби, посмотрим, что там делается.

— Всего хорошего, Руперт, — сказал Роджер. — До завтра.

Роджер сидел мрачный, левая рука у него распухла и стала величиной с грейпфрут. Правую тоже разнесло, но не так сильно. Больше ничто не говорило о том, что он участвовал в драке, разве только оторванный ворот свитера, болтавшийся на груди. Один удар пришелся ему по голове, и на лбу вскочила небольшая шишка. Джон смазал ему ободранные,

кровоточащие костяшки пальцев меркурохромом. Роджер даже не посмотрел на свои руки.

— Пошли к Бобби, поглядим, может, там идет веселье, — сказал Фрэнк.

— Вы не огорчайтесь, Родж, — сказал Фред Уилсон и взобрался на причал. — Только сосунки огорчаются.

Они зашагали по причалу — один с гитарой, другой с банджо — и пошли прямо на огни и пение, доносившееся из открытых дверей «Понсе-де-Леон».

— Славный малый Фредди, — сказал Джонни Томасу Хадсону.

— Он всегда был славным малым, — сказал Томас Хадсон. — Но в паре с Фрэнком ему быть вредно.

Роджер молчал, и Томасу Хадсону было беспокойно за него — за него и за многое другое.

— Может, пора домой? — сказал ему Томас Хадсон.

— У меня все еще кошки на сердце скребут из-за этого типа, — сказал Роджер.

Он сидел спиной к корме и правой рукой держал левую.

— Пусть больше не скребут, — вполголоса сказал Джон. — Он уже на ногах.

— Да-а?

— Вон вышел, да еще с ружьем.

— Ой, худо мне будет! — сказал Роджер. Но голос у него был веселый. Он сидел спиной к корме и даже не оглянулся.

Яхтсмен вышел на корму, на сей раз в пижамных штанах и в куртке, но прежде всего бросалось в глаза ружье. Уже после ружья Томас Хадсон перевел взгляд на лицо, а лицо было страшное. Кто-то обработал его, на щеках были полоски пластыря, марли и мазки меркурохрома. Только с ухом ничего не сделали. От боли до него, наверно, и дотронуться нельзя, подумал Томас Хадсон, и оно торчит жесткое, раздутое и выделяется теперь больше всего. Они молчали, и он тоже молчал, повернув к ним свою изуродованную физиономию и сжимая в руках ружье. Глаза у него так затекли, что он, должно быть, почти ничего не видел. Все молчали.

Роджер медленно повернул голову, увидел его и бросил через плечо:

— Идите поставьте ружье на место и ложитесь спать.

Он все стоял с ружьем в руках. Его распухшие губы шевельнулись, но он не мог выговорить ни слова.

— Выстрелить человеку в спину — на это подлости у вас хватит, только кишка тонка, — спокойно бросил через плечо Роджер. — Идите

поставьте ружье на место и ложитесь спать.

Роджер сидел все так же спиной к нему. И вдруг он решился на выходку, которая Томасу Хадсону показалась отчаянной.

— Вам не кажется, что этот тип напоминает леди Макбет, когда она выходит из своей опочивальни в ночной сорочке? — сказал он, обращаясь к остальным, кто был с ним на корме.

Томас Хадсон замер в ожидании. Но ничего не случилось, и, постояв еще немного, яхтсмен повернулся и ушел в каюту, унося с собой ружье.

— Вот теперь я вздохну свободно, — сказал Роджер. — Я чувствовал, как пот катится у меня из-под мышек прямо к ногам. Пошли домой, Том. Он очухался.

— Не очень-то он очухался, — сказал Джонни.

— Хватит с него, — сказал Роджер. — Тоже называется — человек.

— Пошли, Роджер, — сказал Томас Хадсон. — Пойдем, побудешь у меня.

— Ладно.

Они простились с Джоном и пошли по Королевскому шоссе к дому. Кругом все еще праздновали день рождения королевы.

— Хочешь, зайдем в «Понсе-де-Леон»? — спросил Томас Хадсон.

— Ой, нет, — сказал Роджер.

— Я хотел сказать Фредди, что этот тип очухался.

— Ну и скажи. А я пойду к тебе.

Когда Томас Хадсон вернулся домой, Роджер ничком лежал на кровати в дальнем конце крытой веранды, обращенном в глубь острова. Было совсем темно, и праздничный шум еле доносился сюда из бара.

— Спишь? — спросил Томас Хадсон.

— Нет.

— Выпить хочешь?

— Да нет, пожалуй. Спасибо.

— Как рука?

— Распухла и болит. Но это пустяки.

— Тебе снова не по себе?

— Да. Накатило, да как!

— Завтра утром приедут ребята.

— Вот и хорошо.

— Ты правда не хочешь выпить?

— Нет, дружок. А ты пей.

— Я, пожалуй, хлебну виски на сон грядущий.

Томас Хадсон подошел к холодильнику, приготовил себе стакан виски

с содовой, вернулся на веранду и сел там в темноте рядом с Роджером, лежавшим на кровати.

— Сколько же всякой сволочи гуляет по белу свету, — сказал Роджер.
— Этот тип — порядочная дрянь, Том.

— Ты его кое-чему научил.

— Нет. Вряд ли. Я осрамил его и немножечко подпортил. Но он отыграется на ком-нибудь другом.

— Он сам напросился на драку.

— Конечно. Но я не довел дела до конца.

— Ты его только что не убил.

— Вот об этом я и говорю. Он теперь еще подлее будет.

— А может, ты его все-таки проучил, дал ему хороший урок?

— Нет. Вряд ли. То же самое было и в Калифорнии.

— А что там случилось? Ты мне так ничего и не рассказал.

— Была драка вроде сегодняшней.

— С кем?

Роджер назвал имя человека, занимавшего высокий пост в том, что именуется индустрией.

— Я не имел ни малейшего желания связываться с ним, — сказал он.
— Это случилось в доме, где у меня возникли некоторые осложнения с женщиной, и, собственно говоря, мне там быть не полагалось. Весь вечер этот субъект донимал, и донимал, и донимал меня — куда хуже, чем это было сегодня. Наконец терпение мое лопнуло, и я дал ему, дал как следует, ни на что не глядя, и он неловко ударился головой о мраморные ступеньки бассейна. На беду, бассейн был рядом. В себя он пришел к началу третьего дня в «Ливанских кедрах», так что убийцей я не стал. Но у них все было на мази. Таких свидетелей вымуштровали, что, если б осудили за непреднамеренное убийство, считалось бы, что я легко отделался.

— Ну а дальше?

— А дальше, когда он смог вернуться к делам, мне такое обвинение припаяли, только держись. На все сто. Дальше некуда.

— В чем же тебя обвинили?

— Во всем. Пачками сыпали.

— Не хочешь мне сказать?

— Нет. Тебе это ни к чему. Поверь мне на слово, что это было подстроено. Такое на меня возвели, что люди и не заговаривают со мной об этом. Ты разве не заметил?

— Пожалуй.

— Поэтому я и скис после сегодняшней драки. Всякая дрянь гуляет на

белом свете. Отпетые мерзавцы. Бить их — это еще ничего не решает. Отчасти потому они и провоцируют нас. — Он повернулся на кровати и лег навзничь. — Знаешь, Томми, зло — страшная вещь. И оно изощряется, как дьявол. А ведь в старину были какие-то понятия о добре и зле.

— Пожалуй, мало кто отнесет твои деяния в рубрику абсолютного добра, — сказал ему Томас Хадсон.

— Конечно. Да я и не претендую на это. Хотя мне жаль, что я такой. Борьба со злом не делает человека поборником добра. Сегодня я боролся с ним, а потом сам поддался злу. Оно поднималось во мне, как прилив.

— Всякая драка — мерзость.

— Знаю. Ну а как быть?

— Раз уж начал — побеждай.

— Правильно. Но мне стоило начать, и я сразу увлекся.

— Ты увлекся бы еще больше, если бы он действительно дрался.

— Надеюсь, — сказал Роджер. — Хотя кто его знает. Мне хочется уничтожить всю эту мерзость. Но если увлекаешься, значит, сам недалеко ушел от тех, с кем дерешься.

— Он — омерзительный тип, — сказал Томас Хадсон.

— Не омерзительнее, чем тот, в Калифорнии. Вся беда в том, что их слишком уж много. Они всюду, в каждой стране, Томми, и все больше и больше забирают власть. Мы живем в плохие времена, Томми.

— Когда они были хорошими?

— Были дни, когда нам с тобой жилось хорошо.

— Правильно. Нам хорошо жилось в разных хороших местах. Но времена-то были плохие.

— Я этого не понимал, — сказал Роджер. — Люди говорили, что времена хорошие, а потом от этих людей дым пошел. У всех тогда были деньги, а у меня не было. Потом и у меня завелись, а дела стали дрянь. Но все-таки тогда люди не казались такими подлецами и мерзавцами.

— Ты тоже знаешься с порядочной дрянью.

— Попадаются и хорошие люди.

— Таких немного.

— Но есть. Ты всех моих друзей не знаешь.

— Ты водишься со всякой шантрапой.

— А чьи там сегодня были друзья? Твои или мои?

— Наши общие. Они не так уж плохи. Ничтожества, но не зlostные.

— Да, — сказал Роджер. — Не зlostные. Фрэнк — дрянцо. Порядочное дрянцо. Впрочем, зlostным я его не считаю. Но теперь я на многое смотрю иначе. А они с Фредом что-то очень уж быстро стали

зловредными.

— Я отличаю добро от зла. И не говорю, что все это непонятно и не моего ума дело.

— А я с добром не очень знаком. У меня с ним никогда не получалось. Зло — это по моей части. Зло я сразу могу опознать.

— Скверно сегодня получилось. Жаль.

— Просто на меня хандра нашла.

— Ну как, спать? Спи здесь.

— Спасибо. Если можно, здесь и лягу. Но сначала я посижу в библиотеке, почитаю немножко. Где у тебя те австралийские рассказы, я в последний свой приезд их здесь видал.

— Генри Лоусон?

— Да.

— Сейчас разыщу.

Томас Хадсон лег спать, и, когда он проснулся среди ночи, свет в библиотеке все еще горел.

V

Когда Томас Хадсон проснулся, с востока дул легкий бриз и песок на пляже казался белым, как кость, под ярко-голубым небом, и маленькие облачка, бежавшие высоко вместе с ветром, отбрасывали на зеленую воду темные движущиеся пятна. Флюгер поворачивался на ветру, и утро было чудесное, пронизывавшее свежестью.

Роджер уже ушел, и Томас Хадсон позавтракал один и прочитал мэрилендскую газету, доставленную накануне. Он отложил ее с вечера, не читая, с тем чтобы просмотреть за завтраком.

— Когда мальчишки приедут? — спросил Джозеф.

— Часов в двенадцать.

— Значит, к ленчу будут?

— Да.

— Я пришел, а мистера Роджера уже не было, — сказал Джозеф. — Он не завтракал.

— Может, к ленчу придет.

— Бой сказал, он вышел на веслах в море.

Кончив завтракать и прочитав газету, Томас Хадсон перешел на

веранду, обращенную к морю, и принялся за работу. Работалось ему отлично, и он уже кончал, когда услышал шаги Роджера.

— Хорошо получается, — сказал Роджер, заглянув ему через плечо.

— Еще неизвестно.

— Где ты видал такие смерчи?

— Таких никогда не видал. Это я пишу на заказ. Как твоя рука?

— Припухлость еще есть.

Роджер следил за его кистью, а он не оглядывался.

— Кабы не рука, все это будто приснилось в дурном сне.

— Да, сон был дурной.

— Как ты думаешь, этот тип всерьез вышел с ружьем?

— Не знаю, — сказал Томас Хадсон. — И знать не хочу.

— Виноват, — сказал Роджер. — Мне уйти?

— Нет. Посиди здесь. Я сейчас кончу. Я не буду обращать на тебя внимания.

— Они ушли на рассвете, — сказал Роджер. — Я видел, как они ушли.

— А что ты там делал в такой час?

— Я кончил читать, а заснуть не мог, и вообще собственное общество не доставляет мне удовольствия. Решил пройтись до причала и посидел там с ребятами. «Понсе» так и не закрывалось на ночь. Я видел Джозефа.

— Джозеф говорил, что ты ушел в море на веслах.

— Греб правой. Пробовал разработать ее. И ничего, помогло. Теперь боли совсем нет.

— Вот. На сегодня, пожалуй, хватит, — сказал Томас Хадсон и стал промывать кисти и прибирать свое хозяйство. — Мальчики, наверно, сейчас вылетают. — Он посмотрел на часы. — А что, если мы пропустим на скорую руку?

— Прекрасно. Мне это весьма кстати.

— Двенадцати еще нет.

— А какая разница? Ты работать кончил, я на отдыхе. Но если у тебя такое правило, давай подождем до двенадцати.

— Ладно.

— Я тоже придерживался такого правила. Но иной раз утром, когда выпил бы и сразу ожил, хуже таких запретов ничего нет.

— Давай нарушим это правило, — сказал Томас Хадсон. — Перед встречей с ними я всегда здорово волнуюсь, — пояснил он.

— Знаю.

— Джо! — крикнул Томас Хадсон. — Принеси шейкер и что нужно для мартини.

— Слушаю, сэр. У меня уже все готово.
— Что это ты спозаранку? Мы, по-твоему, пропойцы, что ли?
— Нет, сэр, мистер Роджер. Просто я сообразил, для чего вы пустой желудок бережете.
— За нас и за мальчиков, — сказал Роджер.
— В этом году они у меня повеселятся. И ты оставайся с нами. Будут они тебе действовать на нервы, уйдешь в свою рыбацкую хижину.
— Что ж, поживу здесь, если тебе это не мешает.
— Ты мне никогда не мешаешь.
— С ними будет хорошо.

И с ними действительно было хорошо. Эти славные ребята жили в доме уже неделю. Лов тунца кончился, судов в гавани осталось мало, и жизнь снова текла медленно и спокойно, и погода была, как всегда в начале лета.

Мальчики спали на койках на застекленной веранде, и человеку не так одиноко спать, когда, просыпаясь среди ночи, он слышит детское дыхание. С отмени дул ветер, и ночи стояли прохладные, а когда ветер стихал, прохлада приходила с моря.

Первое время мальчики держались немного скованно и были гораздо аккуратнее, чем потом. Впрочем, особой аккуратности не требовалось, лишь бы смахивали песок с ног при входе в дом, вешали снаружи мокрые шорты и надевали сухие. Утром, стеля постели, Джозеф проветривал их пижамы, вешал их на солнце, а потом складывал и убирал, и разбрасывать оставалось только рубашки и свитеры, которые они надевали по вечерам. Во всяком случае, теоретически было так. А на деле все их снаряжение валялось где придется. Томаса Хадсона это не раздражало. Когда человек живет в доме один, у него появляются очень строгие привычки, и соблюдать их ему только в удовольствие. Но если кое-что из заведенного порядка нарушается, это даже приятно. Он знал, что привычки снова вернутся к нему, когда мальчики уедут.

Сидя за работой на веранде, выходящей к морю, он видел, что большой его сын, средний и маленький лежат на пляже с Роджером. Они разговаривали, копались в песке и спорили, но о чем, ему не было слышно.

Старший мальчик был длинный и смуглый, шея, плечи и длинные ноги пловца и большие ступни, как у Томаса Хадсона. Лицом он смахивал на индейца, и был он веселого нрава, хотя в покое лицо у него принимало почти трагическое выражение.

Томас Хадсон однажды посмотрел на сына, когда тот сидел грустный,

и спросил: «О чем ты думаешь, дружок?»

«О наживке», — ответил мальчик, и лицо у него сразу осветилось. Глаза и рот — вот что в минуты задумчивости придавало трагическое выражение его лицу, но стоило ему заговорить, и лицо сразу оживало.

Средний сын напоминал Томасу Хадсону бобренка. Волосы у него были того же оттенка, что и бобровый мех, и на ощупь такие же, как у водяного зверька, и загорал он весь с ног до головы необычным, темно-золотистым загаром. Он всегда напоминал отцу звереныша, который живет сам по себе, здоровой и отзывчивой на шутку жизнью. Бобры и медведи очень любят шутить, а уж кто больше похож на человека, чем медведь. Этот мальчик никогда не будет по-медвежьи сильным и широким в плечах, и он никогда не будет спортсменом и не хочет им быть, но в нем есть чудесные свойства мелкого зверька, и голова у него работает хорошо, и жизнь налажена своя собственная. Он привязчивый и наделен чувством справедливости, и быть рядом с ним интересно. К тому же он всегда во всем сомневается, как истинный картезианец, и любит яростно спорить и поддразнивать умеет хорошо и беззлобно, хотя иной раз и перебарщивает. У него были и другие качества, о которых никто не знал, и двое других мальчиков питали к нему огромное уважение, хотя и поддразнивали его и разносили в пух и прах, если только удавалось нащупать уязвимое место. Как водится, они ссорились между собой и довольно ядовито дразнили друг друга, но воспитаны были хорошо и к взрослым относились уважительно.

Младший мальчик был светлый, а сложением — настоящий карманный крейсер. Физически он в точности повторял Томаса Хадсона, только в меньшем масштабе, короче и шире. Загорая, он покрывался веснушками, лицо у него было насмешливое, и вредным старикашкой он был с рождения. Но не только старикашкой, а также и чертенком. Он любил задевать своих старших братьев — была в его натуре темная сторона, которую никто, кроме Томаса Хадсона, не мог понять. Ни отец, ни сын об этом не задумывались, но они различали друг в друге эту особенность, знали, что это плохо, и отец относился к ней всерьез и понимал, откуда это у сына. Они были очень близки между собой, хотя Томас Хадсон жил с ним под одной крышей меньше, чем с остальными детьми. Этот младший мальчик, Эндрю, был отличный спортсмен — настоящий вундеркинд — и с первого же своего выезда обходился с лошадьми, как заправский лошадиник. Братья гордились им, но задаваться ему не позволяли. В подвиги этого мальчугана трудно было поверить, однако его видели в седле, видели, как он берет препятствия, и чувствовали

в нем холодную профессиональную скромность. Он родился каверзным мальчишкой, а казался очень хорошим, и свою каверзность подменял чем-то вроде задиристой веселости. И все-таки по натуре он был дурной мальчик, и все знали это, и он сам знал. Он просто по-хорошему держался, пока дурное зрело в нем.

Они лежали на песке вчетвером под обращенной к морю верандой: справа от Роджера — старший сын, Том-младший, по другую сторону — самый маленький, Эндрю, а средний, Дэвид, вытянулся на спине, с закрытыми глазами, рядом с Томом. Томас Хадсон промыл кисти и спустился к ним.

— Привет, папа, — сказал старший мальчик. — Ну как тебе работалось — хорошо?

— Папа, ты пойдешь купаться? — спросил средний.

— Вода что надо, папа, — сказал самый младший.

— Здравствуйте, папаша, — с улыбкой сказал Роджер. — Ну, как ваши малярные дела, мистер Хадсон?

— С малярными делами на сегодня покончено, джентльмены.

— Вот здорово! — сказал средний мальчик, Дэвид. — Поедем на подводную охоту?

— Поедем, но после ленча.

— Чудесно! — сказал старший.

— А если будет большая волна? — спросил младший, Эндрю.

— Для тебя, может, и большая, — сказал ему старший брат, Том.

— Нет, Томми, для всех.

— Когда море беспокойное, рыба забивается между камнями, — сказал Дэвид. — Бойтся большой волны не меньше нас. У них, наверно, и морская болезнь бывает. Папа, бывает у рыбы морская болезнь?

— Конечно, — сказал Томас Хадсон. — В большую волну груперы заболевают морской болезнью в садках на шхунах идохнут.

— Что я тебе говорил? — сказал Дэвид старшему брату.

— Заболевают идохнут, — сказал Том-младший. — Но откуда известно, что это от морской болезни?

— Морской болезнью они, по-моему, в самом деле болеют, — сказал Томас Хадсон. — Но вот не знаю, мучает она их или нет, когда они плавают свободно.

— Но, папа, ведь среди рифов рыба тоже не может свободно плавать, — сказал Дэвид. — У них там разные ямы и норы, куда они прячутся. А в ямы они забиваются, потому что боятся крупной рыбы, и бьет их там не меньше, чем в садке на шхуне.

— Ну, все-таки не так сильно, — возразил ему Том-младший.

— Может, и не так сильно, — рассудительно подтвердил Дэвид.

— Но все-таки, — сказал Эндрю. И прошептал отцу: — Если они еще проспорят, мы никуда не поедem.

— А ты разве не любишь плавать в маске?

— Ужасно люблю, только боюсь.

— Чего же ты боишься?

— Под водой все страшно. Как только сделаю выдох, так мне становится страшно. Томми плавает замечательно, но под водой ему тоже страшно. Под водой из нас только Дэвид ничего не боится.

— Мне сколько раз было страшно, — сказал ему Томас Хадсон.

— Правда?

— По-моему, все боятся.

— Дэвид не боится. Где бы ни плавал. Зато теперь Дэвид боится лошадей, потому что они столько раз его сбрасывали.

— Эй ты, сопляк! — Дэвид слышал, что он говорил. — Почему меня лошади сбрасывали?

— Не знаю. Это столько раз было, я всего не помню.

— Так вот слушай. Я-то знаю, почему меня сбрасывали. В прошлом году я ездил на Красотке, а она ухитрилась так раздуть брюхо, когда ей затягивали подпругу, что потом седло сползло на бок вместе со мной.

— А у меня с ней таких неприятностей никогда не было, — съязвил Эндрю.

— У-у, сатана! — сказал Дэвид. — Она, конечно, полюбила тебя, как все тебя любят. Может, ее надоумили, кто ты такой.

— Я вслух ей читал, что про меня пишут в газетах, — сказал Эндрю.

— Ну, тогда она, наверно, брала с места в карьер, — сказал Томас Хадсон. — Вся беда в том, что Дэвид сразу сел на ту старую запаленную лошадь. Ее у нас подлечили, а скакать ей было негде, по пересеченной местности не очень-то поскачешь.

— А я, папа, не хваюсь, что усидел бы на ней, — сказал Эндрю.

— Еще бы ты хвалился, — сказал Дэвид. Потом: — А черт тебя знает, может, и усидел бы. Конечно, усидел бы. Знаешь, Энди, как она ходила под седлом первое время! А потом я стал бояться. Боялся, как бы не напороться на луку.

— Папа, а мы поедem на подводную охоту? — спросил Эндрю.

— В большую волну не поедem.

— А кто будет решать — большая или не большая?

— Я буду решать.

— Ладно, — сказал Энди. — По-моему, волна очень большая. Папа, а Красотка все еще у тебя на ранчо? — спросил он.

— Наверно, — сказал Томас Хадсон. — Я ведь сдал ранчо в аренду.

— Сдал в аренду?

— Да. В конце прошлого года.

— Но нам можно будет туда поехать? — быстро спросил Дэвид.

— Ну, конечно. Там же есть большая хижина на берегу реки.

— Нигде мне так хорошо не было, как на твоём ранчо, — сказал Энди.
— Конечно, не считая здешних мест.

— Насколько я помню, тебе больше всего нравилось в Рочестере, — поддел его Дэвид. В Рочестере Энди оставляли с нянькой на летние месяцы, когда остальные мальчики уезжали на Запад.

— Правильно. В Рочестере было замечательно.

— А помнишь, Дэви, мы вернулись домой той осенью, когда убили трех медведей, и ты стал ему рассказывать про это, и что он тебе ответил? — спросил Томас Хадсон.

— Нет, папа, такие давние вещи я плохо помню.

— Это было в буфетной, где вы, ребята, ели. Вам подали детский ужин, и ты стал ему рассказывать про медведей, и Анна сказала: «Ой, Дэви, как интересно! А дальше вы что сделали?» И вот этот вредный старикашка — ему было тогда лет пять-шесть — взял и сказал: «Тем, кого такие вещи интересуют, это, может, интересно. Но у нас в Рочестере медведи не водятся».

— Слышишь, наездник? — сказал Дэвид. — Хорош ты был тогда?

— Ладно, папа, — сказал Эндрю. — Расскажи ему, как он ничего не читал, кроме комиксов. Мы едем по Южной Флориде, а он читает комиксы и ни на что не желает смотреть. Это все после той школы, куда его отдали осенью, когда мы жили в Нью-Йорке и где он набрался всякой фанаберии.

— Я все помню, — сказал Дэвид. — Папа может не рассказывать.

— С тебя это быстро скатило, — сказал Томас Хадсон.

— И хорошо, что скатило. Было бы ужасно, если б я таким остался.

— Расскажи им про меня, когда я был маленький, — сказал Том-младший, перевалившись на живот и схватив Дэвида за щиколотку. — Никогда в жизни я не буду таким паинькой, как про меня рассказывают про маленького.

— Я помню тебя маленьким, — сказал Томас Хадсон. — Ты был очень странным человечком.

— Он был странный, потому что жил в странных местах, — сказал младший мальчик. — Я тоже мог бы сделаться странным, если бы жил и в

Париже, и в Испании, и в Австрии.

— Он и сейчас странный, — сказал Дэвид. — Экзотический фон ему не требуется, наездник.

— Какой такой экзотический фон?

— Такой, какого у тебя нет.

— Нет, так будет.

— Замолчите, и пусть папа говорит, — сказал Том-младший. — Расскажи им, как мы с тобой ходили по Парижу.

— Тогда ты не был таким уж странным, — сказал Томас Хадсон. — В младенчестве ты отличался весьма здравым смыслом. В той квартире над лесопилкой мы с мамой часто оставляли тебя одного в люльке из бельевой корзины, и Ф. Кис — наш большой кот — укладывался у тебя в ногах и никого к тебе близко не подпускал. Ты окрестил себя Г'Нинг-Г'Нинг, и мы тебя называли Г'Нинг-Г'Нинг Грозный.

— Как это я мог выдумать такое имя?

— Наверно, слышал в трамвае, в автобусе. Звонок кондуктора.

— А по-французски я говорил?

— Нет, тогда еще плоховато.

— А расскажи, что было потом, когда я научился говорить по-французски?

— Потом я возил тебя в коляске — в дешевой, очень легкой, складной колясочке — по нашей улице и до «Клозери де Ли́ла», где мы завтракали, и я прочитывал газету, а ты наблюдал за всеми, кто проезжал и проходил по бульвару. Потом после завтрака...

— А что было на завтрак?

— Бриошь и *café au lait*⁴.

— И мне тоже?

— Тебе — капелька кофе в чашке с молоком.

— Это я помню. А куда мы оттуда шли?

— Я катил тебя через улицу от «Клозери де Ли́ла», мимо фонтана с бронзовыми конями, и с рыбой, и с русалками и по длинным каштановым аллеям, где играли французские ребятишки, а их няньки сидели на скамейках вдоль посыпанных гравием дорожек...

— А налево — Эльзасское училище, — сказал Том-младший.

— А направо — жилые дома...

— Жилые дома и дома со стеклянными крышами, где помещались мастерские художников, а эта улица вдет вниз и налево, и она такая *triste*⁵ от темных каменных стен, потому что эти дома на теневой стороне.

— А это осенью, зимой или весной? — спросил Томас Хадсон.

— Поздней осенью.

— Потом лицо у тебя начинало мерзнуть, щеки и нос краснели, и мы входили в железные ворота в верхней части Люксембургского сада и шли вниз, к озеру, и огибали озеро один раз, а потом поворачивали направо к фонтану Медичи и статуям и выходили из ворот напротив Одеона и переулками к бульвару Сен-Мишель...

— Буль-Миш...

— И по Буль-Миш мимо Клюни...

— А Клюни справа...

— Темный, мрачный, и по бульвару Сен-Жермен...

— Это была самая интересная улица, и движение там было самое большое. Странно! Почему она казалась такой интересной и опасной? А ближе к улице Ренни, между «Двух макак» и перекрестком у «Липпа», там всегда было совершенно спокойно. Почему это, папа?

— Не знаю, дружок.

— Хотя бы что-нибудь там у вас случилось, не все же одни названия улиц слушать, — сказал Эндрю. — Надоели мне названия улиц в городе, где я никогда не был.

— Ну пусть что-нибудь случится, папа, — сказал Том-младший. — Про улицы мы с тобой одни поговорим.

— Тогда ничего особенного не случилось, — сказал Томас Хадсон. — Мы шли к площади Сен-Мишель и садились на террасе кафе, и твой папа рисовал, а на столе перед ним стоял *café crème*⁶, тебе же подавали пиво.

— Я и тогда любил пиво?

— Да, любил его хлебнуть. Но за едой предпочитал воду с капелькой красного вина.

— Помню. *L'eau rouge*⁷.

— *Exactement*⁸, — сказал Томас Хадсон. — Ты здорово налегал на *l'eau rouge*, но иногда не отказывался и от пива.

— А в Австралии я помню, как мы ехали на *luge*⁹, и помню нашу собаку Шнауца и снег.

— А рождество там помнишь?

— Нет. Тебя помню, и снег, и нашу собаку Шнауца, и мою няню. Она была очень красивая. И еще я помню маму на лыжах и какая она была красивая. Помню, я видел: вы с мамой спускаетесь на лыжах через фруктовый сад. Вот где это было, не знаю. Но Люксембургский сад я помню хорошо. Помню лодки днем на озере у фонтана в большом саду и деревья. Дорожки среди деревьев были посыпаны гравием, а когда мы шли к дворцу, слева под деревьями мужчины играли в кегли, а на дворце

высоко-высоко — часы. Осенью начинался листопад, и я помню, как деревья стояли голые, а дорожки были все в листьях. Больше всего я люблю вспоминать осень.

— Почему? — спросил Дэвид.

— Причин много. Как все пахло осенью, и карнавалы, и как гравий сверху был сухой, а под ним все сырое, и как ветер подгонял лодки на озере и сбрасывал с деревьев листья. Я помню, как голуби, теплые, с шелковистыми перышками, лежали у меня под одеялом. Ты убивал их перед самой темнотой, и я гладил их, и держал обеими руками, и грелся о них по дороге домой, пока они не остывали.

— А где ты их убивал, папа? — спросил Дэвид.

— Обычно около фонтана Медичи, перед самым закрытием сада. Он огорожен высокой железной решеткой, ворота запирают с наступлением темноты и всех оттуда выпроваживают. Сторожа ходят, предупреждают людей, что пора уходить, и запирают ворота. Они пройдут вперед, а я стреляю в голубей из рогатки, когда они опускаются на землю у фонтана. Во Франции делают замечательные рогатки.

— А ты сам их не делал? Ведь вы были бедные? — спросил Эндрю.

— Конечно, делал. Самая первая у меня была из ветки с развилиной, которую я срезал с молодого деревца в лесу Рамбуйе, когда мы гуляли там с матерью Тома. Я обстрогал эту ветку, и в писчебумажном магазине на площади Сен-Мишель мы купили широкие резинки, а из старой перчатки матери Тома сделали к рогатке кожаный мешочек.

— А чем ты стрелял?

— Галькой.

— А подходил к голубям близко?

— Подходил как можно ближе, чтобы сразу их подобрать с земли и сразу сунуть под одеяло.

— Помню одного еще живого, — сказал Том-младший. — Я припрятал его и всю дорогу не обмолвился о нем ни словом, потому что мне хотелось, чтобы он остался у меня. Голубь был очень крупный — перья почти пурпурные, шейка длинная и чудесная головка, а крылышки с белым, и ты позволил мне держать его на кухне, пока мы не достанем ему клетку. Ты привязал его там за лапку. Но в ту же ночь наш кот сцапал его и притащил ко мне в постель. Кот шел очень гордый, и тащил его точно тигр туземца, и вспрыгнул с ним ко мне на кровать. Эта кровать — квадратная — была у меня после бельевого корзинки. Корзинку я не помню. Вы с мамой ушли в кафе, и мы с котом остались дома одни, и я помню, что окна были открыты, а над лесопилкой стояла большая луна, и тогда была зима, и я

чувствовал запах опилок. Помню, как наш большой кот шел ко мне, высоко задрав голову и волоча голубя по полу, а потом прыгнул и опустился ко мне на кровать. Я ужасно расстроился, что кот придушил моего голубя, но он был так горд и так радовался, и мы с ним так дружили, что я тоже возгордился и обрадовался. Помню, он играл с голубем, а потом стал месить лапами у меня на груди и мурлыкать, а потом опять стал играть с ним. А под конец и он, и я, и голубь — все мы заснули. Я держал одну руку на голубе, и он держал одну лапу на голубе, и ночью я проснулся, а он ест его и громко мурлычет, точно тигр.

— Вот это гораздо интереснее, чем названия улиц, — сказал Эндрю. — Томми, а ты не испугался, когда он начал есть его?

— Нет. Этот кот был тогда моим другом. Самым близким другом. Ему, наверно, было бы приятно, если б я тоже стал есть его голубя.

— А ты бы попробовал, — сказал Эндрю, — Расскажи что-нибудь еще про ваши рогатки.

— Мама подарила тебе на рождество другую рогатку, — сказал Том-младший. — Она увидела ее в охотничьем магазине, ей хотелось купить тебе ружье, но, как всегда, не хватало денег. Она проходила мимо этого магазина, когда шла в е'ricerie¹⁰, и каждый раз останавливалась посмотреть на ружья в витрине, и однажды увидела там рогатку и купила ее, потому что боялась, как бы эту рогатку не продали кому-нибудь, и припрятала ее до рождества. Ей пришлось подделать счета, чтобы ты ни о чем не догадался. Она сколько раз мне об этом рассказывала. Я помню, как ты получил рогатку в подарок на рождество, а старую отдал мне. Но у меня тогда не хватало сил ее натягивать.

— Папа, а мы были когда-нибудь бедные? — спросил Эндрю.

— Нет. К тому времени, когда вы оба родились, я уже перестал нуждаться. Мы часто сидели без денег, но никогда не нуждались, как с матерью Тома.

— Расскажи еще про Париж, — сказал Дэвид. — Что вы еще делали с Томом?

— Что мы с тобой делали, дружок?

— Осенью? Мы покупали жареные каштаны у продавца на улице, и я согревал о них руки. Мы ходили в цирк и видели там крокодилов капитана Валя.

— Ты и это помнишь?

— Очень хорошо помню. Капитан Валь боролся с крокодилами (он произносил это слово «кругодил», как «круг»), а красивая девочка тыкала в них трезубцем. Но самые большие крокодилы не желали даже двигаться.

Цирк был очень красивый — круглый, красный с золотом, и там пахло цирковыми лошадьми. Ты ходил за кулисы выпить с мистером Кросби, и с укротителем львов, и с его женой.

— Ты помнишь мистера Кросби?

— Он не носил ни шляпы, ни пальто, как бы холодно ни было, а его дочка ходила с распущенными волосами, точно Алиса в стране Чудес. На картинках, конечно. Мистер Кросби был очень нервный.

— А кого ты еще помнишь?

— Мистера Джойса.

— Какой он был?

— Он был высокий и худой, и у него были усы и бородка клинышком, и он носил очки с толстыми-претолстыми стеклами и ходил, высоко подняв голову. Помню, как он прошел мимо нас на улице без единого слова, и ты заговорил с ним, он остановился, разглядел нас сквозь свои очки, будто смотрел из аквариума, и сказал: «А, Хадсон, а я вас ищу», — и мы пошли втроем в кафе, на террасе было холодно, и мы сели в уголке около этой штуки... как она называется?

— Brazier.

— А что это такое? — спросил Эндрю.

— Это такая жестянка с дырками, их топят каменным или древесным углем и обогревают ими террасы, например, в кафе — сядешь к ним поближе, и сразу тепло — или беседки на скачках, где все стоят и тоже около них согреваются, — пояснил Том-младший. — В том кафе, куда мы ходили с папой и мистером Джойсом, они стояли вдоль всей террасы, и там было тепло и уютно даже в самую холодную погоду.

— Я вижу, ты провел большую часть своей жизни в кафе, в барах и во всяких таких местечках, — сказал младший мальчик.

— Что ж, и провел, — сказал Том. — Правда, папа?

— И спал крепким сном в коляске, пока папа забегал пропустить на скорую руку, — сказал Дэвид. — Вот уж чего я терпеть не могу, так это выражение «пропустить на скорую руку». По-моему, «на скорую руку» — это самая затяжная вещь на свете.

— О чем же мистер Джойс говорил? — спросил Тома-младшего Роджер.

— Ой, мистер Дэвис, я те времена плохо помню. Кажется, об итальянских писателях и о мистере Форде. Мистер Джойс терпеть не мог мистера Форда. Мистер Паунд тоже его раздражал. «Эзра просто взбесился, Хадсон», — сказал он раз папе. Вот это я запомнил, потому что мне казалось, бесят только собаки, и помню, я сидел и смотрел мистеру

Джойсу в лицо, оно было у него румяное, как на морозе, и одно стекло в очках даже толще другого. Я сидел, смотрел и думал о мистере Паунде — он был рыжий, с остроконечной бородкой, и взгляд такой приятный, а во рту у него клубится что-то белое, как мыльная пена. Я думал, какой ужас, что мистер Паунд взбесился, и надеялся, что мы не наткнемся на него. Потом мистер Джойс сказал: «Форд Мэдокс Форд давным-давно сошел с ума», — и мне представился мистер Форд — лицо у него большое, бледное, какое-то смешное, глаза белесые, и рот с редкими зубами всегда полуоткрытый, и на подбородке у него тоже пена.

— Не надо больше, — сказал Эндрю. — А то мне это приснится.

— Рассказывай, рассказывай, — попросил Дэвид. — Это все равно как оборотни. Мама спрятала книжку про оборотней, потому что у Эндрю были кошмары.

— А мистер Паунд никого не искушал? — спросил Эндрю.

— Нет, наездник, — сказал ему Дэвид. — Это просто так говорится. Бешеный — значит не в своем уме. Собаки тут ни при чем. А почему он считал, что они бешеные?

— Не знаю, — сказал Том-младший. — Я был уже не такой маленький, как когда мы стреляли голубей в саду. Но я же не мог все запомнить, а кроме того, мистер Паунд и мистер Форд, которые пускают жуткие слюни, да еще, того и гляди, укусят, вышибли у меня из головы все остальное. Мистер Дэвис, а вы знали мистера Джойса?

— Знал. Он, твой отец и я — мы были большими друзьями.

— Папа был гораздо моложе мистера Джойса.

— Папа был тогда моложе всех.

— Но не моложе меня, — с гордостью сказал Том-младший. — Я, верно, был самым молодым другом мистера Джойса.

— Ах, как он о тебе, должно быть, соскучился, — сказал Эндрю.

— Какая жалость, что он с тобой не познакомился, — сказал ему Дэвид. — Если бы ты не сидел в Рочестере, он мог бы удостоиться такой чести.

— Мистер Джойс — знаменитый человек, — сказал Том-младший. — Нужны ему были два таких сопляка!

— Это ты так думаешь, — сказал Эндрю. — А мистер Джойс вполне мог бы дружить с Дэвидом. Дэвид тоже пишет, для школьной газеты.

— Папа, расскажи нам еще про то время, когда ты, и Томми, и Томмина мама были бедными. Вы были настоящими бедняками, да?

— Они были очень бедные, — сказал Роджер. — Помню, ваш папа с утра готовил Тому-младшему его бутылочки на весь день, а потом шел на

рынок купить овощи подешевле и получше. Я, бывало, иду в кафе завтракать, а он уже возвращается с рынка.

— Никто лучше меня во всем шестом арондисмане не умел выбрать рогеаух, — сказал Томас Хадсон мальчикам.

— Что такое рогеаух?

— Лук-порей.

— Это вроде такой длинной-длинной зеленой луковицы, — сказал Том-младший. — Только обыкновенный лук блестит, как полированный, а этот нет. У этого блеск тусклый. И листья зеленые, а на концах белые. Его варят и потом едят холодным с оливковым маслом, уксусом, солью и перцем. Весь целиком едят. Ух, вкусно. Я его столько съел — наверно, больше всех на свете.

— А что такое шестой... этот, как его? — спросил Эндрю.

— Ты своими вопросами мешаешь разговаривать, — сказал ему Дэвид.

— Раз я не понимаю по-французски, должен же я спросить.

— Париж разделен на двадцать арондисманов, то есть районов. Мы жили в шестом.

— Может, ты нам что-нибудь другое расскажешь, папа, чтобы без арондисманов, — попросил Эндрю.

— Эх ты, спортсмен, до чего ж ты нелюбознательный, — сказал Дэвид.

— Неправда, я любознательный, — сказал Эндрю. — Но до арондисманов я не дорос. Мне всегда говорят: ты еще не дорос до того, до этого. Ну вот, я признаю: до арондисманов я не дорос. Это мне трудно.

— Какой был средний результат у Тая Кобба? — спросил его Дэвид.

— Триста шестьдесят семь.

— Это тебе не трудно?

— Отстань, Дэвид. Тебя интересуют арондисманы, а других интересует бейсбол.

— У нас в Рочестере, кажется, нет арондисманов.

— Да отстань же, наконец. Я только подумал, что папа и мистер Дэвис знают много такого, что для всех интересней этих... фу, черт, даже запомнить не могу.

— Пожалуйста, не чертыхайся при нас, — сказал ему Томас Хадсон.

— Извини, папа, — сказал мальчуган. — Но если мне мало лет, это же не моя вина, черт побери. Ой, извини еще раз. Я хотел сказать просто, что это не моя вина.

Он обиделся и расстроился. Дэвид был мастер дразнить его.

— Мало лет — это недостаток, который скоро проходит, — сказал ему Томас Хадсон. — Я знаю, трудно не чертыхнуться, когда разволнуешься. Но не нужно этого делать при взрослых. Когда вы одни, говорите себе что хотите.

— Ну, папа. Ведь я уже извинился.

— Ладно, ладно, — сказал Томас Хадсон. — Я и не браню тебя. Я просто объясняю. Мы так редко видимся, что приходится очень много объяснять.

— Не так уж много, папа, — сказал Дэвид.

— Да, пожалуй, — сказал Томас Хадсон. — В общем немного.

— При маме Эндрю никогда не чертыхается и не ругается, — сказал Дэвид.

— Если вы, ребята, хотите знать, какие бывают ругательства, — сказал Том-младший, — советую вам почитать мистера Джойса.

— Мне довольно и тех, которые я знаю, — сказал Дэвид. — Пока довольно.

— У моего друга мистера Джойса можно найти такие слова и выражения, каких я и не встречал никогда. Наверно, в этом его никто ни на каком языке не переплюнет.

— А он и создал потом целый новый язык, — сказал Роджер. Он лежал на спине, с закрытыми глазами.

— Я этого его нового языка не понимаю, — сказал Том-младший. — Тоже не дорос, должно быть. Но послушаю, что вы, ребята, скажете, когда прочтете «Улисса».

— Это не детское чтение, — сказал Томас Хадсон. — Совсем не детское. Вы там ничего не поймете, да и не нужно вам понимать. Серьезно. Подождите, пока станете старше.

— А я читал, — сказал Том-младший. — И ты прав, папа: когда я читал первый раз, я ничего не мог понять. Но я читал еще и еще, и теперь я уже одну главу понимаю и могу объяснить другим. Я очень горжусь, что был другом мистера Джойса.

— Папа, мистер Джойс правда считал его своим другом? — спросил Эндрю.

— Мистер Джойс всегда спрашивал про него.

— Конечно, черт побери, я был его другом, — сказал Том-младший. — У меня мало было таких друзей, как он.

— Мне кажется, объяснять эту книгу другим тебе, во всяком случае, рано, — сказал Томас Хадсон. — Повремени немного. А какую это главу ты так хорошо понял?

— Последнюю. Где дама разговаривает сама с собой.

— Монолог, — сказал Дэвид.

— А ты что, тоже читал?

— Конечно, — сказал Дэвид. — Верней, Томми мне читал...

— И объяснял?

— Объяснял как мог. Там есть вещи, до которых мы, видно, оба еще не доросли.

— А где ты взял эту книгу, Томми?

— В книжном шкафу у нас дома. Я ее захватил с собой в школу.

— Что-о?

— Я читал ребятам вслух отдельные места и рассказывал про мистера Джойса, как он был моим другом и сколько времени мы с ним проводили вместе.

— И ребятам нравилась книга?

— Были такие пай-мальчики, которые находили ее слишком смелой.

— А учителя не проведали об этих чтениях?

— Как не проведали! Ты разве не знаешь, папа? Хотя да, ты в это время был в Абиссинии. Директор даже хотел меня исключить, но я ему объяснил, что мистер Джойс — знаменитый писатель и мой личный друг, и дело кончилось тем, что директор забрал у меня книгу и сказал, что отправит ее маме, а с меня взял слово, что без его разрешения я больше ничего не буду читать ребятам и не буду объяснять им то, чего они не понимают у классиков. Сначала, когда он еще хотел меня исключить, он сказал, что у меня испорченное воображение. Но оно у меня вовсе не испорченное, папа. Не больше испорченное, чем у других.

— А книгу-то он отправил?

— Отправил. Он было хотел ее конфисковать, но я ему объяснил, что это первое издание, и мистер Джойс сам подарил ее тебе с надписью, и как же можно ее конфисковать, раз она не моя. И он согласился, что нельзя, но, по-моему, ему было очень жаль.

— А мне когда можно будет прочесть эту книгу, папа? — спросил Эндрю.

— Еще не скоро.

— Томми же читал.

— Томми — друг мистера Джойса.

— Вот именно, — сказал Том-младший. — Папа, а с Бальзаком мы не были знакомы?

— Нет. Он жил в другую эпоху.

— А с Готье? Я нашел в шкафу еще две мировые книжки — «Озорные

рассказы» Бальзака и «Мадемуазель де Мопен» Готье. Я пока не очень понимаю «Мадемуазель де Мопен», но читаю и стараюсь понять, и, по-моему, это здорово. Но раз мы с ними не были знакомы, не стоит, пожалуй, читать их ребятам, а то уж тут меня наверняка исключат.

— Хорошие это книги, Томми? — спросил Дэвид.

— Замечательные. Тебе обе понравятся, вот увидишь.

— А ты спроси директора, может, он тебе разрешит читать их ребятам, — сказал Роджер. — Это куда лучше, чем то, что ребята добывают сами.

— Нет, мистер Дэвис, я думаю, этого не надо делать. А то он опять станет говорить, что у меня испорченное воображение. И потом, если эти писатели не были моими друзьями, как мистер Джойс, ребята тоже отнесутся по-другому. Я не все понимаю в «Мадемуазель де Мопен», и мои объяснения не будут иметь веса, раз я не могу сослаться на дружбу с автором, как это было с книгой мистера Джойса.

— Хотел бы я послушать эти объяснения, — сказал Роджер.

— Что вы, мистер Дэвис. Для вас они слишком примитивные. Какой вам интерес их слушать. Вы же сами отлично все понимаете, что там написано, разве нет?

— Более или менее.

— Жаль все-таки, что мы не знали Бальзака и Готье так же, как мистера Джойса.

— Мне самому жаль, — сказал Томас Хадсон.

— Но мы знали многих хороших писателей, правда?

— Безусловно, — сказал Томас Хадсон. Лежать на песке было тепло и приятно, и после утра, проведенного за работой, его совсем разморило. Он с удовольствием слушал болтовню сыновей.

— Пошли поплаваем, и домой, — сказал Роджер. — Уже становится жарко.

Томас Хадсон смотрел на них с берега. Все четверо неторопливо плыли в зеленой воде, отбрасывая тень на песчаное светлое дно. Ему видно было, как тела устремляются вперед, а тени скользят за ними, чуть сдвинутые преломлением солнечных лучей, как взлетают загорелые руки, врезаются в воду и, упираясь ладонями, разгребают ее в стороны и назад, как ритмично бьют по воде ноги и вскидываются головы, чтобы набрать воздух в мерно и свободно дышащую грудь. Томас Хадсон стоял и смотрел, как они плывут по ветру, и чувствовал нежность ко всем четверым. Хорошо бы написать их так, думал он, только это очень трудно. Надо будет все-таки попробовать этим летом.

Самому ему лень было идти купаться, но он знал, что надо, и в конце концов пошел, чувствуя, как остуженная бризом вода приятно холодит горячие от солнца ноги, поднимаясь все выше, к паху, а потом он нырнул в теплую струю Гольфстрима и поплыл навстречу возвращавшейся четверке. Теперь, когда его голова была на одном уровне с ними, все выглядело иначе, тем более что они теперь плыли против ветра и волны захлестывали Эндрю с Дэвидом, которым приходилось делать усилия, чтобы продвигаться вперед. Томасу Хадсону они больше не казались четверкой каких-то морских животных. Их движения уже не были так свободны и красивы; видно было, что младшим мальчикам трудно преодолевать сопротивление ветра и воды. Может быть, это было не так уж и трудно. Но вода уже не казалась их родной стихией, как тогда, когда они плыли от берега. Получались две разные картины, и, может быть, вторая была даже лучше первой.

Все пятеро вышли из воды и направились к дому.

— Вот почему мне больше нравится плавать под водой, — сказал Дэвид. — Не надо заботиться о дыхании.

— Ну и отправляйся после обеда на подводную охоту с папой и с Томми, — сказал ему Эндрю. — А я останусь с мистером Дэвисом.

— Вы разве остаетесь, мистер Дэвис?

— Могу и остаться.

— Если из-за меня, так не нужно, — сказал Эндрю. — Я себе найду сколько угодно занятий. Я просто думал, вы все равно хотите остаться.

— Пожалуй, я останусь, — сказал Роджер. — Полежу, почитаю.

— Вы только ему не поддавайтесь, мистер Дэвис. А то ведь он кого угодно околдует.

— Да нет, я в самом деле хочу остаться, — сказал Роджер.

Они все успели переодеться в сухие шорты и собрались на нижней веранде. Джозеф принес миску салата с разной морской живностью, и все мальчики его ели, а Том-младший еще запивал пивом. Томас Хадсон сидел, откинувшись на спинку кресла, а Роджер стоял рядом с шейкером в руке.

— Меня всегда клонит ко сну после еды, — сказал он.

— Без вас будет скучно, мистер Дэвис, — сказал Том-младший. — Может, и мне остаться?

— Оставайся, Том, — сказал Эндрю. — Пусть папа и Дэвид отправляются вдвоем.

— Не воображай, что я буду играть с тобой в бейсбол, — сказал Том-младший.

— А мне и не нужно, чтобы ты играл. Тут есть один паренек, негр, он

со мной поиграет.

— Все равно из тебя бейсболиста не получится, — сказал Том-младший. — Ростом не выйдешь.

— Я буду такого роста, как Дик Рудольф и Дик Керр.

— Понятия о них не имею, — сказал Том-младший.

— Скажите мне имя какого-нибудь жокея, — шепнул Дэвид Роджеру.

— Эрл Сэнди.

— Ты будешь такого роста, как Эрл Сэнди, — сказал Дэвид.

— Слушай, отправляйся ты на свою подводную охоту, — сказал Эндрю. — Мы с мистером Дэвисом будем друзьями, как Том и мистер Джойс. Да, мистер Дэвис? И я тогда смогу говорить в школе: «Это было в то лето, когда мы с мистером Дэвисом жили на острове в тропиках и писали свои неприличные рассказы, а мой папа в это время рисовал картины с голыми женщинами, которые вы все видели». Ведь ты же рисуешь голых женщин, папа?

— Случается. Правда, у них довольно темная кожа.

— Вот еще, — сказал Эндрю. — Не все ли равно, какая у них кожа. А Том пусть себе остается при своем мистере Джойсе.

— Ты на эти картины и смотреть не решишься, — сказал ему Дэвид.

— Может быть. Но я себя постепенно приучу.

— Папины этюды обнаженной натуры — пустяк по сравнению с той главой у мистера Джойса, — сказал Том-младший. — Просто ты еще малыш, вот тебе и кажется, что в обнаженной натуре есть что-то такое особенное.

— Ну и пусть. А я все равно возьму мистера Дэвиса с папиными иллюстрациями. Кто-то из ребят в школе говорил, что мистер Дэвис пишет очень неприличные рассказы.

— А я тоже возьму мистера Дэвиса. Я старый-престарый друг мистера Дэвиса.

— И мистера Пикассо, и мистера Брака, и мистера Миро, и мистера Массона, и мистера Паскина, — сказал Томас Хадсон. — Ты всех их знал.

— И мистера Уолдо Пирса, — сказал Том-младший. — Видишь, Энди, тебе со мной не сравняться. Слишком поздно начинаешь. Никак тебе со мной не сравняться. Ты еще сидел в Рочестере и даже еще на свет не родился, а мы с папой уже где только не побывали. Я знал лично чуть не всех нынешних знаменитых художников. Многие из них были моими лучшими друзьями.

— Когда-нибудь должен же я начать, — сказал Эндрю. — Вот я и возьму мистера Дэвиса для начала. Вы можете не писать неприличные

рассказы, если не хотите, мистер Дэвис. Я сам все буду выдумывать, как Томми выдумывает. Вы мне расскажете какие-нибудь ужасные случаи из своей жизни, а я все изображу так, как будто я при этом был.

— С чего это ты взял, что я выдумываю, — сказал Том-младший. — Папа и мистер Дэвис только мне помогают иногда освежать что-то в памяти. А я на самом деле был очевидцем и участником целой эпохи в живописи и литературе и, если нужно, могу хоть сейчас сесть писать мемуары.

— Томми, да ты совсем спятил, — сказал Эндрю. — Думай, что говоришь.

— Не рассказывайте ему ничего, мистер Дэвис, — сказал Том-младший. — Пусть пробивается своими силами, как мы пробивались.

— А ты не лезь, — сказал Эндрю. — Мы с мистером Дэвисом разберемся без тебя.

— Папа, расскажи, еще что-нибудь про моих друзей, — сказал Том-младший. — Я знаю, что они были и что мы с ними встречались в разных кафе, но мне бы хотелось знать про них поподробнее. Ну хотя бы как про мистера Джойса.

— Ты мистера Паскина помнишь?

— Нет. То есть не очень. Какой он был из себя?

— Хорош друг, если ты даже не помнишь, какой он был из себя, — сказал Эндрю. — Что ж, я, по-твоему, через несколько лет забуду, какой из себя мистер Дэвис?

— Заткнись ты, — сказал ему Том-младший. — Пожалуйста, папа, расскажи про мистера Паскина.

— У мистера Паскина были рисунки, которые могли бы служить иллюстрациями к той главе «Улисса», что тебе понравилась.

— Да ну? Ух ты, вот здорово.

— Иногда, сидя против тебя в кафе, он рисовал на салфетке твой портрет. Он был невысок ростом, задира и большой чудак. Почти круглый год ходил в котелке и был замечательный художник. Всегда у него был такой вид, как будто он владеет каким-то секретом, чем-то, что он только что узнал и что ему очень интересно. Иногда этот секрет радовал его, а иногда делал очень грустным. Но всегда видно было, что у него есть секрет и что ему это интересно.

— Что же это был за секрет?

— Секрет пьянства, и наркотиков, и того, что так хорошо знал мистер Джойс в той последней главе, и умения писать замечательные картины. Лучше его в то время никто не умел писать, и это тоже входило в его

секрет, а ему было все равно. То есть он считал, что ему все равно, а на самом деле было не все равно.

— Он был распутный?

— О да. Он был очень распутный, и это тоже составляло часть его секрета. Ему нравилось быть распутным, и совесть его не мучила.

— А мы с ним дружили?

— Да, очень. Он тебя называл Чудовище.

— Ух ты, — сказал обрадованно Том-младший. — Чудовище.

— Папа, а у нас есть картины мистера Паскина? — спросил Дэвид.

— Есть две или три.

— А маслом он Томми никогда не писал?

— Нет. Он его рисовал карандашом, чаще всего на салфетке или на мраморной доске столика в кафе. И называл его Страшным пивным чудовищем с Левого берега.

— Запиши себе, Том, — сказал Дэвид.

— У мистера Паскина было испорченное воображение? — спросил Эндрю.

— Вероятно.

— Ты разве не знаешь?

— Не знаю, но могу предположить. Пожалуй, это тоже была часть его секрета.

— А у мистера Джойса нет?

— Нет.

— И у тебя нет?

— Нет, — сказал Томас Хадсон. — Думаю, что нет.

— А у вас испорченное воображение, мистер Дэвис? — спросил Том-младший.

— Думаю, что нет.

— Вот и хорошо, — сказал Том-младший. — Я уже говорил директору школы, что и у папы и у мистера Джойса воображение не испорченное, а теперь и про мистера Дэвиса смогу сказать, если он спросит. Насчет меня его очень трудно было разубедить. Но я не беспокоился. В школе есть один мальчик с испорченным воображением, так это сразу заметно. А как звали мистера Паскина?

— Жюль.

— Это как пишется? — спросил Дэвид.

Томас Хадсон сказал ему по буквам.

— А где теперь мистер Паскин? — спросил Том-младший.

— Он повесился.

— Ух ты! — сказал Эндрю.
— Бедный мистер Паскин, — набожно сказал Том-младший. — Я сегодня на ночь помолюсь за него.
— А я буду молиться за мистера Дэвиса, — сказал Эндрю.
— Делай это почаще, — сказал Роджер.

VI

Вечером, когда мальчики уже улеглись, Томас Хадсон и Роджер Дэвис сидели в большой комнате и разговаривали. Подводную охоту пришлось отменить из-за волнения на море, но после ужина мальчики выходили с Джозефом на ловлю снепперов. Вернулись они усталые и довольные и сразу же распрощались и ушли спать. Некоторое время еще слышно было, как они переговариваются между собой, но скоро все стихло.

Эндрю боялся темноты, и братья это знали, но никогда не дразнили его этим.

— Как ты думаешь, почему он боится темноты? — спросил Роджер.
— Не знаю, — сказал Томас Хадсон. — А ты никогда не боялся?
— Кажется, нет.
— А я боялся, — сказал Томас Хадсон. — Это о чем-нибудь говорит?
— Не знаю, — сказал Роджер. — Я боялся умереть и еще, что с моим братом что-нибудь случится.
— Я и не знал, что у тебя есть брат. Где он?
— Умер, — сказал Роджер.
— Прости, пожалуйста.
— Да нет, ничего. Мы тогда еще были мальчишками.
— Он был старше тебя?
— На год моложе.
— А что произошло?
— Мы катались на каноэ, и оно перевернулось.
— Сколько тебе тогда было лет?
— Двенадцать.
— Ты не рассказывай, если тебе тяжело.
— Вероятно, это не украсило мою жизнь. А ты в самом деле ничего не слышал?
— Ничего и никогда.

— Мне долгое время казалось, что всем на свете это известно. В детстве все воспринимается по-особому. Вода была очень холодная, он, наверно, сразу сдал. Но как бы там ни было, важно, что я вернулся домой, а он нет.

— Бедный мой Роджер.

— Не надо, — сказал Роджер. — Конечно, в двенадцать лет рано сталкиваться с такими вещами. И потом, я его очень любил и всегда боялся, что с ним что-нибудь случится. Мне ведь тоже пришлось плыть в холодной воде, но не мог же я говорить об этом.

— Где вы тогда жили?

— В штате Мэн. Отец, кажется, так мне этого и не простил, хоть старался быть справедливым. Не было потом дня, когда бы я не жалел, что это случилось не со мной. Но нельзя жить так всю жизнь.

— Как звали брата?

— Дэв.

— Ах, черт! Ты потому сегодня отказался от подводной охоты?

— Может быть. Хотя я достаточно часто занимаюсь подводной охотой. Но тут ведь не рассуждаешь, это как-то само собой решается.

— Ты уже не мальчик, чтоб так говорить.

— Я тогда нырял за ним несколько раз, но не мог найти, — сказал Роджер. — Было слишком глубоко, и вода очень холодная.

— Дэвид Дэвис, — сказал Томас Хадсон.

— Да. В нашем роду старший сын всегда Роджер, а второй — Дэвид.

— Родж, но ты все-таки сумел это превозмочь?

— Нет, — сказал Роджер. — Такое превозмочь нельзя, и рано или поздно приходится в этом сознаться. Мне стыдно, когда я об этом думаю, так же как вчера было стыдно из-за драки на причале.

— Тут тебе нечего было стыдиться.

— Было чего. Я тебе уже раз сказал. Не будем возвращаться к этому.

— Хорошо, не будем.

— Больше я никогда не стану драться. Никогда. Ты же не дерешься, хоть мог бы драться не хуже меня.

— Нет, не мог бы. А кроме того, я дал себе слово никогда не драться.

— И я тоже не буду драться, и исправлюсь, и перестану писать всякую дрянь.

— Вот это я очень рад услышать, — сказал Томас Хадсон.

— А как ты думаешь, сумею я написать что-нибудь стоящее?

— Попробуй. Почему ты бросил живопись?

— Потому что мне надоело себя обманывать. А теперь и с

литературой то же самое.

— Что же ты надумал?

— Уеду куда-нибудь и напишу честный хороший роман — если выйдет.

— А зачем тебе уезжать? Оставайся здесь и пиши, когда ребята уедут. У тебя слишком жарко, чтобы работать.

— А тебе это не помешает?

— Нет, Родж. Мне ведь тоже бывает тоскливо одному. Нельзя все время от чего-то убегать. Но я, кажется, впадаю в риторику. Ладно, замолчал.

— Нет. Говори. Мне нужно, чтобы ты говорил.

— Если ты серьезно решил начать работать, начинай здесь.

— А ты не думаешь, что на Западе у меня бы лучше пошло дело?

— Для работы все места одинаковы. Главное — это не убегать.

— Нет, не все места одинаковы, — возразил Роджер. — Уж я знаю. Но там, где поначалу хорошо, потом становится плохо.

— Верно. Но здесь сейчас очень хорошо. Может быть, потом это изменится, но сейчас здесь прекрасно. И ты не будешь один вечером после работы, и я не буду один. Мешать друг другу мы не станем, и увидишь, что тебе пойдет на пользу такая жизнь.

— Ты в самом деле веришь, что я могу написать хороший роман?

— Чтобы знать, нужно попробовать. То, что ты мне сегодня рассказал, — великолепный материал для романа, если только ты захочешь писать об этом. Начни с каноэ...

— А кончить чем?

— Дальше, после каноэ, уже пойдет вымысел.

— К чертям собачьим, — сказал Роджер. — Я настолько развращен, что стоит мне упомянуть о каноэ, и сейчас же в нем окажется прекрасная дева-индианка, а потом туда вскочит молодой Джонс, который спешит предупредить поселенцев о приближении Сесилия де Милля и пробирается вплавь, одной рукой цепляясь за сплетения водорослей, а в другой сжимая доброе старое кремневое ружье, и прекрасная индианка при виде него воскликнет: «Это ты, Джонс! Предадимся же любви, пока наш утлый челн скользит к водопаду, который когда-нибудь станет Ниагарой».

— Нет, — сказал Томас Хадсон. — Ты опишешь каноэ, и холодную воду озера, и как твой братишка...

— Дэвид Дэвис. Одиннадцати лет.

— Да. А потом будет вымысел, до самого конца.

— Не люблю концов, — сказал Роджер.

— Никто, вероятно, не любит, — сказал Томас Хадсон. — Но все имеет конец.

— Давай замолчим, — сказал Роджер. — Мне пора начать думать над этим романом. Томми, почему хорошо писать картины — удовольствие, а хорошо писать книги — сплошная мука? Я никогда не был хорошим художником, но даже мои картины доставляли мне удовольствие.

— Не знаю, — сказал Томас Хадсон. — Может быть, в живописи яснее традиция и направление и есть больше такого, на что можно опереться. Даже если отклонишься от главного направления большого искусства, все равно оно есть и может служить тебе опорой.

— А потом, мне кажется, живописью занимаются более достойные люди, — сказал Роджер. — Будь я стоящим человеком, из меня, может, и вышел бы хороший художник. Но, может, я такая сволочь, что из меня получится хороший писатель.

— Ну, знаешь, это чересчур упрощенный подход.

— А я всегда все чересчур упрощаю, — объявил Роджер. — Это одна из причин, почему я ни на что не гожусь.

— Ладно, пошли спать.

— Я еще посижу, почитаю, — сказал Роджер.

Спали они хорошо. Томас Хадсон даже не проснулся, когда Роджер, уже далеко за полночь, вышел на веранду, служившую спальней. Утром, когда все сошлись к завтраку, оказалось, что ветер улегся, на небе ни облачка и можно посвятить день подводной охоте.

— Вы поедете, мистер Дэвис? — спросил Эндрю.

— Непременно поеду.

— Вот и хорошо, — сказал Эндрю. — Я рад.

— Как твое настроение, Энди? — спросил Томас Хадсон.

— Боюсь, — сказал Эндрю. — Как всегда. Но раз мистер Дэвис едет, я уже меньше боюсь.

— Никогда не надо бояться, Энди, — сказал Роджер. — Нестоящее это дело. Так меня учил твой папа.

— Все так учат, — сказал Эндрю. — Только тому и учат. А из всех умных ребят, которых я знаю, один Дэвид не боится.

— Закройся, — сказал Дэвид. — Воображаешь о себе невесть что.

— Мы с мистером Дэвисом всегда боимся, — сказал Эндрю. — Наверно, потому, что мы лучше всех все понимаем.

— Будь осторожен, Дэви, обещаешь? — сказал Томас Хадсон.

— Обещаю, папа.

Эндрю взглянул на Роджера и пожал плечами.

VII

За длинным рифом, куда они вышли в тот день на подводную охоту, лежали в глубине железные обломки старого развалившегося парохода, и ржавый металл его котлов торчал над водой даже в часы прилива. Ветер дул с юга, и Томас Хадсон стал на якорь с подветренной стороны рифа, но не вплотную к нему, а Роджер и мальчики держали наготове гарпуны и маски. Гарпуны эти были самые примитивные и все разные, у каждого на свой вкус.

Джозеф тоже вышел в море на гребной шлюпке. Он взял с собой Эндрю, и они вдвоем отправились к рифу, а остальные прыгнули с борта катера и поплыли.

— Папа, а ты что же? — крикнул Дэвид отцу, который стоял на мостике своего рыболовного катера. Маска с овалом стекла над глазами, носом и лбом Дэвида, резиновый ободок, плотно прилегающий под носом к щекам и вдавливающийся в лоб, и тугая резиновая полоска, которая охватывала затылок, делали его похожим на героя псевдонаучных комиксов.

— Я потом к вам присоединюсь.

— Только не задерживайся, а то дождешься, что мы всю рыбу распугаем.

— Риф большой. Весь его вы не оплывете.

— Но я знаю две замечательные ямы там, за котлами. Нашел их, когда мы были здесь одни. Туда никто еще не совался. Там полно рыбы, и я решил оставить их на тот случай, когда мы будем здесь все.

— Да, помню. Через час я вас догоню.

— Я приберегу их для тебя, — сказал Дэвид и поплыл за остальными, держа в правой руке шестифутовый гарпун о двух зубьях, куском крепкой лески примотанных к грабовому древку. Он плыл, опустив лицо в воду, и разглядывал дно сквозь стекло маски. Дэвид был настоящим подводным существом, и теперь, когда он, такой загорелый, плыл, выставив из воды только мокрый затылок, Томас Хадсон больше чем когда-либо находил в нем сходство с бобренком.

Он следил, как Дэвид не спеша, ровно двигается вперед, взмахивая левой рукой и сгибая в коленях свои длинные ноги, и лишь изредка, с

каждым разом все реже и реже кладет голову чуть набок, чтобы сделать вдох. Роджер и Том-младший плыли, сдвинув маски на лоб, и были далеко впереди. Эндрю и Джозеф сидели в шлюпке по ту сторону рифа. Эндрю еще не прыгнул в воду. Дул легкий ветер, вода за рифом светло пенилась, а риф был бурый, и за ним густо синело море.

Томас Хадсон спустился вниз, в камбуз, где Эдди чистил картошку над ведром, стоявшим у него между колен. Он то и дело посматривал через иллюминатор камбуза в сторону рифа.

— Нельзя мальчикам разъединяться, — сказал он. — Надо поближе к шлюпке.

— Думаешь, что-нибудь появится из-за рифа?

— Вода высокая. Это же весенний прилив.

— А прозрачная-то она какая, — сказал Томас Хадсон.

— В океане много всяких гадин, — сказал Эдди. — Здесь в океане шутки плохи, если они учуют запах рыбы.

— Еще никто ни одной рыбы не поймал.

— Скоро поймают. И пусть сразу складывают ее в шлюпку, пока волна не подхватит запаха рыбы или запаха крови.

— Я поплыву к ним.

— Не надо. Крикните, чтобы держались вместе и бросали рыбу в шлюпку.

Томас Хадсон вышел на палубу и крикнул Роджеру то, что ему сказал Эдди. Роджер поднял гарпун и помахал им в знак того, что понял.

Эдди вышел в кокпит с кастрюлей, полной картошки, в одной руке и с ножом в другой.

— Возьмите то маленькое ружье, оно хорошее, и ступайте на палубу, мистер Том, — сказал он. — Не нравится мне это. Не нравится мне, что мальчики плавают там в такой сильный прилив. Мы ведь уже почти в океане.

— Загоним их сюда.

— Нет. Я, может, просто психую. Плохо спал ночью. Я их так люблю, будто они мои собственные, и у меня из-за них на сердце черт-те что творится. — Он поставил кастрюлю с картофелем на пол. — Знаете, как мы сделаем? Запустите мотор, а я выберу якорь, и мы подойдем к рифу поближе и станем там. При таком сильном приливе и на ветру катер развернется. Давайте поближе к рифу.

Томас Хадсон запустил большой мотор и стал к штурвалу. Когда Эдди выбрал якорь, он увидел всех четверых в воде, и тут же Дэвид вынырнул на поверхность с высоко поднятым вверх гарпуном, на котором трепыхалась

рыба, и Томас Хадсон услышал, как он окликнул шлюпку.

— К рифу поворачивайте! — крикнул Эдди, стоя на носу и держа в руках якорь.

Томас Хадсон медленно подвел катер почти вплотную к рифу и увидел большие бурые коралловые полипы, черных морских ежей на песке и лиловые опахала морского пера, покачивавшиеся ему навстречу вместе с приливом. Эдди бросил якорь, Томас Хадсон дал задний ход. Катер развернулся, и риф скользнул в сторону. Эдди травил канат до тех пор, пока он не натянулся как струна. Томас Хадсон выключил мотор, и они закачались на месте.

— Теперь мы за ними уследим, — сказал Эдди, стоя на носу. — Не могу я себе позволить такое беспокойство, из-за этих мальчишек. Нарушает пищеварение, черт бы его побрал. А у меня с ним и так неладно.

— Я буду наблюдать за ними отсюда.

— Сейчас подам вам ружье, а сам займусь этой проклятой картошкой. Мальчики ведь любят картофельный салат по нашему рецепту?

— Еще бы. Роджер тоже любит. Только положи в него побольше крутых яиц и лука.

— Картофелины у меня будут целенькие, не разварятся. Вот, возьмите ружье.

Томас Хадсон коснулся ружья, и оно показалось ему бесформенным, тяжелым в своем чехле из овчины с подстриженной шерстью, пропитанной маслом, чтобы ружье не заржавело на морском воздухе. Он вытащил его за приклад и засунул чехол под настил мостика. Это был «манлихер-шенауер-256» с восемнадцатидюймовым стволом устаревшего образца, уже снятый с продажи. Ложа и цевье у него побурели, как ядро грецкого ореха, от смазки и трения, а ствол, в прошлом месяцами тершийся о седельный подсумок, был маслянистый, без единого пятнышка ржавчины. То место на прикладе, куда стрелок прижимается щекой, гладко лоснилось, и, отведя затвор, он увидел вращающуюся магазинную коробку, заполненную тремя пузатыми гильзами с длинными, тонкими, как карандаши, пулями, блеснувшими свинцом своих головок.

Ружье было слишком хорошее, чтобы держать его на катере, но Томас Хадсон так его любил и оно напоминало ему столько всяких событий, столько людей и столько мест, что он предпочитал иметь его при себе, тем более что в овчинном чехле с подстриженной, пропитанной маслом шерстью соленый воздух ружью ничуть не вредил. Ружье для того и существует, думал он, чтобы из него стреляли, а не хранили в чехле. Это ружье очень хорошее, и стрелять из него легко, и обучать стрельбе легко, и

оно весьма кстати на катере. Ни одно другое из тех, что у него были, не давало ему такой уверенности в наводке и на близком и на среднем расстоянии, и он с удовольствием вынул его из чехла, отвел затвор и послал патрон в ствол.

Катер стоял почти неподвижно под ветром на прибывающей воде, и Томас Хадсон накинул ремень ружья на одну из рукояток штурвала так, чтобы оно было под рукой, и лег на разложенный тут же на мостике надувной матрас. Лежа ничком и подставляя солнцу спину, он смотрел туда, где Роджер и мальчики ловили рыбу. Все они то и дело ныряли, оставались под водой кто сколько мог, высовывали головы, чтобы набрать воздуха в легкие, опять исчезали и кое-когда появлялись с рыбой на гарпуне. Джозеф разъезжал на шлюпке от одного к другому, снимал рыбу с зубьев гарпуна и бросал ее в шлюпку. Томас Хадсон слышал его возгласы и смех, и, когда Джозеф стряхивал или снимал рукой рыбу с зубцов и швырял ее в тень на корме шлюпки, Томасу Хадсону была видна яркая рыба чешуя — красная, или красная с коричневыми крапинками, или красная с желтым, или в желтую полосу.

— Эдди, будь добр, дай мне чего-нибудь выпить! — крикнул он.

— А чего вы хотите? — Эдди высунулся из кокпита. Он был в старой фетровой шляпе, в белой рубашке, от яркого солнца глаза у него налились кровью, и Томас Хадсон заметил, что его губы смазаны меркурохромом.

— Что это у тебя со ртом? — спросил он.

— Так, кое-какие неприятности вчера вечером. Я только сейчас смазал. А что, очень заметно?

— Ты похож на захолустную шлюху.

— Ч-черт! — сказал Эдди. — Мазнул в темноте, не глядя. Просто так, на ощупь. Что же вам дать — с кокосовой водичкой? У меня кокосовая водичка есть.

— Прекрасно.

— А «Зеленого Айзека» не хотите?

— Еще лучше. Давай «Зеленого Айзека».

Томас Хадсон лежал на матрасе, пряча голову в тени приборной доски, и когда Эдди взошел на мостик с высоким стаканом холодного питья, составленного из джина, лимонного сока, зеленоватой кокосовой воды и мелкого льда с несколькими каплями ангостурской настойки для придания ему ржаво-розового цвета, он поставил бокал в тень, чтобы лед не растаял, пока он смотрит на море.

— Дела у мальчиков идут неплохо, — сказал Эдди. — Рыбы на обед нам хватит.

— А что будет еще?

— К рыбе картофельное пюре. Еще салат из помидоров. Да вот этот, картофельный. С него и начнем.

— Звучит аппетитно. А картофельный готов?

— Картофель еще не остыл, Том.

— Эдди, а ты ведь любишь заниматься стряпней?

— Еще как люблю! Я люблю ходить в море на катере, и я люблю стряпать. А чего не люблю, так это скандалить, драться и попадать во всякие истории.

— Во всяких историях ты обычно держался молодцом.

— Я старался не ввязываться в них. Иной раз не избежишь, но я всегда старался.

— А что случилось вчера вечером?

— Ничего.

Ему не хотелось говорить об этом. Он никогда не говорил и о своем прошлом, где всяких историй было предостаточно.

— Ладно. А чем ты нас еще угостишь? Ребят надо кормить как следует. Они растут.

— Я испек дома пирог и захватил его сюда. На льду лежат два свежих ананаса. Нарезу их ломтиками.

— Отлично. А как рыба будет приготовлена?

— Как вам угодно. Выберем что получше из их улова и сварим или поджарим, кто как захочет. Дэвид только что поймал хорошую американскую сельдь. У него еще одна была, но он ее упустил. А эта большая. Только вот далеко он заплыл, слишком далеко. И рыбу все еще не отдал Джозефу, а тот, дьявол, гонит со своей шлюпкой к Энди.

Томас Хадсон поставил стакан в тень и поднялся.

— О господи! — сказал Эдди. — Смотрите.

Выделяясь на синей воде, точно коричневый шлюпочный парус, вспарывая волны, двигаясь вперед могучими, стремительными посылками хвоста, высокий треугольный плавник приближался к той яме у конца рифа, где мальчик в маске высоко поднимал над водой руку, в которой была рыба.

— О господи! — сказал Эдди. — Молот-рыба, сука окаянная. О господи, Том! О господи!

Поздней Томас Хадсон вспоминал, что его больше всего поразила высота плавника и то, как он поворачивался и вздрагивал, точно собака, идущая по следу, и как он прорывался вперед, будто рыскал из стороны в сторону.

Он поднял свой «манлихер» и выстрелил, упреждая плавник. Получился перелет, вода фонтаном взметнулась вверх, и он вспомнил, что ствол ружья покрыт смазкой. Плавник по-прежнему буравил воду.

— Бросай ей рыбу, бросай рыбу! — крикнул Дэвиду Эдди и спрыгнул с края рубки в кокпит.

Томас Хадсон снова выстрелил, и фонтан воды взметнулся теперь позади плавника. Он почувствовал, как ему свело желудок, будто что-то схватило его изнутри и держит, и выстрелил снова, стараясь целиться как можно точнее и чтобы рука не дрогнула, понимая все значение этого выстрела, — и водяной фонтан взлетел впереди плавника. Плавник шел все с тем же страшным напором. У Томаса Хадсона остался один выстрел, запасных патронов не было, а громадная акула была ярдах в тридцати от мальчика и двигалась к нему, все так же вспарывая воду. Дэвид снял рыбу с гарпуна и держал ее в руке, маска была сдвинута у него на лоб, и он пристально смотрел на приближавшуюся акулу.

Томас Хадсон заставлял себя преодолеть скованность и собраться, заставлял себя сдерживать дыхание и не думать ни о чем другом, кроме выстрела; нажать на спуск и метить, чуть упреждая, в основание плавника, который подрагивал теперь сильнее, чем вначале. И вдруг он услышал, как с кормы застрочил автомат, и увидел, как вокруг плавника запрыгали фонтанчики. Потом короткая очередь, и вода вскипела у самого основания плавника. Он выстрелил, и стрекот послышался снова — дробный, тугой, и плавник завалился, вода вокруг него закипела, а потом молот-рыба — такая большая, какой он никогда не видел, — поднялась из моря белым брюхом вверх и начала бешено крутиться на спине, взбаламучивая воду, как акваплан. Брюхо отсвечивало непристойной белизной, пасть шириной в ярд была как опрокинутая ухмылка, рога огромные, с глазами на концах. Она подскакивала и скользила по воде. Эдди строчил по ней из автомата, всаживал пули в ее белое брюхо, рвал его, оставляя на нем темные пятна, которые сразу же алели, и наконец она перевернулась на бок и пошла вниз, и Томас Хадсон увидел, как она крутится волчком, уходя под воду.

— Сюда их, окаянных, гоните, — услышал он голос Эдди. — Не могу я больше на это смотреть.

Роджер быстро подплывал к Дэвиду, а Джозеф уже спешил к ним, втащив Энди в шлюпку.

— Господи, твоя воля! — сказал Эдди. — Видали вы когда-нибудь такую акулищу? Слава богу, что они выходят на поверхность, когда идут за добычей. Слава богу! Они, сволочи, всегда плывут поверху. Видали, как она шла?

— Дай мне коробку с патронами, — сказал Томас Хадсон. Он еле держался на ногах, его мутило. — Все сюда! — крикнул он.

Они приблизились к шлюпке, и Роджер подсаживал в нее Дэвида.

— Теперь уж пусть ловят рыбу, — сказал Эдди. — Теперь все здешние акулы на эту набросятся. Эта весь океан сюда соберет. Видали, как она перевернулась брюхом вверх, а потом давай и давай крутиться? О господи, вот это молот-рыба! А мальчишка-то, видали, собирался ей рыбу бросить. Ах, Дэви, голубчик! Какой же ты у нас молодец!

— Пусть лучше будут на катере.

— Конечно, лучше на катере. Это я просто так говорю. Сейчас их подвезут. Подвезут, не беспокойтесь.

— Господи, какой это был ужас! Откуда у тебя взялся автомат?

— Комиссар стал ко мне вязаться, что я держу его дома, вот я и переправил его с берега на катер и сунул в ящик под койкой.

— Стрелять ты умеешь.

— Да как тут не сумеешь, когда на нашего Дэви, голубчика, шла акула, а он спокойно ждал ее, хотел бросить ей рыбу. Так прямо на акулу и глядел. Пусть я больше ничего в жизни не увижу после того, чего сейчас навидался.

Шлюпка подошла к борту, и все четверо поднялись на катер. Мальчишки были мокрые и очень взбудораженные, а Роджер — сам не свой от волнения. Он подошел к Эдди и пожал ему руку, и Эдди сказал:

— Нельзя было нам пускать их туда в такой прилив.

Роджер покачал головой и обнял Эдди за плечи.

— Это моя вина, — сказал Эдди. — Я здешний. А вы нет. Вы тут ни при чем. Я один в ответе.

— И ответили как надо, — сказал Роджер.

— Да ну вас! — сказал Эдди. — На таком расстоянии кто промахнется.

— Ты ее видел, Дэв? — очень вежливо спросил Эндрю.

— Сначала один плавник, только под конец всю. Я всю ее увидел еще до того, как Эдди выстрелил по ней, а потом она нырнула и всплыла на спине.

Эдди растирал Дэвида полотенцем, и Томасу Хадсону видно было, что ноги, спина и плечи у мальчика все еще покрыты мурашками.

— Первый раз в жизни вижу что-либо подобное, — сказал Том-младший. — Как она вынырнула из воды и перевалилась на спину! Первый раз в жизни такое вижу.

— И вряд ли еще увидишь, — сказал ему отец.

— Весу в ней, наверно, вся тысяча фунтов будет, — сказал Эдди. — Наверно, крупнее и не бывает. Господи, Роджер, видели, какой у нее плавник?

— Видел, — сказал Роджер.

— А может, мы ее выловим? — спросил Дэвид.

— А ну ее к дьяволу, — сказал Эдди. — Она так кувыркком и пошла ко дну, и черт ее знает, где опустится. Футов на пятьсот ляжет, и весь океан будет ее жрать. Наверно, все туда ринулись.

— Жалко, мы ее не поймали, — сказал Дэвид.

— Спокойно, Дэвид, спокойно, милый. Вон по тебе еще мурашки бегают.

— Ты очень испугался, Дэв? — спросил Эндрю.

— Да, — ответил ему Дэвид.

— А что бы ты стал делать? — почтительным тоном спросил его Том-младший.

— Швырнул бы ей рыбу, — сказал Дэвид, и Томас Хадсон увидел, как его плечи окатило короткой волной мурашек. — А потом ударил бы гарпуном в самую морду.

— О господи! — сказал Эдди и отвернулся, не выпуская полотенца из рук. — Роджер, что вы будете пить?

— Яда у вас никакого нет? — спросил его Роджер.

— Перестань, Роджер, — сказал Томас Хадсон. — Мы все за это ответственные.

— Безответственные.

— Дело прошлое.

— Ладно.

— Я приготовлю коктейль на джине, — сказал Эдди. — Том как раз пил джин, когда это случилось.

— Мой коктейль так там и стоит.

— Теперь он уже невкусный, — сказал Эдди. — Я вам другой приготовлю.

— Ты молодец, Дэви, — с гордостью сказал брату Том-младший. — Вот подожди, я расскажу про тебя ребятам в школе.

— Они не поверят, — сказал Дэвид. — Если я тоже буду там учиться, не надо им говорить.

— Почему? — спросил Том-младший.

— Не знаю, — сказал Дэвид. И заплакал как маленький. — Я не стерплю, если они не поверят.

Томас Хадсон поднял его на руки, и он прижался головой к его груди,

а двое других отвернулись, и Роджер тоже отвел глаза в сторону, и тут Эдди вышел из камбуза с тремя стаканами в руках, опустив большой палец в один из них. Томас Хадсон понял, что он уже хватил спиртного внизу.

— Ты что это, Дэви? — спросил Эдди.

— Ничего.

— Вот и хорошо, — сказал Эдди. — Такие слова и слушать приятно. Слезай с рук, чертова перечница, кончай хныкать и дай отцу спокойно выпить.

Дэвид стал рядом с ним, вытянувшись во весь рост.

— А в отлив здесь можно ловить рыбу? — спросил он Эдди.

— Лови, никто тебя не тронет, — сказал Эдди. — Мурены попадают. Но крупнее их ничего не будет. В малую воду крупная рыба сюда не проходит.

— Папа, можно мы в отлив опять сюда приедем?

— Что ж, если Эдди разрешит. Эдди теперь главный командир.

— Да ну вас, Том, — сказал Эдди. Он был счастлив, и его губы, красные от меркурохрома, были счастливы, а счастливее всего были его налитые кровью глаза. — Кто не сумел бы врезать этой паршивой акуле из той штуки, тому эту штуку надо выкинуть подальше от беды.

— Здорово ты этой акуле врезал! — сказал Томас Хадсон. — Просто замечательно. Так врезал, я и выразить не могу.

— И не выражайте, — сказал Эдди. — Я эту мерзкую сволочь до конца дней своих буду помнить — как она извернулась брюхом вверх. Видели вы когда-нибудь такую мерзость?

Они сидели в ожидании ленча, и Томас Хадсон смотрел на море, на Джозефа — как он подплывал в шлюпке к тому месту, где акула ушла под воду. Джозеф перегнулся через борт и смотрел в оптическую трубку.

— Видно что-нибудь? — крикнул ему Томас Хадсон.

— Глубина слишком большая, мистер Том. Она под риф ушла. Лежит, наверно, на самом дне.

— Эх, достать бы ее челюсти! — сказал Том-младший. — Отбелить бы их и повесить. Да, папа?

— Меня бы, наверно, кошмары из-за них мучили, — сказал Эндрю. — Очень хорошо, что у нас нет этих челюстей.

— Вот был бы трофей! — сказал Том-младший. — Его бы в школе показать.

— Если бы мы достали эти челюсти, их получил бы Дэв, — сказал Эндрю.

— Нет. Их бы получил Эдди, — сказал Том-младший. — Но если бы я

попросил, думаю, он бы мне их отдал.

— Он отдал бы их Дэви, — сказал Эндрю.

— Пожалуй, не стоит тебе опять идти в воду, Дэв, — сказал Томас Хадсон.

— Да это же не скоро, еще сколько времени после ленча пройдет, — сказал Дэвид. — Ведь надо ждать отлива.

— Я говорю о подводной охоте.

— Эдди сказал, что можно.

— Да, знаю. Но я все еще не отошел от испуга.

— Но Эдди-то знает.

— А может, ты сделаешь мне такой подарок и не пойдешь?

— Если хочешь, папа, пожалуйста. Но я так люблю плавать под водой. Больше всего на свете люблю. И если Эдди говорит, что...

— Хорошо. И вообще подарки выпрашивать не полагается.

— Да нет, папа, я, может, не так сказал. Если ты против, я не пойду. Но Эдди говорит...

— Ну а мурены? Эдди говорил про мурен.

— Папа, мурены всегда бывают. Ты сам учил меня не бояться мурен, говорил, как их отгоняют, и откуда их ждать, и в каких ямах они живут.

— Да, правильно. Но я же позволил тебе плавать там, где была эта акула.

— Папа, ведь мы все там были. Не взваливай на себя какую-то особенную вину. Я просто слишком далеко заплыл, у меня сорвалась хорошая сельдь с гарпуна и напустила в воду крови, а ее кровь почуяла акула.

— А как она примчалась — как гончая, — сказал Томас Хадсон. Он пытался освободиться от волнения. — Мне приходилось видеть, как они мчат на такой скорости. Одна жила недалеко от Сигнальной скалы и каждый раз приплывала на запах наживки. Мне стыдно, что я не попал в эту.

— Твои пули ложились почти в цель, — сказал Том-младший.

— Вот именно, почти, а убить ее я все-таки не убил.

— Папа, она не за мной примчалась, — сказал Дэвид. — Она за рыбой.

— Заодно и с тобой бы расправилась, — сказал Эдди. Он накрывал на стол. — Не обольщайся, миленький, и ты бы не уцелел. От тебя пахло рыбой, и рыбья кровь в воде. Она бы и на лошадь напала. На все бы напала, что ей ни подвернись. О господи! Перестань болтать, хватит. Придется мне еще выпить.

— Эдди, — сказал Дэвид. — А в отлив правда не опасно?

— Конечно, нет. Я же тебе говорил.

— Ты это для того, чтобы доказать что-то? — спросил Дэвида Томас Хадсон. Он успокоился и перестал смотреть на море. Он знал: Дэвид поступает так, как ему нужно; зачем, почему — не важно; и он знал, что не должен тут быть эгоистом.

— Да папа, просто я больше всего на свете это люблю, и день сегодня такой подходящий, и как знать, а вдруг налетит...

— И Эдди говорит... — перебил его Томас Хадсон

— И Эдди говорит... — во весь рот улыбнулся Дэвид.

— Эдди говорит, пропадите вы все пропадом. Садитесь ешьте, пока я всю еду за борт не выбросил. — Он стоял, держа на подносе салатницу, блюдо с подрумяненной рыбой и картофельное пюре. — Где этот Джо?

— Он поехал искать акулу.

— Вот псих!

Когда Эдди спустился вниз, а Том-младший стал передавать по столу тарелки с едой, Эндрю шепнул отцу:

— Папа, Эдди — пьяница?

Томас Хадсон пододвинул к себе холодный салат из картофеля под маринадом, посыпанного черным перцем крупного помола. Он научил Эдди готовить его, как готовили в Париже у «Липпа», и это было одно из лучших блюд, которыми Эдди угощал на катере.

— А ты видел, как он подстрелил акулу?

— Конечно, видел.

— Пьяницы так не стреляют.

Он положил салата на тарелку Эндрю и потом взял себе.

— Я потому спрашиваю, что мне отсюда виден камбуз, и, пока мы тут сидим, он уже раз восемь прикладывался к бутылке.

— Это его бутылка, — пояснил Томас Хадсон и положил Эндрю еще салату. Эндрю был сверхбыстрый едок. Он говорил, что научился этому в школе. — Энди, ешь помедленнее. Эдди всегда приносит на катер собственную бутылку. Хорошие повара почти все немножко выпивают. А некоторые и сильно пьют.

— Он восемь раз прикладывался, я видел. Стойте. Вот уже девятый.

— Иди ты к черту, Эндрю, — сказал Дэвид.

— Перестаньте, — сказал им обоим Томас Хадсон.

Вмешался Том-младший:

— Замечательный, прекрасный человек спасает жизнь твоему брату, но стоит ему сделать глоток или несколько глотков из бутылки, как ты обзываешь его пьяницей. Не место тебе среди людей, Энди.

— Я не обзывал его, а просто спросил папу, пьяница он или нет. Я не против пьяниц. Просто мне хочется знать, кто пьяница, а кто не пьяница.

— Как только у меня заведутся деньги, я куплю Эдди бутылку того, что он любит, и разопью ее с ним, — величественно объявил Том-младший.

— Это что такое? — Над трапом появилась голова Эдди с сигарой в уголке смазанного меркурохромом рта и в старой фетровой шляпе, сдвинутой на затылок, так что осталась белая полоска над загорелой частью лица. — Если я увижу, что вы не пиво пьете, а спиртное, смертным боем вас изобью. Всех троих. И хватит этих разговоров. Хотите еще картофельного пюре?

— Пожалуйста, Эдди, — сказал Том-младший, и Эдди спустился в камбуз.

— Вот уже десятый раз, — сказал Эндрю, глядя вниз.

— Замолчи, наездник, — сказал ему Том-младший. — Имей уважение к достойному человеку.

— Возьми еще рыбы, Дэвид, — сказал Томас Хадсон.

— А где тут моя большая сельдь?

— По-моему, она еще не поджарена.

— Тогда я возьму вот эту.

— До чего же они сладкие.

— Когда ловишь гарпуном, они еще вкуснее, если сразу есть, потому что из них вся кровь вышла.

— Папа, можно я позову Эдди выпить с нами? — спросил Том-младший.

— Конечно, — сказал Томас Хадсон.

— Он уже пил с нами. Вы разве не помните? — перебил их Эндрю. — Мы пришли, и он сразу с нами выпил. Помните?

— Папа, можно я позову его выпить с нами еще раз и поесть с нами тоже?

— Пожалуйста, — сказал Томас Хадсон.

Том-младший сбежал вниз, и Томас Хадсон услышал, как он сказал:

— Эдди, папа говорит, чтобы вы приготовили себе стаканчик, поднялись наверх и выпили и поели с нами.

— Да ну, Томми, — сказал Эдди. — Я среди дня никогда не ем. Позавтракаю утром, а потом вечером чего-нибудь пожую.

— Ну хоть выпейте с нами за компанию.

— Я уже парочку пропустил, Томми.

— Давайте со мной выпьем, а я буду пить пиво.

— Давай, Томми, давай, — сказал Эдди. Томас Хадсон услышал, как открылась и захлопнулась дверца холодильника. — За твое здоровье, Томми!

Томас Хадсон услышал, как они чокнулись двумя бутылками. Он взглянул на Роджера, но Роджер смотрел на океан.

— За ваше здоровье, Эдди! — услышал он Тома-младшего. — Выпить с вами — для меня большая честь.

— Томми! — сказал ему Эдди. — А для меня большая честь выпить с тобой. Самочувствие у меня замечательное, Томми. Ты видел, как я подстрелил эту акулицу?

— Конечно, видел, Эдди. А вы не хотите немножко закусить с нами?

— Нет, Томми. Правда не хочу.

— Можно мне остаться здесь, чтобы вам не пришлось пить в одиночку?

— Брось, Томми, брось. Ты что-то не то надумал. Пить мне совсем не надо. И ничего мне не надо, только малость покухарить и заработать себе на жизнь. Самочувствие у меня отличное, Томми. Ты видел, как я подстрелил ее? Правда, видел?

— Эдди, лучше этого мне ничего не приходилось видеть. Я просто думал: может, вам хочется побыть с кем-нибудь, чтобы не чувствовать себя одиноким?

— В жизни своей не знал, что такое одиночество, — сказал ему Эдди. — Мне хорошо, и у меня есть здесь кое-что, от чего будет еще лучше.

— Эдди, а мне хочется побыть с вами.

— Нет, Томми. Вот возьми это блюдо с рыбой и иди наверх, где тебе место.

— А я вернусь и посижу с вами.

— Томми, я не болен. Будь я болен, мне было бы приятно, что ты со мной. А самочувствие, черт подери, у меня сейчас такое, какого никогда не было.

— Эдди, а вам хватит этой бутылки?

— Конечно, хватит! А нет, так я займу у Роджера или у твоего старика.

— Ну что ж, понесу рыбу наверх, — сказал Том-младший. — Мне очень приятно, что у вас хорошее самочувствие, Эдди. Это просто замечательно.

Том-младший принес в кокпит блюдо с американской сельдью, с желтыми и белыми окунями и серебрянкой. Все рыбы были с золотистой корочкой и глубоко, до белого мяса надрезаны по бокам треугольниками, и

Том-младший стал передавать блюдо всем за столом.

— Эдди просил поблагодарить тебя, но он уже выпил, — сказал Том-младший. — И среди дня он никогда не ест. Ну как рыба, вкусная?

— Великолепная, — сказал ему Томас Хадсон. — Ешь, пожалуйста, — сказал он Роджеру.

— Хорошо, — сказал Роджер. — Буду есть.

— А вы еще ничего не ели, мистер Дэвис? — спросил Эндрю.

— Да, Энди. Но теперь поем.

VIII

Просыпаясь ночью, Томас Хадсон слышал ровное дыхание спящих сыновей и в лунном свете видел их всех троих и спящего Роджера тоже. Роджер теперь спал крепко, почти не ворочаясь во сне.

Томас Хадсон был счастлив, что они здесь, у него, и не хотел думать о том, что они снова уедут. Он и раньше, до их приезда, был по-своему счастлив, он давно уже научился жить и работать, не давая чувству одиночества достигнуть невыносимой остроты. Приезд мальчиков нарушал весь уклад жизни, созданный им для самозащиты, но к этим нарушениям он уже тоже привык.

По этому укладу, спокойному и необременительному, всему было свое время и место: усиленной работе, разным житейским делам, содержанию вещей в чистоте и порядке, еде и выпивке и приятному ожиданию того и другого, чтению новых книг и перечитыванию многих старых. По этому укладу прибытие ежедневной газеты было событием, но, поскольку ее доставляли не слишком аккуратно, неприбытие тоже особенно не огорчало. Входили в этот уклад разные мелкие уловки, с помощью которых одинокие люди обороняются от одиночества и даже умудряются вовсе его не ощущать: Томас Хадсон сам их придумывал и вводил в обиход, прибегая к ним и сознательно и бессознательно. Но с приездом мальчиков необходимость в них отпадала, и это само по себе было облегчением.

Тем трудней будет, думал он, когда придется все это начинать сначала. Он очень хорошо знал, как это будет. Первые полдня покажется даже приятно, что в доме тихо и чисто, и ничьи разговоры не мешают читать или думать, и можно молча смотреть на предметы, никому ничего не объясняя, и работать в полную силу, без помех, но потом, он знал,

подступит одиночество. Сыновья успели снова заполнить собой большое место у него внутри, и, когда они оттуда уйдут, останется пустота, и некоторое время это будет очень трудно.

Его жизнь обрела прочные устои в работе, и в близости Гольфстрима, и в быте острова, и эти устои помогут ей выровняться. Все его привычки, повадки, ухищрения рассчитаны на то, чтобы справляться с одиночеством, хоть теперь он открыл одиночеству просторы, куда оно сразу же устремится, как только уедут мальчики. Но с этим ничего не поделаешь. Все равно это будет, а раз так, что пользы страшиться этого раньше времени.

Пока что лето складывалось благоприятно, удачно и радостно. Много, что могло кончиться плохо, кончилось хорошо. Это относилось не только к таким драматическим происшествиям, как драка Роджера на причале, которая могла кончиться очень плохо, или встреча Дэвида с акулой; даже всякие мелкие происшествия кончались хорошо. Говорят, счастье скучно, думал он, лежа с открытыми глазами, но это потому, что скучные люди нередко бывают очень счастливы, а люди интересные и умные умудряются отравлять существование и себе и всем вокруг. Томасу Хадсону счастье никогда не казалось скучным. Он верил, что счастье — самая замечательная вещь на свете, и для тех, кто умеет быть счастливым, оно может быть таким же глубоким, как печаль. Может быть, это и не так, но он так считал очень долгое время, а этим летом счастье уже длилось целый месяц, и, хотя оно еще не оборвалось, ночью он уже тосковал по нему.

Он узнал почти все, что можно узнать, о жизни в одиночестве; и что значит жить с теми, кого любишь и кто любит тебя, — это он тоже знал. Он всегда любил своих детей, но раньше не сознавал, как сильно он их любит и как это плохо, что он живет с ними врозь. Ему бы хотелось, чтобы они всегда были с ним и чтобы мать Тома до сих пор оставалась его женой. Глупое желание, подумал он; с таким же успехом можно желать, чтобы тебе принадлежали все сокровища мира и ты мог бы справедливо распоряжаться ими по своему разумению; или чтобы ты рисовал, как Леонардо, и был живописцем не хуже Питера Брейгеля; или пользовался бы непререкаемой властью над всяким злом и умел безошибочно распознавать его в самом начале и пресекать легко и просто чем-нибудь вроде нажатия кнопки; и ко всему тому был бы всегда здоров и жил вечно, не разрушаясь ни телом, ни душой. А хорошо бы все это было так, думал Томас Хадсон в эту ночь. Хорошо, но невозможно, как невозможно, чтобы дети были с тобой или чтобы те, кого ты любишь, были живы, если они

умерли или ушли из твоей жизни. Но среди всего невозможного кое-что все-таки возможно — и прежде всего способность чувствовать выпавшее тебе счастье и радоваться ему, пока оно есть и пока все хорошо. Было много такого, что в свое время делало его счастливым. Но то, что за этот месяц дали ему эти четверо, во многом не уступало тому, что когда-то умел дать один человек, а печалиться ему пока было не о чем. Совсем не о чем было печалиться.

Даже то, что он не спит, не огорчало его, а он помнил ту полосу в жизни, когда он совсем не мог спать и целые ночи лежал и думал о том, как это вышло, что он потерял всех своих сыновей, каким дураком он был. Думал обо всем том, что он делал потому, что не мог иначе, или ему казалось, что он не может иначе, и из одной губительной ошибки впадал и другую, еще более губительную. Но теперь это все уже прошлое, и он уже примирился с этим, и раскаяние уже не терзало его. Он был дураком, а дураков он не любил. Но это уже позади, а сейчас мальчишки здесь, и они любят его, и он их любит. И пусть все будет так, как оно есть.

Они пробудут с ним весь намеченный срок, а потом уедут, и тогда снова наступит одиночество. Но это будет лишь этап на пути, который минует, и они приедут опять. Если Роджер захочет остаться работать здесь, он не будет в доме один и все будет гораздо легче. Но с Роджером никогда не знаешь, на что можно рассчитывать и чего ожидать. Думая о Роджере, он улыбнулся в ночной тишине. Он было пожалел его, но тут же подумал, что это нечестно по отношению к Роджеру, потому что Роджер не принял бы жалости, и он отогнал ее и под мерное дыхание спящих скоро уснул и сам.

Его разбудил лунный свет, добравшийся до его изголовья, и он стал думать о Роджере и о тех женщинах, с которыми у него возникали осложнения в жизни. Оба они, и он и Роджер, вели себя с женщинами глупо и неправильно. Думать о собственных глупостях ему не хотелось, и он решил думать о глупостях Роджера.

Жалеть его я не буду, сказал он себе, так что ничего нечестного тут нет. У меня самого достаточно было осложнений, а потому нет ничего нечестного в том, что я думаю об осложнениях, которые были у Роджера. Со мной все это по-другому, я только одну женщину любил по-настоящему, и я ее потерял. Я отлично знаю, почему так случилось. Но об этом я больше не хочу и не стану думать. Так что, пожалуй, не стоит мне думать и о Роджере. Но лунный свет не давал ему уснуть, он всегда плохо спал при луне, и он все-таки стал думать о Роджере и его осложнениях с женщинами, иногда серьезных, иногда смешных.

Он вспомнил последнюю парижскую любовь Роджера — они оба тогда жили в Париже, — как она была хороша и какой фальшивой показалась ему с первого раза, когда Роджер привел ее в мастерскую. Роджер не замечал в ней никакой фальши. Она была его очередной иллюзией, и он щедро тратил на нее талант верности, данный ему природой, — пока не отпали препятствия к их браку. А тогда за один месяц Роджеру открылось в ней то, что всегда было ясно всем, кто ее знал. Вероятно, первый день прозрения был для него нелегким днем, но в мастерскую к Томасу Хадсону он явился тогда, когда процесс уже шел полным ходом. Он долго смотрел новые работы, умно и метко покритиковал их. А потом объявил:

- Я сказал этой Айре, что я на ней не женюсь.
- Рад слышать, — сказал Томас Хадсон. — Она была поражена?
- Не очень. У нас уже были кое-какие разговоры. Она — подделка.
- Да ну, — сказал Томас Хадсон. — В каком смысле?
- Во всех. С какой стороны ни возьми.
- А я считал, что она тебе нравится.
- Нет. Я старался, чтобы она мне понравилась. Но ничего не получалось, разве что в самом начале. Я просто был в нее влюблен.
- А что это значит — влюблен?
- Ты бы должен знать.
- Да, — сказал Томас Хадсон. — Я бы должен знать.
- Разве тебе она не нравилась?
- Нет. Я ее с трудом выносил.
- Почему же ты молчал?
- Она была твоей любовью. И ты меня не спрашивал.
- Я ей сказал. Но нужно, чтобы так на том и осталось.
- Уезжай куда-нибудь.
- Нет, — сказал Роджер. — Пусть она уезжает.
- Мне казалось, что так будет проще.
- Этот город столько же мой, сколько ее.
- Знаю, — сказал Томас Хадсон.
- Тебе ведь тоже случалось выходить из игры, верно? — спросил Роджер.
- Да. В этой игре выиграть нельзя. Но выйти из игры можно. Может, тебе стоит хотя бы переменить quartier?
- Мне и здесь хорошо.
- Знакомая формула. Je me trouve tre's bien ici et je vous prie de me laisser tranquille¹¹.

— Начинается она со слов *je refuse de recevoir ma femme*¹², — сказал Роджер. — И ее произносят, когда является *huissier*¹³. Но это ведь не развод. Это только разрыв.

— А не будет тебе тяжело встречаться с ней?

— Нет. Это меня быстрее излечит. Особенно если придется слышать ее разговоры.

— А с ней что будет?

— Пусть сама соображает. Хитрости у нее хватит. Хватало же все эти четыре года.

— Пять, — сказал Томас Хадсон.

— Ну, в первый год она едва ли хитрила.

— Тебе лучше уехать, — сказал Томас Хадсон. — Если ты считаешь, что она не хитрила в первый год, тебе лучше уехать, и подальше.

— Ты не знаешь, какие она умеет писать письма. Если я уеду, будет еще хуже. Нет. Останусь здесь и загуляю вовсю. Это мне поможет излечиться окончательно.

После разрыва с той женщиной в Париже Роджер и в самом деле загулял вовсю. Он сам шутил и смеялся по этому поводу; но внутренне он был зол на себя, что сваял такого дурака, и всячески старался заглушить свой талант быть верным в любви и в дружбе — лучшее, что в нем было; наряду с талантом художника и писателя и со многими славными человеческими и животными чертами. Он всем был неприятен в эту пору загула — и себе и другим, и он это знал, и злился из-за этого, и с еще большим азартом крушил столпы храма. А храм был прекрасный и прочно выстроенный, и такой храм внутри себя нелегко сокрушить. Но он делал для этого все что мог.

У него были три любовницы одна за другой, женщины, с которыми Томас Хадсон мог в лучшем случае оставаться в рамках общепринятой вежливости, причем двух последних можно было объяснить разве что их сходством с первой. Эту первую он завел сразу же после своего неудачного романа; она была вроде бы такого пошиба, до какого он прежде не опускался, однако впоследствии сумела сделать карьеру, и не только в постели, — отхватила кусок одного из крупнейших состояний в Америке, а другое, не меньшее, закрепила за собой посредством законного брака. Ее звали Танис; Томас Хадсон помнил, как Роджер ежился при звуке этого имени и никогда не произносил его сам. Он ее называл суперстервой. Брюнетка с чудесной кожей, она выглядела юным, выхоленным, изощренно-порочным отпрыском фамилии Ченчи. Это было существо с нравственностью пылесоса и душой тотализатора, с хорошей фигурой и с

лицом, которому порочное выражение придавало особую прелесть. С Роджером она пробыла ровно столько, сколько ей понадобилось, чтобы подготовиться к начальному скачку вверх.

Она была первой женщиной, бросившей Роджера, а не брошенной им, и это произвело на него такое сильное впечатление, что он нашел себе еще двух, похожих на нее, как сестры. Обеих, впрочем, он бросил сам, бросил почти буквально и, как казалось Томасу Хадсону, испытал от этого облегчение, хоть и не такое уж полное.

Вероятно, есть более тонкие и деликатные способы бросать женщин, чем без всяких ссор и обид попросту спросить разрешения отлучиться в мужскую комнату ресторана «21» и не вернуться назад. Но Роджер уверял, что он, во всяком случае, аккуратно расплачивался по счету, кроме того, ему приятно запомнить спутницу такой, какой он видел ее последний раз — одну за столиком в углу ресторанного зала, в привычной и милой ей обстановке.

Последнюю он хотел было бросить в «Аисте», ее излюбленном ресторане, но побоялся, что это не понравится мистеру Биллингели, а он как раз собирался занять у мистера Биллингели денег.

— Где же ты ее в конце концов бросил? — спросил Томас Хадсон.

— В «Эль-Морокко». Пусть она остается у меня в памяти на фоне полосатых зебр. «Эль-Морокко» она тоже любила. Но заветным ее местечком, пожалуй, был «Кубик».

На смену им пришла одна из самых обманчивых на вид женщин, каких Томас Хадсон встречал на своем веку. Она была полной противоположностью тому типу Ченчи или Борджиа с Парк-авеню, к которому относились предыдущие три. Крепкая, ладная, с рыжеватыми волосами и длинными стройными ногами, с живым умным лицом. Не красавица, но куда привлекательней многих красоток. Особенно хороши были у нее глаза. Она с первого раза покоряла своим умом, обаянием и любезностью и при этом была законченной алкоголичкой. Она не напивалась до безобразия, и пьянство еще не сказалось на ее внешности. Но она уже не могла жить без алкоголя. Обычно пьяницу можно узнать по глазам; у Роджера, например, по глазам сразу было видно, если он запил. Но у этой Кэтлин были удивительно красивые карие глаза, под цвет волос и милой россыпи веснушек на носу и щеках — знак здоровья и добродушного нрава, и по этим глазам ничего нельзя было распознать. Она выглядела как человек, ведущий здоровую жизнь на лоне природы, и как человек, который очень счастлив. А на самом деле она вела жизнь пьяницы. Она мчалась по неизвестной дороге неизвестно куда и на какое-

то время прихватила с собой и Роджера.

Как-то утром он пришел в мастерскую, снятую Томасом Хадсоном по приезду в Нью-Йорк, и Томас Хадсон увидел, что вся тыльная сторона его левой руки покрыта ожогами от сигареты. Выглядело это так, как бывает, когда гасят окурок за окурком о крышку стола, только стол заменяла тыльная сторона руки.

— Это она так забавлялась вчера, — сказал он. — У тебя есть йод? Мне не хотелось идти с этим в аптеку.

— Кто она?

— Кэтлин. Счастливое дитя природы.

— А зачем ты позволил?

— Ее это развлекало, а наше дело — заботиться об их развлечениях.

— У тебя вся кожа на руке сожжена.

— Ничего, пройдет. Но теперь я на время уеду из Нью-Йорка.

— От себя все равно нельзя убежать.

— Да. Но зато от других можно.

— Куда же ты думаешь?

— Куда-нибудь на Запад.

— География — слабое средство против того, что тебя гложет.

— Согласен. Но спокойно пожить и как следует поработать — это всегда на пользу. Пусть я не излечусь, если перестану пить. Но если не перестану, мне наверняка будет еще хуже.

— Ну тогда уезжай ко всем чертям. Может, хочешь на мое ранчо?

— А оно все еще твое?

— Частично.

— А удобно это, чтобы я туда поехал?

— Вполне, — ответил ему Томас Хадсон. — Только жить там до весны трудновато, да и весной не очень-то легко.

— Чем трудней, тем лучше, — сказал Роджер. — Я хочу все начать сначала.

— Сколько раз ты уже начинал сначала?

— Много, — сказал Роджер. — И нечего тыкать мне это в нос.

И вот теперь он опять собирается начинать сначала, и любопытно, как оно у него получится на этот раз. Неужели он думает, что, впуская в расход свой талант и работая на заказ, по готовой формуле добывания верных денег, можно научиться хорошо и правдиво писать? Все, что ни создает художник или писатель, — часть его ученичества и подготовки к тому главному, что еще предстоит сделать. Роджер извел, истощил, разменял на мелочи свой талант. Но, может быть, в нем еще хватит

животных сил и свободы ума, чтобы начать все снова? Всякий честный писатель, наделенный талантом, может написать хотя бы один хороший роман, думал Томас Хадсон. Но в те годы, что должны были быть годами ученичества, Роджер нещадно эксплуатировал свой талант, и кто знает, не растратил ли он его до конца. Не говоря уже о *me'tier*¹⁴, думал он. Не наивно ли думать, что можно не ценить и не совершенствовать мастерства, пренебрегать им, пусть даже это пренебрежение — только поза, и в то же время рассчитывать, что, когда придет время, твой мозг и твои руки будут по-прежнему мозгом и руками мастера. Мастерству заменителей нет, думал Томас Хадсон. И таланту нет заменителей, и ни то ни другое не хранят в священном сосуде. Мастерство — оно в тебе. В твоём сердце, в твоей голове, в каждой частице тебя. И талант тоже в тебе, думал он. Это не набор инструментов, которыми ты наловчился орудовать.

Художникам лучше, думал он, потому что в их работе участвует больше вещей. И работаем мы руками, и наше *metier* осязаемо и конкретно. А вот Роджеру сейчас нужно снова браться за то, что он притупил, испортил, опошлил, а существует все это только у него в голове. Но основа осталась, и эта основа — нечто тонкое, разумное и прекрасное. Прекрасное — вот слово, которое я бы употреблял с большой осторожностью, будь я писателем, подумал он. Но у Роджера есть то, что есть его сущность, и, если бы он мог так писать, как он тогда дрался на причале, получалось бы жестоко, но очень здорово. И если бы он размышлял так разумно, как тогда, после драки, тоже было бы здорово.

Лунный свет соскользнул с его изголовья, и постепенно он перестал думать о Роджере. Думать все равно не поможет. Либо он сумеет написать этот роман, либо нет. А как бы хорошо, если б он сумел. Я рад бы помочь ему. Может быть, мне это удастся, подумал он и с тем заснул.

IX

Утреннее солнце разбудило Томаса Хадсона, он спустился на берег, поплавал немного и успел позавтракать раньше, чем встали остальные. Эдди сказал, что сильного ветра ждать не приходится, может быть, даже будет полный штиль. Вся снасть на катере уже подготовлена, сказал он, и посланный мальчишка должен принести наживку.

Томас Хадсон спросил, проверил ли он снасть, — ведь катер давно

уже не выходил на лов крупной рыбы, и Эдди сказал, что проверил и выбросил ту леску, которая пришла в негодность. Он сказал, что хорошо бы еще запастись побольше лески в двадцать четыре нити и немного — в тридцать шесть нитей, и Томас Хадсон обещал позаботиться об этом. А пока что Эдди заменил всю негодную леску, так что на обеих больших катушках намотано сколько нужно. Он также почистил и наточил все большие крючки и проверил все поводки и шарниры.

— Когда же ты все это успел?

— А я всю прошлую ночь возился со снастью, — сказал Эдди. — И новую сеть тоже привел в порядок. Все равно чертова луна спать не давала.

— Тебе тоже не спится в полнолуние?

— Прямо хоть не ложись, черт бы ее побрал.

— Эдди, ты думаешь, правда нехорошо спать, когда луна светит в лицо?

— Так старики говорят. Я не знаю. Но мне всегда скверно в такие ночи.

— Как по-твоему, поймает что-нибудь сегодня?

— Кто его знает. В это время года здесь попадаетесь здоровенная рыба. Вы что, хотите идти к Айзексову маяку?

— Мальчики просят туда.

— Тогда надо выходить сразу же после завтрака. Для ленча я ничего стряпать не буду. Есть у меня картофельный салат, салат из крабов и пиво, еще приготовлю сандвичи. Для сандвичей есть ветчина из последней доставки и латук, а приправить можно горчицей и чатни¹⁵. Ребятам горчица не вредна?

— По-моему, нет.

— Когда я был мальчишкой, мы горчицу не ели. А хорошая штука этот самый чатни. Не пробовали сандвичи с ним?

— Нет.

— Его когда первый раз прислали, я не знал, что это такое, и намазал на хлеб вместо джема. Здорово получилось. А теперь я им сдабриваю овсянку.

— У нас давно кэрри¹⁶ не было.

— Мне на будущей неделе должны доставить баранью ногу. Раза на два нам хватит на жаркое, а может, и на один при таких едоках, как Том-младший и Эндрю, а потом сделаем кэрри.

— Отлично. Что-нибудь от меня нужно до выхода в море?

— Ничего не нужно, Том. Поднимайте ребят и Роджера. Выпить хотите? Сегодня у вас нерабочий день. Можно и с утра пропустить

стаканчик.

— Я выпью за завтраком холодного пива.

— Правильно. Ничто так не прочищает глотку.

— Джо здесь?

— Нет. Пошел искать мальчишку, которого я послал за наживкой.

Сейчас дам вам позавтракать.

— Я пойду на катер.

— Нет, выпейте пива, прочитайте газету. На катере все в порядке, можете не беспокоиться. Уже несусь завтрак.

На завтрак была скоблянка из солонины, залитая яйцами, кофе с молоком и большой стакан охлажденного сока грейпфрута. Томас Хадсон ни кофе, ни сока пить не стал, а съел скоблянку, запивая ее очень холодным гейнекенским пивом.

— Поставлю пока на холод сок для ребят, — сказал Эдди. — А верно, хорошо начать день с бутылки такого пива?

— Так и спиться недолго, а, Эдди?

— Вы никогда не сопьетесь. Вы слишком любите работу.

— Но все-таки славно, когда с утра выпьешь немного.

— Еще бы не славно, черт побери. Да еще такое пиво.

— Но работать я бы после него не мог.

— А у вас сегодня день нерабочий, так какого черта? Допивайте бутылку, я вам другую принесу.

— Нет. Одной мне довольно.

Они отчалили в девять часов, когда уже начался отлив. Томас Хадсон стоял на мостике у штурвала и, пройдя через банку, покрытую водой, взял курс прямо туда, где темнел Гольфстрим. Вода была так спокойна и так прозрачна, что при глубине тридцать морских саженей ясно видно было дно, и при сорока оно еще было видно, но уже словно в тумане, а потом вода потемнела, и дно исчезло, и вокруг была лишь темная синь Гольфстрима.

— День, наверно, будет чудесный, папа, — сказал Том-младший. — И море тихое.

— Да, совсем тихое. Вон только вдоль кромки Гольфстрима вода закручивается воронками.

— Разве вода не та же самая, что у нашего берега?

— Не всегда, Томми. Сейчас отлив, и Гольфстрим отогнало от входа в гавань. А там, где береговая линия непрерывна, он уже опять подходит ближе.

— Отсюда кажется, что вода там такая же синяя, как здесь. Папа, а

почему Гольфстрим такой синий?

— Плотность воды другая. Да и по составу она отличается.

— Чем глубже, тем вода вообще темнее.

— Только если смотришь сверху. А бывает, она почти лиловая от планктона.

— Почему?

— Вероятно, потому, что к синему примешивается красное. А вот Красное море оттого так и называется, что от планктона вода там совсем красная. Его там несметное количество.

— Тебе понравилось Красное море, папа?

— Очень. Жара была несусветная, но таких красивых рифов нигде больше не увидишь, и рыбы там много — и в период зимних муссонов и летних. Тебе бы понравилось.

— Я читал две книги о Красном море мистера де Монтфрида. Очень хорошие книги. Он был работорговцем. Не в том смысле, как теперь говорят, если кто поставляет *белых рабынь*, а настоящий работорговец старых времен. Он приятель мистера Дэвиса.

— Знаю, — сказал Томас Хадсон. — Я с ним тоже знаком.

— Мистер Дэвис рассказывал мне, что однажды мистер де Монтфрид приехал в Париж отдохнуть от своей работорговли, так если он вечером ехал куда-нибудь с дамой в такси, он требовал, чтобы шофер откинул у машины верх, и по звездам указывал путь. Ну, например, ему нужно было проехать от моста Согласия к Мадлен. Так он не говорил шоферу просто, как сказал бы ты или я: везите меня к Мадлен или пересеките площадь Согласия, а потом поезжайте по Королевской улице. Нет, он определял путь к Мадлен по Северной звезде.

— Этого анекдота я не слыхал, — сказал Томас Хадсон. — Но я слышал про мистера Монтфрида много других анекдотов.

— Таким способом довольно трудно ездить по Парижу, верно, папа? Мистер Дэвис тоже одно время хотел заняться работорговлей вместе с мистером де Монтфридом, но что-то помешало, не помню что. Ах да, вспомнил. Мистер де Монтфрид бросил работорговлю и перешел на торговлю опиумом. Точно, точно.

— А торговлей опиумом мистер Дэвис не хотел заниматься?

— Нет. Он тогда говорил, что пусть уж опиумом занимаются мистер Де Куинси и мистер Кокто. Они это делают так хорошо, сказал он, что несправедливо было бы мешать им. Я не совсем понял, что означали эти его слова. Папа, ты всегда объясняешь мне, что я ни спрошу, но, если все время задавать вопросы, это очень затрудняет разговор, так я решил лучше

запоминать все, что мне непонятно, и как-нибудь обо всем сразу спрошу. Вот и это будет один из вопросов.

— У тебя их, наверно, накопились целые залежи.

— Да, порядочно. Сто, а может, и тысяча. Но до многого я с годами дохожу сам. Хотя кое о чем все равно придется спрашивать. Я, пожалуй, составлю список самого нужного и зимой использую для школьного сочинения. Есть много такого, что очень хорошо подойдет для сочинения.

— Ты любишь школу, Том?

— По-моему, школа просто необходимость, с которой приходится мириться. А любить ее едва ли кто любит, особенно если человек попробовал в жизни что-то другое.

— Не знаю. Я, например, терпеть не мог школу.

— И художественную школу тоже?

— Да. Я любил рисовать, но не любил уроки рисования.

— Я в общем ничего дурного про школу не скажу. Но когда привыкнешь жить среди таких людей, как мистер Джойс, и мистер Паскин, и ты, и мистер Дэвис, так общество мальчиков уже как-то не удовлетворяет.

— Разве тебе скучно в школе?

— Нет, почему? У меня много товарищей, и я люблю спорт — кроме тех игр, где все сводится к тому, чтобы перекидываться мячом, — и я очень серьезно занимаюсь по всем предметам. Но понимаешь, папа, это все-таки очень ограниченная жизнь.

— Мне и самому всегда так казалось, — сказал Томас Хадсон. — Но ведь ты ее разнообразишь как можешь.

— Да, конечно. Я стараюсь ее разнообразить. Но не так уж много тут можно сделать.

Томас Хадсон оглянулся туда, где за кормой бежала пенистая дорожка и две наживки волочились по ней, то прячась, то подпрыгивая на крутых завитках вспоротой катером воды. Дэвид и Эндрю сидели в рыболовных креслах с удилищами в руках. Томас Хадсон видел только их спины. Не поворачивая головы, они следили за наживкой. Он перевел взгляд и увидел резвившуюся в стороне макрель: то одна, то две рыбки выскакивали и снова ныряли головой вниз, без шума и плеска — только сверкнув на солнце и сразу же скроются, почти не возмущив поверхности воды.

— Клюет! — услышал вдруг Томас Хадсон крик Тома-младшего. — Клюет! Вон она, рыба! Смотри, смотри, Дэв, прямо за кормой!

Томас Хадсон увидел, как яростно забурлила в одном месте вода, но рыбы не было видно. Дэвид вставил комель удилища в гнездо и следил за

леской, перекинутой через правый аутриггер. На глазах у Томаса Хадсона леска, до того лежавшая на поверхности воды длинной свободной петлей, натянулась и теперь под острым углом резала на ходу воду.

— Подсекай, Дэв. Подсекай сильнее! — крикнул появившийся на трапе Эдди.

— Подсекай, Дэв. Да подсекай же, ради бога, — взмолился Эндрю.

— Заткнись, — сказал ему Дэвид. — Я знаю, что делаю.

Он медлил подсекать, и леска быстро разматывалась, уходя в воду под тем же углом. Удилище выгнулось, и мальчик налегал на него, следя за разматывающейся леской. Томас Хадсон застопорил моторы, так что катер теперь только медленно поворачивался на месте.

— Ну что же ты, подсекай, — умолял Эндрю. — Или дай я подсеку.

Но Дэвид только налегал на удилище, а леска все разматывалась, и угол, под которым она уходила в воду, поменялся. Тормоз он освободил совсем.

— Это меч-рыба, папа, — сказал он не оглядываясь. — Я видел меч, когда она высунулась из воды.

— Нет, честное слово? — воскликнул Эндрю. — Ух ты!

— Пожалуй, в самом деле пора подсекать. — Роджер теперь стоял рядом с Дэвидом. Он откинул напроць спинку его кресла и застегивал пряжки на ремнях. — Подсекай, — Дэв, и посильнее.

— А она успела заглотить крючок? — спросил Дэвид. — Не может быть, что она просто плывет, держа его во рту?

— Тем более нужно подсекать, а то она его выплюнет.

Дэвид уперся ногами, правой рукой подвинтил тормоз на катушке и с силой дернул, чувствуя тяжесть на другом конце лески. Потом дернул еще раз и еще, так что удилище выгнулось, точно лук. Но леска продолжала разматываться. На рыбу его усилия никакого впечатления не произвели.

— Еще подсекай, Дэв, — сказал Роджер. — Вгони крючок поглубже.

Дэвид снова дернул изо всех сил. Катушка завертелась жужжа, удилище согнулось так, что он едва удержал его.

— Слава тебе, господи, — сказал он набожно. — Кажется, вошел как следует.

— Отпусти немного тормоз, — сказал Роджер. — Том, а ты теперь разворачивайся потихоньку, только следи за леской.

— Есть разворачиваться потихоньку, следить за леской, — отозвался Томас Хадсон. — Не тяжело тебе, Дэв?

— Что ты, папа, мне чудесно, — сказал Дэв. — Господи, только бы выловить эту рыбу!

Томас Хадсон медленно разворачивал катер вокруг его собственной кормы. Леска на катушке у Дэва была уже почти вся смотана. Томас Хадсон двинулся потихоньку рыбе навстречу.

— Ну, теперь подвинти тормоз и начинай выбирать понемногу, — сказал Роджер. — Действуй с расчетом, пусть рыба чувствует.

Дэвид подавался вперед, выбирал и наматывал, подавался вперед, выбирал и наматывал с ритмичностью автомата, и катушка постепенно разбухала от наматывавшейся на нее лески.

— В нашей семье еще никому не удавалось поймать меч-рыбу, — сказал Эндрю.

— А ты не говори, пожалуйста, под руку, — сказал Дэвид. — Не говори под руку, понял?

— Не буду, — сказал Эндрю. — Я с тех пор, как она только клюнула, все время молюсь за тебя.

— Не разорвал бы ей крючок пасть, — шепнул Том-младший отцу. Тот, не выпуская штурвала из рук, все время оглядывался на корму и следил за наклоном лески, белевшей в синей воде.

— Будем надеяться. У Дэва для такой рыбы сил маловато.

— Только бы удалось ее вытащить, — сказал Том-младший. — Я бы все отдал за это. Все бы сделал. На все бы пошел. Энди, принеси Дэву напиток.

— Я принесу, — сказал Эдди. — Не спускай с нее глаз, Дэв, мой мальчик.

— Стоп, ближе не надо! — крикнул Роджер. Он был великий рыболов, и в море они с Томасом Хадсоном понимали друг друга с полуслова.

— Сейчас я ее заведу за корму, — откликнулся Томас Хадсон и опять очень мягко и медленно развернул катер, почти не взволновав поверхности моря.

Рыба теперь норовила уйти в глубину, и Томас Хадсон дал задний ход, чтобы хоть немного ослабить ее напор. Но даже это едва заметное приближение к рыбе сразу изменило картину: вершина удилица почти отвесно склонилась над водой, и леска теперь разматывалась рывками, так что удилица дергалось у Дэва в руках. Томас Хадсон дал малый вперед, чтобы леска не так круто уходила под воду. Он знал, как трудно сейчас приходится Дэвиду, но нельзя было допускать, чтобы леска разматывалась чересчур быстро.

— Если еще больше завинтить тормоз, боюсь, не лопнула бы леска, — сказал Дэвид. — Что теперь будет делать рыба, мистер Дэвис?

— Будет рваться ко дну, пока ты не остановишь ее, — сказал Роджер.

— Или пока сама не остановится. Тогда можно будет начать подтягивать.

Леска все разматывалась и уходила под воду, разматывалась и уходила под воду. Удилище изогнулось так, что казалось, вот-вот переломится пополам, а леска была натянута, как виолончельная струна, и на катушке ее оставалось совсем мало.

— Папа, что мне теперь делать?

— Больше ничего. Ты делаешь все, что нужно.

— А она не зацепится за дно? — спросил Эндрю.

— Здесь дна нет, — сказал ему Роджер.

— Ты знай держи ее, Дэви, — сказал Эдди. — Ей в конце концов надоест, она и всплывет.

— Эти проклятые лямки замучили меня, — сказал Дэвид. — Они мне режут плечи.

— Хочешь, передай удилище мне, — предложил Эндрю.

— Еще чего, — сказал Дэвид. — Я просто сказал то, что есть, а ты, дурак, и обрадовался. Пусть режут, мне наплевать.

— Попробуй приладить ему большой пояс, Эдди! — крикнул с мостика Томас Хадсон. — Если ремни окажутся слишком длинными, можно леской прикрутить.

Эдди обернул Дэвида вокруг пояса стеганой мягкой прокладкой, затянул проходившие по ней ремешки и леской привязал кольца к катушке.

— Так гораздо легче, — сказал Дэвид. — Большое спасибо, Эдди.

— Теперь нагрузка у тебя будет не только на плечи, но и на спину, — сказал ему Эдди.

— Она уже почти всю леску смотала, — сказал Дэвид. — Вот проклятухая, тянет и тянет вниз.

— Том, — крикнул Эдди, — возьмите-ка немного к норд-весту! Кажется, она пошла вперед.

Томас Хадсон слегка повернул штурвал и мягко направил катер в открытое море. Впереди большим желтым пятном колыхалось скопление водорослей, и на нем сидела какая-то птица, а вода кругом была спокойная, синяя и такая прозрачная, что видно было, как в глубине ее разноцветными бликами играет преломленный свет.

— Вот видишь, — сказал Эдди Дэвиду. — Леска больше не разматывается.

Мальчик попробовал приподнять удилище и не смог, но леска действительно перестала рывками уходить под воду. Как и прежде, она была натянута будто струна, и на катушке оставалось всего с полсотни ярдов. Но она не разматывалась больше. Дэвид прочно удерживал рыбу на

крючке, а катер медленно-медленно продвигался по взятому курсу. Томас Хадсон смотрел, как белеет в синей воде леска, уходящая вглубь, лишь чуть-чуть отклоняясь от перпендикуляра, и вел катер так тихо, что почти не заметно было движения и совсем не слышно работы моторов.

— Видишь, Дэви, она ушла на нужную ей глубину и теперь плывет в нужном ей направлении. Скоро можно будет понемножку выбирать леску.

Загорелая спина мальчика горбилась от натуги, удилище сгибалось над водой, леска медленно скользила вперед, прорезая водную гладь, а где-то на глубине в четверть мили плыла большая рыба. Сидевшая на водорослях птица снялась и полетела к катеру. Она покружила у Томаса Хадсона над головой и улетела к другому скоплению водорослей, желтевшему поодаль.

— Ну-ка, попробуй немного выбрать, — сказал Роджер Дэвиду. — Раз ты удерживаешь рыбу, значит, можешь и подтянуть ее.

— Дайте-ка чуток вперед, Том! — крикнул, повернувшись к мостику, Эдди, и Томас Хадсон едва заметно прибавил ход.

Дэвид стал тянуть, напрягая все силы, но от этого только больше гнулось удилище и больше натягивалась леска. Казалось, мальчик прикован намертво к движущемуся под водой якорю.

— Ничего, не смущайся, — сказал ему Роджер. — Еще немного, и дело пойдет. Как чувствуешь себя, Дэви?

— Отлично, — сказал Дэвид. — С этой штукой на пояснице я себя чувствую отлично.

— А ты сможешь выдержать до конца? — спросил Эндрю.

— Да ну тебя, — сказал Дэвид. — Эдди, дайте мне, пожалуйста, глоток воды.

— Куда это я поставил воду? — сказал Эдди. — Неужели вылил?

— Я сейчас принесу! — Эндрю быстро побежал вниз.

— Тебе ничего не нужно, Дэв? — спросил Том-младший. — Я тогда пойду на мостик, а то нас тут слишком много.

— Нет, Том, спасибо. Господи, ну почему она не поддается, эта проклятая рыба.

— Она очень большая, Дэв, — сказал ему Роджер. — С ней так просто не справишься. Надо потихоньку вести ее на крючке и стараться внушить ей, чтобы она всплыла, где тебе нужно.

— Говорите мне, что надо делать, и я буду стараться, пока не умру, — сказал Дэвид. — Я полагаюсь на вас.

— Это еще что за разговоры — «пока не умру», — сказал Роджер. — Такими вещами не шутят.

— А я и не шучу, — сказал Дэвид. — Я серьезно.

Том-младший вернулся к отцу на мостик. Оттуда им виден был Дэв, весь напрягшийся и прикованный к своей рыбе, и Роджер, стоявший рядом с ним, и Эдди, придерживавший кресло. Эндрю поднес стакан с водой к губам Дэвида. Тот пополоскал рот и сплюнул.

— Полей мне на руки, пожалуйста, — сказал он.

— Как ты думаешь, папа, он выдержит? — шепотом спросил Том отца.

— Рыба очень большая, очень тяжелая для него.

— Мне страшно, — сказал Том. — Я люблю Дэвида и не хочу, чтобы какая-то поганая рыба его доконала.

— Никто этого не хочет — ни я, ни Роджер, ни Эдди.

— Надо нам быть начеку. Если мы увидим, что ему немоготу, кто-нибудь должен перенять у него рыбу — ты или мистер Дэвис.

— До этого еще далеко.

— Папа, ты не знаешь его, как мы знаем. Он будет напрягать силы, пока не надорвется.

— Ничего, Том, не тревожься.

— Не могу я не тревожиться, — сказал Том. — Я один такой в нашей семье, что всегда тревожусь за всех. Может, это пройдет с годами.

— Пока что тревожиться не из-за чего, — сказал Томас Хадсон.

— Но, папа, как такому мальчишке, как наш Дэвид, одолеть такую рыбу? Он в жизни не ловил ничего крупнее, чем парусник или сельдь.

— Рыба вымотается в конце концов. На крючке-то все-таки она.

— Это чудище, а не рыба, — сказал Том. — И Дэвид так же не может освободиться от нее, как она от Дэвида. Просто не верится, что Дэв выловит такую рыбу. Все-таки лучше бы она попалась тебе или мистеру Дэвису.

— Пока что Дэв держится молодцом.

Они мало-помалу продвигались все дальше в открытое море, где по-прежнему господствовал мертвый штиль. Все чаще попадались скопления водорослей, совсем желтых от солнца на полиловевшей воде; порой белая, почти отвесно натянутая леска зацепляла за них в своем движении, и тогда Эдди протягивал руку и высвобождал ее. Когда он, перегнувшись через борт, отрывал напугавшиеся на леску водоросли и откидывал их в сторону, Томас Хадсон видел изрезанную морщинами кирпичную шею под полями старой фетровой шляпы и слышал, как он говорил Дэвиду:

— Она нас сейчас вроде как на буксире ведет, Дэви. Но чем дальше, тем больше она изматывается, плывя там, в глубине.

— Она и меня изматывает, — сказал Дэвид.

— У тебя голова не болит? — спросил Эдди.

— А ты ему надень что-нибудь на голову, — сказал Роджер.

— Не надо, я не хочу, мистер Дэвис. Лучше просто смочите мне волосы.

Эдди зачерпнул в ведро морской воды и, сложив горстью ладонь, намочил мальчику голову и заботливо отвел волосы со лба.

— Смотри, если заболит голова, сразу же скажи.

— Я себя отлично чувствую, — сказал Дэвид. — Говорите мне, что делать, мистер Дэвис.

— Попробуй опять выбрать леску немного, — сказал Роджер.

Дэвид снова дернул леску — раз, другой, третий, но ему так и не удалось подтянуть рыбу хоть на дюйм выше.

— Ладно. Не трать попусту силы, — сказал ему Роджер и добавил, обращаясь к Эдди: — Намочи кепи и надень ему на голову. Ветра ни малейшего, вот и печет, как в преисподней.

Эдди окунул в ведро полотняную кепочку с длинным козырьком и натянул ее Дэвиду на голову.

— Так мне соленая вода стекает в глаза, мистер Дэвис. Извините, но, честное слово, так хуже.

— Глаза я тебе сейчас промою, — сказал Эдди. — Роджер, дайте мне ваш платок. А ты, Энди, ступай принеси стакан чистой ледяной воды.

Согнув спину, упираясь ногами в перекладину, мальчик напрягал все свои силы, а катер все так же медленно скользил вперед. Справа по борту плескалась почти у самой поверхности стайка некрупной рыбы — макрели или тунца, и к этому месту уже слетались чайки, перекрикиваясь на лету. Но вся стайка скоро ушла в глубину, и птицы опустились на воду, ожидая, не появится ли она снова. Эдди обтер Дэви лицо, потом, снова окунув платок в стакан с водой, смочил ему шею и руки, а под конец намочил платок еще раз, слегка выжал его и положил мальчику на затылок.

— Ты скажи, если голова заболит, — повторил он опять. — Это никакое не малодушие. Это просто разумно будет. Штиль мертвый, и солнце печет так, что чертям тошно.

— Да я, правда, хорошо себя чувствую, — ответил Дэвид. — Вот только плечи болят и руки, а так все ничего.

— Это пускай болят, — сказал Эдди. — Это ты привыкай, скорее мужчиной станешь. Мы только не хотим, чтобы тебя хватил солнечный удар или чтоб у тебя от натуги жила лопнула.

— Что рыба дальше будет делать, мистер Дэвис? — спросил Дэвид.

Голос у него был какой-то пересохший.

— Вероятно, то же, что и сейчас. А может, начнет кружить под водой. А может, всплывет.

— Надо же ей было уйти на такую чертову глубину, теперь у нас слишком мало лески, чтоб свободно маневрировать, — сказал Томас Хадсон Роджеру.

— Главное, что Дэви удалось задержать ее на этой глубине, — сказал Роджер. — Теперь она скоро изменит тактику. И вот тут-то мы ее возьмем в оборот. Ну-ка, Дэв, попытайся еще раз приподнять ее.

Дэв попытался, но и эта попытка ни к чему не привела.

— Ничего, сама всплывет, — сказал Эдди. — Вот увидишь. Еще немного, и тебе уже не придется тащить ее силой. Хочешь еще пополоскать рот?

Дэвид молча кивнул. Ему уже приходилось экономить дыхание.

— Можешь сделать глоток-другой, — сказал Эдди. — Остальное выплюнь. — Он повернулся к Роджеру. — Ровно час, — сказал он. — Голова ничего, Дэв?

Мальчик кивнул.

— Как он, по-твоему, папа? — спросил отца Том-младший. — Правда, как?

— По-моему, он молодцом, — сказал отец. — И раз Эдди рядом, с ним ничего не случится.

— Да, это верно, — согласился Том. — Но мне бы тоже хотелось как-то помочь. Пойду принесу Эдди чего-нибудь выпить.

— Принеси, пожалуйста, и мне тоже.

— Ой, с удовольствием. И мистеру Дэвису, да?

— Он сейчас едва ли захочет.

— А я спрошу.

— Потяни еще разок, Дэв, — почти шепотом сказал Роджер, и мальчик потянул изо всех сил, обеими руками сжимая катушку спиннинга.

— Ага, дюйм заработали, — сказал Роджер. — Выбери этот дюйм и попробуй опять, может, удастся подтащить ее повыше.

Вот когда началась настоящая схватка. До сих пор Дэвид только удерживал рыбу на крючке, а она плыла дальше в открытое море, и катер плыл, следуя ее движению. Но теперь уже нужно было постепенно поднимать рыбу вверх, следить за удилищем, распрямлявшимся по мере того, как леска выходила из воды, выбирать образующийся излишек лески, вновь наматывать ее на катушку и понемногу опускать удилище ниже.

— Спокойней, спокойней, — говорил ему Роджер. — Не спеши.

Выбирай потихоньку.

Весь подавшись вперед, Дэв тянул и тянул, стараясь соразмерять свои силы с тяжестью на конце лески, скрытом еще глубоко под водой.

— Дэвид у нас классный рыболов, — сказал Том-младший. — Он ловил рыбу, когда был еще совсем малышом, но я и не знал, как здорово он управляет с этим делом. Он всегда сам подтрунивает над собой, говорит, что не приспособлен к спорту. А посмотреть на него сейчас!

— Черт с ним, со спортом, — сказал Томас Хадсон. — Ты что говоришь, Роджер?

— Дай вперед самую малость! — крикнул Роджер.

— Есть вперед самую малость, — повторил Томас Хадсон, и на этот раз, пользуясь тем, что расстояние между рыбой и катером сократилось, Дэвид успел выбрать побольше лески.

— Ты тоже не любишь спорт, папа? — спросил Том.

— Любил когда-то. Даже очень любил. А теперь нет.

— Я люблю теннис и фехтование, — сказал Том. — А все эти игры с мячом меня не увлекают. Потому, верно, что я вырос в Европе. Из Дэвида, при его уме, мог бы выйти отличный фехтовальщик, если бы он захотел этим заняться. Но он не хочет. Он любит только читать, ловить рыбу и стрелять и еще мастерить искусственных мух для наживки. Стреляет он лучше Энди, особенно в поле. А мухи у него получаются просто чудо. Папа, я тебе не мешаю своими разговорами?

— Конечно, нет, Том.

Ухватившись за поручень, он смотрел назад, на корму, и туда же смотрел отец, положив руку ему на плечо. Плечо было соленое от морской воды, которой мальчики обливали друг друга из ведра до того, как клюнула рыба. От мельчайших крупинки соли, осевших на коже, оно чуть шершавилось под отцовской ладонью.

— Понимаешь, я очень волнуюсь за Дэвида, и мне просто нужно о чем-то говорить, чтоб отвлечься. Я сейчас ничего на свете так не хочу — только бы Дэвид выловил эту рыбу.

— Это рыбища, а не рыба. Вот увидишь, когда она покажется над водой.

— Я раз видел такую, уже очень давно, когда мы с тобой выходили на ловлю вдвоем. Она проткнула мечом большую макрель, которая у нас служила наживкой, выпрыгнула и выбросила крючок. Она мне долго снилась потом — такая громадина. Ну, пойду приготовлю вам выпить.

— Можешь не торопиться, — сказал ему отец.

Сидя в своем рыболовном кресле с откинутой напрочь спинкой,

упираясь ногами в перекладину, Дэвид тянул леску из воды. Он тянул ее руками, плечами, спиной и затылком, поясницей и бедрами; отпускал, торопливо наматывал на катушку и снова тянул. Очень медленно — по дюйму, по два, по три за раз — лески на катушке прибавлялось.

— Как голова, ничего? — спросил Эдди Дэвида. Он стоял рядом и для большей устойчивости придерживал кресло за подлокотники.

Дэвид кивнул. Эдди пощупал его кепочку на макушке.

— Еще мокрая, — сказал он. — Ну, ты даешь этой рыбе жизни, Дэв. Молодец, работаешь, как машина.

— Теперь легче, чем когда надо было просто удерживать ее, — все тем же пересохшим голосом сказал Дэвид.

— Еще бы, — сказал Эдди. — Теперь все-таки дело хоть понемногу, но идет на лад. А тогда она просто выворачивала тебя наизнанку.

— Ты только не торопись сверх сил, — сказал Роджер. — Все у тебя получается великолепно.

— А как только она всплывет, мы ее багром, да? — спросил Эндрю.

— Перестанешь ты говорить мне под руку или нет? — сказал Дэвид.

— Я вовсе не говорю тебе под руку.

— Ну замолчи, Энди, я тебя прошу. Не обижайся, но замолчи.

Эндрю полез на мостик. На нем тоже была кепочка с длинным козырьком, но отец сразу заметил, что глаза у него мокрые, а губы дрожат, хоть он и отворачивался, чтобы скрыть это.

— Ты ничего плохого не говорил, — сказал ему Томас Хадсон.

Эндрю по-прежнему смотрел в сторону.

— Теперь, если рыба сорвется, он скажет, что это из-за меня, — горько пожаловался он. — А я только хотел, чтобы ничего не забыли.

— Вполне естественно, что Дэв нервничает, — сказал отец. — Но он все-таки старается быть сдержанным.

— Понимаю, — сказал Эндрю. — Он борется с этой рыбой не хуже, чем боролся бы мистер Дэвис. Только мне неприятно, что он обо мне так подумал.

— Многие легко раздражаются, когда на крючке большая рыба, тем более у Дэва это в первый раз.

— Но ты всегда сдержанный, и мистер Дэвис всегда сдержанный.

— Это теперь так. А когда мы с ним только учились ловить большую рыбу, всякое бывало — и злость, и грубость, и взаимные попреки. Мы просто черт знает до чего доходили.

— Правда?

— Самая настоящая правда. Нам казалось, что все нам желают зла, и

мы вели себя соответственно. Обычное дело. Дисциплина, благоразумие — все это приходит потом. Мы научились быть сдержанными, убедились, что, если раздражаться и злиться, с большой рыбой не сладишь. И уж во всяком случае, не получишь удовольствия от ловли. А были мы оба просто нестерпимы: злились, и бесновались, и ссорились — и удовольствия никакого не получали. Зато теперь мы всегда сдержанны, когда боремся с большой рыбой. Мы много говорили об этом и решили, что будем сохранять сдержанность при любых обстоятельствах.

— И я тоже буду, — сказал Эндрю. — Хотя с Дэвом это иногда трудно. Папа, как ты думаешь, он в самом деле выловит эту рыбу? Или это как сон, который проснешься — и нет его?

— Не будем говорить об этом.

— Опять я что-то не так сказал?

— Не в том дело. Просто считается, что разговоры приносят неудачу. Такая у старых рыбаков примета. Не знаю, откуда она взялась.

— Ладно, теперь буду молчать.

— Папа, возьми, пожалуйста. — Том снизу протягивал стакан, в три слоя обернутый бумажным полотенцем, чтобы лед не так быстро таял. Резинка плотно прижимала бумагу к стеклу. — Я добавил лимонного соку и немного настойки, а сахару не клал. Так будет хорошо? Или ты еще чего-нибудь хочешь?

— Очень хорошо. А кокосовой воды ты не подливал?

— Подлил. А Эдди я отнес чистого виски. Мистер Дэвис ничего не захотел. Энди, ты теперь будешь там, с папой?

— Нет, я уже иду вниз.

Том поднялся на мостик, а Эндрю спустился на корму.

Оглянувшись назад, Томас Хадсон заметил, что леска в воде словно бы начала отклоняться в сторону.

— Внимание, Роджер! — крикнул он. — Кажется, всплывает.

— Всплывает! — завопил Эдди. Он тоже заметил, как отклонилась леска. — Следи за катушкой, Дэви.

Томас Хадсон посмотрел, много ли на катушке лесы, чтобы рассчитать маневр судна. Еще и четверти всей длины не было выбрано, но не успел Томас Хадсон выпрямиться, как катушка, жужжа, завертелась у Дэва в руках, и Томас Хадсон поспешно дал задний ход, в то же время разворачивая катер носом к леске, которая отклонялась все больше и дальше, а Эдди вопил:

— Назад, Том, прямо назад! Она сейчас всплывет, сволочь. Для разворота уже не хватит лески.

— Выше удилище, Дэв, — сказал Роджер. — Не давай ей сгибать его. — И Томасу Хадсону: — Еще назад, Том. Так, хорошо. Идешь прямо на нее.

И тут гладь океана вдруг раздалась за кормой, и огромная рыбина взмыла вверх бесконечным движением неправдоподобно могучего и длинного тела, на миг словно повисла в воздухе, серебрясь и синея на солнце, и снова бухнула в воду — только фонтан пены взметнулся ей вслед.

— Ух ты! — сказал Дэвид. — Видели, какая?

— Один ее меч и то больше меня, — сказал Эндрю.

— Какая красивая, — сказал Том. — Она куда лучше той, что мне снилась.

— На нее держи, задним ходом! — крикнул Роджер Томасу Хадсону. А Дэвиду сказал: — Постарайся сейчас выбрать побольше лески. Видишь, целый клубок плавает в воде. Рыба поднялась с большой глубины, и свободной лески сейчас столько, что можно намотать целых полкатушки.

Томас Хадсон сумел задним ходом подойти так близко к рыбе, что леска почти перестала сматываться, и теперь Дэвид только поспевал выбирать и наматывать ее, торопливо вращая рукоятку.

— Убавь ходу! — крикнул Роджер. — А то мы пройдем над нею.

— Ну и громадина, не меньше тысячи фунтов, — сказал Эдди. — Выбирай леску, Дэв, голубчик, сейчас она пойдет легче легкого.

Поверхность океана была опять спокойная и пустынная, только там, где ее потревожила рыба, еще расходились по воде круги.

— Ты видел, сколько воды она выбросила, папа? — сказал Том-младший. — Прямо как будто море взорвалось изнутри.

— А ты видел, как высоко она взлетела, Том? Видел, какая она синяя-синяя и отлиывает серебром?

— И меч у нее тоже синий, — сказал Том-младший. — Весь синий, до самого кончика. Эдди, — крикнул он, — неужели в ней правда тысяча фунтов?

— Уж, наверно, не меньше. На глаз точно не скажешь. Но у такой громадины и вес должен быть подходящий.

— Нужно выбрать как можно больше лески, Дэви, пока она не натянута, — сказал Роджер. — Вот так, молодец.

Мальчик работал, как автомат, перематывая на катушку огромный клубок лески, плававший в воде, а катер меж тем выравнивал курс, разворачиваясь так медленно, что казалось, он стоит на одном месте.

— А теперь что она будет делать, папа? — спросил Том отца.

Томас Хадсон следил за уклоном лески в воде и думал, что сейчас не мешало бы пройти немного вперед, но он знал, как трудно Роджеру рассчитать маневр, когда на катушке так мало лески. Один сильный бросок рыбы в сторону, и она может сорвать ее всю и уйти; оттого-то Роджер и хочет теперь выбрать побольше, пока можно. Томас Хадсон перевел взгляд на Дэвида и увидел, что он уже намотал с полкатушки и все еще продолжает наматывать.

— Ты что-то спросил? — оглянулся Томас Хадсон на Тома.

— Что, по-твоему, теперь будет делать рыба?

— погоди минутку, — сказал он и, повернувшись назад, крикнул Роджеру: — Эй, Родж, как бы нам не пройти над нею!

— Дай тогда самый малый вперед, — сказал Роджер.

— Есть самый малый вперед, — повторил Томас Хадсон. Теперь выбирать леску стало труднее, зато можно было не бояться, что рыба уйдет.

Вдруг леска снова стала разматываться, и Роджер закричал:

— Выключай!

Томас Хадсон выключил зажигание, и моторы заглохли.

— Выключено, — сказал он.

Роджер нагнулся к Дэвиду; тот по-прежнему, напрягаясь, налегал на удилище, а леска все скользила и скользила с катушки.

— Подвинти малость, Дэви, — сказал Роджер. — Пусть потрудится, если желает плыть побыстрей.

— Я боюсь, не сорвалась бы она, — сказал Дэвид. Но тормоз он подвинтил.

— Не сорвется, — сказал Роджер. — Ты ведь не завинтил до отказа.

Леска продолжала разматываться, но удилище снова согнулось, и мальчик, сопротивляясь напору, сильнее уперся босыми ногами в деревянную перекладину. Вдруг леска перестала разматываться.

— Можешь выбрать немного, — сказал Роджер мальчику. — Она теперь начала кружить и сейчас идет к нам. Постарайся выбрать побольше.

Снова мальчик выбирал и наматывал, ждал, пока удилище выпрямится, выбирал и наматывал. Леска шла на удивление легко.

— Я все правильно делаю? — спросил он.

— Ты все делаешь замечательно, — сказал ему Эдди. — Крючок вошел крепко, не сомневайся. Я видел, когда она выпрыгнула из воды.

И тут, когда Дэвид хотел выбрать еще, леска вдруг опять стала разматываться.

— А, черт! — сказал Дэвид.

— Ничего, ничего, — сказал ему Роджер. — Так и должно быть. Она ведь описывает круг. Сначала шла к нам и отпускала леску. Теперь идет от нас и отнимает ее.

Медленно, упорно рыба сматывала туго натянувшуюся леску — сматала все, что мальчику только что удалось выбрать, и прихватила еще немного. Но тут мальчик удержал ее.

— Так, хорошо. Теперь опять выбирай, — спокойно сказал Роджер. — Она чуть расширила круг, но сейчас идет на тебя.

Томас Хадсон время от времени включал моторы, чтобы держать рыбу за кормой. Маневрируя катером, он старался помочь мальчику чем мог, а его самого и борьбу с рыбой препоручил Роджеру. Насколько он понимал, ничего другого ему не оставалось.

Рыба опять отняла немного лески. На следующем круге прихватила еще. Но почти половина всей лески была на катушке. Мальчик водил рыбу так, как и следовало, и послушно выполнял советы Роджера. Но он уже явно уставал, на его загорелых плечах и на спине от соленой воды образовались соленые разводы.

— Ровно два часа, — сказал Эдди Роджеру. — Как голова, Дэви?

— Ничего.

— Не болит?

Мальчик мотнул головой.

— Можешь выпить немного воды, — сказал Эдди.

Дэвид кивнул и сделал несколько глотков из стакана, который Эндрю поднес ему к губам.

— Нет, правда, Дэви, как ты себя чувствуешь? — спросил его Роджер, низко наклонившись над ним.

— Отлично. Только вот спину, ноги и руки ломит. — Он закрыл на секунду глаза и вцепился пальцами в скобу спиннинга, а леска все разматывалась с катушки, несмотря на почти заведенный тормоз.

— Мне не хочется разговаривать, — сказал он.

— Теперь подтягивай, — сказал ему Роджер, и мальчик опять взялся за дело.

— Дэвид — подвижник и мученик, — сказал Том отцу. — Таких братьев, как Дэвид, больше ни у кого нет. Папа, ничего, что я разговариваю? Я очень волнуюсь.

— Говори, говори, Томми. Мы с тобой оба волнуемся.

— Знаешь, он всегда был молодцом. И ведь не какой-нибудь там гений или спортсмен, как Энди. Молодец, и все тут, — сказал Том. — Я знаю, ты его больше всех любишь, и так и надо, потому что он из всех нас

самый хороший, и то, что сейчас происходит, ему на пользу, иначе ты бы не решил этого. Но я ужасно волнуюсь.

Томас Хадсон обнял его одной рукой за плечи и продолжал править другой, все время оглядываясь назад.

— А ты подумай, Том, как это на нем отразится, если мы велим ему прекратить. Роджер и Эдди знают, что делают, а я знаю, что они любят его и не допустят, чтобы он делал то, что ему не под силу.

— Но, папа, ведь Дэви если уж за что взялся, так удержу не знает. Правда. И он всегда будет делать то, что ему не под силу.

— Ты положишься на меня, а я положусь на Роджера и Эдди.

— Хорошо. Но сейчас я буду молиться за него.

— Молись, — сказал Томас Хадсон. — А почему ты говоришь, что я люблю его больше всех?

— Так и должно быть.

— Тебя я любил дольше всех.

— Не будем говорить о нас с тобой. Давай лучше оба помолимся за Дэви.

— Хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Слушай. Мы подцепили эту рыбу в самый полдень. Теперь скоро должна появиться тень. Кажется, она уже есть. Сейчас я осторожно поверну катер так, чтобы тень падала на Дэви.

Томас Хадсон крикнул вниз Роджеру:

— Родж, как ты считаешь, можно мне тихонько повернуть катер, чтобы Дэви был в тени? На рыбе это нисколько не отразится. Она как ходила кругами, так и будет ходить.

— Прекрасно, — сказал Роджер. — Как это я сам до этого не додумался.

— До сих пор тени еще не было, — сказал Томас Хадсон.

Он так медленно развернул катер вокруг кормы, что лишней лески почти не ушло. Голова и плечи Дэвида были теперь в тени, падавшей от кормовой стороны рубки. Эдди обтирал шею и плечи мальчика полотенцем и смачивал ему спиртом затылок и спину.

— Ну, как ты там, Дэви? — крикнул сверху Том-младший.

— Чудесно, — сказал Дэвид.

— Теперь я спокойнее за него, — сказал Том-младший. — Знаешь, в школе кто-то брякнул, что Дэвид мне сводный брат, а не родной, а я заявил, что у нас в семье сводных братьев нет. Папа, ну чего я так волнуюсь?

— Это пройдет.

— В такой семье, как наша, кому-то всегда приходится волноваться, — сказал Том-младший. — Но за тебя я больше не волнуюсь. Теперь только за Дэвида. Пойду, пожалуй, приготовлю вам еще по коктейлю. Пока смешиваешь напитки, можно молиться. Выпьешь еще, папа?

— Выпью, и с превеликим удовольствием.

— Эдди, наверно, это просто необходимо, — сказал мальчик. — Прошло почти три часа. За три часа Эдди пил только один раз. Это я оказался таким нерадивым. Папа, а откуда ты знал, что мистер Дэвис не станет пить?

— Мне казалось, он не захочет, пока Дэвиду так трудно приходится.

— Может, теперь выпьет, ведь Дэви сидит в тени. Все равно я ему предложу.

Он спустился на палубу.

— Нет, Томми, пожалуй, не стоит, — услышал Томас Хадсон ответ Роджера.

— Мистер Дэвис, вы за весь день ничего не выпили, — настаивал Том.

— Спасибо, Томми, — сказал Роджер. — Выпей за меня бутылку пива. — Потом он крикнул Томасу Хадсону: — Двинь чуть вперед, Том! А то она пойдет на нас.

— Есть двинуть чуть вперед, — повторил Томас Хадсон.

Рыба все еще кружила на большой глубине, но сокращала круги, поскольку катер шел туда, куда ей нужно. За наклоном лески теперь легче было следить. Она стала виднее в темной глубине воды, потому что солнце было за кормой, и Томасу Хадсону стало удобнее принаравливаясь к движениям рыбы. Как им повезло, думал, он, что день тихий; Дэвид просто не выдержал бы, если б ему пришлось вываживать эту рыбу даже в небольшую волну. Но волны не было никакой, и теперь, когда Дэвид сидел в тени, у Томаса Хадсона отлегло от сердца.

— Спасибо, Томми, — услышал он голос Эдди, а потом мальчик поднялся наверх со стаканом, обернутым в бумагу, и Томас Хадсон глотнул сначала немного, потом побольше и ощутил на языке холод, в котором была острота лимонного сока, душистая глянцевитость ангостуры и терпкость джина, подкрепляющего ледяную стынь кокосовой воды.

— Ну, как, папа, ничего? — спросил мальчик. В руках у него была бутылка пива прямо со льда, покрывшаяся на солнце холодными капельками пота.

— Великолепно, — ответил ему отец. — Джина ты влил порядочно.

— Пришлось, — сказал Том-младший, — потому что лед тает очень быстро. Надо бы нам завести какие-нибудь подстаканники-термосы, чтобы

лед не таял. Я займусь этим в школе. Попробую смастерить что-нибудь из пробковых пластинок. И может, преподнесу тебе в подарок к рождеству.

— Взгляни на Дэви, — сказал ему отец.

Дэвид так вываживал рыбу, точно его схватка с ней только что началась.

— Посмотри, какой он плоский, — сказал Том-младший. — Что грудь, что спина — одинаковые. И они будто склеены у него. Зато таких длинных мускулов на руках больше ни у кого не увидишь — и бицепсы и трицепсы одинаковой длины. Странное у Дэви сложение, папа. И сам он странный, и вообще лучшего брата и быть не может.

Между тем Эдди опорожнил свой стакан и снова принялся обтирать Дэвиду спину полотенцем. Потом обтер ему грудь и длинные руки.

— Ну как ты, Дэви, ничего?

Дэвид кивнул.

— Слушай, — сказал ему Эдди. — У меня на глазах один человек — взрослый, сильный, плечи, что у быка — струсил, отступился от рыбы, а ведь и половины не сделал того, чего ты уже добился.

Дэвид молча делал свое дело.

— Здоровенный дядя. Твой папа и Роджер тоже его знают. Он на рыбной ловле собаку съел. Все время рыбачит. Так вот, подцепил он как-то огромную рыбину и сдрейфил, отступился от нее, потому что она его измотала. Измотала его эта рыба, и он ее бросил. Держись, Дэви, держись.

Дэвид молчал. Он сберегал дыхание, продолжая поднимать и опускать удилище и наматывать леску на катушку.

— Эта треклятая рыба — самец, потому она такая сильная, — сказал ему Эдди. — Будь это самка, ей давно бы капут, кишки бы лопнули, сердце бы разорвалось или икра бы из нее выперла. У этих рыб самцы сильнее. У других сильнее самки. А у меч-рыбы наоборот. У этой силищи много. Но ты ее доконаешь, Дэви.

Леска снова стала разматываться, и Дэвид закрыл глаза, уперся ногами в деревянную перекладину, откинулся назад и минутку отдыхал.

— Правильно, Дэви, — сказал Эдди. — Пока не работаешь, отдыхай. Рыба просто кружит, но тормоз и ее заставляет работать, так что она устает тоже.

Эдди повернул голову и заглянул вниз, и по его прищуре Томас Хадсон понял, что он смотрит на большие медные часы, укрепленные на стене каюты.

— Пять минут четвертого, Роджер, — сказал он. — Дэви, друг, уже три часа пять минут, как ты с ней возишься.

Теперь Дэвиду пора было бы выбирать леску, но она ровно разматывалась с катушки.

— Опять уходит в глубину, — сказал Роджер. — Держи крепче, Дэви... Том, тебе леску видно?

— Видно, хорошо видно, — ответил ему Томас Хадсон. Леска пока уходила вниз не очень круто, и он просматривал ее на большой глубине.

— Рыба, верно, пошла на дно, чтобы там подохнуть, — вполголоса сказал Томас Хадсон старшему сыну. — Тогда все пропало.

Том-младший покачал головой и закусил губу.

— Держи ее, держи изо всех сил, Дэви! — услышал Томас Хадсон голос Роджера. — Подвинти тормоз, но леска пусть разматывается.

Мальчик так крепко завинтил тормоз, что удилище и леска чуть не лопнули, и собрал все силы, готовясь к предстоящему испытанию, а леска разматывалась с катушки и уходила все ниже и ниже.

— Только удержи ее, и тогда она наша, — сказал Дэвиду Роджер. — Выключи моторы, Том.

— Уже выключил, — сказал Томас Хадсон. — Но, пожалуй, можно немного подать назад, пользуясь течением.

— Ладно. Давай.

— Есть, — сказал Томас Хадсон.

Чуть отойдя назад, они отняли у рыбы леску, но так, самую малость, и теперь вся она, сверху донизу, натянулась почти в отвес. На катушке оставалось совсем мало — меньше, чем было в самые критические минуты.

— Придется тебе выйти на край кормы, Дэви, — сказал Роджер. — И ослабь немного тормоз, тогда высвободишь комель.

Дэвид ослабил тормоз.

— Теперь укрепи комель в гнезде. Эдди, обхвати его сзади поперек туловища.

— О господи! — сказал Том-младший. — Она пошла ко дну, папа!

Дэвид стоял на коленях у края кормы, держа удилище, которое так согнулось, что даже вершинка его была под водой, а торцом оно сидело в кожаном гнезде у мальчика на поясе. Эндрю схватил Дэвида сзади за ноги, а Роджер опустился рядом с ним на колени и следил, сколько лески уходит под воду и сколько ее остается на катушке. Он оглянулся на Томаса Хадсона и покачал головой.

На катушке не осталось и двадцати ярдов, а удилище до половины ушло под воду и тянуло Дэвида вниз. Потом на катушке осталось каких-нибудь пятнадцать ярдов. Потом уже и десяти не было. И тут леска перестала разматываться. Мальчик висел над бортом, удилище почти

целиком было под водой, но леска больше не сматывалась с катушки.

— Посади его обратно в кресло, Эдди. Только осторожнее, — сказал Роджер. — Не торопись. Он остановил рыбу.

Эдди подвел Дэвида к креслу, крепко обхватив его поперек туловища, чтобы неожиданный рывок рыбы не сдернул его за борт. Он посадил его, и Дэвид вставил комель удилища в гнездо, уперся ногами в перекладину и откинулся назад, взяв спиннинг на себя. Рыба немного поднялась.

— Подтягивай ее, только когда будешь выбирать леску, — сказал Дэвиду Роджер. — А остальное время пусть сама тянет. И делай передышку, отдыхай.

— Ну, доконал ты ее, Дэвид, — сказал Эдди. — Теперь все на твоей стороне. Только не торопись, не волнуйся, и тогда ей конец.

Томас Хадсон дал чуть-чуть вперед, чтобы рыба не ушла в сторону. Теперь вся корма была в тени. Катер медленно шел в открытое море, не встречая ни волны, ни ветра.

— Папа, — сказал Том-младший. — Я видел его ноги, когда смешивал вам коктейли внизу. Они все в крови.

— Он ободрал их о перекладину.

— Может, подложить подушку, чтобы он упирался в мягкое?

— Пойди спроси Эдди, — сказал Томас Хадсон. — Только Дэви не мешай.

Схватка с рыбой продолжалась уже четвертый час. Катер по-прежнему шел в открытое море, и, сидя в кресле, спинку которого теперь поддерживал Роджер, Дэвид медленно поднимал рыбу вверх. Он выглядел бодрее, чем час назад, но Томас Хадсон видел, что пятки у него в крови, стекавшей с подошв. На солнце она глянцевиито поблескивала.

— Как ноги, Дэв? — спросил Эдди.

— Ноги не больно, — сказал Дэвид. — Болят руки, плечи и спина.

— Не подложить тебе подушку под ноги?

Дэвид мотнул головой.

— Нет, еще прилипнут, — сказал он. — Они липкие от крови. Мне не больно. Правда, не больно.

Том-младший поднялся наверх и сказал:

— Изуродует он себе ноги. И руки изуродует. Ладони были в волдырях, а теперь волдыри полопались. Ох, папа! Ну что делать?

— А если бы ему пришлось выгребать против сильного течения, Томми? Или подниматься на высокую гору, или держаться в седле, когда уже все силы вышли?

— Да, знаю. Но если такое творится у тебя на глазах, и с кем — с

твоим братом, а ты стоишь в стороне, это ужасно, папа.

— Знаю, Томми, знаю. Но для мальчиков наступает время, когда им надо пройти через такое, если они хотят стать мужчинами. Наступило оно и для Дэви.

— Да, понимаю. Но стоит мне посмотреть на его руки и ноги, и я уже ничего не понимаю.

— Представь себе, что ты сам боролся бы с этой рыбой, хотелось бы тебе, чтобы я или Роджер отняли ее у тебя?

— Нет. Я бы умер, а не расстался с ней. Но смотреть на Дэви — это совсем другое дело.

— Надо о нем думать, — сказал отец. — О том, что для него важно.

— Да, конечно, — уныло проговорил Том-младший. — Но для меня ведь он просто Дэви. И как это нехорошо устроено в мире, что такое случается с твоим братом.

— Я тоже так считаю, — сказал Томас Хадсон. — Ты очень добрый мальчик, Томми. Только, пожалуйста, пойми: эту схватку можно было бы давным-давно прекратить, но, если Дэвид победит в ней, эта победа останется с ним на всю жизнь, и она же поможет ему справиться с тем, что его еще ждет впереди.

Тут заговорил Эдди. Он опять заглядывал в каюту.

— Ровно четыре часа, Роджер, — сказал Эдди. — Дэви, ты бы выпил воды. Ну, как ты сейчас?

— Отлично, — сказал Дэвид.

— Займусь и я делом, — сказал Том-младший. — Пойду приготовлю Эдди выпить. А ты не хочешь, папа?

— Нет. Пока не надо, — сказал Томас Хадсон.

Том-младший спустился вниз, а Томас Хадсон стал смотреть на Дэвида, на его медленные, усталые, но размеренные движения; на Роджера, который нагнулся над ним и говорил ему что-то вполголоса; на Эдди, который стоял на корме и следил за леской, под уклоном уходившей в воду. Томас Хадсон представил себе, каково там внизу, где сейчас плавает меч-рыба. Темно, конечно, но рыба, наверно, видит в темноте — как лошади. Темно и очень холодно.

Одна она там плавает, думал он, или около нее есть еще какая-нибудь рыба? Других рыб они тут не видели, но это еще не значит, что рыба плавает одна. В темноте, в холоде, рядом с ней, может быть, плавают и другие.

Почему же рыба остановилась, уйдя под воду так глубоко? — думал Томас Хадсон. Может быть, она достигла доступного ей предела глубины,

как самолет, у которого есть потолок подъема? Или же согнувшаяся снасть, круто завинченный тормоз и сила трения лески в воде наконец сломили ее сопротивление и теперь она тихо плывет вперед и поднимается, поднимается чуть выше, когда Дэвид подтягивает ее кверху, просто для того, чтобы ослабить напряжение? Так оно, вероятно, и есть, думал Томас Хадсон, и, если рыба еще не обессилела, Дэвиду предстоит нелегкая задача.

Том-младший принес Эдди его бутылку, и Эдди надолго приложился к ней, а потом попросил Тома поставить ее в ящик с наживкой.

— Там попрохладней, и под рукой у меня будет, — добавил он. — Если Дэви еще долго провозится с этой рыбой, я, чего доброго, алкоголиком стану.

— Я вам буду приносить вашу бутылку, когда только пожелаете, — сказал Эндрю.

— Когда я пожелаю, не приноси, — сказал ему Эдди. — Приноси, когда я тебя попрошу об этом.

Старший мальчик поднялся к Томасу Хадсону, и они увидели, что Эдди нагнулся над Дэвидом и пристально смотрит ему в глаза. Роджер обеими руками держал спинку кресла и следил за леской.

— Слушай, Дэви, — сказал мальчику Эдди, внимательно глядя ему в лицо. — Руки и ноги — это пустяки. Ну больно, ну на вид они прямо никуда, но это ничего. У рыболова и должны быть такие руки-ноги. Они раз от разу у тебя будут грубеть. А вот голова-то как?

— Отлично, — сказал Дэвид.

— Тогда храни тебя бог, и вываживай эту сволочь, вываживай. Скоро она здесь у нас будет.

— Дэви, — обратился к мальчику Роджер. — Может, мне за нее взяться?

Дэвид замотал головой.

— Это не значит, что ты сдаешься, — сказал Роджер. — Здравый смысл того требует. Или я, или твой отец — мы за нее возьмемся.

— Я что-нибудь не так делаю? — с обидой спросил Дэвид.

— Нет. Ты все делаешь замечательно.

— Тогда зачем мне сдаваться?

— Она тебя измотала, Дэви, — сказал Роджер. — Не могу я допустить, чтобы она тебя замучила.

— Крючок-то у кого в пасти сидит? У нее, — прерывающимся голосом проговорил Дэвид. — Не она меня мучает. Я ее мучаю. Суку паршивую.

— Говори, Дэви. Все что хочешь говори, — сказал Роджер.

— Сука поганая. Сучья сука.

— У него слезы на глазах, — сказал Эндрю. Он поднялся наверх и стоял рядом с отцом и Томом-младшим. — Он ругается, чтобы не заплакать.

— Молчи, наездник, — сказал Том-младший.

— Уморит она меня, сука, ну и пусть, — сказал Дэвид. — Ой, нет! Зачем я ее ругаю! Я ее люблю.

— Ну а теперь помолчи, — сказал Дэвиду Эдди. — Побереги дыхание.

Эдди взглянул на Роджера, и Роджер пожал плечами, давая понять, что он не знает, как быть дальше.

— Если ты будешь так волноваться, я сам возьмусь за эту рыбу, — сказал Эдди.

— Я всегда волнуюсь, — сказал Дэвид. — Только не признаюсь в этом, вот никто и не знает, как я волнуюсь. А сейчас ничего особенного нет. Говорю много, вот и все.

— А теперь помолчи, не надо говорить, — сказал Эдди. — Успокойся, возьми себя в руки, и мы от нее не отстанем.

— Я ее не брошу, — сказал Дэвид. — Зачем я ее ругал? Не надо ее ругать. Лучше этой рыбы нет ничего на свете.

— Энди, дай мне бутылку спирта, — сказал Эдди. — Я разотру ему руки, ноги и плечи, — сказал он Роджеру. — От ледяной воды как бы судорогой не свело. — Он заглянул в каюту и сказал: — Ровно пять с половиной часов, Роджер. — Потом повернулся к Дэвиду: — Тебе не жарко, Дэви?

Мальчик покачал головой.

— В середине дня солнце шпарит прямо в темечко. Вот чего я боялся, — сказал Эдди. — Теперь с тобой ничего не случится, Дэви. Держись, друг, добивай эту паршивую рыбу. Хорошо бы ее доконать еще засветло.

Дэвид кивнул.

— Папа, ты видел когда-нибудь, чтобы рыба так боролась? — спросил Том-младший.

— Видел, — ответил ему Томас Хадсон.

— И часто?

— Не помню, Томми. В Гольфстриме попадаются страшные рыбы. Но некоторые громадины ловятся легко.

— А почему так?

— Может быть, состарились, разжирели. Есть такие, которым давно пора бы подохнуть. Но самые крупные обычно так бьются на леске, что

сами себя приканчивают.

День близился к вечеру, встречные суда уже не попадались им, заплыли они далеко и были где-то между островом и большим маяком Айзекса.

— Ну-ка, Дэви, еще попробуй поднять, — сказал Роджер.

Мальчик ссутулился, откинулся назад, сделав упор на ноги, и на этот раз вершинка удилища медленно поднялась вверх.

— Идет, идет, — сказал Роджер. — Забирай у нее леску, подтягивай ее, подтягивай.

Мальчик приподнял удилище, и леска снова пошла на катушку.

— Она идет вверх, — сказал Дэвиду Роджер. — Правильно, так и действуй.

Дэвид работал, как машина или же как очень усталый мальчик, работающий за машину.

— Вот теперь в самый раз тащить, — сказал Роджер. — Она идет вверх. Дай немного вперед, Том. Будем брать ее с левого борта.

— Есть дать немного вперед, — сказал Томас Хадсон.

— Действуй по своему усмотрению, — сказал Роджер. — Надо так подвести эту рыбу, чтобы Эдди удобно было ее забagrить, а нам — набросить петлю. Поводком займусь я. Томми, ты иди вниз, будешь держать кресло и следи, чтобы леска не захлестнула за удилище, когда я возьму поводок. Леска все время должна быть свободной, на случай если мне придется отпустить рыбу. Энди, ты будь при Эдди. Подавай ему все, что он потребует. Петлю подашь и дубинку.

Теперь рыба безостановочно шла вверх, и Дэвид ритмично поднимал и опускал удилище.

— Том, иди вниз, будешь править оттуда! — крикнул Роджер.

— А я уже и так иду, — ответил ему Томас Хадсон.

— Извини, — сказал Роджер, — Дэви, запомни: если мне придется отпустить ее, держи удилище повыше и чтобы леска за него не захлестнула. Как только я ухвачу поводок, ослабь тормоз.

— Леску наматывай ровно, — сказал Эдди. — Нельзя, чтобы ее заедало.

Томас Хадсон спрыгнул с мостика в кокпит и взялся за штурвал снизу. Глубина просматривалась отсюда хуже, чем сверху, но, если случится что-нибудь непредвиденное, здесь сподручнее, да и держать связь с остальными легче. Странно находиться на том же уровне, где идет действие, после того как ты провел несколько часов, глядя на все это сверху, подумал он. Точно спустился из ложи на сцену или на ринг или стоишь вплотную к

загородке вдоль трека. Люди кажутся больше и ближе, и все они выше ростом, и фигуры у них не укороченные в ракурсе.

Он видел окровавленные руки Дэвида, глянцевито поблескивавшие струйки на ногах и следы от лямок на спине и встретил его почти отчаянный взгляд, когда он повернул голову, доведя удилище вверх до предела. Томас Хадсон заглянул в каюту — часы на стене показывали без десяти минут шесть. Теперь, когда он был так близко от воды, море казалось ему совсем другим, и, глядя из тени на согнутое удилище Дэвида, он видел белую леску, уходившую косо в толщу темной воды, и само удилище, равномерно двигавшееся вверх и вниз. Эдди стоял на коленях у борта с багром в обожженных солнцем веснушчатых руках и всматривался в полиловевшую воду, стараясь разглядеть там рыбу. Томас Хадсон заметил веревочные узлы на древке багра и веревку, привязанную к пиллерсу на корме, потом снова перевел взгляд на спину Дэвида, на его вытянутые ноги и длинные руки, державшие удилище.

— Тебе не видно, Эдди? — спросил Роджер, не отпуская спинки кресла.

— Нет еще. Води ее, Дэви, води.

Дэвид продолжал поднимать и опускать удилище; леска виток за витком продолжала наматываться на разбухшую катушку.

Вдруг рыба остановилась, удилище перегнулось вершинкой к воде, и леска опять стала разматываться.

— Нет! Не может быть! — сказал Дэвид.

— Может, — сказал Эдди. — От нее всего жди.

Дэвид медленно приподнял удилище, преодолевая его тяжесть, и вслед за этим медленным подъемом леска снова стала легко и равномерно наматываться на катушку.

— Она только на минутку задержалась, — сказал Эдди. Сдвинув на затылок свою старую фетровую шляпу, он всматривался в чистую, темно-лиловую воду. — Вот она, — сказал он.

Томас Хадсон отскочил от штурвала и глянул за борт. Рыба показалась в глубине за кормой, маленькая, укороченная в ракурсе, и тут же на глазах у Томаса Хадсона стала расти — не с такой стремительностью, как вырастает летящий на тебя самолет, но так же неуклонно и грозно.

Томас Хадсон тронул Дэвида за плечо и вернулся к штурвалу. И тут он услышал голос Эндрю:

— Ой! Смотрите! — И увидел ее, не отходя от штурвала. Она плыла под водой прямо за катером — бурая, раздавшаяся в ширину и в длину.

— Так держать, — сказал Роджер не оглядываясь.

И Томас Хадсон ответил:

— Есть так держать.

— О господи! Смотрите! — сказал Том-младший.

Теперь она выросла до огромных размеров — Томас Хадсон впервые видел такую меч-рыбу. Уже не бурая, а иссиня-лиловая по всей своей длине, рыба медленно, плавно двигалась в том же направлении, куда шел катер. Она двигалась за самой кормой и справа от Дэвида.

— Пусть так и идет, Дэви, — сказал Роджер. — Она хорошо идет, хорошо.

— Дай чуть вперед, — сказал Роджер, не сводя глаз с рыбы.

— Есть чуть вперед, — ответил Томас Хадсон.

— Мотай леску, — сказал Дэвиду Эдди.

Томас Хадсон увидел вертлюжок поводка, показавшийся над водой.

— Еще немного вперед, — сказал Роджер.

— Есть еще немного вперед, — повторил Томас Хадсон.

Он следил за рыбой и поворачивал катер в том направлении, куда она плыла. Теперь рыба была видна ему вся — лиловая длина ее тела, широкий, торчащий вперед меч, вспарывающий воду плавник на широкой спине и огромный хвост, который, почти не двигаясь, посылал ее вперед.

— Дай еще немного, — сказал Роджер.

— Есть дать еще немного.

Дэвид вывел поводок лески наружу.

— Ты готов, Эдди? — спросил Роджер.

— Готов, — сказал Эдди.

— Следи за ней, Том, — сказал Роджер и, наклонившись над кормой, ухватил поводок. — Ослабь тормоз, — сказал он Дэвиду и, поднимая, придерживая тяжелый поводок, стал медленно выводить рыбу ближе к багру.

Рыба шла наверх — широкая, длинная, как затонувшее бревно. Дэвид следил за ней, в то же время поглядывая на вершинку удилица и стараясь, чтобы его не захлестнуло леской. Впервые за шесть часов спина, руки и ноги у него не чувствовали напряжения, и Томас Хадсон видел, как подрагивают, дергаются у мальчика мускулы на ногах. Эдди с багром нагнулся над кормой, а Роджер медленно, равномерно вел поводок кверху.

— Больше тысячи фунтов потянет, — сказал Эдди. Потом очень тихо: — Роджер, крючок держится на ниточке.

— Сможешь дотянуться до нее? — спросил Роджер.

— Пока нет, — сказал Эдди. — Легче, легче, не спешите.

Роджер продолжал подтягивать поводок, и огромная рыба постепенно

приближалась к катеру.

— Сейчас оборвется, — сказал Эдди. — На честном слове держится.

— А теперь достанешь? — спросил Роджер. Голос у него не изменился.

— Нет еще, — так же тихо сказал Эдди.

Роджер поднимал рыбу мягко, со всей осторожностью, на какую только был способен. И вдруг напряжение исчезло из его тела, и он выпрямился, держа в обеих руках провисший поводок.

— Нет. Нет. Нет. Боже мой, нет! — сказал Том-младший.

И в ту же минуту Эдди с багром кинулся в воду, пытаясь дотянуться до рыбы и забagrить ее.

Но все было напрасно. Огромная рыбина, похожая на большую темно-лиловую птицу, постояла в глубине, потом медленно пошла вниз. Они смотрели, как она опускалась, становясь все меньше и меньше, и наконец исчезла из виду.

Шляпа Эдди плавала по спокойной воде, а сам он держался за багор. Веревка от багра тянулась к пиллерсу на корме. Роджер обнял Дэвида, и Томас Хадсон увидел, что плечи у мальчика трясутся. Но он предоставил его Роджеру.

— Спусти трап, помоги Эдди влезть, — сказал он Тому-младшему. — Энди, возьми удилище. Вынь его из гнезда.

Роджер поднял Дэвида, донес его до койки у правого борта и положил там. Он продолжал обнимать мальчика, а тот лежал на койке ничком.

Эдди, весь мокрый, влез на катер и стал переодеваться. Эндрю выловил багром его шляпу, а Томас Хадсон успел сходить в каюту за рубашкой и брюками для Эдди и за рубашкой и шортами для Дэвида. Он с удивлением отметил, что ничего не чувствует, кроме жалости и любви к Дэвиду. Эта схватка с рыбой иссушила в нем все другие чувства.

Когда он вернулся, Дэвид, голый, по-прежнему лежал на койке лицом вниз, а Роджер растирал его спиртом.

— Плечи больно и копчик, — сказал Дэвид. — Там, пожалуйста, потише, мистер Дэвис.

— Это где натерло, — сказал ему Эдди. — Сейчас отец смажет тебе руки и ноги меркурохромом. Это не больно.

— Надень рубашку, Дэви, — сказал Томас Хадсон. — А то простудишься. Том, принеси ему одеяло какое полегче.

Томас Хадсон смазал меркурохромом те места, где лямки натерли мальчику спину, и помог ему надеть рубашку.

— Я уже ничего, — тусклым голосом проговорил Дэвид. — Я хочу

кока-колы. Можно, папа?

— Пожалуйста, — сказал Томас Хадсон. — А потом Эдди разогреет тебе суп.

— Я не голоден, — сказал Дэвид. — Я сейчас не смогу есть.

— Ну, подождем немного, — сказал Томас Хадсон.

— Я понимаю, каково тебе, Дэви, — сказал Эндрю, подавая ему бутылку кока-колы.

— Никому этого не понять, — сказал Дэвид.

Томас Хадсон объяснил старшему сыну, каким курсом идти к острову.

— Смотри, чтобы моторы работали синхронно, на триста оборотов, Томми, — сказал он. — Когда стемнеет, будет виден маяк, а потом я произведу корректировку.

— Ты меня почаще проверяй, папа. Скажи, тебе так же тошно, как мне?

— Тут ничего не поделаешь.

— А Эдди попытался что-то сделать, — сказал Том-младший. — Не каждый прыгнул бы в океан за какой-то рыбой.

— Эдди был на волоске, — сказал ему отец. — Ты представляешь себе, что могло бы случиться, если бы он забагрил ее не с катера, а в воде?

— Эдди бы справился, — сказал Том-младший. — Ну как, синхронно они работают?

— К моторам надо прислушиваться, — сказал ему отец, — а не только на тахометры поглядывать.

Томас Хадсон подошел к койке и сел рядом с Дэвидом. Мальчик был закутан в легкое одеяло, и Эдди возился с его руками, а Роджер смазывал ему меркурохромом ноги.

— А-а, папа, — сказал он и посмотрел на Томаса Хадсона, а потом отвел глаза в сторону.

— Жаль, Дэви, очень жаль, — сказал ему отец. — Ты так с ней сражался. Лучше Роджера, лучше всех, кого я знаю.

— Большое спасибо, папа. Только не надо об этом говорить.

— Дать тебе чего-нибудь, Дэви?

— Если можно, еще кока-колы, — сказал Дэвид.

Томас Хадсон вынул из ящика для наживки бутылку охлажденной на льду кока-колы и откупорил ее. Он сел рядом с Дэвидом, и мальчик выпил всю бутылку, держа ее в руке, которую Эдди уже успел обработать.

— Суп скоро будет готов. Он уже закипает, — сказал Эдди. — Том, а соус не подогреть? К салату из крабов?

— Подогрей, — сказал Томас Хадсон. — Мы с утра ничего не ели. А

Роджер так за весь день не выпил ни глотка.

— Только что — бутылку пива, — сказал Роджер.

— Эдди, — сказал Дэвид. — А сколько она весила, по правде?

— Больше тысячи фунтов, — сказал ему Эдди.

— Спасибо вам, что вы прыгнули за борт, — сказал Дэвид. — Большое спасибо, Эдди.

— Да ну, чего там! — сказал Эдди. — А что еще было делать?

— Папа, как по-твоему, в ней, правда, было тысяча фунтов? — спросил Дэвид.

— Безусловно, — сказал Томас Хадсон. — Мне такие громадины ни разу не попадались, ни марлины, ни меч-рыбы.

Солнце спряталось, и катер шел по спокойному морю, шел, урча моторами, быстро бороздя ту самую воду, по которой они так медленно продвигались все эти часы.

Эндрю тоже примостился на краю широкой койки.

— Ну, что, наездник? — сказал ему Дэвид.

— Если бы ты выловил эту рыбу, — сказал Эндрю, — ты стал бы самым знаменитым мальчиком на свете.

— А я не хочу быть знаменитым, — сказал Дэвид. — Предоставляю это тебе.

— А мы бы прославились как твои братья, — сказал Эндрю. — Seriously.

— А я бы прославился как твой друг, — сказал Роджер.

— А я бы прославился как рулевой, — сказал Томас Хадсон. — А Эдди — как гарпунщик.

— Уж Эдди-то непременно прославился бы, — сказал Эндрю. — А Томми прославился бы тем, что он столько коктейлей приготовил. Идет страшная битва, а Томми знай носит стаканы.

— А рыба? Она бы не прославилась? — спросил Дэвид. Он уже был таким, как всегда. Во всяком случае, голос у него звучал, как всегда.

— Она бы прославилась больше всех, — сказал Эндрю. — Она бы себя обессмертила.

— Надеюсь, ей ничего не сделалось, — сказал Дэвид. — Надеюсь, она цела и невредима.

— Конечно, — сказал Роджер. — По тому, как в ней сидел крючок и как она сопротивлялась, я знаю, что ей ничего не сделалось.

— Когда-нибудь я вам расскажу, как все было, — сказал Дэвид.

— Расскажи сейчас, — потребовал Энди.

— Сейчас я устал, и вообще вы подумаете, я сумасшедший.

— Расскажи. Ну хоть немножко, — пристал к нему Эндрю.
— Не знаю, стоит или нет. Папа, как по-твоему?
— Давай, давай, — сказал Томас Хадсон.
— Ну... — сказал Дэвид, зажмурившись. — В самые тяжелые минуты, когда мне было труднее всего, я не различал, где она и где я.
— Понимаю, — сказал Роджер.
— И тогда я полюбил ее больше всего на свете.
— Прямо-таки полюбил? — спросил Эндрю.
— Да. Полюбил.
— Фью! Вот уж чего не понимаю, — сказал Эндрю.
— Когда она стала подниматься, я так ее любил, что сил моих не было, — сказал Дэвид, все еще зажмурившись. — Мне хотелось только одного: увидеть ее как можно ближе.
— Понимаю, — сказал Роджер.
— Теперь мне плевать, что я ее упустил, — сказал Дэвид. — И плевать мне, что я не поставил рекорда. А ведь думал, что мне хочется его поставить. Очень хорошо, что она цела и я цел. Мы с ней не враги.
— И хорошо, что ты поделился с нами, — сказал Томас Хадсон.
— Большое вам спасибо, мистер Дэвис, за то, что вы сказали мне, когда она в первый раз ушла вглубь. — Дэвид говорил, не открывая глаз.
Томас Хадсон так и не узнал, что сказал ему Роджер.

X

Вечером, в последние часы штиля, перед тем как поднялся ветер, Томас Хадсон сидел в своем кресле с книгой в руках. Остальные уже легли, а он знал, что заснуть не сможет, и решил читать до тех пор, пока не начнут слипаться глаза. Но из чтения тоже ничего не получалось, и тогда он стал думать о прошедшем дне. Он перебирал его в памяти весь с начала и до конца и думал о том, как далеко отошли от него сыновья, кроме разве Тома, или как далеко отошел он от них.

Дэвид отошел к Роджеру. Томас Хадсон всегда хотел, чтобы Дэвид взял от Роджера все, что возможно, потому что в действии Роджер был настолько же хорош и разумен, насколько нехорош и неразумен он был в своей жизни и своей работе. Для Томаса Хадсона Дэвид всегда оставался загадкой. Горячо любимой, но все же загадкой. Роджер понимал его лучше,

чем родной отец. Томас Хадсон обычно радовался, что они так хорошо понимают друг друга, но сегодня ему от этого было как-то не по себе.

А еще его огорчил своим поведением Эндрю, хоть он и знал, что Эндрю есть Эндрю и что он еще ребенок и его нельзя судить слишком строго. Ничего плохого он, в сущности, не сделал, даже напротив. Но что-то в нем было такое, что не внушало доверия.

Ну можно ли так эгоистично и мелочно рассуждать о тех, кого любишь, подумал он. Не лучше ли было просто вспомнить события дня без того, чтобы копаться в них, выискивая дурное? Ложись-ка в постель, сказал он себе, и постарайся уснуть. А все прочее к черту. И утром сразу включись в обычный жизненный ритм. Мальчикам не так уж много времени осталось пробыть здесь. Вот и позаботься о том, чтобы они получше провели это оставшееся время. Я старался, возразил он себе. Я старался, чтобы им было хорошо и Роджеру тоже. Тебе и самому было очень хорошо, подумал он. Да, конечно. Но вот сегодня мне отчего-то сделалось страшно. Ладно, сказал он себе; собственно говоря, в каждом дне легко что-то найти, от чего может сделаться страшно. Ложись в постель, авось повезет, и ты успеешь выспаться до утра. И помни: главное — это чтобы завтра всем было хорошо и приятно.

Ночью поднялся юго-западный ветер, и к рассвету он дул с почти ураганной силой. Пальмы гнулись под ним, хлопали ставни, разлетались бумаги, и на песке оседала пена прибоя.

Когда Томас Хадсон встал, Роджера уже не было. Мальчики еще спали, и он позавтракал один, просматривая почту, пришедшую с рейсовым судном, которое раз в неделю доставляло с материка мясо, лед, свежие овощи, бензин и другие товары. Ветер дул так сильно, что Томасу Хадсону пришлось придавить чашкой лежавшие на столе письма, чтоб их не унесло.

— Может, дверь закрыть? — спросил Джозеф.

— Нет. Пока ничего не разбилось, не нужно.

— Мистер Роджер пошел прогуляться по берегу, — сказал Джозеф. — Он направился в тот конец острова.

Томас Хадсон продолжал читать письма.

— Вот газета, мистер Том, — сказал Джозеф. — Я ее утюгом разгладил.

— Спасибо, Джозеф.

— Мистер Том, это правда про вчерашнюю рыбу? То, что рассказывал Эдди?

— А что он тебе рассказывал?

— Какая она была огромная и как он ее почти забагрил.

— Все правда.

— Ах ты господи. Надо же было, чтоб как раз в это время мне пришлось переносить с рейсового судна лед и продукты. Будь я с вами, я нырнул бы и забагрил ее в воде.

— Эдди нырял за ней, — сказал Томас Хадсон.

— Он мне этого не говорил, — сказал Джозеф, сбавив тон.

— Еще чашку кофе, пожалуйста, Джозеф, и я съел бы еще кусок папайи, — сказал Томас Хадсон. Он проснулся голодный, а от ветра голод у него разыгрался пуще. — А бекону не привезли на этот раз?

— Найдется, пожалуй, из прежних запасов, — сказал Джозеф. — У вас сегодня хороший аппетит.

— Пожалуйста, позови сюда Эдди.

— Эдди пошел домой полечить свой глаз.

— А что с ним случилось?

— Кто-то вчера заехал ему в глаз кулаком.

Томасу Хадсону нетрудно было догадаться о причине.

— А кроме глаза, все у него цело?

— Его вообще крепко избили, — сказал Джозеф. — Он ходил по всем барам и рассказывал такое, чему никто не хотел верить. Люди никогда не поверят тому, что он рассказывает. А жаль.

— Где же он дрался?

— Везде. Везде, где ему не верили. И все равно никто не хотел верить. Там, куда он попал уже поздно ночью, люди даже не знали толком, о чем речь, но говорили, что не верят, просто чтоб его подстрекнуть к драке. Наверно, на всем острове не осталось ни одного любителя драк, с которым бы он вчера не подрался. А сегодня вечером, попомните мое слово, кое-кто еще приедет с Миддл-Ки — нарочно, чтобы сцепиться с ним. На Миддл-Ки теперь завелось несколько отчаянных голов, с тех пор как там идет стройка.

— Надо будет мистеру Роджеру пойти с ним вместе, — сказал Томас Хадсон.

— Ух ты! — Джозеф весь просиял. — Будет, значит, потеха вечером.

Томас Хадсон выпил еще чашку кофе, съел кусок охлажденной папайи, политой лимонным соком, и четыре ломтика бекона, которые ему подал Джозеф.

— Я сразу заметил, что у вас сегодня хороший аппетит, — сказал Джозеф. — А когда я это замечаю, мне уж хочется не пропустить такой случай.

— Я ем очень много.

— Иногда, — сказал Джозеф.

Он налил ему чашку кофе, и Томас Хадсон забрал ее с собой, чтобы допить между делом — среди полученных писем было два, на которые нужно было ответить с обратной почтой.

— Сходи к Эдди домой, пусть он составит список того, что надо заказать на следующий рейс, — сказал он Джозефу. — И принесешь мне посмотреть. Для мистера Роджера остался кофе?

— Он уже пил, — сказал Джозеф.

Томас Хадсон дописывал наверху свои письма, когда явился Эдди со списком необходимых припасов. Выглядел Эдди неважно. Примочки глаза не помогли, губы и щеки сильно распухли. Одно ухо распухло тоже. Разбитые губы он намазал ртутным красителем, и яркий их цвет придавал ему вид отнюдь не трагический.

— Я вчера свалил дурака, — сказал он. — Проверьте, Том, здесь, кажется, все, что нужно.

— А зачем было приходить? Взял бы себе сегодня выходной и посидел бы спокойно дома.

— Дома мне хуже, — сказал Эдди. — Ничего, я вечером рано лягу спать.

— И больше не ввязывайся в драки из-за этого дела, — сказал Томас Хадсон. — Все равно не поможет.

— Нашли кого уговаривать, — сказал Эдди, шевеля пурпуром своих рассеченных и вспухших губ. — Я ведь думал, что правда в конце концов себя окажет, а тут всякий раз подвертывался еще кто-то, и я вместе с моей правдой летел задницей кверху.

— Джозеф говорит, ты дрался не один раз.

— Я бы и еще дрался, да кто-то увел меня домой, — сказал Эдди. — Бенни добрая душа, что ли. Только благодаря ему да констеблю я и уцелел.

— Ты считаешь, что уцелел?

— Пусть не весь, но уцелел. Эх, черт, жаль, вас не было, Том.

— Мне совсем не жаль. А кому-нибудь там хотелось, чтобы ты и в самом деле не уцелел?

— Да нет, едва ли. Просто они думали доказать мне, что я вру. А вот констебль мне поверил.

— Неужели?

— Факт, поверил. Он да еще Бобби. Только они двое, а больше никто. Констебль сказал, ему бы дознаться, кто меня первый стукнул, он бы его засадил. Все утро меня сегодня допрашивал: ведь был же кто-то первый; а

я ему говорю: был, только самый-то первый был я. Неудачный выдался вечер для правды, Том. Такой вечер, что хуже некуда.

— Так ты все-таки хочешь браться за стряпню?

— А что? — сказал Эдди. — Мы как раз получили мясо для бифштексов. Мясо что надо, настоящая вырезка. Посмотреть — залюбуешься. На гарнир думаю сделать картофельное пюре с подливкой и бобы лима. Еще можно приготовить салат из латука со свежими грейпфрутами. Потом ребята любят пироги, а у нас как раз есть консервированная малина с ежевикой — мировая начинка для пирога. И мороженое мы тоже получили, можно положить сверху. Ну, как повашему? Очень уж мне хочется подкормить этого пащенка Дэвида.

— Ты что собирался делать, когда прыгал в воду с багром?

— Я думал, всажу ей багор под самый плавник — она бы дернула, натянула веревку, и сразу бы ей конец. А я бы тем временем во всю мочь от нее и обратно на катер.

— Как она выглядела под водой?

— Она была широкая, как гребная лодка, Том. И вся лиловая, а глаз черный и величиной с вашу ладонь. Брюхо у нее отливало серебром, а меч был такой, что даже смотреть страшно. Она шла вглубь даже не очень быстро, но я бы не мог ее догнать, потому что древко у багра слишком легкое и все время всплывало на поверхность. Оно не давало мне нырнуть глубоко. Ничего бы не вышло.

— А она тебя видела?

— Черт ее знает. Вид у нее был такой, будто ей все ни к чему.

— По-твоему, она уже вымоталась?

— По-моему, она дошла. По-моему, она бы уже не стала бороться.

— Больше нам такой не видать.

— Да уж. Такая раз в жизни попадает. Я теперь и рассказывать про нее никому не стану, все равно не верят.

— Я хочу написать картину об этой рыбе, Дэвиду на память.

— Только напишите, чтоб было похоже. Не пишите по-чудному, как вы иногда любите.

— Я все напишу точнее, чем на фотографии.

— Вот и хорошо. Такие ваши картины мне нравятся.

— Очень трудно будет писать то, что под водой.

— Картина выйдет вроде той, которая у Бобби, со смерчами?

— Нет. Совсем другая, и, я надеюсь, лучше. Я сегодня же сделаю несколько этюдов к ней.

— А мне нравится та, что со смерчами, — сказал Эдди. — Бобби

просто помешался на ней, и вот ему почему-то верят, когда он рассказывает, будто сам видел столько смерчей сразу, сколько там нарисовано. Но эту, с рыбой в воде, пожалуй, потрудней будет написать.

— Думаю, что как-нибудь справлюсь, — сказал Томас Хадсон.

— А не могли бы вы написать, как она выпрыгнула из воды?

— Думаю, что мог бы.

— Так напишите для мальчика две картины, Том. Одну, как рыба выпрыгивает из воды, а другую, как Роджер выводит ее на поводке, а Дэв сидит в кресле с удилищем, и я тоже тут, стою рядом. Потом можно будет сфотографировать их.

— Сегодня же начну работать над этюдами.

— Если захотите что-нибудь у меня спросить, я буду на кухне. Ребята не просыпались еще?

— Нет, спят все трое.

— А, черт, — сказал Эдди. — Мне что-то на все стало наплевать после этой рыбы. Но надо же им приготовить еду повкуснее.

— Жаль, нет пиявок — приставить бы тебе к глазу.

— А, черт, плевать мне на этот глаз. Видеть я им вижу, чего еще надо?

— Я не стану будить ребят, пусть спят сколько хочется.

— Ладно. Джо мне скажет, когда они проснутся, и я покормлю их завтраком. Только если они очень поздно встанут, дам им что-нибудь легкое, чтобы не перебить аппетит перед ленчем. Видали вы то мясо, что вчера доставили?

— Нет.

— Черт, цена, конечно, немалая, Том, но мясо роскошное. Тут на острове этакого мяса никто за всю жизнь и не пробовал. Хотел бы я знать, как выглядит та скотинка, что дает такое мясо.

— Коротконогая, так что брюхо чуть не по земле тащится, — сказал Томас Хадсон. — И притом поперек себя шире.

— Вот это да, — сказал Эдди. — Хоть бы раз увидеть такую живьем. Здесь у нас если прирежут корову, так только когда она все равно вот-вот околеет с голоду. И мясо горькое-прегорькое. Наши местные обалдели бы, если б им показать такой кусок говядины, как у меня лежит на кухне. Они бы даже не поняли, что это такое. Заболели бы от одного вида.

— Мне бы надо успеть дописать письма, — сказал Томас Хадсон.

— Виноват, Том, ухожу.

Покончив со своей корреспонденцией, ответив даже на два деловых письма, отложенных было до следующей почты, проверив список, составленный Эдди, и выписав чек на всю стоимость заказа плюс те десять

процентов, которыми английское правительство облагало всякий импорт с материка, Томас Хадсон пошел на пристань, где рейсовое судно уже готовилось в обратный путь. Капитан принимал от жителей заказы на продукты, лекарства, мануфактуру и галантерею, запасные части, металлические изделия и разные другие товары, которые доставлялись на остров с материка. В трюм судна загружали живых лангустов и другую морскую живность, палуба уже была уставлена корзинами ракушек и порожними баками из-под бензина и смазочного масла, а к капитанской каюте тянулась длинная очередь, терпеливо дожидавшаяся на ветру.

— Как у вас, все в порядке, Том? — крикнул из окна каюты капитан Ральф Томасу Хадсону. — А ты куда лезешь без очереди? — одернул он высокого негра в соломенной шляпе, сунувшегося было в каюту. — Кое-что, к сожалению, пришлось заменить. Мясо хорошее?

— Эдди говорит, великолепное.

— Очень рад. Ну, давайте сюда письма и заказ. Ветер все крепчает. Хочу пройти над большой банкой до того, как начнется отлив. Вот и приходится спешить, вы уж извините.

— Увидимся на той неделе, Ральф. Не теряйте из-за меня времени. Большое вам спасибо, дружище.

— Постараюсь на той неделе привезти все точно по списку. Том, вам, может быть, деньги нужны?

— Нет, у меня еще есть с прошлого раза.

— А то, если нужно, у меня наличности много. Ну, ладно. Чья теперь очередь. Твоя, Люшиэс? Говори, на что желаешь потратиться в этот раз.

Томас Хадсон прошел через всю пристань, где негры веселились, глядя, что вытворяет ветер с легкими ситцевыми платьями женщин и девушек, и зашагал по коралловой дороге к «Понсе-де-Леон».

— А, Том, — встретил его мистер Бобби. — Входите, присаживайтесь. Где это вы пропадали? Мы только что кончили уборку, и заведение уже открыто. Давайте, давайте — когда еще так пьется, как с утра.

— Не рано ли?

— Вздор. Есть хорошее импортное пиво. И эль «Песья голова» тоже есть. — Он сунул руку в ящик со льдом, достал бутылку пльзенского, откупорил и подал Томасу Хадсону. — Стакан вам, надеюсь, не требуется? Заправьтесь этим для начала, а потом уж решайте, будете пить что-нибудь настоящее или нет.

— У меня рабочий день пропадет.

— Ну и черт с ним. Вы и так слишком много работаете. Надо подумать о себе, Том. Жизнь вам отпущена одна-единственная. Нельзя же

только и делать что рисовать.

— Вчера мы выходили в море, и я совсем не работал.

Томас Хадсон смотрел на большой холст с тремя смерчами, висевший на стене в глубине бара. Хорошо написано, подумал Томас Хадсон. В меру всей его сегодняшней силы написано, подумал он.

— Мне ее пришлось перевесить повыше, — сказал Бобби. — Вчера тут один клиент до того разошелся, что попробовал влезть в лодку. Я ему сказал, что, если он прорвет ногой полотно, это ему обойдется в десять тысяч долларов. И констебль меня поддержал. Констебль хочет вас просить, чтобы вы и ему написали картину, он ее повесит у себя дома. У него есть одна идея.

— Что же это за идея?

— Он не хотел говорить. Сказал только, что есть очень любопытная идея и он хочет обсудить ее с вами.

Томас Хадсон подошел ближе и всмотрелся в картину. Кое-где поверхность была чем-то повреждена.

— Добротная вещь, прах ее возьми, — с гордостью сказал Бобби. — На днях тут один клиент вздумал запустить кружкой пива в крайний смерч — сбить его захотел. Так даже вмятинки не осталось. И места этого не найдешь. Пиво стекло себе, как водичка, и все. Да, Том, сработали вы ее на совесть, эту картину.

— Но все же так ее ненадолго хватит.

— Пока что ей, прах ее возьми, все нипочем, — сказал Бобби. — Но я и сам думаю перевесить ее еще повыше. Этот вчерашний меня немного напугал.

Он протянул Томасу Хадсону еще бутылку пльзенского со льда.

— Том, я вам хочу сказать, до чего я огорчен, что так получилось с рыбой. Я ведь Эдди с мальчишеских лет знаю и знаю, что он никогда не врет. Ну по крайней мере в серьезных делах не врет. По крайней мере, если попросишь его говорить правду.

— Да, скверно получилось. Мне даже не хочется никому рассказывать об этом.

— И не надо, — сказал Бобби. — Я просто хотел, чтобы вы знали, до чего я огорчен. Ну, допивайте пиво, и я вам приготовлю чего-нибудь посущественней. Это не дело — начинать день в унынии. Чего вы предпочитаете, чтобы взбодриться?

— Я и так бодр, — сказал Томас Хадсон. — Я сегодня собираюсь работать, а выпивка всегда отнимает у меня нужную легкость.

— Ладно, раз уж мне вас не уговорить, подожду, может, набегит кто-

нибудь поговорчивей. Гляньте-ка на эту яхту, Том. Ох, и потрепало ее, наверно, в проливе: очень уж осадка мелкая.

Томас Хадсон глянул в распахнутую дверь и увидел входившее в гавань красивое белое судно типа плавучего дома. Эти суда обычно фрахтуют в Майами или другом ближнем порту для поездок вдоль флоридских островов, а в такой день, как вчера, безветренный и тихий, оно благополучно могло пересечь и Гольфстрим. Но сегодня ему, с его мелкой осадкой и громоздкими палубными надстройками, должно быть, пришлось нелегко. Удивительно было, как оно вообще сумело пройти над большой банкой в такую волну.

Яхта дошла до середины гавани и стала на якорь. Томас Хадсон и Бобби смотрели на нее с порога. Она была вся белая и блестящая, и на палубе толпились люди, тоже все в белом.

— Клиенты, — сказал Бобби. — Надеюсь, приличная публика. К нам ни одна такая большая яхта не заходила с тех пор, как окончился лов тунца.

— Откуда она?

— Я ее первый раз вижу. Хороша, ничего не скажешь. Но только не для пролива строена.

— Вероятно, она вышла около полуночи, еще в штиль, а ветер застиг ее где-нибудь на полдороге.

— Скорей всего, так, — сказал Бобби. — Досталось ей, верно, — и покачало и побросало. Ветер прямо-таки шквальный. Ну, скоро мы узнаем, кого она нам привезла. Том, голубчик, дайте я вам приготовлю чего-нибудь. Просто не могу видеть, как вы сидите и не пьете.

— Ладно. Стакан джину с тоником, — сказал Томас Хадсон.

— Тоника не осталось. Джо вчера последний ящик забрал к вам домой.

— Ну, тогда виски с лимоном.

— Ирландского виски с лимоном и без сахара, — сказал Бобби. — Готовлю три. Вон Роджер идет.

Томас Хадсон оглянулся и увидел его.

Роджер вошел в бар. Он был босиком, в линялых бумажных штанах и полосатой тельняшке, севшей от частой стирки. Когда он облокотился о стойку, мышцы на спине выпукло обозначились под натянувшейся тканью. В темноватом помещении бара кожа его казалась совсем коричневой, а волосы были пегие от солнца и морской соли.

— Ребята все еще спят, — сказал он Томасу Хадсону. — Кто-то избил Эдди. Ты видел?

— Он вчера до поздней ночи дрался то с одним, то с другим, то с третьим, — сказал ему Бобби. — Но в общем так, ничего серьезного.

— Не люблю, когда с Эдди что-нибудь случается, — сказал Роджер.

— Да ничего страшного не случилось, Роджер, — заверил его Бобби. — Ну, бил, ну, лез в драку, если кто не верил его рассказам. Повредить ему ничего не повредили.

— Я все никак не могу успокоиться из-за Дэвида, — сказал Роджер Томасу Хадсону. — Не должны мы были до этого допускать.

— По-моему, он уже оправился, — сказал Томас Хадсон. — Во всяком случае, спит с вечера крепким сном. А если кто и виноват, так не ты, а я. Мое дело было вовремя прекратить это.

— Нет. Ты положился на меня.

— Я отец, я и виноват, — сказал Томас Хадсон. — Я не имел права перекладывать на тебя свою ответственность. Есть вещи, которые передоверять нельзя.

— Но я эту ответственность принял, — сказал Роджер. — Я не думал, что он пострадает. И Эдди так не думал.

— Знаю, — сказал Томас Хадсон. — Я и сам не думал. Мне казалось, что тут важно другое.

— И мне так казалось, — сказал Роджер. — А теперь я себя чувствую эгоистом и скотиной.

— Я отец, — сказал Томас Хадсон. — Вся вина на мне.

— Свинство, конечно, получилось с этой рыбой, — сказал Бобби, пододвинув к ним два стакана, а третий оставив себе. — Ну, давайте выпьем за то, чтобы в следующий раз попало еще побольше.

— Нет, — сказал Роджер. — Еще побольше я даже видеть не хочу.

— Что с вами такое, Роджер? — спросил Бобби.

— Ничего.

— А я решил написать эту рыбу. Дэвиду на память, — сказал Томас Хадсон.

— Вот это здорово. Думаете, выйдет?

— Постараюсь, чтобы вышло. Она у меня перед глазами, и мне кажется, я сумею с ней справиться.

— Конечно, сумеете. Вы все сумеете. А любопытно, что за публика там на яхте.

— Слушай, Роджер, это ты, значит, прогуливал свою совесть по всему острову?

— И босиком, — сказал Роджер.

— А я вот свою принес сюда, с заходом на пристань к капитану

Ральфу.

— Мне свою не удалось разгулять, а размачивать я и пытаться не буду, — сказал Роджер. — Хотя эта штука очень вкусная, Бобби.

— То-то, — сказал Бобби. — Сейчас приготовлю вам еще порцию. Лучшее средство против угрызений совести.

— Я не смел рисковать, когда это касалось ребенка, — сказал Роджер, — да еще чужого ребенка.

— Вопрос в том, ради чего ты рисковал.

— Это не меняет дела. С детьми рисковать нельзя.

— Верно. Я, однако, знаю, ради чего я рисковал. Не ради рыбы, как ты понимаешь.

— Понимаю, — сказал Роджер. — Но именно с ним не нужно было этого делать. С ним даже допускать ничего подобного нельзя было.

— Проспится, и все будет в порядке. Увидишь. Он очень душевно стойкий мальчик.

— Он мой герой, — сказал Роджер.

— Это, во всяком случае, лучше, чем когда ты сам был своим героем.

— Еще бы не лучше, — сказал Роджер. — Он ведь и твой герой тоже.

— Не спорю, — сказал Томас Хадсон. — Его на нас обоих хватит.

— Роджер, — сказал, мистер Бобби. — Вы с Томом ни в каком не в родстве?

— А что?

— Да так, мне подумалось. Очень у вас много общего.

— Благодарю, — сказал Томас Хадсон. — А ты за себя сам поблагодаришь, Роджер?

— Благодарю от всей души, Бобби, — сказал Роджер. — Неужели, по-вашему, я похож на эту помесь художника с человеком?

— Вы похожи, как четвероюродные братья, а ребята похожи на вас обоих.

— Нет, мы не родня, — сказал Томас Хадсон. — Просто мы жили в одном и том же городе и часто делали одни и те же ошибки.

— Ну и пес с ним, — сказал мистер Бобби. — Пейте и оставьте свою совесть в покое. Нашли о чем говорить в баре ранним утром. Кто только мне не жалуется на угрызения совести — и негры, и матросы с грузовых барж, и яхтенные коки, и миллионеры, и жены миллионеров, и контрабандисты, и бакалейщики, и одноглазые ловцы черепах, и просто всякая сволочь. Не будем хоть начинать с этого день. В такую погоду пить надо, а не о совести разговаривать. Да и вообще эти разговоры устарели. С тех пор как появилось радио, все только и делают, что

слушают Би-Би-Си. А для совести уже нет ни времени, ни места.

— И вы тоже слушаете, Бобби?

— Только Большого Бена. От остального меня тоска берет.

— Бобби, — сказал Роджер, — у вас хорошая голова и доброе сердце.

— Ошибаетесь насчет и того и другого. Но я рад, что вы хоть немножко повеселели.

— Это точно, — сказал Роджер. — Как вы думаете, кого нам привезла эта яхта?

— Клиентов, — сказал Бобби. — Выпьем-ка еще по стаканчику, чтобы я был готов обслужить их как следует, кто бы они ни были.

Пока Бобби выжимал из лимонов сок и готовил коктейли, Роджер сказал Томасу Хадсону:

— Я не хотел пороть чушь насчет Дэви.

— Ты этого и не делал.

— Я хотел сказать вот что. А, черт, как бы это выразить попроще! Ты не зря съязвил насчет того, что я сам был своим героем.

— Я никакого права не имею язвить.

— Со мной имеешь. Вся беда в том, что в этой проклятой жизни так давно уже ничего не получается просто, а ведь я все время стараюсь, чтобы получалось.

— Ты будешь писать правдиво, просто и хорошо. Пусть это будет началом.

— А если я сам неправдив, непрост и нехорош? Смогу я так писать?

— Пиши так, как сможешь, только чтоб было правдиво.

— Я многое должен научиться лучше понимать, Том.

— Ты и учишься. Вспомни: наша последняя встреча до нынешнего твоего приезда произошла в Нью-Йорке, и ты тогда был с этой стервой — гасительницей окурков.

— Она покончила с собой.

— Когда?

— Когда я был в горах. Еще до того, как я переехал на побережье и стал писать ту картину.

— Прости, я не знал, — сказал Томас Хадсон.

— Рано или поздно это должно было случиться, — сказал Роджер. — Счастье мое, что я вовремя с нею расстался.

— Ты бы этого никогда не сделал.

— Не уверен, — сказал Роджер. — Мне такой выход представлялся довольно логичным.

— Ты бы этого не сделал хотя бы потому, что это был бы страшный

пример для мальчиков. Что почувствовал бы Дэви?

— Дэви бы понял, мне кажется. И потом, знаешь, тут уж когда доходит до дела, не думаешь о том, как бы не послужить для кого-то дурным примером.

— Вот теперь ты действительно порешь чушь.

Бобби пододвинул им наполненные стаканы.

— Роджер, такими разговорами вы даже меня вгоните в тоску. Я всякое привык слушать, мне за это деньги платят. Но от своих друзей я такого слушать не желаю. Так что перестаньте, Роджер.

— Уже перестал.

— Вот и хорошо, — сказал Бобби. — Пейте. Был тут как-то один приезжий из Нью-Йорка, он жил в гостинице, но почти весь день околачивался здесь, у меня. Так он только про то и говорил, как он собирается покончить с собой. Ползимы всем тут настроение портил. Констебль предупреждал его, что самоубийство противозаконно. Я просил констебля, пусть скажет ему, что разговоры о самоубийстве тоже противозаконны. Но констебль сказал, что для этого он должен раньше съездить в Нассау и получить инструкции. Но мало-помалу люди попривыкли к этому типу, а потом у него даже нашлись единомышленники. Однажды он тут завел разговор с Дылдой Гарри: так и так, мол, думаю кончать жизнь самоубийством и хорошо бы найти кого-нибудь для компании.

«Считайте, что уже нашли, — говорит ему Гарри. — Я — тот, кто вам нужен». И вот Дылда Гарри начинает его подговаривать, чтобы им вместе поехать в Нью-Йорк и там нахлестаться до полного ко всему омерзения, а потом влезть на самую высокую городскую крышу и с нее сигануть прямо в небытие. Должно быть, Дылда Гарри считал, что небытие — это что-то вроде пригорода. По преимуществу населенного ирландцами.

Приезжему этот план очень понравился, и они его обсуждали изо дня в день. Кое-кто еще пытался примазаться, было даже предложение организовать общество самоубийц и для упрощения дела ограничиться экскурсией в Нассау. Но Дылда Гарри твердо стоял на Нью-Йорке, и в один прекрасный вечер он наконец объявил приезжему, что жизнь ему окончательно опостылела и можно ехать.

Тут как раз Дылда Гарри получил от капитана Ральфа заказ на партию лангустов, и несколько дней он сюда не приходил, а приезжий эти дни пил уже вовсе без просыпу. У него было с собой какое-то снадобье вроде нашатыря, вот он его хлебнет, протрезвится немного — и опять сначала. Но, несмотря на снадобье, алкоголь в нем все накапливался и

накапливался.

Его к тому времени все привыкли за просто звать Самоубийцей, и вот я ему как-то говорю: «Послушайте, Самоубийца, вы бы хоть сделали передышку, а то ведь и до небытия не дотянете».

«А я уже все, — говорит. — Я уже en route¹⁷. Я уже отправляюсь в дорогу. Получите с меня за выпитое. Роковой выбор сделан».

Я ему даю сдачу, а он отмахивается. «Сдачи, — говорит, — не надо. Оставьте эти деньги для Гарри, пусть выпьет на них перед тем, как последовать за мной».

А сам выскочил из бара, да напрямик на причал Джонни Блейка, да бултых в воду, а ночь была темная, безлунная, и так его больше никто и не видал, пока через два дня труп не прибило к берегу на самой оконечности мыса. А ведь тогда всю ночь никто не ложился, искали, где только могли. Я так думаю, он расшиб себе голову о какую-нибудь бетонную штуквинку под водой, и течение унесло его в море. Дылда Гарри вернулся на следующий день и оплакивал его, пока не пропил всю сдачу. Сдача-то была с двадцатидолларовой бумажки. А потом говорит мне: «Знаешь, Бобби, он, наверно, был псих, Самоубийца-то». И угадал — родственники потом прислали человека за телом, так этот человек говорил комиссару, что Самоубийца страдал какой-то механикально-депульсивной болезнью. У вас такой болезни не было никогда, Роджер?

— Нет, — сказал Роджер. — И теперь уже, надеюсь, не будет.

— Вот и хорошо, — сказал Бобби. — С небытием шутить шутки не надо.

— К матери небытие, — сказал Роджер.

XI

Ленч удался на славу. Бифштексы были подрумяненные, в полосках от рашпера, на котором они жарились. Нож легко входил сквозь корочку, а внутри мясо было нежное и сочное. Они подбирали подливку ложками, сливали ее на картофельное пюре, и на желтоватой белизне картофеля образовывались темные озерки. Бобы лима в масле были целенькие, листья латука — упругие, прохладные, а грейпфрут — холодный.

От ветра у всех разыгрался аппетит, и Эдди поднялся к ним наверх и стал смотреть, как они едят. Лицо у него было страшное. Он сказал:

— Ну как вам мясо-то, ничего?

— Мясо замечательное, — сказал Том-младший.

— Жуйте как следует, — сказал Эдди. — Глотать наспех — только добро переводить.

— Его и жевать не надо, просто во рту тает, — сказал Том-младший.

— А на сладкое будет что-нибудь? — спросил Дэвид.

— А как же? Пирог и мороженое.

— Ух ты! — сказал Эндрю. — А две порции можно?

— Смотри, с таким грузом, пожалуй, на дно пойдешь. Мороженое твердое как камень.

— А с чем пирог?

— Ягодный.

— А мороженое какое?

— Кокосовое.

— Откуда оно у нас?

— Привезли на рейсовом судне.

Они запивали еду холодным чаем, а Роджер и Томас Хадсон после сладкого попросили себе кофе.

— Эдди — замечательный повар, — сказал Роджер.

— Это у нас аппетит разыгрался.

— Такой бифштекс? Такой салат? Такой пирог? Нет, тут дело не только в аппетите.

— Повар он превосходный, — согласился с ним Томас Хадсон. — А как тебе кофе?

— Кофе отличный.

— Папа, — сказал Том-младший. — Если приезжие с яхты будут вечером у мистера Бобби, можно мы пойдем туда и разыграем, будто Энди — пьяница?

— Мистеру Бобби это, пожалуй, не понравится. У него могут быть неприятности с констеблем.

— А я схожу туда заранее и все ему объясню и поговорю с констеблем. Он с нами дружит.

— Что ж, ладно. Объясни все мистеру Бобби и смотри не прозевай ту публику. А как же быть с Дэви?

— Может, на руках его донесем? Это будет даже очень кстати.

— Я надену туфли Тома и сам дойду, — сказал Дэвид. — Томми, а ты уже придумал, что делать?

— По дороге решим, — сказал Том-младший. — Веки выворачивать ты еще не разучился?

— Нет, что ты! — сказал Дэвид.

— Только сейчас, пожалуйста, не выворачивай, — сказал Энди. — А то меня стошнит, весь ленч сразу отдам.

— Вот захочу, наездник, и тебя вырвет.

— Нет, только не сейчас. Попозже, пожалуйста.

— Может, мне с тобой пойти? — спросил Роджер Тома-младшего.

— Чудесно, мистер Дэвис, — сказал Том-младший. — Мы вместе что-нибудь придумаем.

— Тогда пошли, — сказал Роджер. — Дэви, ты бы соснул немножко.

— Можно, — сказал Дэвид. — Я почитаю-почитаю и засну. А ты, папа, что будешь делать?

— Я буду работать на верхней веранде.

— Тогда я лягу там на диване и буду смотреть, как ты работаешь. Тебе это не мешает?

— Нет. Наоборот.

— Мы скоро вернемся, — сказал Роджер. — А ты, Энди, пойдешь с нами?

— Мне не мешало бы поупражняться. Но, пожалуй, не стоит: а вдруг эти приезжие уже там.

— Сообразил, наездник, — сказал Том-младший. — Ты малый сообразительный.

Они ушли, а Томас Хадсон сел за мольберт. Некоторое время Энди смотрел, как он работает, но потом убежал куда-то, а Дэвид то смотрел, то принимался читать и не заговаривал с ним.

Томасу Хадсону хотелось начать с прыжка рыбы, потому что писать ее в воде будет гораздо труднее, и он сделал два этюда и обоими остался недоволен, а потом написал третий, который ему понравился.

— Посмотри, Дэви, похоже?

— Ой, папа, замечательно! Но когда рыба выпрыгивает из воды, ведь она поднимает целый фонтан, правда? А не только когда она падает обратно в море.

— Да, пожалуй, — согласился с ним отец. — Ей приходится пробивать поверхность.

— Помнишь, как она взметнулась — такая длинная-длинная. С ней должно подняться много воды. Если уловишь это взглядом, вода с нее, наверно, так и струится, так и хлещет. А у тебя она идет вверх или вниз?

— Это ведь только этюды. Я хотел изобразить ее на самом взлете.

— Я знаю, что это только этюды. Ты уж меня извини, папа, что я вмешиваюсь. Я не хочу строить из себя знатока.

— Нет, мне интересно тебя послушать.

— А вот кто, наверно, все знает, так это Эдди. Он каждую мелочь схватывает быстрее, чем фотоаппарат, и все запоминает. Правда, Эдди — замечательный человек?

— Да, конечно.

— О нем ведь никто ничего не знает. Кроме Томми, пожалуй. Эдди мне больше всех нравится — после тебя и мистера Дэвиса. Стряпает он и то с душой, и столько всего знает, и все умеет. Помнишь, как он подстрелил акулу и как бросился в море за той рыбой?

— А вчера вечером Эдди избили, потому что не поверили ему.

— Но, папа, с него как с гуся вода.

— Да. Он веселый, всем довольный.

— Даже сегодня веселый после того, как ему так досталось. И по моему, он рад, что ему пришлось прыгнуть в море за той рыбой.

— Конечно.

— Хорошо бы мистер Дэвис тоже был такой веселый, как Эдди.

— Мистер Дэвис — человек более сложный.

— Да, но я помню, когда он был веселый и беспечный. Я очень хорошо знаю мистера Дэвиса, папа.

— Сейчас он ничего, веселый. Хотя от его беспечности уже и следа не осталось.

— Про беспечность — про хорошую беспечность, я не в укор ему.

— Я тоже. Но он потерял уверенность в себе.

— Да, — сказал Дэвид.

— Хорошо бы он опять ее обрел. Может, еще и обретет, когда снова начнет писать. Знаешь, почему Эдди веселый? Потому что он делает свое дело хорошо и делает его изо дня в день.

— А мистер Дэвис, наверно, не может заниматься своим делом изо дня в день, как ты и Эдди.

— Да. И многое другое ему мешает.

— Знаю, знаю. Для мальчишки я слишком много всего знаю, папа. Томми знает в двадцать раз больше, он всякие ужасные вещи знает, и его это не ранит. А меня все ранит. Почему, сам не понимаю.

— Потому, что ты все это глубоко чувствуешь?

— Да, чувствую, и со мной что-то делается. Я будто отвечаю за чужие грехи. Если так может быть.

— Да, понимаю.

— Папа, ты извини меня за такие серьезные разговоры. Я знаю, это невежливо с моей стороны. Но мне иногда хочется поговорить, потому что

мы много чего не знаем, а когда вдруг узнаем что-нибудь, это так на нас накатывает, ну будто волной обдаёт. Вот такой волной, какие сегодня ходят на море.

— Дэви, ты всегда можешь меня спрашивать о чем угодно.

— Да, знаю. Большое тебе спасибо за это. О некоторых вещах я спрашивать, пожалуй, подожду. Кое-что, наверно, надо самому, на собственной шкуре испытать.

— А может, в этом розыгрыше у мистера Бобби тебе лучше не участвовать? Пусть только Том и Энди? Помнишь, какие у меня были неприятности с человеком, который говорил, что ты всегда пьяный?

— Помню. За три года он видел меня пьяным целых два раза. Но что о нем говорить! Если я когда-нибудь действительно напьюсь, тогда это представление у мистера Бобби будет мне оправданием. Что два раза пьяный, что три — это ведь все равно. Нет, папа, мне обязательно надо участвовать.

— А последнее время вы разыгрывали эти сценки?

— Да. И у нас с Томом здорово получалось. Но с Энди еще лучше. Энди у нас просто талант. Он такие штуки откалывает. А у меня свой номер.

— Что же вы такое делали? — Томас Хадсон продолжал работать.

— Ты не видел, как я изображаю братца-идиотика? Монголоида?

— Нет, не видел. Ну а посмотри теперь, Дэви. — Томас Хадсон отодвинулся в сторону.

— Чудесно, — сказал Дэвид. — Теперь я вижу, чего ты добивался. Когда рыба повисает в воздухе, прежде чем упасть обратно в море. Папа, а картину ты, правда, мне подаришь?

— Да.

— Я буду ее беречь.

— Их будет две.

— Тогда одну я возьму в школу, а вторая пусть висит дома у мамы. Или ты хочешь оставить ее у себя?

— Нет. Может, маме она понравится. Расскажи, что вы там еще проделывали, — попросил Томас Хадсон.

— В поездках мы вытворяли бог знает что. Вот уж где лучше всего выходит, так это в поездках. Там самая подходящая публика. Такой, пожалуй, больше нигде не встретишь. Сидят, глазают, и деваются им некуда.

Томас Хадсон услышал голос Роджера в соседней комнате и стал мыть кисти и прибирать свое хозяйство.

Вошел Том-младший и сказал:

— Ну, папа, как дела? Хорошо поработалось? Можно я посмотрю?

Томас Хадсон показал ему и первый и второй этюды. Том-младший сказал:

— Мне оба нравятся.

— А какой больше? — спросил его Дэвид.

— Оба хороши, — ответил он. Томас Хадсон почувствовал, что Том-младший торопится и что голова у него занята чем-то другим.

— Ну, как там у вас, получилось? — спросил его Дэвид.

— Колоссально, — сказал Том-младший. — Если мы не подведем, то получится замечательно. Там вся компания с яхты, и мы их здорово разыграли. С мистером Бобби и с констеблем все обговорили до того, как те пришли. Спектакль был такой: мистер Дэвис пьян в стельку, а я его урезониваю.

— Ты не переигрывал?

— Да что ты! — сказал Том-младший. — Ты бы видел мистера Дэвиса. Он пьянел с каждым стаканом, но постепенно, едва заметно.

— А что он пил?

— Чай. Бобби влил чай в бутылку из-под рома. А для Энди заготовлена бутылка из-под джина, и в ней вода.

— Как же ты урезонивал мистера Дэвиса?

— Я будто умолял его не пить. Но так, чтобы меня не слышали. Мистер Бобби с нами заодно, только он пьет настоящее виски.

— Тогда надо поторопиться, — сказал Дэвид. — Пока мистер Бобби совсем не окосел. А как мистер Дэвис?

— Замечательно. Он артист, большой артист, Дэви.

— Где Энди?

— Внизу, репетирует перед зеркалом.

— А Эдди тоже будет в этом участвовать?

— И Эдди и Джозеф.

— Они не запомнят, что им надо говорить.

— У них всего одна реплика.

— Одну реплику Эдди еще, пожалуй, запомнит, а насчет Джозефа я сомневаюсь.

— Ему только повторить ее следом за Эдди.

— А констебль посвящён в дело?

— Конечно.

— А сколько там человек в этой компании?

— Семеро, из них две девушки. Одна миленькая, а другая просто

прелесть. Она уже начала жалеть мистера Дэвиса.

— Ух ты! — сказал Дэвид. — Пошли скорее!

— Как же ты туда дойдешь? — спросил Дэвида Том-младший.

— Я его донесу, — сказал Томас Хадсон.

— Папа, позволь мне в тапочках, — сказал Дэвид. — Я надену тапочки Тома. Буду шагать на наружной стороне ступни. Это совсем не больно и произведет впечатление.

— Ну, ладно. Тогда пойдемте. Где Роджер?

— Они с Эдди перехватили на скорую руку. Пьют за его сценические таланты, — сказал Том-младший. — Уж очень долго он на одном чае сидел, папа.

Ветер по-прежнему дул свирепо, когда они вошли в «Понсе-де-Леон». Люди с яхты сидели у стойки и пили ром. Вид у них был симпатичный — загорелые, все в белом. Держались они вежливо, сразу подвинулись, освобождая место у стойки. Двое мужчин и девушка сидели с одного ее конца, там, где был автомат, а трое и вторая девушка — с другого, ближе к двери. У автомата сидела та, про которую Том сказал «просто прелесть». Но другая была тоже очень недурна. Роджер, Томас Хадсон и мальчики подошли прямо к стойке. Дэвид даже старался не прихрамывать.

Мистер Бобби взглянул на Роджера и сказал:

— Опять вы тут?

Роджер кивнул с безнадежным видом, и Бобби поставил перед ним бутылку из-под рома и стакан.

Роджер молча протянул за бутылкой руку.

— Опять пьете, Хадсон? — сказал Бобби Томасу Хадсону. Выражение лица у него было строгое, нравоучительное. Томас Хадсон кивнул. — Пора бы прекратить, — сказал Бобби. — Всему есть границы, прах вас побери.

— Мне только немножко рому, Бобби.

— Того, что он пьет?

— Нет. Бакарди.

Мистер Бобби налил рому в стакан и подал его Томасу Хадсону.

— Вот, пейте, — сказал он. — Хотя отпускать вам не следовало бы.

Томас Хадсон выпил стакан залпом, и ром согрел, вдохновил его.

— Еще налейте, — сказал он.

— Через двадцать минут, Хадсон, — сказал Бобби. Он бросил взгляд на часы за стойкой.

Люди с яхты уже начали посматривать на них, но сдержанно, не нарушая приличий.

— А ты, малый, что будешь? — спросил Бобби Дэвида.

— Вы что, забыли, что я бросил пить? — грубо ответил ему Дэвид.

— С каких же это пор?

— Со вчерашнего вечера. Память, что ли, у вас отшибло?

— Ах, извините, — сказал мистер Бобби. И сам выпил. — Еще запоминай тут за каждым подонком. Я только об одном прошу: уведите этого Хадсона из моего заведения, у меня тут приличные клиенты сидят.

— Я пью тихо, не буяню, — сказал Томас Хадсон.

— Да уж, будьте любезны. — Мистер Бобби закупорил бутылку, стоявшую перед Роджером, и поставил ее обратно на полку.

Том-младший одобрительно кивнул ему и стал что-то шептать Роджеру. Роджер уронил голову на руки. Потом поднял ее и показал пальцем на бутылку. Том-младший замотал головой. Бобби взял бутылку, откупорил ее и поставил перед Роджером.

— Допивайтесь до чертиков, — сказал он. — Мне-то что, в конце концов.

Теперь те, что сидели по краям стойки, стали следить за ними повнимательнее, но по-прежнему сдержанно. Посещение злчных мест было у них в программе, но вели они себя сдержанно и вообще казались людьми симпатичными.

Тут впервые заговорил Роджер.

— Этому крысенку налейте, — сказал он Бобби.

— Что будешь пить, сынок? — спросил мистер Бобби у Эндрю.

— Джин, — сказал Энди.

Томас Хадсон старался не смотреть на соседей, но он чувствовал их реакцию.

Бобби поставил перед Энди бутылку и стакан. Энди налил стакан до краев и поднял его, глядя на Бобби.

— За ваше здоровье, мистер Бобби, — сказал он. — Первый раз за весь день пью.

— Пей, пей, — сказал Бобби. — Ты что-то поздно пришел сегодня.

— У него папа деньги отобрал, — сказал Дэвид. — Те, что мама подарила ему на день рождения.

Том-младший уставился в лицо Томасу Хадсону и заплакал. Он не пересаливал, не всхлипывал, но смотреть на него было тяжело. Все замолчали, а потом Энди сказал:

— Мистер Бобби, налейте мне еще, пожалуйста.

— Сам наливай, — сказал Бобби. — Горемычное ты дитя. — Потом повернулся к Томасу Хадсону. — Хадсон, — сказал он. — Вот вам еще стакан, и хватит, уходите.

— А я не буяню, зачем мне уходить? — сказал Томас Хадсон.

— Знаю я вас, недолго вы так продержитесь, — грозно сказал Бобби.

Роджер показал на бутылку, и Том-младший вцепился ему в рукав. Он сдерживал слезы, он был мужественный, хороший мальчик.

— Мистер Дэвис, — сказал он. — Не надо.

Роджер не вымолвил ни слова, и мистер Бобби опять поставил перед ним бутылку.

— Мистер Дэвис, вам же надо писать вечером, — сказал Том-младший. — Вы же обещали, что будете писать сегодня вечером.

— А как ты думаешь, почему я пью? — сказал ему Роджер.

— Но, мистер Дэвис, когда вы писали «Бурю», вы же обходились без выпивки.

— Помолчал бы ты лучше, — сказал ему Роджер.

Том-младший был страдалец — мужественный, исполненный терпения.

— Я помолчу, мистер Дэвис. Но вы же сами меня просили останавливать вас. Может, пойдем домой?

— Ты славный мальчик, Том, — сказал Роджер. — Но мы останемся здесь.

— До каких же пор, мистер Дэвис?

— До самого что ни на есть конца.

— Зачем, мистер Дэвис? — сказал Том. — Не надо. Право, не надо. Ведь когда у вас уже глаза не глядят, вы и писать не можете.

— Диктовать буду, — сказал Роджер. — Как Мильтон.

— Диктуете вы прекрасно, это я знаю, — сказал Том-младший. — Но сегодня утром мисс Фелпс стала вынимать страницы из машинки, а там все попеременно с музыкой.

— Я пишу оперу, — сказал Роджер.

— Опера у вас получится замечательная, мистер Дэвис. Но вам не кажется, что сначала надо дописать роман? Ведь вы же получили под него большой аванс.

— Вот ты его и дописывай, — сказал Роджер. — Сюжет тебе известен.

— Сюжет я знаю, мистер Дэвис, сюжет у вас изумительный, но ведь там опять про ту самую девушку, которая умерла в предыдущей вашей книге, и читателей это может запутать.

— Дюма тоже так писал.

— Что ты к нему пристаешь, — сказал Томас Хадсон Тому-младшему. — Сможет он писать после твоих приставаний?

— Мистер Дэвис, подыщите себе хорошую, опытную секретаршу,

пусть она за вас пишет. Я слышал, что многие писатели так делают.

— Нет. Не по карману.

— А меня, Роджер, не хочешь в помощники? — спросил Томас Хадсон.

— Хочу. Нарисуй мой роман.

— Вот здорово! — сказал Том-младший. — Папа, ты правда нарисуешь?

— За один день все сделаю, — сказал Томас Хадсон.

— И рисуй кверху ногами, как Микеланджело, — сказал Роджер. — Покрупнее нарисуй, чтобы король Георг мог без очков разглядеть.

— Нарисуешь, папа? — спросил Дэвид.

— Да.

— Прекрасно, — сказал Дэвид. — Наконец-то я слышу толковые слова.

— А это не трудно, папа?

— Кой черт трудно! Может, слишком легко. А какая там девица?

— Та самая, про которую мистер Дэвис всегда пишет.

— За полдня ее нарисую, — сказал Томас Хадсон.

— И кверху ногами, — сказал Роджер.

— Нельзя ли без похабства? — сказал ему Томас Хадсон.

— Мистер Бобби, можно мне еще стопочку? — попросил Энди.

— А ты сколько уже выпил, сынок?

— Всего две.

— Тогда валяй, — сказал Бобби и дал ему бутылку. — Слушайте, Хадсон, когда вы заберете отсюда эту картину?

— Покупателей не нашлось?

— Нет, — сказал Бобби. — Она у меня тут все загромождает. И вообще действует мне на нервы. Забирайте ее отсюда.

— Простите, — обратился к Роджеру один из людей с яхты. — Это полотно продается?

— С вами-то кто разговаривает? — Роджер взглянул на него.

— Никто, — сказал человек с яхты. — Вы Роджер Дэвис?

— Он самый.

— Если эту картину написал ваш друг и она продается, я бы хотел поговорить с ним о цене, — сказал человек с яхты, поворачиваясь к Томасу Хадсону: — Вы ведь Томас Хадсон?

— Вот именно.

— Ваша картина продается?

— К сожалению, нет, — сказал Томас Хадсон.

— Но бармен говорит...

— Он псих, — сказал Томас Хадсон. — Славный малый, но псих.

— Мистер Бобби, можно мне ещё стопочку? — очень вежливо попросил Эндрю.

— Пожалуйста, крошка, — сказал Бобби и налил ему из бутылки. — Знаешь, что надо бы сделать? Надо бы нарисовать на этикетке твою здоровенькую, прелестную рожицу и наклеить ее на бутылки с джином вместо этих идиотских пучков ягод. Хадсон, нарисовали бы вы этикетку для джина с прелестной мордочкой Энди.

— И тогда пустим в продажу новую марку, — сказал Роджер. — Есть джин «Старый Том», а у нас будет «Весельчак Энди».

— Финансирую предприятие, — сказал Бобби. — Джин можно гнать прямо здесь, на острове. Негритята будут разливать его по бутылкам и наклеивать этикетки. Продавать можно оптом и в розницу.

— Возврат к художественным ремеслам, — сказал Роджер. — Как во времена Вильяма Морриса.

— А из чего мы будем его гнать, мистер Бобби? — спросил Эндрю.

— Из рыбы, — сказал Бобби. — А также из креветок.

Люди с яхты уже не смотрели ни на Роджера, ни на Томаса Хадсона, ни на мальчиков. Все их внимание устремилось теперь на Бобби, и вид у них был обеспокоенный.

— Так как же насчет полотна? — сказал все тот же человек.

— Какое полотно вы имеете в виду, уважаемый? — спросил его Бобби, опрокинув наскоро еще стакан виски.

— Вон то, большое, где три смерча и человек в лодке.

— Где? — спросил Бобби.

— Вон там, — сказал человек с яхты.

— Прошу прощения, сэр, но с вас, по-моему, хватит. Вы находитесь в приличном заведении. Здесь у нас не бывает ни смерчей, ни людей в лодках.

— Я говорю вон о той картине.

— Не раздражайте меня, сэр. Никаких картин там нет. Будь здесь произведение живописи, оно висело бы над стойкой, там, где ему и полагается, и нарисована была бы на нем голая женщина в роскошной позе, вся как есть.

— Я говорю вон о той картине.

— Какой картине, где?

— Вон там.

— Я с удовольствием угощу вас сельтерской, сэр. Для протрезвления.

И кликну вам рикшу, — сказал Бобби.

— Рикшу?

— Да. Если желаете знать правду. Вы сами рикша. Выпили, и хватит с вас.

— Мистер Бобби, — очень вежливо спросил Энди. — А с меня тоже хватит?

— Нет, дружок. Конечно, нет. Наливай себе сам.

— Спасибо, мистер Бобби, — сказал Энди. — Это уже четвертая.

— Да хоть бы и сотая, — сказал Бобби. — Ты же моя гордость.

— Пошли-ка отсюда, Хэл, — сказал тому, кто хотел купить картину, его приятель.

— Да мне хочется купить эту картину, — сказал первый. — Если цена будет подходящая.

— А мне хочется уйти отсюда, — стоял на своем второй. — Потеха потехой, но смотреть, как дети хлещут ром, — это, пожалуй, уж слишком.

— Неужели вы даете этому маленькому мальчику джин? — спросила Бобби недурненькая блондинка, та что сидела в конце стойки ближе к двери. Она была высокого роста, с очень светлыми волосами и симпатичными веснушками. Веснушки у нее были не как у рыжих, а как у блондинок, у которых кожа не обгорает, а покрывается ровным загаром.

— Да, мэм.

— По-моему, это мерзость, — сказала девушка. — Это отвратительно, это мерзко и преступно.

Роджер старался не смотреть на нее, а Томас Хадсон сидел, опустив глаза.

— А что ему, по-вашему, пить, мэм? — спросил Бобби.

— Ничего. Ему вообще пить незачем.

— Это, пожалуй, несправедливо, — сказал Бобби.

— Ах, несправедливо? Значит, отравлять ребенка алкоголем — это справедливо?

— Слышишь, папа? — сказал Том-младший. — Я же говорил, что Энди не следует пить.

— Из трех братьев он один пьет, мэм, поскольку вот этот малый пить бросил, — попытался убедить ее Бобби. — Значит, по-вашему, справедливо лишать единственного из трех столь невинного удовольствия?

— Справедливо? — сказала девушка. — Да вы чудовище. И вы чудовище, — сказала она Роджеру. — И вы тоже, — сказала она Томасу Хадсону. — Все вы мне омерзительны. Видеть вас не могу.

В глазах у нее стояли слезы, она повернулась спиной к мальчикам и к

мистеру Бобби и сказала своим спутникам:

— Хоть бы вы вмешались.

— По-моему, это все в шутку, — сказал один из мужчин. — Вроде того грубияна официанта, которого нанимают, чтобы он дерзил гостям. Или как блатной язык.

— Нет, не в шутку. Этот мерзкий тип наливает ему джина. Это же отвратительно, это же трагедия.

— Мистер Бобби, — спросил Томас Хадсон, — а мне больше пяти не положено?

— Сегодня нет, — сказал Бобби. — Я не желаю, чтобы вы расстраивали даму своим поведением.

— Да уведите вы меня отсюда, — сказала девушка. — Не хочу я на это смотреть. — Она заплакала, и двое ее спутников вышли из бара вместе с ней, а Томасу Хадсону, Роджеру и мальчикам стало не по себе.

К ним подошла вторая девушка — та, что была по-настоящему прелестна. Очень красивое загорелое лицо, волосы рыжеватые. Она была в брюках, и Томас Хадсон сразу заметил, что сложение у нее замечательное, а шелковистые волосы колыхались в такт шагам. Ему показалось, что он уже где-то видел эту девушку.

— Ведь это не джин? — спросила она Роджера.

— Нет. Конечно, нет.

— Пойду успокою ее, — сказала девушка. — Она уж очень расстроилась.

И пошла к двери и, выходя, улыбнулась им. Она была просто прелесть.

— Ну вот и все, папа, — сказал Энди. — Можно нам кока-колы?

— А мне пива. Если это не расстроит ту даму, — сказал Том-младший.

— Из-за пива она вряд ли расстроится, — сказал Томас Хадсон. — Разрешите угостить вас? — спросил он человека, который хотел купить картину. — Мы тут дурачились, вы уж нас простите.

— Что вы, что вы, — сказал тот. — Это было очень интересно. Мне все понравилось. Очень понравилось. Я всегда интересовался писателями и художниками. Ведь вы все это, наверно, на ходу сочиняли?

— Да, — сказал Томас Хадсон.

— Так вот насчет этой картины...

— Она собственность мистера Сондерса, — пояснил ему Томас Хадсон. — Я написал эту картину в подарок ему. Вряд ли он ее продаст. Впрочем, картина его, и он волен делать с ней все, что захочет.

— Хочу, чтобы она висела у меня, — сказал Бобби. — И не

предлагайте за нее больших денег, потому что тогда я расстроюсь.

— А мне бы очень хотелось повесить у себя эту картину.

— И мне тоже, — сказал Бобби. — Вот она у меня и висит.

— Но, мистер Сондерс, такой ценной картине в баре не место.

Бобби начинал злиться.

— Отвяжитесь от меня, — сказал он. — Нам было весело. Мы тут так веселились! И вот, на-поди, женщина распустила нюни, и все пошло к черту. Я знаю, она рассуждает правильно. Но какого дьявола! Эти правильные рассуждения хоть кого из себя выведут. Моя старуха тоже рассуждает правильно и поступает правильно, а я из-за нее каждый день на стену лезу. А ну вас с вашими рассуждениями. Заявились сюда и сразу — вынь да положь вам эту картину!

— Но, мистер Сондерс, вы же сами потребовали, чтобы ее убрали отсюда. Значит, она продается?

— Это все чепуха, — сказал Бобби. — Это мы вас разыгрывали.

— Так картина *не* продается?

— Нет. Картина *не* продается, и *не* отдается, и *не* выдается.

— Ну что ж поделаешь. Но если она все-таки будет продаваться — тогда вот моя карточка.

— Прекрасно, — сказал Бобби. — Может, у Тома в мастерской есть что-нибудь на продажу. Есть, Том?

— Нет. Вряд ли, — ответил Томас Хадсон.

— Мне бы хотелось посмотреть ваши работы, — сказал человек с яхты.

— Я сейчас ничего не выставлю, — ответил ему Томас Хадсон. — Если хотите, могу дать вам адрес галереи в Нью-Йорке.

— Благодарю вас. Разрешите, я запишу.

Вечная ручка была при нем, и он записал адрес на обороте своей визитной карточки, а другую дал Томасу Хадсону. Потом поблагодарил Томаса Хадсона еще раз и предложил ему выпить.

— А вы не могли бы назвать мне примерную цену ваших больших полотен?

— Нет, — ответил ему Томас Хадсон. — Это вы справьтесь у моего агента.

— Я сразу же с ним повидаюсь, как только приеду в Нью-Йорк. Вот эта ваша картина чрезвычайно меня заинтересовала.

— Благодарю вас, — сказал Томас Хадсон.

— Значит, она не продается? Окончательно?

— О господи! — сказал Бобби. — Перестаньте вы в самом деле.

Картина моя. Том для меня ее написал, потому что я подал ему идею.

Человек, видно, решил, что «шуточки» опять пошли в ход, и улыбнулся понимающей улыбкой.

— Я не хочу приставать...

— А пристаёте прямо с ножом к горлу, — сказал ему Бобби. — Ну, хватит. Пейте, я угощаю, а про картину забудьте.

Мальчики разговаривали с Роджером.

— Пока не прервали, у нас неплохо получалось. Правда, мистер Дэвис? — сказал Том-младший. — Я не слишком переигрывал?

— Все было замечательно, — сказал Роджер. — Вот только Дэви не пришлось выступить.

— А я готовился к роли страшилища, — сказал Дэвид.

— Ты бы ее на месте уложил, — сказал Том-младший. — Она и так расстроилась, а ты собирался еще скорчить страшную рожу.

— Я как раз вывернул веки и хотел вскочить в таком виде, — сказал им Дэвид. — Нагнулся, вывернул, а тут как раз все и кончилось.

— Жаль, что попалась такая добрая дама, — сказал Энди. — Я даже не успел показать, как на меня ром действует. Теперь уже все, больше наш номер здесь не повторить.

— Мистер Бобби-то что выделывал! — сказал Том-младший. — Мистер Бобби, вы были великолепны.

— Жаль, жаль, что пришлось прекратить, — сказал Бобби. — И констебль не успел прийти, и я только-только начал входить в роль. Теперь буду знать, что чувствуют знаменитые актеры на сцене.

Девушка появилась в дверях. На ветру фигуру ее облепило свитером, волосы отнесло назад. Она подошла к Роджеру.

— Ей не хочется сюда возвращаться. Но она ничего, успокоилась.

— Не выпьете ли с нами? — спросил ее Роджер.

— С удовольствием.

Роджер назвал ей всех их по именам, а она показала, что ее зовут Одри Брюс.

— Можно мне прийти посмотреть ваши работы?

— Пожалуйста, — сказал Томас Хадсон.

— И я бы тоже пришел вместе с мисс Брюс, — сказал тот настырный человек.

— Вы что, ее отец? — спросил Роджер.

— Нет. Я ее старый друг.

— Вам нельзя, — сказал Роджер. — Дождитесь Дня Старых Друзей. Или предъявите приглашение от организационного комитета.

— Прошу вас, не надо грубить, — сказала Роджеру девушка.
— Увы, я, кажется, уже нагрубил.
— И больше не надо.
— Слушаюсь.
— Давайте по-хорошему.
— Ладно.
— Я оценила реплику Тома про ту девушку, которая встречается в каждой вашей книге.
— Правда, оценили? — спросил ее Том-младший. — Я ведь просто поддразнивал мистера Дэвиса. На самом деле это неверно.
— А по-моему, верно — отчасти.
— Приходите к нам, — сказал ей Роджер.
— А моих друзей можно привести?
— Нет.
— Никого?
— А вы без них не можете?
— Могу.
— Вот и хорошо.
— В котором часу мне прийти?
— Когда хотите, — сказал Томас Хадсон.
— А к ленчу меня пригласят?
— Безусловно.
— Как здесь славно, на этом острове, — сказала она. — И как приятно, что все мы такие хорошие.
— Дэвид изобразит вам страшилище, — сказал ей Энди. — А то он не успел, потому что пришлось кончать.
— Боже мой! — сказала она. — Сколько нам всего предстоит!
— Вы надолго здесь? — спросил ее Том-младший.
— Не знаю.
— А яхта здесь надолго? — спросил Роджер.
— Не знаю.
— Что же вы знаете? — сказал Роджер. — Это я по-хорошему спрашиваю.
— Не очень много. А вы?
— По-моему, вы прелесть, — сказал Роджер.
— О-о! — сказала она. — Благодарю вас.
— Вы здесь еще побудете?
— Не знаю. Может быть.
— Пойдемте-ка лучше к нам, вместо того чтобы пить здесь, — сказал

Роджер.

— Нет, лучше здесь, — сказала она. — Здесь так хорошо.

XII

Назавтра ветер улегся, и Роджер с мальчиками пошли купаться, а Томас Хадсон сидел на верхней веранде и писал. Эдди сказал, что соленая морская вода не страшна для израненных ног Дэвида, нужно только сразу же после купания наложить свежие повязки. Работая, Томас Хадсон время от времени поглядывал на море и на пловцов. Он думал о том, выйдет у Роджера что-нибудь со вчерашней девушкой или нет, но эти мысли отвлекали его от работы, и он их отогнал. Трудней было отогнать другую мысль — о том, до чего эта девушка похожа на мать Тома-младшего, какой он ее впервые увидел. Впрочем, мало ли девушек умудрялись каким-то образом казаться ему похожими на нее, думал он, продолжая работать. Он был убежден, что еще встретится с этой девушкой и даже будет встречаться часто. Это было ясно по всему. Ну что ж, она живописна, и она как будто славная девушка. А если она ему напоминает мать Томми, тем хуже. Тут ничего не поделаешь. Бывало это с ним, не раз и не два — бывало и проходило. Он продолжал работать.

Он уже знал, что картина будет удачная. Вот с другой, где рыба должна быть написана в воде, ему придется помучиться. Пожалуй, с нее надо было начать, подумал он. Но теперь уж лучше довести эту до конца. А той можно будет заняться после того, как они уедут.

— Давай я перенесу тебя, Дэви, — услышал он голос Роджера. — А то забьется песок, больно будет.

— Хорошо, — сказал Дэвид. — Только сперва я ополосну ноги в океане.

Роджер донес его до дому и усадил в кресло у самой двери, выходящей на берег. Когда они проходили под верхней верандой, Томас Хадсон услышал, как Дэвид спрашивал:

— Мистер Дэвис, вы думаете, она придет?

— Не знаю, — сказал Роджер. — Надеюсь, что придет.

— Правда, она красивая, мистер Дэвис?

— Очень.

— Мне кажется, мы ей понравились. Мистер Дэвис, а что она вообще

делает, как вы думаете?

— Не знаю. Не спрашивал.

— Томми в нее влюблен. И Энди тоже.

— А ты?

— Не знаю. Я так легко не влюбляюсь, как они. Но мне бы хотелось увидеть ее опять. Мистер Дэвис, а она не шлюха, по-вашему?

— Не знаю. Непохоже. С чего это ты?

— Томми говорит, что влюблен в нее, но что она, скорей всего, просто шлюха. А Энди говорит, пусть, ему это не мешает.

— Непохоже, — еще раз повторил Роджер.

— Мистер Дэвис, а эти ее спутники, правда они какие-то странные?

— Есть немножко.

— Интересно, что они вообще делают?

— А вот она придет, мы у нее и спросим.

— Вы думаете, она придет?

— Придет, — сказал Роджер. — Можешь не беспокоиться.

— Это Энди и Томми беспокоятся. А я влюблен не в нее. Вы знаете в кого. Я вам рассказывал.

— Помню. Она, между прочим, на нее похожа, — сказал Роджер.

— Может быть, она ее видела в кино и нарочно старается быть на нее похожей, — сказал Дэвид.

Томас Хадсон продолжал работать.

Роджер возился с ногами Дэвида, когда она показалась на пляже. Она была босиком, в купальном костюме и в юбке из той же материи, а в руке она несла пляжную сумку. Томасу Хадсону было приятно увидеть, что ноги у нее так же хороши, как лицо и как грудь, форму которой он вчера угадал под свитером. Плечи и руки были чудесные, и вся она была коричневая от загара. Никакой косметики на ней не было, только губы подкрашены: они были чудесного рисунка, и ему захотелось увидеть их без помады.

— Вот и я, — сказала она. — Не опоздала?

— Нет, — ответил ей Роджер. — Мы уже выкупались, но я пойду еще.

Роджер выдвинул кресло на самый пляж, и, когда девушка наклонилась над Дэвидом, ее волосы перевесились вперед, открыв на затылке тугие, короткие завиточки, которые Томасу Хадсону хорошо видны были сверху. Они серебрились от солнца на загорелой коже.

— Что это у него с ногами? — спросила она. — Бедненький.

— Я стер их до крови, когда тащил из воды большую рыбу, — сказал Дэвид.

- Очень большую?
- Мы точно не знаем. Она сорвалась.
- Какая жалость.
- Да ну, что там, — сказал Дэвид. — Мы уже и забыли.
- А купаться с этим ничего, можно?

Роджер мазал стертые места ртутнохромом. Они были сухие и чистые, только кожа немного сморщилась от соленой воды.

- Эдди говорит, это даже полезно, — сказал Дэвид.
- Кто такой Эдди?
- Наш повар.
- А повар у вас и за врача?
- Он хорошо разбирается в таких вещах, — объяснил Дэвид. — И мистер Дэвис тоже сказал, что можно.
- А что еще скажет мистер Дэвис? — спросила она Роджера.
- Что он рад вас видеть.
- Очень приятно. Вы, молодежь, вчера бурно провели вечер?
- Не слишком, — сказал Роджер. — Сыграли в покер, потом я почитал немного и лег спать.
- Кто выиграл в покер?
- Энди и Эдди, — сказал Дэвид. — А вы что делали?
- Мы играли в триктрак.
- А как вам спалось? — спросил Роджер.
- Хорошо. А вам?
- Великолепно, — сказал он.
- Из нас один Томми умеет играть в триктрак, — сказала девушке Дэвид. — Его выучил один непутевый человек, который потом оказался феей.
- Неужели? Грустная история.
- Как Томми рассказывает, она не такая уж грустная, — сказал Дэвид. — Плохого ничего не случилось.
- По-моему, про фей всегда грустно слушать, — сказала она. — Бедные феи.

— Да нет, тут даже интересно было, — сказал Дэвид. — Понимаете, этот непутевый человек, который учил Томми играть в триктрак, стал ему объяснять, кого называют феями и почему, и рассказывать ему про греков и про Дамона и Пифинию, и про Давида и Ионафана. Вроде того, как в школе рассказывают про икру и молоки у рыб или про пчел, как они оплодотворяют растения пыльцой. А Томми его спросил, читал ли он книгу Андре Жида. Как эта книга называется, мистер Дэвис? Не

«Коридон», а другая, где про Оскара Уайльда?

— «Si le grain ne meurt»[18](#), — сказал Роджер.

— Ужасная книга, а Томми брал ее с собой в школу и читал ребятам. Читал и переводил — ребята ведь не понимали по-французски. В общем это порядочная скука, но, когда мистер Жид попадает в Африку, тут-то и начинается ужасное.

— Я читала, — сказала девушка.

— А, тем лучше, — сказал Дэвид. — Значит, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, этот человек, который учил Томми играть в триктрак, а потом оказался феей, он страшно удивился, когда Томми упомянул эту книгу, но и обрадовался тоже, потому что ему можно было не начинать своих объяснений, так сказать, с пчел и цветочков. «Я, — сказал он, — очень рад, что ты знаешь», или что-то в этом роде. А Томми ему ответил — мне так понравился этот ответ, что я его заучил наизусть: «Мистер Эдвардс, у меня к гомосексуализму интерес чисто академический. Большое спасибо, что вы меня научили играть в триктрак, и всего вам хорошего». У Тома тогда были замечательные манеры, — сказал Дэвид. — Он только что вернулся из Франции, где жил вместе с папой, и у него были замечательные манеры.

— А ты тоже жил во Франции?

— Мы все там жили, только в разное время. Но один Томми хорошо это помнит. У Томми вообще самая лучшая память. И он все запоминает очень верно. А вы когда-нибудь жили во Франции?

— Очень долго жила.

— Вы там учились?

— Да. В одном парижском пригороде.

— Придет Томми, надо будет вам поговорить с ним, — сказал Дэвид.

— Он так знает Париж и его пригороды, как я — здешние отмели и рифы. Даже, наверно, лучше.

Она теперь сидела в тени, падавшей от веранды, и пропускала между пальцами ног струйки белого песка.

— Расскажи мне про отмели и рифы, — попросила она.

— Я вам лучше их покажу, — сказал Дэвид. — Возьмем гребную лодку и поедем с вами на отмели, а там можно будет поплавать и поохотиться под водой — если вы это любите. А иначе большой риф и не рассмотришь как следует.

— С удовольствием поеду.

— Кто там с вами на яхте? — спросил Роджер.

— Люди. Вам они не понравятся.

— Почему же, они, кажется, симпатичные.

— Мы непременно должны разговаривать в таком стиле?

— Нет, — сказал Роджер.

— Один вам вчера продемонстрировал образец настойчивости. Это самый богатый и самый скучный. Но, может быть, довольно о них? Все они очень хорошие и замечательные, и с ними можно умереть со скуки.

Прибежал Том-младший, а за ним Эндрю. Они купались в другом конце пляжа, а выйдя из воды, увидели девушку около кресла Дэвида и пустились бегом по слежавшемуся песку. Эндрю по дороге отстал и совсем запыхался.

— Не мог меня подождать? — сказал он Тому-младшему.

— Прости, Эндрю, — ответил Том. И потом обратился к девушке: — Доброе утро. Мы вас не дождались и пошли купаться.

— Извините, что опоздала.

— Вы не опоздали. Мы все будем купаться еще раз.

— Я не буду, — сказал Дэвид. — Идите все сейчас. А то я тут уже слишком разговорился.

— Что прибой сильный, пусть вас не смущает, — сказал Том-младший девушке. — Тут дно понижается отлого, не сразу.

— А нет здесь акул или барракуд?

— Акулы приплывают только ночью, — сказал ей Роджер. — А барракуд бояться нечего. Они нападают, только если вода грязная и мутная.

— Они тогда могут напасть по ошибке, — объяснил Дэвид. — Заметят, в воде что-то белеет, а что, не разглядеть. Мы тут постоянно встречаем барракуд во время купания.

— Плынешь и вдруг видишь такую уродину чуть не рядом, только поглубже, — сказал Том-младший. — Они очень любопытные, эти барракуды. Но чаще всего они сразу же уплывают.

— А вот если у вас рыба в сетке или на гарпуне, — сказал Дэвид, — на рыбу они непременно бросятся, могут тогда и вас задеть ненароком. Они ведь страх какие быстрые.

— Или когда вы плывете среди стаи лобанов или сардин, — сказал Том-младший. — Тут они могут вас зацепить, врезавшись в стаю.

— А вы держитесь между Томми и мной, — сказал ей Энди. — Тогда ничего с вами не случится.

Волны с грохотом обрушивались на берег, и, пока разбившаяся волна уползала назад, давая место новой, на полосу твердого сырого песка успевали слететься морские зуйки и ржанки.

— А может, не стоит купаться в такую волну, когда ничего не видно?

— Почему не стоит, — сказал Дэвид. — Нужно только осторожно ступать по дну до того, как бросишься вплавь. А вообще в такую волну даже меньше шансов наткнуться на морского кота.

— Мы с мистером Дэвисом будем оберегать вас, — сказал Том.

— И я буду вас оберегать, — сказал Энди.

— Вряд ли вам встретится какая-нибудь рыба в полосе прибоя, — сказал Дэвид. — Разве что маленькие помпано. Они приплывают к берегу кормиться песчаными блохами. На них приятно смотреть в воде, они любопытные и доверчивые.

— Вас послушать, так кажется, будто собираешься купаться в аквариуме, — сказала девушка.

— Энди научит вас выпускать воздух из легких так, чтобы дольше держаться под водой, — продолжал Дэвид. — Том вам расскажет, что нужно делать, чтобы спастись от мурены.

— Перестань ее запугивать, Дэв, — сказал Том-младший. — Это ведь он у нас подводный король, а мы нет. Но именно потому, мисс Брюс...

— Одри.

— Одри, — повторил Том и запнулся.

— Так что же ты хотел сказать, Томми?

— Забыл, — сказал Томми. — Ну, пошли в воду.

Томас Хадсон еще некоторое время работал. Потом сошел вниз и, присев около Дэвида, стал смотреть на четверку пловцов, то показывавшихся, то вновь исчезающих среди гребней пены. Девушка купалась без шапочки и в воде была вся гладкая, как тюлень. Плавала она не хуже Роджера, уступая ему только в силе движений. Наконец они вышли на берег и, ступая по твердому песку, пошли к дому; мокрые волосы девушки, откинутые со лба, облепили голову, ничем не маскируя ее природную форму, и Томас Хадсон подумал, что еще не встречал женщины с таким прелестным лицом и красивым телом. Кроме одной, подумал он. Кроме одной, которая была самой прелестной и самой красивой. Брось думать об этом, сказал он себе. Смотри на девушку и радуйся, что она здесь.

— Ну как купание? — спросил он ее.

— Замечательно, — улыбнулась она ему. — Но я ни одной рыбы не видела, — сказала она Дэвиду.

— Трудно увидеть, когда так много пены, — сказал Дэвид. — Разве если столкнешься вплотную.

Она села на песок и обхватила руками колени. Ее непросохшие волосы

падали до самых плеч, а Том-младший и Энди сидели по обе ее стороны. Роджер растянулся на песке лицом к ней и положил голову на скрещенные руки. Томас Хадсон отворил забранную проволочной сеткой дверь, поднялся наверх и снова сел за работу. Это будет самое лучшее, решил он.

А девушка, теперь скрытая от глаз Томаса Хадсона, сидела на песке и смотрела на Роджера.

— Взгрустнулось? — спросила она.

— Нет.

— Думы одолевают?

— Может быть. Не знаю сам.

— В такой день, как сегодня, приятно совсем ни о чем не думать.

— Ладно. Не думать, так не думать. А на волны смотреть можно?

— Это никому не заказано.

— Хотите, искупаемся еще раз?

— Попозже.

— Кто вас учил плавать? — спросил ее Роджер.

— Вы.

Роджер поднял голову и посмотрел на нее.

— Помните пляж на Антибском мысу? Маленький пляж на Иден-Рок.

Я часто смотрела, как вы прыгали с вышки на Иден-Рок.

— Откуда вы взялись, черт побери, и как ваше настоящее имя?

— Я приехала, чтобы встретиться с вами, а мое имя я вам уже сказала:

Одри Брюс.

— Нам уйти, мистер Дэвис? — спросил Том-младший.

Роджер ему даже не ответил.

— Как ваше настоящее имя?

— Когда-то я была Одри Рэйберн.

— А зачем вы приехали со мной встретиться?

— Захотела и приехала. А что, напрасно?

— Нет, — ответил Роджер. — Кто вам сказал, что я здесь?

— Один противный субъект, которого я повстречала в Нью-Йорке у знакомых. У вас с ним была драка. Он сказал, что вы здесь болтаетесь на берегу и пробавляетесь чем придется.

— Не так уж плохо пробавляюсь, — сказал Роджер, глядя на море.

— Он еще много чего про вас говорил. И все не слишком лестное.

— С кем вы были тогда в Антибе?

— С мамой и Диком Рэйберном. Теперь вспоминаете?

Роджер сел и уставился на нее. Потом вскочил, схватил ее в объятия и расцеловал.

— Будь я не ладен, — сказал он.

— Так я не напрасно приехала? — спросила она.

— Девчонка, — сказал Роджер. — Неужели это в самом деле вы?

— Требуется доказательства? Не желаете верить на слово?

— Я не запомнил никаких тайных примет.

— А как я вам теперь нравлюсь?

— Безмерно.

— Не воображали же вы, что я на всю жизнь останусь похожей на жеребенка? Помните, вы мне как-то сказали в Отейле, что я похожа на жеребенка, и я плакала.

— Но это ведь был комплимент. Я сказал, что вы похожи на жеребенка с иллюстрации Теньеля к «Алисе в Стране Чудес».

— А я плакала.

— Мистер Дэвис и Одри, — сказал Энди. — Мы идем выпить кока-колы. Вам принести?

— Мне не нужно. А вам, девчонка?

— Я бы с удовольствием выпила.

— Пошли, Дэв?

— Нет. Я хочу послушать.

— Ну знаешь ли — а еще брат называется, — сказал ему Том-младший.

— Принесите и мне кока-колы, — попросил Дэвид. — Продолжайте, мистер Дэвис, я вам не буду мешать.

— Мне ты не мешаешь, Дэви, — сказала девушка.

— Куда же вы девались потом и почему вы теперь Одри Брюс?

— Тут довольно сложная история.

— Могу себе представить.

— Мама в конце концов вышла замуж за некоего Брюса.

— Я его хорошо знал.

— Я его очень любила.

— Я пас, — сказал Роджер. — Ну, а «Одри» откуда?

— Это мое второе имя. Я на него перешла потому, что мне не очень нравилось мамино.

— А мне не очень нравилась сама мама.

— Мне тоже. Я любила Дика Рэйберна, и я любила Билла Брюса, а в вас я была влюблена и в Томаса Хадсона была влюблена. Он меня тоже не узнал, да?

— Не знаю. Он ведь чужак, мог и узнать, да промолчать. Но он говорит, что вы похожи на мать Томми.

— Я бы хотела, чтобы это было так.

— Нечего вам хотеть, потому что это так и есть.

— Вы правда на нее похожи, — сказал Дэвид. — Уж мне можете поверить. Простите, пожалуйста, Одри, что я вмешиваюсь и вообще что я тут торчу.

— Не были вы влюблены ни в меня, ни в Тома, — сказал Роджер.

— А вот и была. Вы этого знать не можете.

— Где теперь ваша мама?

— Она замужем за неким Джефффри Таунсендом и живет в Лондоне.

— И все еще употребляет наркотики?

— Да. И все еще красива.

— В самом деле?

— Вот именно в самом деле. Не думайте, что это дочернее пристрастие.

— Когда-то вы были примерной дочерью.

— И примерной католичкой. Я за всех молилась. За все болела душой. Я соблюдала за маму все посты, чтобы снискать ей благодать легкой смерти. А как горячо я молилась за вас, Роджер.

— Жаль, это не очень мне помогло, — сказал Роджер.

— И мне жаль, — сказала она.

— А еще неизвестно, Одри. Вдруг да поможет когда-нибудь, — сказал Дэвид. — То есть я не хочу сказать, что мистер Дэвис нуждается в этом. Я вообще про молитвы.

— Спасибо, Дэв, — сказал Роджер. — А куда девался Брюс?

— Он умер. Вы разве не помните?

— Нет. Что Дик Рэйберн умер, это я помню.

— Не удивительно.

— Да.

Вернулись Томми и Энди с запотевшими бутылками кока-колы, и Энди подал одну бутылку девушке, а другую Дэвиду.

— Спасибо, — сказала девушка. — Замечательно, что холодная.

— А знаете, Одри, я вас вспомнил, — сказал Том-младший. — Вы приходили в мастерскую с мистером Рэйберном. И всегда молчали. И мы все вместе ходили в цирк — вы, я, папа и мистер Рэйберн, и на скачки мы ездили. Только вы тогда не были такая красивая.

— Неправда, была, — сказал Роджер. — Можешь спросить папу.

— Мне очень жаль мистера Рэйберна, — сказал Том-младший. — Я хорошо помню, как это случилось. Его убило во время соревнований по бобслею — санки сорвались на крутом повороте и врезались в толпу. Он

перед тем долго болел, и мы с папой его навещали. А потом стал поправляться, и ему захотелось поехать на эти соревнования. Лучше бы он не ездил. Мы при этом не были. Простите, Одри, может быть, вам тяжело вспоминать об этом.

— Он был хороший человек, — сказала Одри. — Но мне не тяжело, Томми. Прошло уже столько лет.

— А со мной или с Дэвидом вы не были знакомы? — спросил Энди.

— Как же это могло быть, наездник? Нас тогда еще на свете не было, — сказал Дэвид.

— А откуда мне знать, — сказал Энди. — Я про Францию ничего не помню и не думаю, чтобы ты помнил много.

— Я этого и не говорю. Томми помнит Францию за нас всех. А я потом буду помнить этот остров. И еще я помню все папины картины, которые видел.

— А те, где скачки, помнишь? — спросила Одри.

— Те, что видел, помню все.

— Там на некоторых есть я, — сказала Одри. — В Лонгшане, в Отейле, в Сен-Клу. Но всегда только с затылка.

— А, если с затылка, тогда я вас помню, — сказал Том-младший. — У вас были распущенные длинные волосы, а я сидел на два ряда выше вас, чтобы лучше видеть. День был чуть туманный — знаете, бывают такие осенние дни, когда воздух будто полон сизого дыма, — и места у нас были на верхней трибуне, прямо против канавы с водой, а большой барьер и каменная стенка приходились слева от нас. Финиш был ближе к нам, а канава с водой на другой стороне круга. И всегда я был позади вас и чуть повыше, если только мы не стояли внизу, у дорожки.

— Ты мне тогда казался очень смешным мальчуганом.

— Я, наверно, и был смешной. А вы всегда молчали. Может, вам не о чем было говорить с таким малышом. Но правда ипподром в Отейле чудесный?

— Замечательный. Я там в прошлом году была.

— Может, и мы побываем этим летом, Томми, — сказал Энди. — А вы тоже ездили с ней на скачки, мистер Дэвис?

— Нет, — сказал Роджер. — Я был только ее учителем плавания.

— Вы были моим героем.

— А папа не был вашим героем? — спросил Эндрю.

— Конечно, был. Но я не давала себе мечтать о нем, потому что он был женат. Когда они с матерью Тома разошлись, я написала ему письмо. Там с большой силой говорилось о моих чувствах и о моей готовности

занять место матери Тома, если это возможно. Но я так и не отправила это письмо, потому что он женился на матери Дэви и Энди.

— Да, не так все просто в жизни, — сказал Том-младший.

— Расскажите нам еще про Париж, — сказал Дэвид. — Раз мы туда едем, нам нужно узнать о нем побольше.

— Я помню, Одри, как мы, бывало, стояли у самых перил и лошади, после заключительного препятствия, мчались прямо на нас, словно вырастая с каждой секундой, и помню глухой стук копыт по дерну, когда они наконец пролетали мимо.

— А ты помнишь, как в холодные дни мы теснились к большим braziers, чтобы согреться, и ели бутерброды, купленные в баре?

— Лучше всего бывало осенью, — сказал Том-младший. — Домой мы возвращались в открытом экипаже, помните? Через Булонский лес и потом вдоль берега, а кругом уже сумерки, и жгут сухие листья, и буксиры тянут баржи по Сене.

— Как это ты так хорошо все запомнил? Ведь ты был совсем крошечным мальчуганом.

— Я помню каждый мост от Сюрена до Шарантона, — сказал Том-младший.

— Быть не может.

— Я не взялся бы перечислить их по названиям. Но они у меня все в голове.

— Не поверю я, что ты все это помнишь. И потом, река ведь довольно безобразна, кое-где и многие мосты тоже.

— Знаю. Но ведь я еще после вас очень долго жил в Париже, и мы с папой чуть не все берега исходили пешком. И где красиво и где безобразно, и во многих местах я с приятелями ловил рыбу.

— Ты, правда, ловил рыбу в Сене?

— Правда.

— И твой папа тоже?

— Не так часто, но иногда ловил — в Шарантоне. Но обычно ему после работы хотелось размяться, и мы с ним ходили и ходили, пока я не уставал до того, что уже не мог идти дальше, и тогда мы возвращались домой на автобусе. А когда у нас стало больше денег, то в экипаже или на такси.

— Но были же у вас деньги в тот год, когда мы ездили на скачки.

— Наверно, были, — сказал Том-младший. — Вот этого я точно не помню. Скорей всего — когда были, когда нет.

— А у нас всегда были деньги, — сказала девушка. — Мама выходила

замуж только за людей с большими деньгами.

— Значит, вы богатая, Одри? — спросил Том-младший.

— Нет, — сказала девушка. — Мой отец частью истратил, частью потерял свое состояние после того, как женился на маме, а ни один из моих отчимов меня не обеспечил.

— Вам деньги не нужны, — сказал ей Эндрю.

— Знаете что, живите у нас, — сказал ей Томми. — Вам у нас будет очень хорошо.

— Заманчивое предложение. Но не могу же я жить на ваш счет.

— Мы отсюда едем в Париж, — сказал Энди. — Поедемте с нами. Вот будет здорово. Мы с вами вдвоем осмотрим все арондисманы.

— Надо будет подумать, — сказала девушка.

— Хотите, я вам приготовлю коктейль, чтобы легче было принять решение, — сказал Дэвид. — В книгах мистера Дэвиса всегда так поступают.

— Вы меня подпоить хотите.

— Известный прием торговцев живым товаром, — сказал Том-младший. — А когда жертва приходит в себя, оказывается, она уже в Буэнос-Айресе.

— Ну, значит, ей дали чего-нибудь адски крепкого, — сказал Дэвид. — До Буэнос-Айреса неблизкий путь.

— Ничего нет крепче martini, который приготовляет мистер Дэвис, — сказал Эндрю. — Угостите ее своим martini, мистер Дэвис.

— Хотите, Одри? — спросил Роджер.

— Выпью, если не слишком долго ждать ленча.

Роджер пошел готовить коктейль, а Том-младший пересел к девушке поближе. Энди теперь сидел у ее ног.

— Смотрите, Одри, лучше не пейте, — сказал Том-младший. — Ведь это первый шаг. Помните, *ce n'est que le premier pas qui compte*¹⁹.

Наверху Томас Хадсон продолжал накладывать мазок за мазком. Он невольно слушал их разговор, но ни разу не глянул вниз после того, как они вернулись с купания. Ему трудно приходилось в том панцире работы, который он создал себе для защиты от внешнего мира, но он думал: если я брошу работать сейчас, я могу совсем лишиться этой защиты. Ведь будет довольно времени для работы, когда они все уедут, возразил он себе. Но он знал, что бросать сейчас работу нельзя, что тогда рушится вся система безопасности, которую он себе создал работой. Сделаю ровно столько, сколько сделал бы, если б их тут не было, думал он. Потом приберу все и пойду вниз, а Рейберна, и Париж, и все прошлое выкину из головы. Но,

работая, он чувствовал, как внутри уже закрадывается тоска одиночества. Работай, сказал он себе. Держись и не изменяй своим привычкам, они скоро понадобятся тебе.

Когда Томас Хадсон отработал положенное и спустился вниз, мысли его еще были заняты живописью. Он сказал девушке: «Привет!», потом отвернулся в сторону. Потом снова посмотрел на нее.

— Я поневоле все слышал, — сказал он. — Или, если хотите, подслушал. Очень рад, что мы, оказывается, старые друзья.

— И я рада. А вы меня в самом деле не узнали?

— Может быть, и узнал, — сказал он. — Ну, пора к столу. Вы уже высохли, Одри?

— Я приму душ и переоденусь, — сказала она. — У меня с собой блузка и юбка.

— Скажи Джозефу и Эдди, что мы готовы, — сказал Томас Хадсон Тому-младшему. — Идемте, Одри, я покажу вам, где душ.

Роджер ушел в дом.

— Мне было бы неприятно думать, что я сюда попала обманом, — сказала девушка.

— Вы этого и не сделали, — сказал Томас Хадсон.

— Я могу ему чем-нибудь помочь, как вам кажется?

— Попробуйте. Для спасения его души нужно, чтобы он стал хорошо работать. Я по душам не специалист. Но я знаю, что свою он продешевил, когда первый раз приехал на побережье.

— Но ведь он теперь пишет новый роман. И роман замечательный.

— Откуда вы это знаете?

— Читала в газете. В статье Чолли Никербокера, кажется.

— А-а, — сказал Томас Хадсон. — Ну, тогда, значит, так и есть.

— Вы, правда, думаете, что я могу ему помочь?

— Попробуйте.

— Это все не так просто.

— Просто ничего не бывает.

— Рассказать вам почему?

— Нет, — сказал Томас Хадсон. — Лучше вы причешитесь, оденьтесь и приходите наверх. А то пока он ожидает, ему может попасться на глаза другая женщина.

— Вы раньше таким не были. Мне казалось, вы самый добрый человек на свете.

— Очень жаль, что я изменился. Но я искренне рад встрече, Одри.

— Мы ведь старые друзья, правда?

— Еще бы, — сказал он. — Ну, скорей приводите себя в порядок, переодевайтесь и приходите наверх.

Он отвернулся, и она скрылась за дверью душа. Он сам не мог понять, что такое с ним происходит. Но радость этих летних недель вдруг пошла в нем на убыль, как во время смены течений за отмелью, когда в узком проливе, ведущем в открытое море, начинается отлив. Всматриваясь в море и в береговую линию, он заметил, что течение уже изменилось и на вновь обнажившейся полосе мокрого песка деловито хлопочут береговые птицы. Он еще раз долгим взглядом окинул берег и ушел в дом.

XIII

Последние несколько дней они провели чудесно. Все шло ничуть не хуже, чем в прежние дни, и предотъездной грусти не было. Яхта ушла, и Одри сняла комнату над баром «Понсе-де-Леон», но жила она у них, спала на закрытой веранде в дальнем конце дома и пользовалась гостевой комнатой.

О своей любви к Роджеру она больше не говорила. А единственное, что Роджер сказал о ней Томасу Хадсону, было: «Она замужем за каким-то сукиным сыном».

— Неужели ты рассчитывал, что она всю жизнь будет тебя ждать?

— Как бы там ни было, а он сукин сын.

— Так всегда бывает. Но подожди, ты еще обнаружишь в нем привлекательные черты.

— Он богатый.

— Вот это, наверно, и есть его привлекательная черта, — сказал Томас Хадсон. — Такие девушки всегда выходят замуж за сукиных сынов, а у них всегда оказывается какая-нибудь привлекательная черта.

— Ладно, — сказал Роджер. — Хватит об этом.

— Книгу писать ты будешь?

— Обязательно. Этого она от меня и ждет.

— Вот почему ты решил взяться за дело.

— Отвяжись, Том, — сказал ему Роджер.

— Хочешь пожить на Кубе? Там у меня всего лишь хибарка, но мешать тебе никто не будет.

— Нет. Я думаю поехать на Запад.

— В Калифорнию?

— Нет. Не в Калифорнию. А что, если я поживу у тебя на ранчо?

— На ранчо у меня осталась только хижина на дальнем берегу реки.

— Вот и прекрасно.

Девушка и Роджер совершали длинные прогулки по берегу, купались вдвоем и с мальчиками. Мальчики выходили на рыбную ловлю, брали с собой Одри порыбачить и поплавать в масках около рифа. Томас Хадсон много работал, и, пока он сидел за мольбертом, а мальчики проводили время на море, ему было приятно думать, что скоро они вернутся домой и будут обедать или ужинать вместе с ним. Он беспокоился, когда они плавали в масках, но знал, что Роджер и Эдди не позволят им заплывать далеко. Как-то раз все они отправились с утра удить на блесну, добрались до самого дальнего маяка на краю отмели, чудесно провели день и выловили несколько макрелей, белобочек и трех крупных скумбрий. Он написал скумбрию со странной сплюсненной головой, с полосками, опоясывающими ее длинное обтекаемое тело, и подарил картину Энди, который поймал из трех самую крупную. На заднем плане картины были летние облака в небе, высокий маяк с паучьими лапами и зеленые берега.

Потом наступил день, когда старенький гидроплан Сикорского описал круг над домом и сел в заливе, и они подвезли к нему на шлюпке своих мальчиков. На другой Джозеф вез их чемоданы. Том-младший сказал:

— До свидания, папа. Лето мы провели у тебя замечательно.

Дэвид сказал:

— До свидания, папа. Нам было очень хорошо. Ты не беспокойся о нас. Ничего с нами не случится.

Эндрю сказал:

— До свидания, папа. Спасибо тебе за чудесное, чудесное лето и за то, что мы едем в Париж.

Они взобрались по трапу на гидроплан и помахали Одри, которая стояла на причале, и крикнули ей:

— До свидания! До свидания, Одри!

Роджер помог им взобраться, и они сказали:

— До свидания, мистер Дэвис! До свидания, папа! — И еще раз, очень громко, так, чтобы слышно было на причале: — До свидания, Одри!

Потом дверь закрыли, задраили, и остались только лица за стеклами небольших окошек, а потом лица, залитые водой, плеснувшей в стекла, когда гидроплан заработал своими старыми кофейными мельницами. Томас Хадсон подался назад от вихря брызг, и допотопный, уродливый гидроплан вырулил на старт и поднялся на легком ветру, а потом сделал

круг в воздухе и, уродливый, медлительный, ровно пошел своим курсом через залив.

Томас Хадсон знал, что Роджер и Одри тоже собираются в дорогу, и, так как рейсовое судно ожидалось на следующий день, он спросил Роджера, когда они решили уезжать.

— Завтра, старик, — сказал Роджер.

— С Уилсоном?

— Да, я просил его вернуться за нами.

— Я только хотел знать, сколько мне всего заказывать.

И на следующий день они тоже улетели. На прощание Томас Хадсон поцеловал девушку, а она поцеловала его. Накануне, прощаясь с мальчиками, Одри плакала и, прощаясь с ним, тоже заплакала, и обняла его, и прижалась к нему.

— Берегите его и себя тоже берегите.

— Постараюсь, Том. Вы были так добры к нам.

— Глупости!

— Я буду писать тебе, — сказал Роджер. — Поручения какие-нибудь есть? Что я там должен делать?

— Живи, радуйся. И напиши, как там у вас все сложится.

— Обязательно. Эта тоже тебе напишет.

И вот они уехали, и по дороге домой Томас Хадсон зашел к Бобби.

— Здорово одиноко вам будет, — сказал Бобби.

— Да, — сказал Томас Хадсон. — Мне будет здорово одиноко.

XIV

Как только мальчики уехали, Томас Хадсон затосковал. Но ему казалось, что это естественная тоска по сыновьям, и он продолжал работать. Конец твоего мира приходит не так, как на великом произведении искусства, описанном мистером Бобби. Его приносит с собой местный паренек — рассыльный из почтового отделения, который вручает тебе радиogramму и говорит:

— Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, на отрывном корешке. Мы очень сожалеем, мистер Том.

Он дал рассыльному шиллинг. Но рассыльный посмотрел на монету и положил ее на стол.

— Мне чаевых не надо, мистер Том, — сказал он и ушел.

Он прочитал телеграмму. Потом положил ее в карман, вышел на веранду и сел в кресло. Он вынул телеграмму и прочитал ее еще раз.

ВАШИ СЫНОВЬЯ ДЭВИД И ЭНДРЮ ПОГИБЛИ ВМЕСТЕ С МАТЕРЬЮ В АВТОМОБИЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ ПОД БИАРРИЦЕМ. ДО ВАШЕГО ПРИЕЗДА ВСЕ ХЛОПОТЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ПРИМИТЕ НАШЕ ГЛУБОЧАЙШЕЕ СОЧУВСТВИЕ.

Подписано парижским отделением нью-йоркского банка.

Вошел Эдди. Он узнал все от Джозефа, который узнал все от радиста.

Эдди сел рядом с ним и сказал:

— Мать твою. Как такое могло случиться, Том?

— Не знаю, — сказал Томас Хадсон. — Наверно, они на что-нибудь налетели или их кто-нибудь ударил.

— Уж наверно, не Дэви вел машину.

— Наверно, не Дэви. Но теперь это уже не имеет значения.

Томас Хадсон смотрел на плоскую синеву моря и на густо синеющий Гольфстрим. Солнце стояло низко и скоро должно было зайти за облака.

— Думаете, она правила?

— Вероятно. А может, у них был шофер. Какая разница?

— Думаете, Энди?

— Может быть. Она могла ему позволить.

— Он малый самонадеянный, — сказал Эдди.

— Был самонадеянный, — сказал Томас Хадсон. — Теперь уже вряд ли.

Солнце садилось, а перед ним стлались облака.

— Как только наши выйдут на связь, надо послать телеграмму Уилсону, чтобы он прилетел сюда пораньше и пусть позвонит и закажет мне билет в Нью-Йорк.

— А пока вас не будет, что мне делать здесь?

— Да так, присматривай за всем. Чеки на каждый месяц я оставляю. Если начнутся ураганы, найми людей, сколько потребуется, чтобы помощь у тебя была хорошая и на катере и в доме.

— Будет сделано, — сказал Эдди. — Но теперь мне на все это на...

— Мне тоже, — сказал Томас Хадсон.

— У нас есть Том-младший.

— Да, пока есть, — сказал Томас Хадсон и впервые заглянул в глубокую бесконечную перспективу ожидающей его впереди пустоты.

— Как-нибудь справитесь, — сказал Эдди.
— Конечно. А когда я не справлялся?
— Поживете в Париже, а потом поезжайте к себе на Кубу, и пусть Том-младший там с вами побудет. Писать на Кубе вам хорошо, вот и отвлекетесь.
— Конечно, — сказал Томас Хадсон.
— Путешествовать будете, это тоже хорошо. Будете ездить на огромных пароходах, мне всегда на таких хотелось поплавать. Все их перепробуйте. Пусть везут вас по своим путям-дорогам.
— Конечно.
— Ах, мать твою! — сказал Эдди. — И какого хрена нашего Дэви убило?
— Не надо, Эдди, — сказал Томас Хадсон. — Этого нам не дано знать.
— Да пропади все пропадом! — сказал Эдди и сдвинул шляпу на затылок.
— Как сумеем, так и сыграем, — сказал Томас Хадсон. Но теперь он знал, что для него игра не стоит свеч.

XV

Пересекая океан на «Ile de France», Томас Хадсон понял, что ад не обязательно такой, каким описывал его Данте или кто-нибудь другой из великих бытописателей ада, а может быть и комфортабельным, приятным, милым твоему сердцу пароходом, увозящим тебя на восток, в страну, к которой ты всегда приближался, заранее предвкушая свой приезд туда. Кругов в этом аду насчитывалось много, и они не имели таких четких границ, как у великого флорентийского эгоцентрика. Он сел на пароход рано, ища в нем (теперь это было уже ясно) спасения от города, где его пугали встречи с людьми, которые будут заговаривать с ним о случившемся. Он думал, что на пароходе сумеет прийти к какому-то соглашению со своим горем, еще не зная, что горю никакие соглашения не помогут. Излечить его может только смерть, а все другое лишь притупляет и обезболивает. Говорят, будто излечивает его и время. Но если излечение приносит тебе нечто иное, чем твоя смерть, тогда горе твое, скорее всего, не настоящее.

Одно из средств, которое притупляет его временно, притупляя в тебе

вообще все остальные чувства, — это пьянство. Есть и другое, отвлекающее тебя от мыслей о нем, — и это работа. Оба эти средства были известны Томасу Хадсону. Но он знал также, что пьянство убьет в нем способность хорошо работать, а работа уже столько лет лежала в основе его жизни, что он не мог позволить себе потерять эту способность.

Но поскольку он знал, что несколько дней работать не сможет, то решил пить, читать, заниматься моционом и, замучившись за день, спать мертвым сном. Он спал в самолете. Но в Нью-Йорке спать не мог.

Теперь он сидел в своей двойной каюте люкс, куда носильщики уже внесли его чемоданы и большую пачку купленных им журналов и газет. Он решил, что с такого чтива начинать будет легче всего. Он отдал стюарду свой билет и попросил его принести бутылку перрье и льду. Когда это был подано, он достал из чемодана бутылку шотландского виски, откупорил ее и приготовил себе питье. Потом перерезал бечевку, которой была связана пачка журналов и газет, и разложил их на столе. Номера были свеженькие, девственные по сравнению с теми, которые приходили на остров. Он взял «Нью-Йоркер». На острове он всегда приберегал этот журнал к вечеру, и ему уже давно не приходилось видеть номер «Нью-Йоркера», вышедший на этой же неделе и не перегнутый пополам. Он сидел в глубоком, удобном кресле и пил виски и понимал, что невозможно читать «Нью-Йоркер», если те, кого ты любишь, умерли всего несколько дней назад. Он взял «Тайм» и «Тайм» смог читать — все, включая раздел «Некрологи», где были оба его мальчика — мертвые, и был указан их возраст, возраст их матери, не совсем точно, указано ее семейное положение и то, что она развелась с ним в 1933 году.

В журнале «Ньюсуик» сведения были те же самые. Но когда Томас Хадсон прочел эту краткую заметку, у него осталось странное чувство, будто автор ее пожалел погибших мальчиков.

Он смешал себе еще одну порцию и подумал, что лучше всего для смеси с виски годится перрье, потом прочел от корки до корки «Тайм» и «Ньюсуик». Какого черта ее понесло в Биарриц? — подумал он. Вполне могла бы поехать в Сен-Жан-де-Люс.

И понял, что виски уже немного помогло ему.

Отрешишься от них, сказал он себе. Помни, какие они были, а остальное вычеркни из памяти. Рано или поздно придется это сделать. Так сделай это теперь.

Читай дальше, сказал он. И тут пароход отчалил от пристани. Он шел очень медленно, и Томас Хадсон даже не взглянул в иллюминатор. Он сидел в удобном кресле и просматривал кипу газет и журналов и пил

шотландское виски с перрье.

Не стоит перед тобой никакой проблемы, сказал он. Ты отрешился от них, и они исчезли. Да и вообще нельзя было так любить этих мальчиков. Нельзя было любить мальчиков, и их мать нельзя было любить. Вот ведь что виски делает! — сказал он себе. Какое блистательнее разрешение всех наших проблем. *Мудрец алхимик разрешил труднейшую задачу. Из олова он сотворил дерьмо.* Нет, не вышло... *Из олова он сотворил ко злату и дерьмо в придачу.* Вот так лучше.

Интересно, где сейчас Роджер со своей девицей, подумал он. Где находится Томми, видимо, известно в банке. А где я — я сам знаю. Я сижу здесь с бутылкой «Старого лосося». Завтра я все это из себя выпарю в гимнастическом зале. Усядусь там на велосипед, который никуда не приезжает, и на механическую лошадку. Вот что мне требуется. Хорошенько протрястись на механической лошадке. Потом основательный массаж. Потом я встречу с кем-нибудь в баре, и мы поговорим о том о сем. Ведь всего шесть дней. Шесть дней прожить можно.

Ночью он заснул и, проснувшись, услышал, как пароход одолевает море, и, вдохнув морской запах, подумал было, что он у себя дома, на острове, и что его разбудил дурной сон. Потом он понял, что это не сон, и почувствовал тяжелый запах смазки на раме открытого иллюминатора. Он зажег свет и выпил минеральной воды. Его мучила жажда.

На столике стоял поднос с сэндвичами и фруктами, который принес накануне стюард, и в ведерке с бутылкой перрье еще остался лед.

Он знал, что надо что-нибудь съесть, и посмотрел на часы, висевшие на стене. Было двадцать минут четвертого. В морском воздухе веяло прохладой, и он съел сэндвич и два яблока, а потом вынул из ведерка несколько кусочков льда и приготовил себе питье. От «Старого лосося» почти ничего не осталось, но у него была еще бутылка, и в прохладе раннего утра он сидел в удобном кресле и читал «Нью-Йоркер». Оказывается, он уже мог его читать, и, кроме того, пить на рассвете было очень приятно.

Годами он придерживался железного правила — не пить по ночам и не пить до конца работы, если день был рабочий. Но теперь, проснувшись ночью, он почувствовал тихую радость, что правилу конец. Это был возврат чисто животной радости или способности ощущать радость, которую он испытал впервые после того, как пришла та телеграмма.

Хороший журнал «Нью-Йоркер», подумал он. Его, видимо, можно читать на четвертый день после того, как что-то случилось. Не на первый, не на второй и не на третий. Но на четвертый можно. Такую вещь полезно

знать. Следом за «Нью-Йоркером» он стал читать «Ринг», а потом все, что было читабельно, а также и нечитабельно в «Атлантик монсли». Потом приготовил себе третью порцию и взялся за «Харперс». Вот видишь, сказал он себе, все и обошлось.

Часть вторая

КУБА

После того как все ушли, он лежал на полу, устланном циновкой, и прислушивался к ветру. По-прежнему сильно штормило с северо-запада, и он расстелил на полу в большой комнате одеяла, бросил туда же подушки, подпер их мягкой спинкой от кресла, которую прислонил к одной из ножек стола, и, надев кепку с длинным козырьком, чтобы затенить глаза, стал просматривать свою корреспонденцию в ярком свете настольной лампы. Кот лежал у него на груди, и он прикрыл его и себя легким одеялом и одно за другим вскрывал и прочитывал письма, понемножку прихлебывая виски с водой, а в промежутках отставлял стакан в сторону на пол. Когда понадобится, рука сама его найдет.

Кот мурлыкал, но Томас Хадсон этого не слышал, так как мурлыканье у него было беззвучное, и, держа письмо в одной руке, он пальцем другой притронулся к горлу кота.

— У тебя микрофон в горле, Бойз, — сказал он. — Скажи, ты меня любишь?

Кот легонько месил его грудь лапами, только чуть задевая когтями шерсть толстого синего свитера, и Томас Хадсон ощущал ласково разлитую тяжесть его длинного мягкого тела и под пальцами чувствовал его мурлыканье.

— Стерва она, Бойз, — сказал он коту и вскрыл другое письмо.

Кот подсунул голову ему под подбородок и потерся о него.

— Они, Бойз, все до дна из тебя выскребут, — сказал он и погладил кошачью голову своим щетинистым подбородком. — Женщины нас не любят. Жаль, что ты не пьешь, Бой. Остальное ты уже почти все умеешь.

Кота сперва назвали по имени крейсера «Бойз», но уже давно Томас Хадсон стал звать его просто Бой.

Второе письмо он прочитал до конца без комментариев и, протянув руку за стаканом, отхлебнул виски.

— Так, — сказал он. — Что-то, брат, ничего не получается. Знаешь что, Бой, ты читай эти письма, а я буду лежать у тебя на груди и мурлыкать. Хорошо?

Кот поднял голову и потерся о его подбородок, а он потерся о кошачью голову, проведя своим колючим подбородком у кота между

ушами и дальше по затылку и между лопатками, и вскрыл третье письмо.

— Ты беспокоился о нас, Бойз, когда там началось? — спросил он. — Видел бы ты, как мы влетели в гавань, когда волны уже перехлестывали через Морро! Ты бы перепугался насмерть. Примчало нас домой на этих чертовых бурунах, словно доску для сёрфинга.

Кот лежал довольный, дыша в такт с человеком. Большой кот, длинный и ласковый, подумал о нем Томас Хадсон, и худой от слишком усердной ночной охоты.

— Как у тебя шли дела, пока меня не было, а, Бой? — Он отложил письмо и поглаживал кота под одеялом. — Много наловил?

Кот повернулся на бок и подставил живот, чтобы его погладили, как он делал это в те дни, когда был котенком, когда жил еще счастливо и беззаботно.

К тому времени, как он дочитал третье и самое длинное письмо, этот большой, белый с черным кот уже спал. Он спал в позе сфинкса, только голову положил на грудь Томасу Хадсону.

Я очень рад, думал Томас Хадсон. Надо бы раздеться, принять ванну и лечь как следует в постель, но нет горячей воды, да я и не хотел бы спать сегодня на кровати. Все еще кругом ходуном ходит, кровать бы меня сбросила. Но и здесь вряд ли засну, когда эта зверюга на мне лежит.

— Бой, — сказал он, — придется мне тебя снять, чтобы я мог лечь на бок.

Он поднял тяжелое обмякшее тело кота, которое вдруг ожило у него в руках, а потом опять обмякло, и положил его рядом с собой, затем сам повернулся так, чтобы опираться на правый локоть. Кот теперь лежал у него за спиной. Он был недоволен, пока его переключивали, но потом опять заснул, прикрнувшись к Томасу Хадсону. Тот снова вынул те три письма и вторично все их перечитал. Газеты он решил не читать и, протянув руку, выключил свет и теперь тихо лежал, чувствуя ягодицами тепло кошачьего тела. Он лежал, обхватив руками одну подушку, а голову положив на другую. Снаружи ветер дул во всю мочь, и пол комнаты словно бы покачивался, как корабельный мостик. Перед возвращением Томас Хадсон не сходил с мостика девятнадцать часов.

Он лежал и старался заснуть, но не мог. Глаза у него очень устали, и он не хотел ни зажигать свет, ни читать, просто лежал и дожидался утра. Сквозь одеяла он чувствовал циновку, сплетенную по размеру большой комнаты и привезенную с Самоа на крейсере за полгода до Пирл-Харбора. Она покрывала весь плиточный пол комнаты, но там, где стеклянная дверь вела в патио, циновка загнулась и встопорщилась от движений двери, и

Томас Хадсон чувствовал, как ветер забирается под нее и ее треплет, когда проникает в просвет под дверной рамой. Он думал о том, что ветер по крайней мере еще один день будет дуть с северо-запада, потом перейдет на север и наконец иссякнет на северо-востоке. Так он всегда передвигался зимой, но может случиться, что он на несколько дней застрянет на северо-востоке и будет еще очень сильно дуть перед тем, как превратиться в brisa, что было местным названием северо-восточного пассата. И пока он будет с почти ураганной силой дуть с северо-востока, навстречу Гольфстриму, он разведет очень сильное волнение, и уж в это-то время, конечно, ни одна немецкая подлодка не сможет всплыть. Так что, думал он, мы просидим на берегу не меньше четырех суток. А уж потом они наверняка всплывут.

Он думал и о своем последнем выходе, о том, как шторм настиг их в шестидесяти милях дальше по береговой линии и в тридцати от берега, и о жутком обратном рейсе, когда он решил лучше идти в Гавану, а не в Байя-Онду. Да, он-таки заставил свое суденышко поработать. Заставил-таки. И было еще многое, что надо будет проверить. Пожалуй, было бы лучше пристать в Байя-Онде. Но последнее время они слишком часто там бывали. Да еще он уезжал на целых двенадцать дней, а рассчитывал обойтись десятью. О некоторых вещах он был недостаточно осведомлен и не знал, сколько может продлиться этот шторм, поэтому решил вернуться в Гавану и признать свою неудачу. Утром он выкупается, побреется, почистится и пойдет с докладом к морскому атташе. Может быть, они захотят, чтобы он еще последил за берегом. Но он твердо знал, что в такую погоду никакие вражеские лодки не всплывут, это для них совершенно невозможно. Вот это, собственно, и было главное. Если он в этом прав, тогда и остальное будет в порядке. Хотя и не всегда все бывает так просто. Далеко не всегда.

Твердым полом ему сильно намяло правую ногу, правое бедро и правое плечо, и он теперь лежал на спине, опираясь на мышцы плеч, а колени подтянул кверху под одеялом и толкался в него пятками. Это немного сняло с него усталость, и он положил левую руку на кота и погладил его.

— Ты чудно умеешь отдыхать, Бой, и ты так сладко спишь, — сказал он коту. — Значит, тебе не так уж плохо пришлось.

Он подумал, не выпустить ли кого-нибудь из других котов для компании и чтоб было с кем поговорить, пока Бойз спит. Но потом решил, что не надо. Бойз обидится и будет ревновать. Когда они вчера подъехали в большой машине, Бойз уже околачивался возле дома, поджидая их. Он страшно волновался и, пока они выгружались, все время путался под ногами, с каждым здоровался и то вбегал в дом, то выбегал, как только

отворяли дверь. Наверно, он каждый вечер ждал их здесь с тех самых пор, как они уехали. Когда Томас Хадсон получал приказ об отъезде, кот узнавал об этом с первой минуты. Конечно, о приказе он знать не мог, зато ему хорошо были известны даже самые первые признаки сборов в дорогу, и, по мере того как подготовка проходила дальнейшие стадии, вплоть до заключительного беспорядка — ночевки чужих людей в доме (Томас Хадсон всегда требовал, чтобы в полночь они уже спали, если предстояло выезжать до рассвета), — кот становился все более взвинченным и нервным, а когда они начинали грузиться в машину, он уже был сам не свой и приходилось его запереть, чтобы он не погнался за ними по подъездной аллее и дальше в деревню и на шоссе.

Как-то раз, проезжая по Центральному шоссе, Томас Хадсон увидел сбитого машиной кота, и этот кот, только что сбитый машиной и уже мертвый, был как две капли воды похож на Боя. Спина у него была черная, а горло, грудь и передние лапы — белые, и на мордочке такая же черная полумаска. Он знал, что это не может быть Бой, потому что все это происходило более чем в шести милях от фермы, и все же у него похолодело внутри, и он остановил машину и пошел назад, поднял кота и удостоверился, что это не Бой, а потом положил его на обочину дороги, чтобы его уж больше не могли переехать. Кот был ухоженный, гладкий, видно было, что это чей-то кот, и Томас Хадсон оставил его у дороги, чтобы хозяева могли его увидеть и узнать о его судьбе и хоть не мучиться больше неизвестностью. Если бы не это, он взял бы кота в машину и похоронил на ферме.

Когда вечером Томас Хадсон возвращался на ферму, тело кота уже не лежало на том месте, где он его оставил, и он решил, что, должно быть, хозяева его нашли. В тот же вечер уже дома, сидя за книгой в большом кресле с Бойзом, примостившимся рядом, Томас Хадсон вдруг подумал: что бы он делал, если бы Бойза так же вот убило? Судя по припадкам отчаяния, находившим иногда на Бойза, кот питает к нему подобные же чувства.

Он из-за всего волнуется еще больше, чем я. Зачем это ты, Бой? Если бы ты так не расстраивался, тебе бы лучше жилось. Я же вот стараюсь быть спокойным, сколько могу, говорил себе Томас Хадсон. Правда, стараюсь. А Бой не может.

Когда они уходили в море, Томас Хадсон и там думал о Бойзе, о его странных привычках, о его отчаянной, безнадежной любви. Он вспоминал, как увидел его в первый раз, когда тот был еще котенком и играл со своим отражением в стеклянной крышке табачного прилавка в баре, что был

выстроен в Кохимаре прямо на утесах, высящихся над гаванью. Они как-то раз заглянули в этот бар солнечным рождественским утром. В баре было еще несколько пьяных, осевших там после вчерашнего пированья, но восточный ветер, продувавший насквозь и бар и ресторан, был так свеж, а солнечный свет так ярок и воздух так чист и прохладен, что ясно было — это утро не для пьяниц.

— Закрой дверь, а то ветер, — сказал один из них хозяину.

— Нет, — ответил хозяин. — Мне нравится этот ветер. А если для вас он слишком свеж, так пойдите поищите себе где-нибудь затишек.

— Мы платим за то, чтобы нам было удобно, — сказал еще один из этих последышей ночной попойки.

— Нет. Вы платите только за то, что выпили. А для удобства поищите другое место.

Томас Хадсон смотрел через открытую террасу на море, темно-синее в белых барашках, и на рыбацьи лодки, бороздившие его по всем направлениям, волоча наживку для дельфинов. Человек шесть рыбаков сидели в баре да еще сколько-то за двумя столами на террасе. Это были рыбаки, которым вчера сильно повезло с уловом или которые считали, что погода и течение еще удержатся, и поэтому решили остаться на рождество дома.

Никто из них не ходил в церковь, даже на рождество, и никто не одевался, как полагалось по рыбацкой моде. Это были самые непохожие на рыбаков рыбаки, хоть они и были из самых лучших. Они ходили в старых соломенных шляпах, а то и вовсе без шляп. Одевались во всякое старье и ходили если не босиком, то в простых башмаках. Рыбака всегда можно было отличить от деревенского — [guañiro20](#), — потому что деревенские, приезжая в город, надевали особого покроя складчатые рубашки, широкие шляпы, узкие брюки и сапоги для верховой езды и почти все имели при себе мачете, а рыбаки носили любые ошметки и всегда были веселы и уверены в себе. Деревенские, наоборот, были очень сдержанны и застенчивы, пока, конечно, не напивались. Но по чему можно было сразу безошибочно узнать рыбака — это по его рукам. У стариков руки были узловатые и темные, усеянные коричневыми пятнами, а пальцы и ладони все в глубоких ранах и в шрамах от работы с ручной крючковой снастью. У молодых руки не были узловатые, но коричневые пятна были и у них, и глубокие шрамы тоже; и волосы на руках и предплечьях у всех, кроме самых темных брюнетов, были выбелены соленой водой и солнцем.

Томас Хадсон вспоминал, как в это рождественское утро — утро первого военного рождества — хозяин бара спросил его: «Не хотите ли

креветок?» — и принес большое блюдо с горой свежесваренных креветок, и поставил его на стойку, а сам стал резать тонкими ломтиками лимон и раскладывать ломтики на блюде. Креветки были большие и розовые, и усы у них свисали чуть не на фут со стойки, и хозяин взял одну и расправил усы до полной длины и сказал, что они длиннее, чем даже у японского адмирала.

Томас Хадсон оторвал японскому адмиралу шейку, затем большими пальцами взломал скорлупу у него на животе и высосал всю креветку, и она была такая свежая и шелковистая на зубах и такая ароматная оттого, что была сварена в морской воде и приправлена свежим лимонным соком и черным перцем-горошком, — Томас Хадсон еще подумал, что лучших он нигде не едал, ни в Малаге, ни в Таррагоне, ни в Валенсии. И тут-то котенок подбежал к нему — бегом промчался через весь бар — и стал тереться о его руку и выпрашивать креветку.

— Они слишком большие для тебя, кискин, — сказал Томас Хадсон. Но все же отщипнул пальцами кусочек и подал котенку, и тот, ухватив его, побежал обратно на витрину табачного прилавка и стал есть быстро и жадно.

Томас Хадсон разглядывал этого котенка с его красивой черно-белой расцветкой — белая грудь, и белые передние лапки, и черная полумаска на лбу и вокруг глаз, — наблюдал, как он рычит и пожирает креветку, и спросил наконец, чей это котенок.

— Захотите, ваш будет.

— У меня дома уже есть двое. Персидские.

— Подумаешь, важность — двое! Возьмите еще и этого. Чтобы в их будущем потомстве было немножко кохимарской крови.

— Папа, можно нам его взять? — спросил один из его сыновей, о которых он теперь никогда не позволял себе думать. Мальчик поднялся по ступенькам с террасы, где он смотрел, как возвращаются к берегу рыбацьи лодки — как рыбаки убирают мачты, выгружают смотанную кругами снасть, сваливают рыбу на берег. — Папа, пожалуйста, возьмем его! Он такой красивый.

— Ты думаешь, ему будет хорошо вдали от моря?

— Конечно. А тут ему скоро станет очень плохо. Ты же видел на улицах, какие они жалкие, эти бродячие коты? А когда-то, наверно, были такие же, как он.

— Возьмите его, — сказал хозяин. — Ему будет хорошо на ферме.

— Слушай, Томас, — заговорил один из рыбаков, который, сидя за столом, прислушивался к их разговору. — Если тебе нужны коты, так я

могу достать тебе ангорского из Гуанабакоа. Настоящего ангорского.

— А он точно мужского пола?

— Не меньше, чем ты, — сказал рыбак. За столом все засмеялись. На этом построены почти все испанские шутки.

— Только у него там шерсть. — Рыбаку захотелось вторично вызвать смех, и это ему удалось.

— Папа, ну, пожалуйста, возьмем этого котенка, — сказал мальчик. — Он мужского пола.

— Ты уверен?

— Я знаю, папа. Знаю.

— Ты и о персидских говорил то же самое.

— Персидские — другое дело, папа. С персидскими я ошибся и признаю это. Но теперь я знаю, папа. Знаю точно.

— Слушай, Томас. Хочешь тигрового ангорского из Гуанабакоа? — спросил рыбак.

— Да что он такой за особенный кот? Для колдовства, что ли?

— При чем тут колдовство? Этот кот никогда даже не слышал ни о каком колдовстве. Он больше христианин, чем ты.

— Es muy posible²¹, — сказал другой рыбак; и они опять засмеялись.

— Сколько же он стоит, этот знаменитый кот? — спросил Томас Хадсон.

— Нисколько. Это подарок. Настоящий ангорский тигр. Это рождественский подарок.

— Иди сюда, в бар, выпьем, и ты мне его опишешь.

Рыбак поднялся по ступенькам. На нем были очки в роговой оправе и линялая чистая голубая рубашка, которая выглядела так, как будто еще одной стирки ей не выдержать. На спине между лопатками она стала тоненькой, как кружево, и ткань уже начинала расползаться. Штаны были тоже линялые, цвета хаки, и даже на рождество он был босиком. Лицо и руки у него загорели до черноты. Он положил свои руки, все в шрамах, на прилавок и сказал хозяину:

— Виски с лимонадом.

— Меня от лимонада тошнит, — сказал Томас Хадсон. — Мне с минеральной.

— А мне полезно, с лимонадом, — сказал рыбак. — Я люблю «Канада драй». А когда без лимонада, то мне противен вкус виски. Да ты послушай меня, Томас. Это же серьезный кот.

— Папа, — сказал мальчик, — пока вы с этим господином не начали пить, скажи, мы возьмем этого котенка?

Он привязал пустую скорлупу от креветки к обрывку белой хлопковой веревочки и играл с котенком, а тот, встав на задние лапки, словно вздыбленный геральдический лев, бил передними по этой приманке, которую мальчик раскачивал перед ним.

— Тебе очень хочется его взять?

— Ты же знаешь, что хочется.

— Ну возьми.

— Вот спасибо, папа. Большое тебе спасибо. Я его отнесу в машину и приласкаю, чтобы он скорее привык.

Томас Хадсон видел, как мальчик шел через дорогу, прижимая котенка к груди, и как потом вместе с котенком уселся на переднем сиденье. Верх машины был откинут, и Томас Хадсон из бара хорошо видел мальчика в ярком солнечном свете с примятыми ветром каштановыми волосами. Но котенка ему не было видно, потому что мальчик посадил его на сиденье, а сам пригнулся, прячась от ветра, и гладил котенка.

Теперь мальчика уже не было в живых, а котенок вырос и стал уже старым котом и пережил мальчика. А меня с Бойзом, думал Томас Хадсон, связывает теперь такое чувство, что ни один из нас не хотел бы пережить другого. Не знаю, думал он, часто ли случалось, чтобы человек и животное любили друг друга настоящей любовью. Наверно, это очень смешно. Но мне не кажется смешным.

Нет, думал Хадсон, на мой взгляд, это не более смешно, чем то, что кот мальчика пережил его самого. Много, конечно, бывает нелепого, как, например, когда во время игры Бойз сперва зарычит, потом испустит вдруг этот трагический крик и весь оцепенеет, припав к Томасу Хадсону длинным своим телом. Слуги рассказывали, что иногда после отъезда Томаса Хадсона кот по несколько дней ничего не ел, но голод в конце концов брал свое. Хотя бывали дни, когда он пытался жить охотой и не приходил кормиться вместе с другими котами, но в конце концов все-таки приходил — первым выскакивал из комнаты через спины других толпящихся у двери котов, как только эту дверь растворял слуга, несший им поднос с мясным фаршем, и тут же влетал обратно, опять через спины других котов, суетившихся вокруг своего кормильца.

Ел он всегда очень быстро и, кончив, сейчас же стремился уйти из кошачьей комнаты. Прочие коты ему были ни к чему.

Томас Хадсон уже давно утвердился в мысли, что Бойз считает себя человеческим существом. Он с ним не выпивал, как мог бы сделать медведь, но ел все то же, что и он, даже такие вещи, до которых другой кот и не дотронулся бы. Томас Хадсон помнил, как однажды за завтраком в

прошлом году он предложил Бойзу ломтик свежего охлажденного манго. Бойз съел его с наслаждением, и с тех пор, пока Томас Хадсон оставался на берегу и манго еще не сошло, кот каждое утро получал свою порцию. Приходилось подавать ему ломтики прямо в рот — они были скользкие, и кот не мог ухватить их с тарелки, и Томас Хадсон придумывал, что надо бы сделать такую решеточку, вроде решетки для тостов, чтобы кот мог сам брать ломтики и есть не спеша.

Как-то осенью, когда на аллигаторовых грушах — aguacates по-местному, — на этих больших темно-зеленых деревьях поспели первые плоды, тоже зеленые, только чуть более темные и блестящие, чем окружающая их листва, Томас Хадсон — он в тот раз весь сентябрь оставался на берегу, занимаясь ремонтом катера перед поездкой на Гаити, — предложил Бойзу ложечку мякоти из середины плода, куда на место вынутых зернышек налито было немного уксуса и растительного масла, и кот съел и потом за каждой трапезой съедал половинку aguacate.

— Мог бы влезть на дерево и сам себе достать, — сказал раз коту Томас Хадсон, когда они гуляли вместе по холмам, окружавшим его владения. Бойз, конечно, ничего не ответил.

Но однажды вечером Томас Хадсон все-таки обнаружил Боя на аллигаторовой груше, выйдя в сумерки погулять и посмотреть, как стаи черных дроздов тянутся к Гаване, куда они каждый вечер слетались из всех окрестностей, с юга и востока, чтобы с шумом устраиваться на ночлег в ветвях испанских лавров на Прадо. Томас Хадсон любил смотреть, как дрозды взлетали из-за холмов, и первые летучие мыши появлялись из своих убежищ, и маленькие совки пускались в ночной полет, когда солнце садилось в море за Гаваной и на холмах зажигались огни. В тот вечер Бойз, почти всегда гулявший с ним, куда-то запропастился, и Томас Хадсон взял с собой Большого Козла, одного из сыновей Бойза, широкоплечего и широколицего, с толстой шеей и потрясающими усами, черного драчливого кота. Козел никогда не охотился. Он был боец и производитель, и дел ему хватало. Но он был большой комик, только не в том, что касалось его работы, и любил гулять, особенно если Томас Хадсон во время прогулки вдруг сильно пинал его ногой, так что он сразу валился на бок, а Хадсон ногой поглаживал ему живот. Можно было совершенно не бояться, что погладишь слишком сильно или слишком грубо: Козлу было даже безразлично — босой ли ногой его гладят или в башмаке.

Томас Хадсон нагнулся и похлопал его — Козел любил, чтобы его хлопали посильнее, как большого пса; но не успел он выпрямиться, как вдруг заметил Бойза высоко на аллигаторовой груше. Козел посмотрел

вверх и тоже его увидел.

— Что ты там делаешь, безобразник? — крикнул ему Томас Хадсон. — Или ты уже приспособился есть их прямо с дерева?

Бойз поглядел вниз и увидел Козла.

— Спускайся скорее и пойдем гулять, — сказал Томас Хадсон. — Я дам тебе aguacate на ужин.

Бойз посмотрел на Козла и ничего не сказал.

— Ты там такой красивый среди этих темных листьев. Что ж, оставайся, если хочешь.

Бойз теперь смотрел куда-то в сторону, и Томас Хадсон вместе с черным котом пошли дальше, пробираясь между деревьями.

— Спятил он, что ли, ты как думаешь, Козел? — спросил Томас Хадсон. И потом, желая сделать приятное коту, добавил: — Помнишь, как мы тогда ночью не могли найти лекарство?

Лекарство было магическим словом для Козла, и едва он услышал его, как повалился на бок, чтобы его погладили.

— Помнишь лекарство? — спросил его Томас Хадсон, и этот большой грубый кот стал извиваться в приступе буйного восторга.

Лекарство стало для него магическим словом после того, как однажды вечером Томас Хадсон напился не как-нибудь, а по-настоящему, и Бойз не захотел спать у него в постели. Принцесса тоже никогда не спала у него, когда он напивался, и Вилли тоже. Никто не хотел у него спать, когда он напивался, только Одинокый — так раньше называли Большого Козла — и Брат Одинокого, или, точнее сказать, его сестра, ужасно незадачливая кошка с бездной всяких горестей и редкими минутами восторга. А Козел даже больше любил Хадсона пьяным, чем трезвым, или, может быть, ему так казалось, потому что только тогда ему удавалось пробраться в столь желанную для него постель. Но в тот вечер Томас Хадсон, уже четыре дня находившийся на берегу, был пьян по-настоящему. Началось это в полдень во «Флоридите», где он сперва пил с кубинскими политиками, забегавшими перехватить чего-нибудь наскоро, потом с владельцами рисовых и сахарных плантаций, с кубинскими правительственными чиновниками, выпивавшими в свой обеденный перерыв, со вторым и третьим секретарями посольства, которые эскортировали кого-то во «Флоридиту», с неизбежными агентами ФБР, любезными и так усердно работавшими под обыкновенных, средних, нормальных молодых американцев, что их профессия была всякому ясна не хуже, чем если бы они носили ведомственный значок на своих полотняных белых или полосатых костюмах. Константе готовил им двойные замороженные

дайкири, они не отдавали алкоголем, но зато выпивший чувствовал себя так, как будто совершал скоростной спуск на лыжах по глетчеру в облаке снежной пыли, а после шестого или восьмого стакана так, как будто совершал этот спуск без каната. Заходили знакомые Томаса Хадсона, флотские, и он пил с ними, а потом парни из так называемого «хулиганского флота», или береговой охраны, и он пил с ними тоже. Но это было как-то уж чересчур близко к его работе, а он о ней-то и хотел забыть и поэтому пошел в дальний конец бара, где сидели старые почтенные шлюхи, шикарные старые шлюхи, с которыми всякий завсегдатай «Флоридиты» хоть разок да переспал за последние двадцать лет. Там он уселся на стул, съел сандвич и выпил еще несколько двойных замороженных.

Когда он в этот вечер вернулся на ферму, он был очень пьян, и ни один кот не хотел лечь с ним, кроме Козла, у которого не было ни повышенной чувствительности к запаху рома, ни предубеждения против пьянства, и ему даже очень нравился роскошный запах шлюх, густой и сдобный, как хороший фруктовый рождественский торт. Оба они крепко заснули — Козел громко мурлыча, всякий раз как просыпался, — и под конец Томас Хадсон, проснувшись и вспомнив, сколько он выпил, сказал Козлу:

— Надо нам принять лекарство.

Козлу понравился звук этого слова, символизирующего всю роскошную жизнь, коей он сейчас был участником, и он замурлыкал еще громче.

— Где лекарство, Козел? — спросил Томас Хадсон. Он включил лампу на ночном столике у кровати, но она не загорелась. Этим штормом, который держал его на берегу, возможно, сорвало провода или произошло короткое замыкание, до сих пор не исправленное, и тока не было. Он протянул руку к ночному столику, чтобы взять большую двойную капсулу секонала, последнюю, которая у него оставалась, — проглотив ее, он мог бы опять заснуть и утром проснуться без похмелья. Шаря в темноте, он нечаянно сбросил ее со стола и теперь не мог найти. Он шарил и шарил по полу, но найти не мог. Спичек возле кровати он не держал, потому что был некурящий, а электрическим фонариком в его отсутствие пользовались слуги, и батареи израсходовались.

— Козел, — сказал он. — Мы должны найти лекарство.

Он встал с постели, и Козел тоже прыгнул на пол, и они вдвоем стали искать. Козел залез под кровать, не зная, что, собственно, он ищет, но стараясь изо всех сил, и Томас Хадсон сказал ему:

— Лекарство, Козел. Ищи лекарство.

Козел издавал под кроватью хныкающие крики и рыскал по всем направлениям. Наконец он вышел мурлыча, и Томас Хадсон, ощупывая пол, наткнулся рукой на капсулу. Она была пыльная и вся в паутине. Кот отыскал ее.

— Ты нашел лекарство, — сказал Козлу Томас Хадсон. — Ты же чудо-кот.

Держа капсулу в ладони, он обмыл ее водой из графина, стоявшего у кровати, потом проглотил и запил водой, а после этого он лежал, прислушиваясь к тому, как она начинает действовать, и хвалил Козла, а большой кот мурлыкал в ответ на похвалы, и с тех пор «лекарство» стало для него магическим словом.

В море Томас Хадсон наряду с Бойзом думал и о Козле. Но в Козле не было ничего трагического. Ему случалось попадать в тяжелые передряги, но все у него было цело, и, даже избитый в самых страшных боях, он никогда не выглядел жалким. Даже в тот раз, когда он не смог дойти до дома и лежал под манговым деревом возле террасы, задыхаясь и настолько мокрый от пота, что видно было, какие у него широкие плечи и какие узкие и худые бока, лежал, не в силах пошевелиться или поглубже втянуть воздух в легкие, — даже тогда он не был жалким. У него была широкая львиная голова, и, как лев, он никогда не признавал себя побежденным. Он был привязан к Томасу Хадсону, и Томас Хадсон был привязан к нему, уважал его и любил. Но о настоящей любви между ними, как это было у Томаса Хадсона с Бойзом, тут, конечно, не могло быть и речи.

Бойз вел себя все хуже и хуже. В тот день, когда Томас Хадсон и Козел застали его на аллигаторовой груше, он пропадал до ночи, и его еще не было, когда Томас Хадсон лег спать. Томас Хадсон спал тогда на большой кровати в дальней комнате, где с трех сторон были большие окна, и по ночам пассатный ветер продувал ее насквозь. Просыпаясь ночью, Томас Хадсон прислушивался к голосам ночных птиц, так и на этот раз он лежал без сна и слушал, когда Бойз вспрыгнул из сада на оконный карниз. Бойз был молчаливый кот, но, вспрыгнув на карниз, он сейчас же позвал Томаса Хадсона, и тот подошел к окну и отворил его. Бойз соскочил на пол. Он держал в зубах двух кустарниковых крыс.

В лунном свете, который падал в окно, протянув тень от ствола сейбы и поперек широкой белой постели, Бойз начал играть с кустарниковыми крысами. Он прыгал и вертелся, гонял их лапами, как мяч в крикете, а потом уносил одну в сторону и, припав сперва к полу, стремительно кидался затем на другую — играл так же азартно, как когда был котенком.

Наконец он унес обеих крыс в ванную, а немного спустя Томас Хадсон ощутил, как чуть подался тюфяк под тяжестью, когда кот прыгнул на постель.

— Так, значит, ты вовсе не лакомился плодами с дерева? — спросил он у кота. Бойз потерся головой о его голову. — Ты, значит, охотился и оберегал наши владения? Мой старый кот и брат Бойз. А с этими что ты теперь сделаешь — съешь их?

Бойз только терся о Томаса Хадсона и мурлыкал своим беззвучным мурлыканьем, а потом, уставший после охоты, он заснул. Но спал беспокойно и утром не выказал никакого интереса к этим дохлым крысам.

Уже светало, и Томас Хадсон, которому так и не удалось заснуть, следил, как нарождается свет и серые стволы королевских пальм понемногу выступают из серой предутренней мглы. Сперва он видел только стволы и абрис крон. Потом, когда стало посветлее, можно было разглядеть, что кроны раскачиваются на ветру, а еще позже, когда из-за холмов начало подниматься солнце, стволы пальм уже были беловато-серыми, их мечущиеся листья — ярко-зелеными, трава на холмах — бурой после зимней засухи, а дальние холмы с их известняковыми вершинами, казалось, были увенчаны снежными гребешками.

Он встал с пола, надел мокасины и старый макинтош и, не потревожив Бойза, спавшего свернувшись на одеяле, прошел из большой комнаты в столовую и оттуда на кухню. Кухня была в дальнем конце северного крыла дома, а снаружи свирепствовал ветер, колотя голыми ветвями деревьев по стенам и окнам. Ледник был пуст, и в стенном кухонном шкафу тоже ничего не было, кроме приправ, банок с американским кофе и липтоновским чаем да еще арахисового масла для стряпни. Повар-китаец каждое утро покупал на рынке дневной запас продовольствия. Томаса Хадсона не ждали, и китаец, конечно, уже ушел на рынок за провизией для слуг. Придет кто-нибудь из них, подумал Томас Хадсон, пошлю его купить фруктов и яиц.

Он вскипятил воды и заварил чай, налил себе чашку и, поставив на блюдце, унес обратно в большую комнату. Солнце уже стояло высоко, в комнате было светло, и, сидя в большом кресле, он пил горячий чай и при свежем и ярком зимнем солнечном свете разглядывал висевшие по стенам картины. Пожалуй, стоило бы некоторые перевесить, подумал он. Самые лучшие висят в спальне, а я теперь в спальне никогда и не бываю.

Если смотреть из этого кресла, комната кажется прямо огромной после тесноты на катере. Он не знал, какой она длины. То есть знал, когда

заказывал циновку, а потом забыл. Но какая бы она ни была длинная, в это утро она казалась еще в три раза длиннее. Есть такие мелочи, которые всегда замечаешь, когда только что вернулся на берег, например вот это и то, что в леднике пусто. А вот чувство, что пол качается, как качался катер на высокой беспорядочной зыби, которую развел норд-вест, почти с ураганной силой дуя наперерез мощному течению, это чувство теперь совсем исчезло. Оно было теперь так же далеко от него, как и само бурное море. Море можно было увидеть и отсюда, если из открытых дверей белой комнаты или из окон смотреть на облепленные деревьями ближние холмы и прорезавшую их шоссейную дорогу, потом на дальние голые холмы, некогда служившие городу укреплением, потом на гавань и на белизну города за ней. Но море, если смотреть на него так, было всего лишь синевой за далекой белой россыпью города. Оно было так же далеко от него сейчас, как все то, что ушло в прошлое, и раз теперь даже ощущение качки не напоминает о нем, то пусть так все и остается, по крайней мере до тех пор, пока не придет время снова отправляться в плавание.

Пусть себе фрицы ближайшие четыре дня владеют морем, думал он. Интересно, подплывают ли к ним рыбы в местах погружения и играют ли кругом в такую погоду, как сейчас? До какой глубины доходит волнение? В этих водах на любой глубине водится рыба. И рыбам, наверно, очень интересно. У некоторых подлодок дно, должно быть, очень грязное, и рыбы непременно там вертятся. Впрочем, сейчас, может быть, оно и не очень грязное, не в таких местах они ходят. Но рыбы все равно будут вертеться вокруг них. На мгновение он представил себе, каково сегодня в открытом море — как там ходят горы синей воды и ветер рвет белую пену с гребешков, — а затем отстранил все это от себя.

Кот, спавший на одеяле, проснулся, когда Томас Хадсон протянул руку и погладил его. Он зевнул, вытянул передние лапы, потом снова свернулся калачиком.

— Никогда не было у меня женщины, которая бы просыпалась тогда же, когда и я, — сказал Томас Хадсон. — А теперь даже и кота такого у меня нет. Ладно уж, спи дальше, Бой. Тем более что все это вранье. Была у меня такая женщина, которая просыпалась, когда и я, и даже раньше меня. Ты ее не знаешь, ты никогда не знал сколько-нибудь путной женщины. Не везло тебе, Бой. Ну и к черту все это.

Знаешь что? Надо бы нам найти хорошую женщину. Мы могли бы оба в нее влюбиться. Если бы ты мог ее содержать, я б тебе ее уступил. Хотя, правда, я никогда не видал такой женщины, чтобы долго могла питаться кустарниковыми крысами.

Чай на время притупил его голод, но теперь он опять был очень голоден. Будь он сейчас в море, он бы уже час назад плотно позавтракал, а до того, наверно, еще выпил кружку чаю. На обратном пути стряпать нельзя было из-за качки, и Томас Хадсон, стоя на мостике, съел несколько сандвичей с солониной и толстыми ломтиками сырого лука. Но сейчас он уже опять был голоден и злился, что в кухне не нашлось никакой еды. Надо бы купить консервов и держать их здесь на такой случай, подумал он. Но тогда придется запира́ть их на ключ, чтобы слуги не извели все раньше времени, а я это ненавижу — держать в доме еду под замком.

В конце концов он налил себе шотландского виски с водой, сел в кресло и принялся читать накопившиеся газеты, чувствуя, как от выпивки затуманивается голод и смягчается нервное беспокойство, всегда терзавшее его в первое время по возвращении домой. Можешь сегодня напиться, если захочешь, сказал он себе. После того как сдашь рапорт. Если будет такой холодище, народу во «Флоридите» соберется немного. А все-таки приятно будет опять там посидеть. Он колебался, где ему пообедать: там или лучше в «Пасифико»? В «Пасифико» тоже будет холодно, но я надену свитер и пальто, подумал он, и там есть столик под стеной возле стойки, где не дует.

— Жаль, ты не любишь ездить, — сказал он коту. — А то мы могли бы прокатиться в город.

Бойз не любил ездить. Он каждый раз думал, что его собираются везти к ветеринару. А ветеринаров он до сих пор боялся. Вот Козел, тот чувствовал бы себя в машине как дома. И на катере он вел бы себя, как заправский моряк, если бы только не брызги. Надо бы пойти выпустить их всех. Жаль, я не мог привезти им какой-нибудь подарок. Вот съезжу в город, куплю им кошачьей мяты, и пусть Козел, и Вилли, и Бой будут сегодня вечером от нее пьяны. Кажется, еще есть немного кошачьей мяты в буфете у кошек в комнате, боюсь только, она совсем пересохла и потеряла силу. В тропиках она очень быстро теряет силу, а которая выращена в саду, в той и вовсе никакой силы нет. Жаль, у нас, некошек, нет ничего столь же безвредного, как кошачья мята, и столь же сильно действующего. Почему не выдумали до сих пор такого снадобья, от которого можно было бы так же хорошо пьянеть?

Кошки очень странно относятся к кошачьей мяте. Бойз, Вилли, Козел, Брат Одинокого, Малыш, Шкурка и Генерал — все были настоящие наркоманы, Принцесса — так слуги прозвали Бэби, голубую персидскую кошечку, — никогда к ней даже не притрагивалась; то же самое и Дядя Волчик, серый персидский кот. У Дяди Волчика, который был столь же

глуп, сколь красив, это могло происходить от тупости или косности — он никогда не решался сразу попробовать что-нибудь непривычное и без конца подозрительно обнюхивал всякую новую еду, пока ее не съедали остальные кошки и ему ничего не оставалось. Но Принцесса, бабушка всех этих котов, интеллигентная, деликатная, очень принципиальная, аристократичная и необыкновенно ласковая, не выносила даже запаха кошачьей мяты и бежала от нее, точно страхась гнусного порока. Принцесса была такая деликатная и аристократичная кошечка, дымчато-серая с золотыми глазами и утонченными манерами, и держалась с таким достоинством, что в свои периоды течки она могла служить иллюстрацией, объяснением и наконец обличением тех скандальных историй, что случаются иной раз в королевских фамилиях. После того как Томас Хадсон повидал Принцессу во время ее течки — не в первый трагический раз, но когда она уже была взрослой, и красавицей, и на его глазах вдруг сменила все свое достоинство и уравновешенность на самую безудержную распущенность, — он понял, что должен до смерти хоть раз изведать любовь какой-нибудь настоящей принцессы, столь же прелестной, как эта.

Она должна быть такой же степенной, и деликатной, и прекрасной, как Принцесса, пока они еще только будут влюбляться друг в друга, а потом, в постели, такой же бесстыжей и разнузданной. Эта принцесса иногда снилась ему по ночам, и он понимал, что никакая действительность не может быть лучше его снов, но он все-таки жаждал, чтобы они сбылись и стали правдой, и был совершенно уверен, что так оно и будет, если только есть на свете такая принцесса. Беда в том, что, за исключением итальянских, которые не шли в счет, единственная принцесса, с которой у него завязалась однажды любовь, была почти что дурнушкой — с толстоватыми щиколотками и не очень стройными ногами. Правда, зато у нее была нежная кожа северянки и блестящие, хорошо ухоженные волосы, и ему нравилось ее лицо, и ее глаза, и она вся, и так приятно было держать ее руку в своей, когда они стояли вдвоем на палубе парохода, идущего по каналу навстречу огням Исфаилии. Они очень нравились друг другу и были уже очень близки к тому, чтобы влюбиться, настолько близки, что ей приходилось следить за интонациями своего и его голоса, когда они бывали на людях; настолько близки, что сейчас, когда они держались за руки в темноте, он ясно и без всяких сомнений чувствовал, что между ними происходит. Чувствуя это и будучи в этом уверен, он сказал ей об этом и кое о чем ее спросил, так как они стремились к полной откровенности между собой.

— Мне бы очень хотелось, — ответила она. — Вы сами это знаете. Но

я не могу. И это вы тоже знаете.

— Но можно же что-то устроить, — сказал Томас Хадсон. — Всегда можно что-то устроить.

— Вы думаете — в спасательной шлюпке? — сказала она. — Мне не хотелось бы в спасательной шлюпке.

— Слушайте... — начал он, и положил руку ей на грудь, и почувствовал, как грудь приподнялась, оживая под его пальцами.

— Как хорошо, — сказала она. — Но не забывайте, их две.

— Не забуду.

— Ох, как чудно, — сказала она. — Ведь я люблю вас, Хадсон. Я только сегодня догадалась.

— Как?

— Просто догадалась, и все. Не так уж это было трудно. А вы ни о чем не догадались?

— Мне не надо было догадываться, — солгал он.

— Тем лучше, — сказала она. — Но спасательная шлюпка не годится. Ваша каюта не годится. И моя тоже.

— Может быть, пойти в каюту барона?

— Но у барона всегда кто-нибудь есть в каюте. Барон — развратник. Правда, интересно, что у нас тут есть развратник барон, совсем как в старину?

— Да, — сказал он. — Но ведь можно раньше удостовериться, что там никого нет.

— Нет. Это не годится. Просто люби меня сейчас крепко-крепко. Чувствуй, что любишь меня изо всех сил, и держи меня, как сейчас.

Он послушался и потом прижал ее к себе еще крепче.

— Нет, — сказала она. — Так не надо. Так я не вытерплю.

Потом она сама прижалась к нему и спросила:

— А тебе ничего? Ты выдержишь?

— Да.

— Хорошо. Я буду крепко тебя держать. Нет. Не целуй меня. Если ты станешь целовать меня здесь, на палубе, так тогда и все остальное можно.

— А почему бы и нельзя?

— Где, Хадсон? Где? Скажи мне на милость, где?

— Я скажу тебе, зачем.

— Насчет «зачем» я и сама знаю. Где — вот в чем вопрос.

— Я тебя люблю.

— Да. Я тоже тебя люблю. И ничего хорошего тут не выйдет, кроме того, что мы оба любим друг друга, но и это, конечно, хорошо.

— Давай сядем.

— Нет. Будем стоять здесь, как сейчас.

— Тебе приятно?

— Да. Очень. Ты сердишься?

— Нет. Но нельзя же так до бесконечности.

— Хорошо, — сказала она и, повернув голову, быстро его поцеловала, а потом опять стала глядеть вдаль, в пустыню, мимо которой они скользили в ночи. Была зима, и ночь была прохладная, и они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели вдаль. — Ну, тогда пусть. В конце концов норковая шуба в тропиках тоже на что-нибудь годится.

Огни теперь были уже гораздо ближе, а берег канала и вся земная даль за ним по-прежнему скользили мимо.

— Тебе сейчас стыдно за меня? — спросила она.

— Нет. Я очень тебя люблю.

— Но это плохо для тебя, и я эгоистка.

— Нет. Это совсем не плохо для меня, и ты не эгоистка.

— Ты только не считай, что это все было зря. Это не было зря. Для меня нет.

— Ну тогда, значит, и не зря. Поцелуй меня.

— Нет. Не могу. Ты только обними меня покрепче.

Позже она сказала:

— А тебе не интересно, люблю ли я его?

— Нет. Он очень гордый.

— Я открою тебе один секрет.

Она открыла ему этот секрет, который не оказался для него такой уж неожиданностью.

— Это очень дурно?

— Нет, — сказал он. — Это забавно.

— Ох, Хадсон, — сказала она, — я очень тебя люблю. Ты теперь пойди отдохни, а потом возвращайся сюда. Не распить ли нам бутылку шампанского в «Рице»?

— Это будет чудно. А как насчет твоего супруга?

— Он все еще играет в бридж. Я вижу его в окно. А когда кончит, пойдет нас искать и тоже выпьет с нами.

И они пошли в бар «Рица», который был на корме, и выпили бутылку сухого перрье-жуэ 1915 года, потом еще одну, а немного погодя к их столику подсел и принц. Принц был очень любезен и нравился Хадсону. Он с женой, как и Хадсон, охотился в Восточной Африке, и они встречались в клубе Мутайга и у Торра в Найроби и на одном пароходе

выехали из Момбасы. Пароход этот совершал кругосветные рейсы и делал остановку в Момбасе, перед тем как следовать дальше по своему маршруту — сперва Суэц, потом Средиземное море и как конечный пункт Саутгемптон. Это был пароход суперлюкс, каждая каюта состояла из нескольких комнат. Он весь был продан под круиз, как это делалось в те годы, но несколько пассажиров сошли на берег в Индии, и один из тех господ, которые всегда все знают, сказал Хадсону в клубе, что на пароходе есть пустые каюты и можно получить их сравнительно недорого. А Хадсон сказал принцу и принцессе, которые сохранили очень неприятные воспоминания о том, как они летели в Кению на одном из «хэндли пэйджей», тогда еще весьма тихоходных, и о том, какой это был долгий и утомительный перелет. Поэтому они пришли в восторг и от самой идеи морского путешествия, и от умеренности платы.

— Это будет чудесная поездка, — сказал принц. — И какой вы молодец, что все это разузнали. Я завтра же утром позвоню в пароходство.

Поездка и в самом деле оказалась чудесной. Индийский океан был синий-пресиний, пароход медленно вышел из нового порта, и Африка осталась позади — старый белый город с большими деревьями и со всем зеленым пространством за ним, — и волны, разбивавшиеся о риф, когда пароход шел мимо, а потом он начал набирать скорость и вышел в открытый океан, и летучие рыбы стали выпрыгивать из воды впереди корабля. Африка превратилась в длинную голубую черту на горизонте, и стюард уже бил в гонг, а Томас Хадсон, принц с принцессой и развратник барон, который был другом их дома и жил где-то в Европе, сидели вчетвером в баре и пили сухое мартини.

— Не обращайтесь внимания на этот гонг, — сказал барон. — Позавтракаем в «Рице». Согласны?

На пароходе Томас Хадсон не спал с принцессой, хотя ко времени прибытия в Хайфу все то, что они делали, привело их в состояние какого-то экстаза отчаяния, такое острое, что их следовало бы обязать по суду спать друг с другом, пока хватит сил, — просто ради успокоения нервов, если не ради чего другого. Вместо этого они решили из Хайфы съездить автомобилем в Дамаск. На пути туда Томас Хадсон сидел впереди рядом с шофером, а супруги сзади. Томас Хадсон повидал небольшой кусочек Святой земли и небольшой кусочек страны, где подвизался Т. Э. Лоуренс, а на обратном пути Томас Хадсон с принцессой сидели сзади, а принц впереди, рядом с шофером. На обратном пути Томас Хадсон видел перед собой главным образом затылок принца и затылок шофера, и только сейчас он припомнил, что дорога из Дамаска в Хайфу, где стоял их пароход, шла

вдоль реки, и в одном месте высокие берега сближались, образуя теснину, узкую, как на мелкомасштабной рельефной карте, и там посредине реки был островок. Почему-то из всего виденного за эту поездку Томас Хадсон лучше всего запомнил этот островок.

Поездка в Дамаск мало чему помогла, и, когда они уходили из Хайфы, и пароход взял направление на Средиземное море, и Хадсон с принцессой стояли на палубе, где было холодно от резкого норд-оста, разводившего такую волну, что корабль уже начинало медленно покачивать, она сказала ему:

— Надо что-нибудь сделать.

— А если говорить начистоту?

— Пожалуйста. Я хочу лечь в постель и не вставать неделю.

— Неделя — это не так много.

— Ну месяц. Но нужно, чтобы это было сейчас, а сейчас мы не можем.

— Пойдем в каюту барона.

— Нет. Я хочу, чтобы это было там, где мы сможем ни о чем не тревожиться.

— Как ты теперь себя чувствуешь?

— Как будто я схожу с ума и уже довольно далеко зашла по этой дорожке.

— В Париже мы будем любить друг друга в постели.

— А как же я уйду из дому? У меня нет опыта, я не знаю, как это сделать.

— Скажешь, что хочешь походить по магазинам.

— Но ходить по магазинам тоже надо с кем-нибудь.

— Ну и пойди с кем-нибудь. Разве нет у тебя никого, кому ты можешь довериться?

— Есть, конечно. Но мне так ужасно-ужасно не хотелось бы это делать.

— Ну, тогда не делай.

— Нет. Это нужно. Я понимаю, что нужно. Но от этого не легче.

— Ты разве никогда до сих пор ему не изменяла?

— Никогда. И думала, что никогда не изменю. Но теперь я только этого и хочу. Только мне неприятно, что кто-то чужой будет знать.

— Мы что-нибудь придумаем.

— Пожалуйста, обними меня и прижми к себе крепко-крепко, — сказала она. — Не будем ни говорить, ни думать, ни беспокоиться. Только прижми меня крепко и очень меня люби, потому что мне все теперь больно.

Немного погодя он сказал ей:

— Слушай, это всякий раз будет так же плохо для тебя, как сейчас. Ты не хочешь ему изменять и не хочешь, чтобы кто-нибудь знал. Но ведь это же неизбежно.

— Я хочу этого. Но не хочу обижать его. Но я должна. Это уже больше не в моей воле.

— Ну так пусть это будет. Сейчас.

— Но сейчас это очень опасно.

— Неужели ты думаешь, что хоть кто-нибудь на этом пароходе, кто нас видел и слышал и знает, хоть на секунду поверит, что ты еще не спала со мной? Да и все, что было до сих пор, разве оно так уж отличается?

— Конечно, отличается. Большая разница. От того, что было, не может быть детей.

— Ты неподражаема, — сказал он. — Честное слово.

— Но если будет ребенок, я буду только рада. Он очень хочет ребенка, да вот не получается. Я пересплю с ним сейчас же после, и он никогда не узнает, что это наш.

— Может быть, все-таки не стоит спать с ним *сейчас же после*.

— Пожалуй. Ну, на следующую ночь.

— Как давно ты уже не спишь с ним?

— Я сплю с ним каждую ночь. Мне это нужно, Хадсон. Я все время такая возбужденная, что мне это нужно. И по-моему, это одна из причин, почему он теперь так поздно играет в бридж, ему бы хотелось, чтобы я успела заснуть до его прихода. Он как будто стал немного уставать с тех пор, как мы с тобой влюбились друг в друга.

— А ты в первый раз влюбилась, с тех пор как за него вышла?

— Нет. Мне очень жаль, но нет, не в первый. Я уже несколько раз влюблялась. Но никогда ему не изменяла, даже мысли такой не было. Он такой добрый и мягкий, и такой хороший муж, и я так к нему привыкла, и он меня любит и всегда добр со мной.

— Пойдем лучше в «Риц» и выпьем шампанского, — сказал Томас Хадсон. Чувства его становились какими-то противоречивыми.

В баре «Рица» было пусто, и официант принес им вино на один из столиков у стены. Теперь там всегда держали сухое перрье-жуэ 1915 года на льду, и официант просто спросил:

— Вино то же самое, мистер Хадсон?

Они выпили друг за друга, и принцесса сказала:

— Я люблю это вино. А ты?

— Очень.

— О чем ты сейчас думаешь?

— О тебе.

— Понятно. Я тоже только о тебе и думаю. Но что ты думаешь обо мне?

— Я думаю, что нам надо сейчас пойти ко мне в каюту. Мы слишком много болтаем и все ходим вокруг да около, и ни к чему не приходим. Сколько сейчас по твоим часам?

— Десять минут двенадцатого.

— Сколько там у вас времени? — спросил он у официанта, который подавал им вино.

— Четверть двенадцатого, сэр. — Официант поглядел на часы в баре.

Когда он отошел и уже не мог их слышать, Томас Хадсон спросил:

— До которого часа он будет играть в бридж?

— Он сказал, что будет играть очень поздно и чтобы я его не ждала и ложилась спать.

— Допьем вино и пойдем ко мне. У меня там тоже есть немного.

— Хадсон, но ведь это же очень опасно.

— Всегда будет опасно, — сказал Томас Хадсон. — Но если топтаться на месте, как сейчас, это становится во много раз опаснее.

Когда потом он провожал ее до супружеской каюты, а она говорила, что не надо, а он ответил, что так гораздо естественнее, принц все еще играл в бридж. Потом Томас Хадсон пошел опять в «Риц», где еще было открыто, и велел подать бутылку того же самого вина, и стал читать газеты, взятые на борт в Хайфе. При этом он вдруг сообразил, что это в первый раз за много дней у него нашлось время почитать газеты, и он чувствовал себя отдохнувшим и с большим удовольствием читал газеты. Потом, когда бридж кончился и принц, проходя мимо, заглянул в бар, Томас Хадсон предложил ему выпить стаканчик, перед тем как идти спать; сейчас принц нравился ему еще больше, чем всегда, он даже испытывал к нему какое-то родственное чувство.

Томас Хадсон и барон сошли с корабля в Марселе. Большинство других пассажиров решили ехать дальше, до конечного пункта, которым был Саутгемптон. В Марселе они с бароном обедали в маленьком кафе в Старом Порту, за выставленным на тротуар столиком, ели *moules marines*²² и попивали из графинчика *vin rose*²³. Томас Хадсон был очень голоден и вспомнил, что, в сущности, был почти все время голоден с тех самых пор, как они ушли из Хайфы.

Да я, кстати, и сейчас чертовски голоден, подумал он. Куда к черту они подевались, все эти слуги? Хоть бы один показался. А на дворе ветер

становился все холоднее. Это напомнило Хадсону тот холодный день в Марселе, когда они с бароном, подняв воротники пальто, сидели за столиком кафе на крутой улочке, сбегавшей вниз, к порту, и ели moules, разламывая тонкие черные раковинки, которые надо было вылавливать из горячей наперченной молочной похлебки с плавающим по ней горячим растопленным маслом, пили вино из Тавеля, на вкус такое, каким Прованс был на взгляд, и смотрели, как ветер раздувает юбки рыбацек, и туристов, и дурно одетых портовых проституток, когда те взбирались по крутой, вымощенной булыжником улочке, подхлестываемые мистралем.

— Вы очень нахальный молодой человек, — сказал барон.

— Хотите еще moules?

— Нет. Я хочу чего-нибудь посолиднее.

— Возьмем еще bouillabaisse²⁴?

— Два супа?

— Я голоден. И мы теперь не скоро опять сюда попадем.

— Да, у вас есть-таки основания быть голодным. Ладно. Возьмем bouillabaisse и хороший cha'teau brian, это очень тонкое вино. Придется мне вас подкормить, распутник вы этакий.

— Что вы теперь думаете делать?

— Гораздо интереснее, что вы теперь думаете делать. Вы ее любите?

— Нет.

— А, ну слава богу. Для вас сейчас самое лучшее немедленно это прикончить. Самое лучшее.

— Они приглашали меня к себе, на рыбную ловлю.

— Будь это охота, так, может, стоило бы, — сказал барон. — А рыбная ловля — это очень холодно и очень неприятно. И нечего ей делать из своего мужа дурака.

— Он, наверно, все знает.

— Нет, не знает. Знает только, что она влюблена в вас. И ничего больше. Вы джентльмен, так что все, что вы сделаете, будет правильно. Но ей нечего делать из своего мужа дурака. Вы ведь на ней не женитесь?

— Нет.

— Да она все равно не могла бы выйти за вас замуж, и нечего делать его несчастным, разве только если вы ее любите.

— Нет. Не люблю. Теперь я это знаю.

— Ну так я думаю, что вам надо все это прикончить.

— Я тоже так думаю.

— Рад, что вы согласны со мной. А теперь скажите мне по правде, какая она?

- Очень мила.
- Глупости. Я знал ее мать. Вот если б вы знали ее мать!
- Сожалею, что не знал.
- Да, уж действительно стоит пожалеть. Не понимаю, как это вы спутались с такими добропорядочными и скучными людьми. Или, может быть, она вам нужна для вашей живописи или чего-нибудь подобного, а?
- Нет. Это так не делается. Она мне очень нравилась. И сейчас нравится. Но я не люблю ее, и вообще все это стало чересчур сложным.
- Очень рад, что вы поняли. Ну, и куда же вы теперь думаете поехать?
- В Африке мы только что были.
- Совершенно верно. А почему бы вам не пожить немного на Кубе или на Багамских островах? И я бы, пожалуй, к вам присоединился, если бы достал денег дома.
- А вы надеетесь достать?
- Нет.
- Я, пожалуй, поживу немного в Париже. Давно не бывал в большом городе.
- Ну, какой это город — Париж. Лондон — вот город.
- Хочу посмотреть, что делается в Париже.
- Я вам все могу рассказать, что там делается.
- Да нет, я не о том. Хочу посмотреть картины, и кое с кем повидаться, и побывать на скачках — на Шестидневной и в Отейле, в Энтъене и в Ле Трамблэ. Почему бы и вам там не задержаться?
- Смотреть на скачки я не люблю. А играть — денег нет.

К чему сейчас все это вспоминать, подумал он. Барон умер, фрицы заняли Париж, а ребенок у принцессы так и не родился. Не будет его крови ни в каком королевском доме, разве что когда-нибудь пойдет у него из носу кровь в Букингемском дворце, что маловероятно. Если через двадцать минут никто из слуг не явится, я сам пойду в деревню и добуду яиц и немного хлеба. Это же черт знает что — быть голодным в собственном доме, думал он. Но уж очень я устал, идти не хочется.

Тут он услышал, что в кухне кто-то шевелится, и нажал кнопку зуммера, вделанную под крышкой большого стола, и услышал, как он дважды пружужжал в кухне.

Вошел младший слуга, похожий не то на молодого фавна, не то на святого Себастиана, с обычным своим вкрадчивым, хитрым и долготерпеливым выражением лица, и спросил:

— Вы звонили?
— А ты не слышал, что ли? Где Марио?
— Пошел за почтой.
— Как там кошки?
— Очень хорошо. Ничего нового. Большой Козел подрался с Эль Гордо. Но мы уже полечили ему раны.

— Бойз вроде бы похудел.
— Слишком много бегают по ночам.
— А как Принцесса?
— Немножко было грустила. Но теперь уже опять хорошо ест.
— Трудно сейчас достать мясо?
— Мы доставали в Которро.
— Как собаки?
— Все здоровы. У Негриты опять будут щенята.
— Не могли вы поддержать ее взаперти?
— Мы пробовали, да она удрала.
— Еще что случилось?
— Ничего. Как вам ездило?
— Без происшествий.

Пока он говорил — коротко и раздраженно, как всегда с этим мальчишкой, которого он уже дважды увольнял и каждый раз принимал обратно, когда приходил его отец просить за него, — в комнату вошел Марио, старший слуга, неся письма и газеты. Он улыбался, и темное его лицо было веселым, добрым и ласковым.

— Как съездили?
— Под конец потрепало немножко.
— Figu'rate. Воображаю. Сильный был норд. Вы ели?
— Тут нечего было есть.
— Я принес яиц, молока и хлеба. Tu²⁵, — обратился он ко второму слуге, — ступай приготовь завтрак для кабальеро. Как вам приготовить яйца?

— Как всегда.
— Los huevos como siempre²⁶, — сказал Марио. — Бойз вас встретил?
— Да.
— Он очень скучал в этот раз. Больше, чем всегда.
— А как остальные?
— Да ничего, только вот у Козла с Толстяком страшная была драка. И Принцесса погрустила немножко. Но потом это прошло.

— Y tu'?²⁷

— Я? — Он застенчиво улыбнулся, польщенный. — У меня все хорошо, благодарю вас.

— А как твоё семейство?

— Все здоровы, благодарю вас. Папа уже опять работает.

— Очень рад.

— Он и сам рад. Кто-нибудь из ваших друзей ночевал здесь?

— Нет. Все поехали в город.

— Устали, наверно.

— Как не устать.

— Тут звонили разные господа. Я всех записал. Только вот поймете ли вы. Я никогда не знаю, как писать английские имена.

— Пиши, как слышишь.

— Но я, пожалуй, и слышу не так, как вы.

— Полковник заходил?

— Нет, сэр.

— Принеси мне виски с минеральной водой, — сказал Томас Хадсон.

— И, пожалуйста, молока для кошек.

— В столовую или сюда?

— Виски сюда. Молоко для кошек в столовую.

— Сию минуту, — сказал Марио. Он пошел в кухню и вернулся со стаканом виски. — Кажется, я сделал достаточно крепко, — сказал он.

Сейчас мне побриться или после завтрака, размышлял Томас Хадсон. Надо бы сейчас. Для того я и заказал виски, чтобы перетерпеть, пока буду бриться. Ладно, иди в ванную и побрейся. А, да ну его к черту, подумал он. Нет. Иди побрейся. Это полезно для морального состояния, и, кроме того, сразу же после завтрака надо будет ехать в город.

Он прихлебывал виски, пока намыливался, и после того как намылился, и опять, когда вторично намыливался. Он три раза менял лезвия, с трудом одолевая двухнедельную щетину на щеках, на шее и подбородке. Кот ходил кругом и смотрел, как он бреется, и терся о его ноги. Потом вдруг бросился вон из комнаты, и Томас Хадсон понял, что он услышал звяканье мисочек для молока о плиточный пол столовой. Томас Хадсон не слышал ни зова, ни этого звяканья, но Бойз услышал.

Томас Хадсон кончил бриться и, налив в правую ладонь превосходного чистого девяностоградусного спирта, который здесь, на Кубе, стоил не дороже, чем в Штатах жалкий разбавленный спирт для растирания, смочил им лицо и прислушался к тому, как от жалящего холода успокаивается раздражение кожи после бритья.

Сахара я не ем, табака не курю, подумал он, но зато получаю

удовольствие от продукции здешних винокуров.

Окна в ванной были до половины закрашены, так как мощный камнем патио тянулся вокруг всего дома, но в верхней части окон стекло было чистое, и Томас Хадсон видел, как листья пальм мечутся на ветру. Ого, ветер еще сильнее, чем я думал. А ведь скоро пора будет выходить в новый рейс. Впрочем, кто его знает. Все зависит от того, как поведет себя этот шторм, когда перекочет на северо-восток. До чего ж хорошо было эти последние несколько часов не думать о море. Ну, значит, так и будем продолжать. Не будем вовсе думать ни о море, ни о том, что на нем, или под ним, или как-либо с ним связано. Не стоит даже составлять списка всего того, чего мы о море думать не будем. Совсем ничего не будем о нем думать. Будем знать, что оно существует, и хватит. И еще кое о чем тоже. Об этом мы тоже не будем думать.

— Где сеньор хочет завтракать? — спросил Марио.

— Где угодно, только подальше от этой puta²⁸ — от моря.

— В большой комнате или в вашей спальне?

— В спальне. Вытащи плетеное кресло и поставь все на столик рядом.

Он выпил горячего чая и съел одно яйцо и несколько тостов с апельсиновым джемом.

— А фруктов нет?

— Только бананы.

— Принеси несколько штук.

— Так вредно же после спиртного.

— Это предрассудок.

— А вот пока вас не было, тут в деревне один человек умер оттого, что наелся бананов, после того как пил ром.

— А может, он был просто пьянчужка и опился ромом?

— Нет, сеньор. Этот человек умер сразу оттого, что выпил совсем немножко рома, а потом съел много бананов. Это были его собственные бананы, из его сада. Он жил на горке за деревней и работал на седьмом автобусном маршруте.

— Царство ему небесное, — сказал Томас Хадсон. — Принеси-ка мне бананов.

Марио принес бананы — маленькие, желтые, спелые, с дерева в саду. Очищенные, они были едва ли больше мужского пальца и очень вкусные. Томас Хадсон съел пять штук.

— Следи, как я буду умирать, — сказал он. — И приведи сюда Принцессу, пусть съест второе яйцо.

— Я уже дал ей яйцо в честь вашего возвращения, — сказал Марио. —

И еще дал по яйцу Бойзу и Вилли.

— А Козлу?

— Садовник сказал, что ему вредно много есть, пока раны не зажили. Его здорово потрепали.

— Что это за драка у них вышла?

— Очень свирепая. Чуть не целую милю бежали и все дрались. Мы их потеряли в колючом кустарнике за садом. Дрались они без крика, теперь они всегда так дерутся. Не знаю, кто победил. Сперва пришел Большой Козел, и мы стали лечить его раны. Он пришел в патио и лег возле цистерны с водой. Наверх вскочить не мог. Потом, через час, пришел Толстяк, и ему мы тоже полечили раны.

— А помнишь, как они дружили, когда были котятами?

— Помню, как же. Но теперь, боюсь, Толстяк убьет Козла. Он на добрый фунт тяжелей.

— Козел — великий боец.

— Да, сеньор. Но подумайте сами — что значит лишний фунт веса.

— Я думаю, для котов это не так много значит, как для бойцовых петухов. Ты все расцениваешь с точки зрения петушиного боя. И для людей это не так много значит, разве только когда боксеру приходится быстро спускать вес и он от этого слабеет. Когда Джек Демпси завоевал первенство мира, он весил всего 185 фунтов. А Уиллард весил 230. Козел и Толстяк оба крупные коты.

— По тому, как они дерутся, лишний фунт — это огромное преимущество, — сказал Марио. — Если б их заставляли драться на приз, те, кто делает ставки, уж никак бы не упустили из виду лишний фунт веса. Лишнюю унцию и то приняли бы в соображение.

— Принеси мне еще бананов.

— Сеньор, умоляю вас.

— Ты, правда, веришь в эту чепуху?

— Это не чепуха, сеньор.

— Ну, тогда принеси мне еще виски с минеральной.

— Если вы мне приказываете...

— Я тебя прошу.

— Если вы просите, это приказание.

— Ну так принеси.

Марио принес виски со льдом и холодной шипучей минеральной воды, и Томас Хадсон взял все это и сказал:

— Ну, следи, как я буду умирать. — Но тревожное выражение на темном лице юноши отбило у Томаса Хадсона охоту его дразнить, и он

сказал: — Да что ты, я же знаю, что мне от этого ничего не будет.

— Сеньор знает, что делает. Но мой долг был протестовать.

— Ну вот и хорошо. Ты протестовал. Что, Педро пришел уже?

— Нет, сеньор.

— Как только придет, скажи ему, чтобы приготовил «кадиллак», и мы сейчас же поедем в город.

Ну, теперь иди, прими ванну, сказал себе Томас Хадсон. Потом оденешься, как полагается для Гаваны. Потом поедешь в город повидать полковника. Отчего ж тебе плохо? Какие еще у тебя огорчения? Огорчений у меня довольно, подумал он. В изобилии. Земля изобилия. Море изобилия. Воздух изобилия.

Он сидел в плетеном кресле, поставив ноги на подножку, которая выдвигалась из-под сиденья, и разглядывал картины на стенах своей спальни. В изголовье кровати — дрянной кровати с плохоньким матрацем, купленной из экономии по дешевке, так как он все равно здесь не спал, разве только в случаях ссор, — висел «Гитарист» Хуана Гриса. *Nostalgia hecha hombre*²⁹, подумал он. Люди не знали, что от этого умирают. На противоположной стене над книжным шкафом висел «Monument in Arbeit» Пауля Клее. Томас Хадсон не любил эту картину так, как он любил «Гитариста», но ему нравилось на нее смотреть, и он вспомнил, какой неприличной она ему казалась, когда он только что купил ее в Берлине. Краски были такие же непристойные, как на таблицах в медицинских книгах отца, где были показаны разные виды шанкров и других венерических язв. И как пугалась этой картины его жена, пока не научилась понимать ее странный колорит как данность и рассматривать ее только как произведение искусства. Сейчас он знал о ней не больше, чем когда в первый раз увидел ее в галерее Флехтгейма, в доме у реки в ту чудесную холодную осень в Берлине, когда они были так счастливы. Но это была хорошая картина, и он любил смотреть на нее.

Над другим шкафом висела одна из массоновских роц. Это была «Ville d'Avray», и ее Томас Хадсон любил так же, как он любил «Гитариста». Самое замечательное в картинах было то, что их можно было любить без страданий, и самые лучшие были великой радостью, потому что в них осуществилось то, чего ты сам всегда старался достичь. Но раз это сделано — все равно хорошо, хотя сделано оно и не тобой.

Бойз вошел в комнату и прыгнул к нему на колени. Он великолепно прыгал и мог без всяких видимых усилий вскочить на самый верх высокого шифоньера в большой спальне. Сейчас, прыгнув невысоко и очень аккуратно, он разлегся на коленях у Томаса Хадсона и стал любовно

месить их передними лапами.

— Я смотрю на картины, Бой. Тебе лучше бы жилось, если б ты любил картины.

Хотя, может быть, он столько же получает удовольствия от прыжков и ночной охоты, как я от картин, подумал Томас Хадсон. Жаль, конечно, что он не умеет их видеть. Впрочем, кто знает. У него мог бы оказаться ужасный вкус в живописи.

— Интересно, Бой, какие бы тебе картины нравились. Наверно, тот голландский период, когда писали такие чудесные натюрморты с рыбами, устрицами и дичью. Ну, ну, полегче. Сейчас день, а не ночь, а днем не полагается нежничать.

Но Бойз продолжал нежничать, и Томас Хадсон повалил его на бок, чтобы успокоить.

— Надо же, Бой, все-таки соблюдать приличия, — сказал он. — Я вот в угоду тебе даже не пошел поздороваться с остальными котами.

Бойз был счастлив, и Томас Хадсон, положив ему руку на горло, чувствовал под пальцами его мурлыканье.

— Надо мне вымыться, Бой. Ты полжизни проводишь за этим занятием. Но ты это делаешь собственным языком. И в это время ты на меня ноль внимания. Пока ты моешься, ты точно деловой человек в своей конторе. Это, мол, дело. Это нельзя прерывать. Ну а со мной иначе. Вот мне сейчас надо выкупаться. А я вместо того сижу и напиваюсь с утра, как какой-нибудь паршивый пьянчужка. Вот в чем разница между нами. Зато ты не можешь простоять восемнадцать часов за штурвалом. А я могу. Двенадцать — в любое время. Восемнадцать — если потребуется. А на этот раз — девятнадцать. Но я не умею прыгать и охотиться по ночам, как ты. Хотя иногда ночью случалось и нам лихо поохотиться. Но у тебя твой радар в усах. А у голубя, наверно, в этих наростах над клювом. Во всяком случае, у всех почтовых голубей есть такие наросты. Какие там у тебя ультракороткие частоты, а, Бой?

Бойз лежал тяжелый, плотный, длинный, беззвучно мурлыкающий и очень счастливый.

— Что говорит твой локатор, Бой? Какова у тебя ширина импульса? Какова у тебя частота повторения импульса? Знаешь, в меня ведь встроен магнетрон. Только ты никому не говори. Но в дальнейшем при более высокой разрешимости, достигнутой с помощью УВЧ, вражеских шлюх можно будет обнаруживать на более далеком расстоянии. Это все микроволны, Бой, и ты сейчас их мурлыкаешь.

Так вот, значит, как ты выполняешь свое решение не думать больше о

море, пока не придет пора идти в новый рейс. Не море ты хотел забыть. Ты сам знаешь, что любишь море и нигде в другом месте не хотел бы жить. Выйди на балкон, посмотри на него. Оно не жестокое и не бессердечное, ничего из этого Quatsch³⁰. Просто вон оно, там, и ветер движет им, и течение движет им, и они борются на его поверхности, но там — в глубинах — все это ничего не значит. Будь благодарен за то, что снова поплывешь по нему, и скажи ему спасибо за то, что оно твой дом. Оно твой дом. И не болтай и не думай о нем всякой чепухи. Не море твоя беда. Вот ты как будто уже начал кое-что соображать, сказал он себе. Хотя на суше этого по тебе не видно. Ладно, сказал он себе. В море приходится столько соображать, что на суше уже не хочется.

Берег, конечно, приятное место, подумал он. Вот сегодня посмотрим, до какой степени оно может быть приятным. После того как я повидаюсь с этим чертовым полковником. Я, конечно, всегда рад повидать его, потому что это укрепляет мое моральное состояние. Но не будем входить в это, подумал он. Не будем портить этим такой приятный день. Я пойду повидаться с ним. Но я не буду, так сказать, входить в полковника. В него уже много вошло такого, что никогда не выйдет обратно. И уже многое из него вышло, чего обратно уже не загонишь. Так что нет, не нужно тебе входить в полковника. Я и не буду. Только пойду повидаю его и сдам свой рапорт.

Он допил виски, снял кота с колен, встал, еще посмотрел на все три картины, потом пошел в ванную и принял душ. Нагреватель был включен только после того, как утром пришли слуги, так что горячей воды было еще немного. Но Томас Хадсон хорошенько намылился, вымыл голову и под конец ополоснулся холодной водой. Потом надел белую фланелевую рубашку, темный галстук, фланелевые брюки, шерстяные носки, десять лет назад купленные грубые английские башмаки, кашемировый свитер и старую твидовую куртку. Затем позвонил Марио.

— Педро здесь?

— Да, сеньор. Он уже вывел машину.

— Приготовь мне «Тома Коллинза» с кокосовой водой и горькой настойкой. И поставь стакан в пробковый подстаканник.

— Да, сеньор. Пальто наденете?

— Возьму с собой на случай, если будет холодно на обратном пути.

— К ленчу вернетесь?

— Нет, и к обеду тоже нет.

— На котов не хотите взглянуть, прежде чем уехать? Они все на солнышке греются под стеной, где нет ветра.

— Нет. Повидаю их вечером. Я хочу привезти им подарок.

— Пойду приготовлю вам выпить. Минутку задержусь из-за кокосовых орехов.

Ну почему, черт возьми, я не захотел повидать котов? Не знаю. Совершенно не понимаю. Это что-то новое.

Бойз шел за ним следом, немного встревоженный его отъездом, но не впадал в панику, так как не было ни багажа, ни сборов.

— Может быть, я это сделал ради тебя, Бой, — сказал Томас Хадсон. — Не волнуйся. Я вернусь попозже вечером или утром. И надеюсь, с прочищенными мозгами. Да как следует прочищенными. Тогда, может, додумаемся до чего-нибудь толкового. *Va'monos a limpiar la escopeta*³¹.

Из ярко освещенной большой комнаты, которая все еще казалась ему огромной, Томас Хадсон перешел по каменным ступенькам в еще более яркий свет кубинского зимнего утра. Собаки прыгали вокруг его ног, и печальный пойнтер тоже подошел, подобострастно извиваясь и мотая опущенной головой.

— Ах ты бедное горемычное животное, — сказал Томас Хадсон пойнтеру и похлопал его по спине, и пес в ответ повилял ему хвостом. Остальные собаки — все беспородные — были веселы и прыгали в возбуждении от холода и ветра. На ступеньках валялось несколько сухих сучьев, обломанных за ночь ветром с сейбы, росшей в патио. Из-за машины вышел шофер, демонстративно дрожа от холода, и сказал:

— С добрым утром, сеньор Хадсон. Как съездили?

— Да ничего, неплохо. А как наши машины?

— Все в идеальном порядке.

— Как бы не так, — сказал Томас Хадсон по-английски.

И затем, обращаясь к Марио, который уже спускался по ступенькам, держа в руках высокий стакан с темной, ржавого цвета жидкостью, заключенный в пробковый подстаканник, примерно на полдюйма не доходивший до его верхнего края, Томас Хадсон добавил:

— Принеси свитер для Педро. Такой, что спереди застегивается. Из вещей мистера Тома. И вели смести этот мусор со ступенек.

Томас Хадсон дал шоферу подержать стакан и нагнулся к собакам, лаская их. Бойз сидел на ступеньках и с презрением их оглядывал. Тут была Негрита, небольшая черная сучка, уже слегка посветлевшая от возраста, хвост у нее торчал закорючкой, а тонкие ножки чуть не сверкали, когда она с таким увлечением прыгала; мордочка у нее была острая, как у фокстерьера, а глаза ласковые и умные.

Томас Хадсон увидел раз ночью в баре, как она бежала вслед за кем-то

из клиентов, и спросил у официанта, какой она породы.

— Кубинской, — ответил тот. — Она тут уже четвертый день мыкается. Каждого провожает к машине, но они все захлопывают дверцу у нее перед носом.

Они взяли ее с собой в усадьбу, и за два года у нее ни разу не было течки, и Томас Хадсон уже было решил, что она слишком стара, чтобы рожать. А затем в один прекрасный день ему пришлось силком увести ее от большого полицейского пса, и с тех пор у нее пошли рождаться щенята — от полицейского пса, от бульдога, от пойнтера, и еще чудесный ярко-рыжий щенок, чьим отцом мог бы, пожалуй, быть ирландский сеттер, если бы только не были у этого щеночка грудь и плечи, как у бульдога, и хвост закорючкой, как у самой Негриты.

Теперь ее сыновья прыгали вокруг, а она опять была беременна.

— С кем она теперь повязалась? — спросил Томас Хадсон у шофера.

— Не знаю.

Подавая шоферу свитер, в который тот немедленно и облачился, сбросив свою потертую форменную куртку, Марио сказал:

— Отец — тот драчливый пес из деревни.

— Ну, прощайте, собачки, — проговорил Томас Хадсон. — До свиданья, Бой, — сказал он коту, который вдруг прыжками пробился среди собак к машине. Томас Хадсон, уже сидевший в машине, держа обернутый пробкой стакан, высунулся из окна и протянул руку к коту, а тот, встав на задние лапы, стал тыкаться головой в его пальцы. — Не расстраивайся, Бой. Я вернусь.

— Бедный Бойз, — сказал Марио. Он поднял кота и держал его на руках, и кот смотрел вслед машине, пока она поворачивала, огибая клумбу, и потом покатила по неровной, размытой ливнем подъездной аллее и скрылась наконец за склоном холма и высокими манговыми деревьями. Тогда Марио унес кота в дом и спустил его на пол, но кот тотчас вскочил на подоконник и опять стал смотреть туда, где дорога скрывалась за холмом.

Марио погладил его, но кот не успокоился.

— Бедный Бойз, — сказал Марио. — Бедный, бедный Бойз.

Машина подъехала к воротам, шофер выскочил, откинул цепь, снова забрался на место и вывел машину на улицу. Навстречу им шел молодой негр, шофер крикнул ему, чтобы он закрыл ворота, негр улыбнулся во весь рот и утвердительно кивнул.

— Это младший брат Марио.

— Да, знаю, — сказал Томас Хадсон.

Они выехали на убогую деревенскую улочку и свернули к Центральному шоссе. Миновали деревенские домишки, две бакалейные лавочки — в открытых дверях мелькнули стойки, ряды бутылок над ними, а по бокам полки с консервными банками. Последний бар и огромный испанский лавр, протянувший свои ветви над дорогой, остались позади, и они покатали вниз по старому, мощенному камнем шоссе. Шоссе между двух рядов высоких старых деревьев шло под уклон мили три. По обеим его сторонам были питомники, маленькие фермы, большие фермы с ветхими испанскими домами колониального стиля, поделенными на клетушки, с заброшенными пастбищами, по которым бежали улицы, утыкавшиеся в склоны холма, заросшие бурой от засухи травой. Единственная зелень в этой зелёной стране оставалась сейчас вдоль речного русла, где стояли высокие серые стволы королевских пальм с перекошенными ветром зелеными кронами. Ветер дул сухой, северный — сухой, резкий и холодный. Такие ветры уже успели остудить Флоридский залив, и поэтому сегодняшний норд не принес с собой ни тумана, ни дождя.

Томас Хадсон глотнул коктейля, в котором чувствовалась свежесть сока зеленого лимона, смешанного с безвкусной кокосовой водой, которая была все же куда ощутимее, чем любая газировка. Коктейль был креплен добротным гордоновским джином, и джин оживлял эту смесь у него на языке, глотать ее было приятно, а ангостурская горькая придавала ей упругости и колера. Пьешь — и у тебя такое ощущение, будто ты коснулся надутого ветром паруса, подумал он. Вкуснее этого напитка ничего нет.

В пробковом подстаканнике лед не таял, и вода не разжижала коктейля, и он с нежностью поглаживал стакан пальцами и смотрел на места, мимо которых они проезжали.

— Почему ты не идешь вниз накатом? Экономил бы горючее.

— Если прикажете, я выключу зажигание, — ответил шофер. — Но ведь горючее-то казенное.

— А ты попрактикуйся, — сказал Томас Хадсон. — По крайней мере узнаешь, как это делается, когда горючее у нас будет не казенное, а свое собственное.

Теперь они ехали по равнине, где слева от дороги были цветочные хозяйства, а справа стояли домики плетельщиков корзин.

— Надо будет позвать плетельщика, чтобы починил большую циновку в гостиной, там, где она протерлась.

— Si, señor³².

— Ты знаешь какого-нибудь?

— Si, señor.

Шофер, которого Томас Хадсон очень не любил за его круглое невежество, за глупость и гонор, за непонимание мотора и варварское отношение к машине и за лень, отвечал ему односложно, официально, обидевшись на резкое замечание насчет экономии горючего. Несмотря на все свои недостатки, шофер он был первоклассный, то есть великолепно, мгновенно реагируя, водил машину по кубинским улицам с их бестолковым, неврастеническим движением. Кроме того, он слишком много знал об их деятельности, и уволить такого было не просто.

— Тебе не холодно в одном свитере?

— No, señor³³.

Ах, чтоб тебя! — подумал Томас Хадсон. Чего ты буркаешь? Ну погоди, сейчас я тебя разговорю.

— Как у вас дома, холодно было вчера ночью?

— Ужасно холодно! Horroroso! Вы даже представить себе не можете, как холодно.

Мир между ними был восстановлен, и они въехали на мост, где несколько месяцев назад было обнаружено туловище девушки, которую ее любовник-полисмен разрезал на шесть кусков, завернул каждый в оберточную бумагу и разбросал по Центральному шоссе. С тех пор река пересохла. А в тот вечер вода в ней поднялась, и машины стояли на набережной под дождем цепочкой на полмили, пока шоферы глазели на это историческое место.

Утром газеты поместили на первых полосах фотографию туловища, и в одной статейке указывалось, что эта девушка, несомненно, была туристкой из Северной Америки, поскольку ее ровесницы, проживающие в тропиках, более развиты физически. Каким образом успели установить ее точный возраст, Томас Хадсон не имел понятия, так как голову обнаружили гораздо позднее в рыбацьем порту Батабано. Но туловищу с газетных фотографий действительно было далеко до лучших фрагментов греческих статуй. Впрочем, она не была американской туристкой, а, как выяснилось, обзавелась своими прелестями, уж какие они там у нее были, здесь, в тропиках. На некоторое время Томасу Хадсону пришлось отказаться от ремонта дороги за воротами усадьбы, так как любому рабочему, который вздумал бы побежать или просто ускорить шаг, грозила опасность, что за ним погонятся с криком: «Вон он! Держи, лови! Вон кто изрубил ее на куски!»

Они переехали через мост и поднялись вверх по холму в Луйяно, где слева открывался вид на Эль-Серро, каждый раз напоминавший Томасу

Хадсону Толедо. Не Толедо Эль Греко. А ту часть настоящего Толедо, которая видна с холма. Машина одолевала последние футы подъема, и он на минуту ясно увидел это — Толедо, настоящий Толедо, а потом дорога нырнула вниз, и с обеих сторон подступила Куба.

Вот эту часть пути в город он никогда не любил. Из-за нее-то он и брал с собой в дорогу что выпить. Я пью, чтобы отгородиться от нищеты, грязи, четырехсотлетней пылищи, от детских соплей, от засыхающих пальмовых листьев, от крыш из распрямленных молотком старых жестянок, от шаркающей походки незалеченного сифилиса, от сточных вод в руслах пересохших ручьев, от насекомых на облезлых шеях домашней птицы, от струпьев на шеях стариков, от старушечьей вони, от орущего радио, думал он. А так поступать нельзя. Надо всмотреться поближе во все это и что-то делать. Но вместо этого ты таскаешь за собой свою выпивку, как в прежние времена люди не расставались с нюхательными солями. Впрочем, нет. Это не совсем так, подумал он. Тут некая комбинация из того, как я пью и как пили в «Переулке, где торгуют джином» у Хогарта. И еще ты пьешь перед разговором с полковником, подумал он. Ты всегда теперь пьешь или за что-нибудь, или отгораживаясь от чего-нибудь, подумал он. Черта с два! Сколько раз ты пил просто так. И сегодняхватишь как следует.

Он надолго приложился к стакану, и питье ополоснуло ему рот своей чистотой, свежестью и холодком. Теперь пойдет худший участок дороги, с трамвайной линией и с машинами, которые стоят у железнодорожного переезда вплотную одна к другой, дожидаясь, когда поднимут шлагбаум. Впереди, за гущей застрявших машин и грузовиков, высился тот холм с крепостью Атарес, где за сорок лет до его рождения был расстрелян полковник Криттенден и еще несколько человек после провала экспедиции в Байя-Онде и где погибли сто двадцать два американских добровольца. Еще дальше небо пересекал густой дым, поднимавшийся из высоких труб гаванской Электрической компании, а под виадуком старая, мощенная булыжником дорога шла параллельно гавани, где вода у берега была черная и маслянистая, как осадок на дне цистерн в танкере. Шлагбаум подняли, они поехали дальше и ушли из-под свирепого норда; пароходы с деревянной обшивкой — нелепые, жалкие торговые суда военного времени — стояли у залитых креозотом причальных свай, и вся пакость со всей гавани, черная, чернее креозота, и вонючая, как давно не чищенная помойка, плескалась об их корпус.

Он увидел знакомые суда. Один старый баркас был такой большой, что подводная лодка не отказала ему во внимании и угостила его миной.

Баркас доставил сюда лес, а вывозит груз сахара. Следы попадания были все еще видны на нем, хотя с тех пор его успели отремонтировать, и Томас Хадсон вспомнил, как они проходили в море мимо этого баркаса и видели у него на палубе живых китайцев и мертвых китайцев. Я думал, что хоть сегодня-то ты не будешь думать о море.

Нет, думать о нем надо, сказал он себе. Тем, кто ходит в море, куда лучше, чем вот этим, мимо которых мы только что проезжали. Гавана, загаженная уже три-четыре сотни лет назад, — это не море. У входа она не так уж плоха. И со стороны Касабланки тоже не плоха. Вспомни, что в этой гавани ты когда-то недурно проводил время по вечерам.

— Посмотри, — сказал он. Заметив, куда он глядит, шофер хотел остановить машину. Но он велел ехать дальше. — Вези к посольству, — сказал он.

Смотрел он на старую супружескую чету, которая ютилась в дощатой, крытой пальмовыми листьями пристройке у каменного забора, отгораживающего железнодорожные пути от участка, где Электрическая компания держала уголь, доставленный в гавань. Забор был весь черный от угольной пыли, так как уголь, вывезенный из гавани, сгружали поверху, а до железнодорожного полотна не было и четырех футов. Крыша пристройки круто шла к стене, и под ней едва хватало места на двоих. Муж и жена, жившие здесь, сидели сейчас у входа и кипятили кофе в жестяной банке. Это были негры, шелудивые от старости и грязи, одетые в тряпье, сшитое из мешков из-под сахара. Очень дряхлые негры. Собаки при них он не увидел.

— *Y el perro?*³⁴ — спросил он шофера.

— Я давно ее не вижу.

Они уже несколько лет проезжали мимо этой пристройки, и женщина, чьи письма он читал прошлой ночью, не раз восклицала:

— Какой позор!

— Тогда почему же ты ничем не поможешь им? — спросил он ее однажды. — Почему ты всегда ужасаешься и так хорошо пишешь о всяких ужасах и палец о палец не ударишь, чтобы покончить с ними?

Женщина рассердилась на него, остановила машину, вышла из нее, подошла к пристройке, дала старухе двадцать долларов и сказала:

— Найдите себе жилье получше и купите что-нибудь поесть на эти деньги.

— *Si, senorita*³⁵, — сказала старуха. — Вы очень любезны.

В следующий раз, проезжая мимо, они увидели стариков на прежнем месте. Старики весело помахали им. Они купили собаку. При чем собака

была беленькая, маленькая, курчавая — той породы, подумал он, которая явно не предназначена для участия в торговле углем.

— Как по-твоему, куда девалась их собака? — спросил Томас Хадсон шофера.

— Сдохла, должно быть. Хозяевам самим есть нечего.

— Надо им другую достать, — сказал Томас Хадсон.

Пристройка осталась далеко позади, теперь слева были покрытые грязновато-белой штукатуркой стены Генерального штаба кубинской армии. У входа в небрежной, но горделивой позе стоял солдат-кубинец, не очень темнолицый, в застиранном обмундировании цвета хаки, в кепи — поновее, чем у генерала Стиллауэлла, и с винтовкой, удобным образом покоившейся на его костлявом плече. Он рассеянно посмотрел на их машину. Видно было, что ему холодно на северном ветру. Походил бы взад и вперед и согрелся бы, подумал Томас Хадсон. А если простоит на одном месте, не расходуя лишней энергии, то скоро до него дойдет солнце и он согреется. Вряд ли он давно служит, уж очень худ, подумал он. К весне, если мы еще будем ездить сюда весной, я его, пожалуй, не узнаю. Винтовка ему, наверно, здорово тяжела. Жаль, что нельзя стоять на посту с легкой пластмассовой винтовочкой, вот как матадоры, работая мулетой, пользуются теперь деревянной шпагой, чтобы кисть не уставала.

— А что слышно про ту дивизию, которую генерал Бенитес должен был ввести в бой на европейском фронте? — спросил он шофера. — Она уже отбыла?

— *Todaví'a no*. Нет еще, — сказал шофер. — Но генерал учится ездить на мотоцикле. Рано утром раскатывает по Малекону.

— Значит, дивизия моторизованная, — сказал Томас Хадсон. — А что в этих свертках, которые солдаты и офицеры выносят из Генерального штаба?

— Рис, — сказал шофер. — Нам рис привезли.

— А его трудно достать?

— Невозможно. Цена подскочила до небес.

— Ты теперь плохо питаешься?

— Очень плохо.

— Почему? Ты же ешь у меня. Я плачу за продукты, сколько бы они ни стоили.

— Я о доме говорю.

— А когда ты ешь дома?

— По воскресеньям.

— Придется купить тебе собаку, — сказал Томас Хадсон.

— Собака у нас есть, — сказал шофер. — Очень красивая и умная собака. Меня любит не знаю как. Я шага не могу сделать, чтобы, она не кинулась за мной. Но, мистер Хадсон, у вас ни в чем нет недостатка, и вы ни понять, ни представить себе не можете, какие страдания принесла война кубинскому народу.

— Да, голод, наверно, сильный.

— Вы даже представить себе не можете, как мы голодаем.

Да, не могу, подумал Томас Хадсон. Совершенно не могу. Не могу себе представить, почему в этой стране — и вдруг голод. А тебя, сукина сына, следовало бы расстрелять за то, как ты относишься к моторам. Расстрелять, а не подкармливать. Я бы сам тебя расстрелял, и с величайшим удовольствием. Но вслух он сказал:

— Попробую, может, достану тебе рису для дома.

— Большое вам спасибо. Если бы вы знали, как нам, кубинцам, тяжело сейчас живется.

— Да, наверно, нелегко, — сказал Томас Хадсон. — Жаль, что я не могу взять тебя с собой в море. Ты бы отдохнул немного.

— В море, должно быть, тоже трудно.

— Да, трудно, — сказал Томас Хадсон. — Трудно даже в такие вот дни, как сегодня.

— Каждый из нас несет свой крест.

— А я бы взял свой крест и воткнул бы его кое-кому в culo³⁶.

— Надо проявлять спокойствие и терпение, мистер Хадсон.

— Muchas gracias³⁷, — сказал Томас Хадсон.

Они свернули на улицу Сан-Исидро. Она начиналась у центрального вокзала и напротив входа на заброшенную тихоокеанскую пристань, где когда-то пришвартовывались суда из Майами и Ки-Уэста и где садились старые гидросамолеты Панамериканской компании. Теперь эта пристань была закрыта, так как тихоокеанские суда взял себе военно-морской флот, а Панамериканская компания перешла на «ДС-2» и «ДС-3», и они приземлялись в аэропорту Ранчо Бойерос, а там, где раньше садились гидропланы, теперь пришвартовывались суда-охотники береговой пограничной охраны и кубинского военного флота.

Эту часть Гаваны Томас Хадсон хорошо знал еще в прежние годы. А та, которую он любил теперь, была тогда просто дорогой в Матансас. Невзрачный район, крепость Атарес, пригород, названия которого он не знал, а дальше мощенная кирпичом дорога и поселки по обе ее стороны. Мчишься мимо них и не отличаешь один поселок от другого. В этой же части города он знал каждый бар, каждый погребок, а улица Сан-Исидро

славилась своими публичными домами на весь портовый район. Теперь улица захирела, бордели на ней не работали с тех самых пор, как их прикрыли, а проституток вывезли обратно в Европу. Эта грандиозная операция была похожа на отход из Вильфранша американских кораблей, базирующихся на средиземноморский порт, когда все девицы махали им на прощание, только тут все было наоборот — французский пароход с этими девицами уходил из Гаваны, и вся набережная была забита народом, причем помахать им на прощание с берега, с пристани, с мола пришли не только мужчины. Женщины — кто наняв моторку, кто на шлюпках — описывали круги около парохода и шли рядом с ним, когда он покидал пролив. Томас Хадсон помнил, как это было грустно, хотя многим проводы проституток показались очень смешными. Но что в проститутках смешного, он никогда не мог понять. Отправка их почему-то считалась событием комическим. Впрочем, после того как пароход ушел, многие загрустили, а улица Сан-Исидро так и не оправилась после нанесенного ей удара. Ее название все еще трогает меня, подумал он, а ведь эта улица стала теперь совершенно неинтересной, да и белые на ней почти не попадаются, разве только шоферы грузовиков или посыльные, развозящие покупки на дом. В Гаване были и веселые улицы — те, где жили одни негры, были и опасные, целые районы опасных улиц, как, например, улица Иисуса и Марии в двух шагах отсюда. Но улица Сан-Исидро осталась такой же унылой, как и в те дни, когда всех проституток с нее вывезли.

Теперь машина выехала в порт — к тому месту, откуда ходил паром до Реглы и где пришвартовывались суда береговой охраны.

Вода в гавани была темная, беспокойная, но приливная волна шла без барашков. Вода была слишком уж темная, хотя после черной мерзости того, что плескалось у берега, она казалась свежей и чистой. Поглядев на залив, он увидел покой его зеркала, защищенного от ветра холмами над Касабланкой, увидел те места, где стояли на якоре рыбацьи шхуны, где пришвартовывались канонерки кубинского флота и где бросило якорь и его собственное судно, хотя и не видное отсюда. По ту сторону залива он видел старинную желтую церковь и беспорядочно разбросанные дома Реглы — розовые, зеленые и желтые, — цистерны и трубы нефтеочистительного завода в Белоте, а позади них, ближе к Кохимару, высокие, серые холмы.

— Видите свой катер? — спросил шофер.

— Нет. Отсюда его не видно.

Они ехали против ветра; дым из труб Электрической компании относился назад, и утро было ясное, прозрачное, воздух словно только что

промытый, чистый — такой, как на ферме среди холмов. Люди, ходившие по пристани, видимо, зябли на северном ветру.

— Поехали сначала во «Флоридиту», — сказал шоферу Томас Хадсон.

— До посольства всего четыре квартала.

— Да. Но я сказал, что хочу сначала во «Флоридиту».

— Как вам угодно.

Они въехали в город и ушли из-под ветра, и, проезжая мимо складских помещений и магазинов, Томас Хадсон учуял запах муки, слежавшейся в мешках, и мучной пыли, запах только что вскрытых упаковочных ящиков, запах поджаренного кофе, который подействовал на него посильнее утренней порции виски, и чудесный запах табака, еще сильнее ударивший ему в нос, когда машина свернула направо к «Флоридите».

«Флоридита» стояла на одной из его любимых улиц, но он старался не ходить по ней днем — узкие тротуары, сильное движение, а по ночам, когда движение прекращалось, кофе здесь не жарили и окна складов были на запоре, так что и табаком не пахло.

— Закрыто, — сказал шофер. Железные шторы на обоих окнах кафе были еще спущены.

— Так я и думал. Тогда сворачивай на Обиспо к посольству.

По Обиспо он ходил пешком тысячи раз и днем и ночью. Ездить по этой улице он не любил, потому что она быстро кончалась, но откладывая свою явку к полковнику поводов у него больше не было, и он допил коктейль и посмотрел на машины, идущие впереди, на прохожих, на движение у перекрестка и решил приберечь улицу на после, когда можно будет прогуляться по ней пешком. Машина остановилась у здания посольства, и он вошел туда.

При входе полагалось записать свое имя, фамилию и цель посещения. У стола сидел грустный чиновник с выщипанными бровями и усами на самых уголках верхней губы. Чиновник поднял голову и подвинул ему бумагу. Томас Хадсон даже не взглянул на нее и вошел в лифт. Чиновник пожал плечами и погладил свои бровки. Уж очень они у него выделялись на лице. Но такие все-таки опрятнее, чем густые, косматые, к тому же они гармонируют с его усами. А тоньше его усиков и быть ничего не может, если уж заводить, так только такие. Более тоненьких нет ни у Эррола Флинна, ни у Пинчо Гутьерреса, ни даже у Хорхе Негрете. А все-таки он скотина, этот Хадсон, прошел мимо и даже не взглянул на него.

— Какого-то maricon [38](#) посадили у двери, — сказал Томас Хадсон лифтеру.

— Никакой это не maricon. Так — никто.

— Как тут у вас дела?

— Хорошо. Отлично. Как всегда.

На четвертом этаже он вышел и пошел по коридору. Он открыл дверь, среднюю из трех, и спросил офицера, сидевшего за столом, тут ли полковник.

— Он вылетел в Гуантанамо сегодня утром.

— Когда вернется?

— Он сказал, что, может быть, полетит на Гаити.

— Для меня ничего нет?

— У меня нет.

— Он ничего не просил передать мне?

— Сказал, чтобы вы никуда не отлучались.

— Какое у него было настроение?

— Отвратительное.

— А выглядел как?

— Ужасно.

— Ругал меня?

— Да нет как будто. Просил только передать вам, чтобы вы никуда не отлучались.

— Ничего такого, о чем мне следует знать?

— Нет. А разве должно быть?

— Вы это бросьте.

— Ладно. Вам, наверно, туго там пришлось. Но вы не здесь, не с ним работаете. Вы ходите в море. А я плевал на...

— Легче, легче.

— Где вы сейчас обретаетесь? За городом?

— Да. Но сегодня ночью здесь.

— Он сегодня не вернется, ни днем, ни вечером. А когда прилетит, я вас вызову.

— А он на самом деле не ругал меня?

— Да ничего подобного. Что это вы? Совесть нечиста?

— Нет. А кто-нибудь еще меня ругает?

— Насколько я знаю, даже адмирал вас не ругает. Сматывайтесь отсюда и напейтесь за меня.

— Я сначала за себя напьюсь.

— И за меня тоже.

— Это зачем же? По-моему, вы что ни вечер, то пьяны.

— Мне этого мало. Как там Хендерсон?

— Хорошо. А что?

— Ничего.
— А что?
— Ничего. Просто так спрашиваю. Жалобы у вас есть?
— Мы сюда жаловаться не ходим.
— Ах, какой герой! Истинный вождь!
— Мы предъявляем обвинения.
— Э-э, нет! Вы лицо гражданское.
— Провалитесь в тартарары!
— А зачем мне проваливаться? Я и так в тартарарах.
— Вызовите меня, как только он придет. И передайте мой привет господину полковнику и скажите господину полковнику, что я являлся.
— Слушаю, сэр.
— А почему «сэр»?
— Из вежливости.
— Всего хорошего, мистер Холлинз.
— Всего хорошего, мистер Хадсон. И чтобы ваших людей по первому требованию можно было разыскать.
— Покорно благодарю, мистер Холлинз.

В коридоре он встретил знакомого капитана. Тот вышел из шифровального отдела. Капитан был загорелый (загар получен за игрой в гольф и на пляже Хайманитаса); загар и здоровый вид скрывали его неблагополучие. Он был еще молод и считался знатоком Дальнего Востока. Томас Хадсон познакомился с ним еще в Маниле, где он представлял фирму по продаже автомобилей с филиалом в Гонконге. Он говорил по-тагальски и на хорошем кантонском. Знал и испанский. И поэтому очутился в Гаване.

— А-а, Томми, — сказал он. — Когда вы приехали?
— Вчера вечером.
— Как дороги?
— Ничего, пыленькие.
— Перевернетесь вы когда-нибудь в этой проклятой машине.
— Я осторожно езжу.
— Положим, это верно, — сказал капитан, которого звали Фред Арчер. Он обнял Томаса Хадсона за плечи. — Дайте я вас потрогаю.
— Зачем?
— Чтобы поднять настроение. Как потрогаю вас, так настроение сразу становится лучше.
— Вы давно не обедали в «Пасифике»?
— Недели две туда не заглядывал. Поедем?

— В любое время.

— Обедать мне некогда, а ужинать — пожалуйста. Вечер у вас занят?

— Вечер — нет. Дальше — занято.

— У меня тоже. Где мы встретимся? Во «Флоридите»?

— Приезжайте туда, как только ваша лавочка закроется.

— Прекрасно. Потом вернусь обратно. Так что напиваться нам нельзя.

— Неужели вы, черти, по ночам работаете?

— Я работаю, — сказал Арчер. — Но это движение не получило широкого размаха.

— Ужасно рад повидаться с вами, мистер Фредди, — сказал Томас Хадсон. — У меня при виде вас настроение тоже улучшается.

— А зачем это вам? — сказал Фред Арчер. — У вас ведь все в порядке.

— Вы хотите сказать — было в порядке.

— Было, есть и будет.

— Негритянками, что ли, заняться?

— Негритянки вам ни к чему, братец. Этого самого у вас всегда хватает.

— Запишите мне это как-нибудь на бумажке, Фредди. Такое полезно почитать рано поутру.

— А как ваш катер?

— Ничего. Несу за него материальную ответственность на тридцать пять тысяч долларов.

— Да, знаю. Видел этот документ в сейфе. С вашей подписью.

— Почему же такое безобразное отношение к документам?

— Золотые ваши слова.

— Это что, везде так?

— Нет, не везде. И вообще сейчас дело поставлено лучше. Гораздо лучше, Томми.

— Вот и хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Благая мысль венчает день.

— Может, зайдете к нам? У нас новые работники, они вам понравятся. Очень славные ребята.

— Нет, не зайду. Они знают что-нибудь о наших делах?

— Конечно, нет. Знают только, что вы ходите в море, и хотят с вами познакомиться. Они понравятся вам. Хорошие парни.

— Как-нибудь в другой раз познакомимся, — сказал Томас Хадсон.

— Есть, сэр, — сказал Арчер. — Так я к вам приду, как только мы здесь закроемся.

— Во «Флоридиту».

— Конечно. Куда же еще?

— Я что-то плохо соображаю.

— Ум за разум заходит? — сказал Арчер. — Так как, захватить мне с собой этих ребят?

— Нет. Разве только вам уж очень захочется. Там, может, кое-кто из моих будет.

— Вот уж не думал, что вашей братии охота встречаться на берегу.

— Заскучают, вот и сходятся.

— А их надо бы сгрести в одну кучу и посадить под замок.

— Такие отовсюду выберутся.

— Ну, идите, — сказал Арчер. — А то опоздаете туда.

Фред Арчер отворил дверь в комнату напротив шифровального отдела, а Томас Хадсон пошел по коридору и спустился по лестнице, не воспользовавшись лифтом. На улице солнце светило так ярко, что ему резало глаза, а с северо-северо-запада все еще дул сильный ветер.

Он сел в машину и велел шоферу ехать по улице О'Райли к «Флоридите». Перед тем как машина развернулась на площади у посольства и здания Ayuntamiento³⁹ и выехала на О'Райли, он увидел высокие волны у входа в гавань и тяжело подскакивающий в проливе буй. Море у входа в гавань кипело, бурлило, прозрачно-зеленые волны разбивались о скалы у подножия крепости дель Морро, и белые барашки, увенчивающие их, сверкали на солнце своей белизной.

Выглядит это замечательно, сказал он себе. Почему «выглядит»? Это и на самом деле замечательно. За такую красоту надо выпить. Ах ты, черт побери, подумал он. Хорошо бы я действительно был таким твердокаменным, каким меня считает Фредди Арчер. А я и на самом деле твердокаменный. Никогда не отказываюсь, иду всегда охотно. Какого черта им еще нужно? Чтобы я глотал «торпекс» за завтраком? Или совал его под мышки, как табак? Прекрасный способ заработать желтуху, подумал он. Почему тебе пришла в голову такая мысль? Трусишь, Хадсон? Нет, не трушу, сказал он. Просто у меня такая реакция. Многие из них до сих пор еще не классифицированы. Во всяком случае, мною. Да, мне бы хотелось быть таким твердокаменным, каким меня считает Фредди, вместо того чтоб быть просто человеком. А человеческим существом быть интереснее, хоть и гораздо мучительнее. Еще как мучительно, вот, например, сейчас. А быть таким, каким тебя считают, было бы хорошо. Ну, хватит. Об этом тоже не думай. Не думаешь об этом, значит, оно и не существует. Черта с два, не существует! Но такова моя установка, которая

меня держит, подумал он.

Бар во «Флоридите» был уже открыт. Он купил две вышедшие газеты «Крисоль» и «Алерта», прошел с ними к стойке и сел на высокий табурет слева у самого ее конца. За спиной у него была стена, которая выходила на улицу, с левого бока — стена, что за стойкой. Он заказал двойной замороженный дайкири без сахара. Заказ принял Педрико, разинувший рот в улыбке, походившей на оскал умершего от перелома позвоночника. Тем не менее улыбка эта была искренняя, адресованная именно ему. Он стал читать «Крисоль». Бои шли сейчас в Италии. Те места, где воевала Пятая армия, были ему незнакомы, он знал плацдарм по другую сторону гор, где действовала Восьмая армия, и стал вспоминать его, когда Игнасио Натера Ревельо вошел в бар и стал рядом с ним.

Педрико поставил перед Игнасио Натерой Ревельо бутылку «Виктории», стакан с большими кусками льда, бутылку содовой, и Ревельо поспешно смешал себе коктейль, а потом, повернувшись к Томасу Хадсону, уставился ему в лицо своими роговыми очками с зелеными стеклами, притворяясь, будто только что увидел его.

Игнасио Натера Ревельо, высокий, худой, был одет в белую полотняную рубашку, белые брюки, черные шелковые носки, начищенные до блеска коричневые английские ботинки. Лицо у него было красное, усики щеточкой; желтоватые, зеленые стекла очков защищали воспаленные близорукие глаза. Волосы белесые, гладко прилизанные. Видя, как ему не терпится выпить, можно было подумать, что это у него первый стакан за день. Это было далеко не так.

— Ваш посол ведет себя как идиот, — сказал он Томасу Хадсону.

— Ну, тогда мое дело табак, — сказал Томас Хадсон.

— Нет, нет. Кроме шуток. Выслушайте меня. Это строго между нами.

— Пейте, пейте. Я ничего не желаю слушать.

— А послушать не мешает. И принять какие-то меры тоже не мешает.

— Вы не озябли? — спросил его Томас Хадсон. — В одной рубашке, в легких брюках.

— Я не зябкий.

И трезвым тоже никогда не бываешь, подумал Томас Хадсон. Первый стакан пьешь в маленьком баре возле дома, а сюда добираться уже совсем на бровях. Ты, верно, и не заметил, когда одевался, какая сегодня погода. Да, подумал он. А ты сам? Когда ты выпил сегодня утром свою первую порцию и сколько хватил до той, что пьешь сейчас? Не бросай первый камня в пьяниц. Да дело не в пьянстве, подумал он. Пусть пьет, пожалуйста. Только уж очень он нудный. Зануд жалеть нечего и щадить их

тоже не обязательно. Брось, сказал он, брось. Ты же хотел развлекаться сегодня. Ну и отдыхай, получай удовольствие.

— Кинем кости — кому платить? — сказал он.

— Прекрасно, — сказал Игнасио. — Вы и начинайте.

Томас Хадсон метнул, выбросил трех королей и остался в выигрыше.

Выиграть было приятно. Не то чтобы коктейль стал вкуснее от этого, но выбросить сразу трех королей было очень приятно, и он с удовольствием выиграл у Игнасио Натеры Ревельо, потому что Игнасио был сноб и зануда, а возможность выиграть у него придавала ему какую-то долю полезности и значения.

— Теперь кинем на следующую порцию, — сказал Игнасио Натера Ревельо.

Он из тех снобов и зануд, которых даже за глаза величаешь всеми тремя именами, подумал Томас Хадсон, так же как в мыслях у тебя он всегда сноб и зануда. Вроде тех, кто ставит цифру III после своей фамилии. Томас Хадсон Третий. Томас Хадсон Третий сидит в клозете.

— Вы случайно не тот Игнасио Натера Ревельо, который Третий?

— Конечно, нет. Что вы, не знаете, как зовут моего отца?

— Да, правильно. Конечно, знаю.

— И братьев моих знаете. Имя деда вам тоже известно. Перестаньте валять дурака.

— Постараюсь перестать, — сказал Томас Хадсон. — Из всех сил буду стараться.

— Вот и хорошо, — сказал Игнасио Натера Ревельо. — Вам это только на пользу.

Устремив все свое внимание на предстоящий ход — на самое трудное, самое блистательное из всего, что он совершит за первую половину дня, — Игнасио Натера Ревельо щеголевато повел рукой и метнул из стакана четырех валетов.

— Бедный мой друг, — сказал Томас Хадсон. Он встряхнул кости в тяжелом кожаном стакане и с нежностью прислушался к их стуку. — Милые, симпатичные косточки. Такие они добротные, такие аппетитные, — сказал он.

— Ну, давайте, хватит дурить.

Томас Хадсон метнул на слегка влажную стойку трех королей и две десятки.

— Хотите пари?

— Мы и так на пари играем, — сказал Игнасио Натера Ревельо. — Ну, за чей счет вторая порция?

Томас Хадсон любовно встряхнул кости и метнул даму и валета.

— А сейчас — идем на пари?

— Уж очень вам везет.

— Ладно. Тогда беру коктейлями.

Он метнул короля и туза, которые степенно, гордо выкатились из стакана.

— Вот везет бродяге!

— Еще раз двойной замороженный дайкири без сахара и что закажет Игнасио, — сказал Томас Хадсон. Игнасио начинал нравиться ему. — Слушайте, Игнасио, — сказал он. — Я первый раз вижу, чтобы на мир смотрели сквозь зеленые очки. Сквозь розовые — да. Сквозь зеленые — нет. Вам не кажется, будто все какое-то травянистое? И будто вы на лужайке? У вас не бывает такого ощущения, будто вас выпустили погостить?

— Зеленый цвет самый полезный — глаза отдыхают. Это доказано крупнейшими окулистами.

— А вы знаете с крупнейшими окулистами? Буйный, верно, народ.

— Личных знакомств среди них у меня нет, я только своего знаю. Но он в курсе последних достижений медицины. Лучший окулист в Нью-Йорке.

— А мне нужен лучший в Лондоне.

— Лучшего лондонского окулиста я тоже знаю. Но самый лучший в Нью-Йорке. Я с удовольствием вас к нему направлю.

— Метнем еще разок.

— Давайте. Ваш черед.

Томас Хадсон взял кожаный стакан и почувствовал надежную увесистость больших костей, которыми играют во «Флоридите». Он чуть шевельнул их, боясь спугнуть их благосклонность и щедрость, и метнул трех королей, десятку и даму.

— Сразу три короля. Это clasico⁴⁰.

— Ну не прохвост ли вы, — сказал Игнасио Натера Ревельо и выбросил туза, двух дам и двух валетов.

— Еще двойной замороженный дайкири совсем без сахара и что закажет дон Игнасио, — сказал Томас Хадсон. Педрико вскоре вернулся со своей обычной улыбкой и с заказом. Миксер он поставил перед Томасом Хадсоном, в нем осталась по крайней мере еще одна порция дайкири.

— Я с утра и до вечера могу вас обыгрывать, — сказал Томас Хадсон.

— Беда в том, что это, кажется, так и есть.

— Кости меня любят.

— Хотя что-нибудь вас любит.

Томас Хадсон, в который раз за последний месяц, почувствовал, как по голове у него побежали мурашки.

— Что вы этим хотите сказать, Игнасио? — чрезвычайно вежливо осведомился он.

— Хочу сказать, что мне вас любить не за что, вы меня буквально ограбили.

— А-а, — сказал Томас Хадсон. — За ваше здоровье.

— За ваши похороны, — сказал Игнасио Натера Ревельо.

Томас Хадсон снова почувствовал, как по голове у него побежали мурашки. Он опустил левую руку и кончиками пальцев тихонько постучал по низу стойки, стараясь, чтобы Игнасио Натера Ревельо не видел этого.

— Очень мило с вашей стороны, — сказал он. — Сыграем на следующую порцию?

— Нет, — сказал Игнасио Натера Ревельо. — Я и так большие деньги вам проиграл, и все за один день.

— Какие деньги? Вы проиграли только выпивку.

— Я обычно расплачиваюсь за выпитое.

— Игнасио, — сказал Томас Хадсон. — Вы уже третий раз говорите мне довольно неприятные вещи.

— У меня настроение довольно неприятное. Вам бы кто-нибудь так нахамил, как мне этот ваш посол, будь он проклят.

— Повторяю, я ничего не хочу слушать.

— Вот, вот! А жалуетесь, что я говорю вам неприятные вещи. Милый мой Томас. Мы с вами хорошие друзья. Я столько лет знаю вас и вашего сына Тома. Кстати, как он?

— Он убит.

— Простите меня. Я не знал.

— Ничего, — сказал Томас Хадсон. — Выпьем, я плачу.

— Я виноват. Простите меня. Пожалуйста, простите. Как это случилось?

— Я еще ничего не знаю. Когда узнаю, скажу вам.

— Где он погиб?

— Не знаю. В каких местах летал, знаю, а больше ничего.

— А в Лондоне он был? Видался с нашими друзьями?

— Конечно. Он несколько раз туда летал и всегда заходил к Уайту и видался со всеми, кто там бывает.

— Хотя это утешительно.

— Что?

— Я хочу сказать, приятно, что он повидал наших друзей.

— Безусловно. И я уверен, что Тому было там хорошо. Ему везде было хорошо.

— Выпьем за него?

— Нет. К чертям, — сказал Томас Хадсон. Все опять нахлынуло на него; все, о чем он старался не думать; все горе, которое он отметал от себя, от которого отгораживался и не допускал ни одной мысли о нем ни во время рейса, ни сегодня утром. — Не надо.

— А по-моему, надо, — сказал Игнасио Натера Ревельо. — По-моему, это как нельзя более кстати. Мы воздадим ему должное. Но платить буду я.

— Хорошо. Выпьем за него.

— В каком он был чине?

— Лейтенант.

— Мог бы дослужиться до подполковника или по крайней мере эскадрильей бы командовал.

— Что там говорить о чинах.

— Хорошо, не будем, — сказал Игнасио Натера Ревельо. — За моего дорогого друга и за вашего сына Тома Хадсона. *Dulce es mori pro patria*⁴¹.

— За свинячью задницу, — сказал Томас Хадсон.

— В чем дело? Моя латынь хромает?

— Не мне судить, Игнасио.

— Но вы всегда блистали латынью. Я знаю это от ваших школьных товарищей.

— Моя латынь совсем никуда, — сказал Томас Хадсон. — Так же как и мой греческий, и мой английский, и моя голова, и мое сердце. Я сейчас могу говорить только на замороженном дайкири. *Tu hablas frozen daiquiri tu?*⁴²

— По-моему, Тому следует оказать немножко больше уважения.

— Том и сам был завзятый шутник.

— Это верно. У него было прекрасное, тончайшее чувство юмора. И он был один из самых красивых юношей, каких я знал, и с прекрасными манерами. А какой спортсмен! Высшего класса!

— Да, правильно. Диск он метал на сто сорок два фута. Играл и защитника и левого нападающего. Был прекрасным теннисистом, отлично стрелял влет, ловил форель.

— Он был великолепным спортсменом и прекрасным атлетом. Один из самых лучших спортсменов, каких я только знал.

— В одном ему только не повезло.

— В чем?

— В том, что он погиб.

— Не расстраивайтесь, Томми. Вспоминайте, какой он был. Солнечная натура, веселый, столько всего сулил впереди. Какой смысл расстраиваться?

— Смысла никакого, — сказал Томас Хадсон. — И расстраиваться больше не будем.

— Значит, вы со мной согласны? Вот и хорошо. Так приятно было поговорить о нем. И так тяжело услышать эту весть. Но вы, конечно, справитесь со своим горем, и я тоже справлюсь, хотя вам, отцу, в тысячу раз тяжелее. На чем он летал?

— На «спитфайре».

— На «спитти». Буду представлять себе мысленно, как он ведет «спитти».

— Стоит ли вам беспокоиться.

— А что? Я их в кино видал. У меня есть книги об английском воздушном флоте, и мы получаем сводки Британского информационного бюро. Там есть прекрасные материалы. Я отлично представляю себе, как Том выглядел. Наверно, с парашютом, в летной форме и спасательном жилете, в огромных, тяжелых башмаках. Просто вижу его. А теперь мне пора домой — обедать. Поедьте со мной? Лютезия будет вам очень рада.

— Нет, мне надо встретиться тут кое с кем. Большое спасибо.

— Всего вам хорошего, старик, — сказал Игнасио Натера Ревельо. — Я уверен, вы это преодолеете.

— Спасибо за помощь. Вы были очень добры.

— Да при чем тут доброта? Я любил Тома. Как и вы. Как все мы его любили.

— Спасибо за угощение.

— Я как-нибудь все у вас отыграю.

Он вышел. Рядом с Томасом Хадсоном появился вдруг один из его людей. Смуглый малый, курчавые, темные волосы коротко подстрижены, веко на левом глазу чуть опущено, глаз искусственный, но это не было заметно, так как правительство преподнесло ему четыре разноцветных глаза — налитый кровью, чуть красноватый, слегка замутненный и совсем чистый. Сейчас в глазнице у него сидел второй — чуть красноватый, и он уже был навеселе.

— Здорово, Том. Когда ты приехал в город?

— Вчера, — ответил Томас Хадсон и добавил медленно, почти не шевеля губами: — Спокойно, бродяга. Не устраивай тут цирк.

— Ничего я не устраиваю. Просто выпил немножко. Если меня взрежут, то какую надпись увидят на моей печенке? Конспирация. Я король конспирации. И ты сам это знаешь. Подожди, Том. Я стоял рядом с этим типом, который работает под англичанина, и не мог не слышать вашего разговора. Томми погиб?

— Да.

— Ах, мать твою! — сказал матрос. — Ах, мать твою!

— Я не хочу говорить об этом.

— Понимаю, Том. Но когда ты узнал?

— Перед нашим последним выходом.

— Мать твою!

— Что ты делаешь сегодня?

— Я обещал встретиться кое с кем в «Баскском баре», перекусим там и поедем к девкам.

— А где будешь завтра обедать?

— В «Баскском баре».

— Скажи Пако, чтобы он позвонил мне, когда вы туда придете. Ладно?

— Ладно. Домой чтобы позвонил?

— Да. Ко мне домой.

— Поедем с нами к девкам? Мы собираемся к Генри, в его «Дом греха».

— Может, и поеду.

— Генри охотится сейчас за девками. С самого завтрака рыщет. Разка два уже переспал. Он все старается раззадорить тех двух сучек, которых мы подцепили в курзале. Правда, на свету они обе оказались такие хари, хуже некуда. Но больше ни фиги не нашли. Черт его знает, что стало с этим городом. Сучек Генри держит у себя в «Доме греха», на всякий случай, а сам ездит туда-сюда вместе с Умницей Лил. Они на машине.

— Ну и как, получается что-нибудь?

— По-моему, нет. Генри приспичило, подавай ему ту маленькую. Которую он каждый день видит во «Фронтоне». Умница Лил не берется ее уговорить, потому что она побаивается — уж очень он здоровенный. Умница Лил говорит, с тобой она пойдет, а с Генри ни за что, боится, что он такой большой и тяжелый, и вообще она всего о нем наслышалась. Но Генри только ее и хочет, потому что эти две сучки его совсем доконали. Давай ему ту маленькую, он, видите ли, в нее влюбился. Влюбился, и все тут. Но сейчас, наверно, она у него из головы выскочила, потому что он опять упражняется с теми сучками. А все-таки поесть-то ему надо, и мы

сговорились встретиться в «Баскском баре».

— Да, покормите его как следует, — сказал Томас Хадсон.

— Не захочет — не заставишь. Это только тебе удастся. А мне нет. Но я буду просить его: ешь, Генри, ешь. Умолять его буду. И сам покажу ему пример.

— Пусть Пако его покормит.

— Идея! Пако это в самый раз.

— Думаешь, он не проголодается после таких подвигов?

— А ты как думаешь?

И тут в бар вошел самый рослый человек, какого Томас Хадсон знал когда-либо, и самый широкоплечий, и самый веселый, и самый благовоспитанный — вошел, улыбаясь во все лицо, даже в этот прохладный день покрытое крупными бисеринами пота. Его большая рука была протянута для приветствия. Он весь был такой большой, что с его появлением все в баре словно уменьшилось в росте, а улыбка у него была ясная и открытая. На нем были старые синие штаны, рубаха, какие носят крестьяне-кубинцы, и сандалии на веревочной подошве.

— Том, — сказал он. — Ты здесь, бродяга. А мы вот все носимся, ищем девиц.

В помещении, куда ветер не проникал, его большое красивое лицо вспотело еще сильнее.

— Мне тоже дайкири, Педрико. Двойную порцию. Даже больше, если это возможно. Вот здорово, что мы встретились, Том. Да, совсем позабыл. Ведь со мной Умница Лил. Иди сюда, моя прелесть.

Умница Лил вошла в боковую дверь. Она выигрывала, когда сидела у стойки в дальнем конце, пряча за ее полированным деревом тучность расплывшегося тела, так что только красивое смуглое лицо было на виду. Но сейчас, по дороге от двери, прятаться было некуда, и она вперевалочку пронесла себя к стойке так быстро, как только можно было без видимой торопливости, и влезла на табурет, с которого только что поднялся Томас Хадсон. Ему теперь оставалось только сесть на соседний табурет и тем прикрыть ее с фланга.

— Здравствуй, Том, — сказала она и поцеловала Томаса Хадсона. — Генри просто несносен.

— Вовсе я не несносен, моя прелесть, — сказал ей Генри.

— Несносен, несносен, — сказала она. — И с каждым разом становишься все несноснее. Томас, хоть бы ты меня защитил от него.

— Чем же это он так несносен?

— Влюбился в одну девчушку, совсем малявочку, и вот подай ему

только ее. А малявочка с ним сегодня идти не может, да если бы и могла, не пошла бы, она его боится, потому что он такой большой и в нем двести тридцати фунтов весу.

Генри Вуд покраснел, совсем взмок от смущения и разом сглотнул половину своего дайкири.

— Двести двадцать пять, — сказал он.

— Что я тебе говорил? — сказал смуглый матрос. — Разве я именно это не говорил?

— А с какой стати ты тут вообще что-то кому-то говоришь? — спросил Генри.

— Две суки. Две потаскухи. Две паршивые портовые дешевки. Две шлюхи, у которых на уме только одно: деньги. Мы их пробуем. Потом меняемся и пробуем опять. Они обе еще остыть не успели. А когда я сказал одно дружеское душевное слово, так я, видите ли, грубиян.

— Да, в общем-то они были не первый сорт, — сказал Генри и снова покраснел.

— Первый сорт? Облить их бензином да поджечь — вот что с ними надо было сделать.

— Какой ужас, — сказала Умница Лил.

— А я самый ужасный человек, мадам, — сказал смуглый. — Так себе и заметьте.

— Вилли, — сказал Генри. — Хочешь, я тебе дам ключ от «Дома греха», и ты сходишь посмотришь, все ли там в порядке.

— Не хочу, — сказал Вилли. — Ключ у меня свой есть, ты об этом, видно, забыл, а ходить туда и смотреть, все ли там в порядке, я не хочу. Вышвырнуть оттуда этих двух потаскух, тогда все и будет в порядке.

— Ну а если мы ничего лучше не достанем?

— Должны достать. Лилиан, ты бы слезла с табурета и пошла вызвонила кого-нибудь по телефону. И черт с ней, с этой карлицей. Выкинь эту гномиху из головы, слышишь, Генри? Будешь забивать себе такой чушью голову, станешь психом. Я-то знаю. Я сам психом был.

— Ты и теперь псих, — сказал ему Томас Хадсон.

— Может, и так, Том. Тебе виднее. Но гномихи мне не требуются (он выговаривал «гыномихи»). Если Генри хочет спать с гыномихой, его дело. Но только это блажь, все равно как если б он хотел спать с однорукой или с одноногой. Так что пусть он забудет про свою гыномиху, и пусть Лилиан отправляется к телефону.

— Я на любую приличную девушку согласен, какая найдется. Ты, надеюсь, не возражаешь, Вилли?

— Приличные девушки нам ни к чему, — сказал Вилли. — С ними только свяжись, так и вовсе психом станешь. Верно я говорю, Томми? Приличные девушки — да это же всего на свете опасней. Сразу тебе припаяют соучастие в преступных действиях, или изнасилование, или покушение на изнасилование. Нет, к матери приличных девушек. Нам нужны шлюхи. Хорошие, чистые, миленькие, занятные, недорогие шлюхи. Которые знают свое дело. Лилиан, почему не идешь к телефону?

— Хотя бы потому, что он занят, — сказала Умница Лил. — И вон какой-то тип у табачного прилавка уже ожидает, когда он освободится. Дурной ты человек, Вилли.

— Я ужасный человек, — сказал Вилли. — Другого такого скверного человека тебе не встретить. Но я все-таки хотел бы, чтоб наши дела были получше налажены, чем теперь.

— Ладно, пропустим еще по стаканчику, — сказал Генри. — А там, я уверен, Лилиан нам подыщет кого-нибудь из своих знакомых. Ведь подыщешь, моя прелесть?

— Будь покоен, — сказала Умница Лил по-испански. — Неужели же не подыщу? Но только звонить я буду из уличного автомата. Не отсюда. Звонить отсюда — это и неудобно и неприлично.

— Опять отсрочка, — сказал Вилли. — Ладно. Не стану спорить. Пусть будет еще одна отсрочка. Но только тогда уж давайте пить.

— А чем ты до сих пор занимался, интересно? — спросил Томас Хадсон.

— Люблю я тебя, Томми, — сказал Вилли. — Чем ты сам до сих пор занимался?

— Пил с Игнасио Натерой Ревелью.

— Звучит похоже на итальянский крейсер, — сказал Вилли. — Не было итальянского крейсера с таким названием?

— Кажется, нет.

— А похоже.

— Ну-ка, дай мне взглянуть на чеки, — сказал Генри. — Сколько вы с ним выпили, Том?

— Чеки у Игнасио. Он мне проиграл выпивку, он и платил.

— А все-таки сколько? — спросил Генри.

— По четыре порции, что ли.

— А до того что ты пил?

— По дороге сюда — одного «Тома Коллинза».

— А дома?

— Ну, дома много чего.

— Ты же просто горький пьяница, — сказал Вилли, — Педрико, еще три двойных замороженных дайкири, а даме, что она пожелает.

— Un highbolito con agua mineral⁴³, — сказала Умница Лил. — Томми, давай пересядем к тому концу стойки. Они тут не любят, когда я сижу у этого конца.

— А ну их к чертям, — сказал Томас Хадсон. — В кои-то веки сошлись вместе старые друзья, так нельзя спокойно выпить по стаканчику где хочется. Ну их к чертям.

— Сиди где сидишь, моя прелесть, и никого не слушай, — сказал Генри. Но тут он заметил в глубине бара двух знакомых плантаторов и пошел к их столику, не дожидаясь заказанного.

— Ну, все, — сказал Вилли. — Теперь он и про гыномиху забудет.

— Очень он рассеянный, — сказала Умница Лил. — Уж такой рассеянный.

— Это от той жизни, которую мы ведем, — сказал Вилли. — Все ищем развлечений просто так, чтобы развлекаться. Искать развлечений нужно с толком.

— А вот Том не рассеянный, — сказала Умница Лил. — Том грустный.

— Слушай, кончай эту хреновину, — сказал Вилли. — Моча тебе в голову ударила, что ли? Этот ей рассеянный. Тот ей грустный. А еще раньше я был ужасный. Дальше что? Всякая шлюха тут будет критику наводить на людей. Ты что, не знаешь, что твое дело веселиться и других веселить?

Умница Лил заплакала настоящими слезами, крупными и блестящими, как в кино. У нее всегда были наготове настоящие слезы, как только захочется, или понадобится, или обидит кто-нибудь.

— Эта шлюха умеет лить такие слезы, каких мать надо мной не проливала, — сказал Вилли.

— Зачем ты меня так обзываешь, Вилли?

— Брось, Вилли, слышишь? — сказал Томас Хадсон.

— Вилли, ты злой и жестокий человек, и я тебя знать не хочу, — сказала Умница Лил. — Не знаю, почему такие люди, как Томас Хадсон и Генри, с тобой водятся. Ты просто пакостник, вот ты кто.

— Что ж ты, дама, а такие слова говоришь, — сказал ей Вилли. — Пакостник — некрасивое слово. Все равно что плевок на конце сигары.

Томас Хадсон опустил руку ему на плечо.

— Пей, Вилли. Не у тебя одного невесело на душе.

— У Генри весело. Сказать бы ему то, что ты мне сказал, он сразу

заскучал бы.

— Я тебе ответил на твой вопрос.

— Да не в том дело. Какого черта ты давишься своим горем и молчишь? Почему не поделился ни с кем за две недели?

— Горе поделить нельзя.

— Скрыга ты, вот ты кто, — сказал Вилли. — Копишь горе, как скрыга копит золото в сундуке. Никак я этого от тебя не ожидал.

— Перестань, Вилли, не надо, — сказал Томас Хадсон. — Спасибо тебе, но не надо. Я и сам справлюсь.

— Копи, копи, скрыга. Но не думай, что так будет легче. Ни хрена не легче, я знаю, ученый.

— Я тоже ученый, — сказал Томас Хадсон. — Так что давай без дураков.

— Ну как хочешь. Может, для каждого лучше своя система. Но я ведь вижу, как тебя за это время подвело.

— Просто я много пью, и устал, и еще не успел отойти хоть немного.

— От той письма были?

— Да. Целых три.

— Ну и как?

— Хуже некуда.

— Н-да, — сказал Вилли. — Тоже радости мало. Ну, копи хоть это, все-таки кое-что.

— Кое-что у меня есть.

— Да, как же. Кот Бойз со своей любовью. Знаем. Слыхали. Как он, кстати, поживает, этот сукин кот?

— Все такой же, как был.

— Этот кот из меня душу выматывает, — сказал Вилли. — Ей-богу, выматывает.

— Он, конечно, истосковался.

— Верно ведь? Если б мне столько приходилось тосковать, сколько этому коту, я бы давно уже спятил. Чего еще будешь, Томми?

— Повторю опять.

Вилли обхватил рукой внушительную талию Умницы Лил.

— Ладно, Лилли, — сказал он. — Ты славная девушка. Я тебя обидеть не хотел. Виноват. Меня чувства одолели.

— Больше не будешь так говорить?

— Нет. Пока снова не одолеют чувства.

— Ну, выпьем, — сказал ему Томас Хадсон. — Твое здоровье, бродяга.

— Вот это другой разговор, — сказал Вилли. — Вот теперь ты на человека похож. Жаль, твоего кота Бойза нет с нами. Он бы гордился тобой. Понял, значит, что я имел в виду, когда говорил насчет того, чтобы поделиться?

— Да, — сказал Томас Хадсон. — Понял.

— Ну и ладно, — сказал Вилли. — Ну и хватит об этом. Мусор весь из дома вон, едет мусорный фургон. Нет, ты посмотри на этого поганца Генри. Такой прохладный день, а он весь мокрый от пота. С чего бы это он так взмок?

— Из-за девочек, — сказала Умница Лил. — Он на девочках совсем помешался.

— Верно, что помешался, — сказал Вилли. — Пробуравь ему голову в любом месте, так из дырки сразу девки полезут. Помешался. Слово какое-то хлипкое, неужели лучше не нашла?

— По-испански это довольно крепкое слово.

— Помешался? Да ну, ерунда. Вот выдастся сегодня свободное время, подберу тебе словечко похлеще.

— Том, давай пересядем к тому концу стойки, там я не буду как на иголках и можно будет поговорить спокойно. Только не угостишь ли меня сэндвичем? А то я с самого утра поесть не успела. Ношусь с Генри.

— Я пошел в «Баскский бар», — сказал Вилли. — Приводи его туда, Лил.

— Ладно, — сказала Умница Лил. — А может быть, я его отправлю, а сама здесь останусь.

Она величаво прошествовала мимо мужчин, сидевших у стойки, одним улыбаясь, с другими заговаривая на ходу. И все отвечали ей уважительно и ласково. Почти каждый из тех, с кем она обменивалась приветствиями, когда-нибудь да любил ее за двадцать пять лет. Наконец она дошла до конца стойки, села и улыбнулась издали Томасу Хадсону, и он тотчас пошел за ней, захватив с собой все свои чеки на выпитое. У нее была милая улыбка, и чудесные темные глаза, и красивые черные волосы. Как только вокруг лба и вдоль пробора начинала вылезать седина, Умница Лил просила у Томаса Хадсона денег на парикмахерскую, и когда она выходила оттуда, волосы опять были черные и блестящие, как у молодой девушки, и даже не выглядели крашеными. Ее гладкая кожа походила на оливковую слоновую кость — если бы слоновая кость когда-нибудь бывала оливковой — с легким дымчато-розовым оттенком. Томасу Хадсону цвет ее кожи напоминал выдержанную древесину mahagua в месте распила, когда она только что отшлифована чистым песком и слегка

навощена. Нигде больше не встречал он этот дымчатый тон, чуть даже ударяющий в прозелень. Правда, розового налета у mahagua не было. Розовый налет получался от румян, которыми Умница Лил подцвечивала свои щеки, гладкие, как у молодой китаяночки. Красивое ее лицо улыбалось ему, когда он шел к ней вдоль стойки, и чем ближе, тем оно становилось красивее. Но вот он сел, и рядом с ним оказалось большое грузное тело, и замечен стал слой румян на лице, и от тайны этого лица ничего не осталось, но все-таки и вблизи оно было красивым.

— А ты все еще хороша, Умница, — сказал он ей.

— Ох, Том, я стала такая толстая. Мне даже стыдно.

Он положил руку на ее мощное бедро и сказал:

— Ты симпатичная толстушка.

— Мне стыдно, когда я прохожу через бар.

— У тебя это получается красиво. Плынешь, точно корабль.

— Как наш дружок?

— Отлично.

— А когда я увижу его?

— Когда пожелаешь. Хоть сейчас.

— Нет, сейчас не нужно. Том, о чем это Вилли тут говорил? Я что-то не все поняла.

— Да так, психовал просто.

— Нет, он не психовал. Про тебя, про какие-то твои огорчения. Это насчет твоей сеньоры?

— Нет. Ну ее к матери, мою сеньору.

— Что толку ругать ее, когда ее здесь нет.

— Да. Это тоже верно.

— Так что же это за огорчения у тебя?

— Ничего. Огорчения, и все тут.

— Расскажи мне, Том. Прошу тебя.

— Нечего и рассказывать.

— Мне можно рассказать, ты же знаешь. Генри мне всегда по ночам рассказывает про свои огорчения и плачет. Вилли мне рассказывает ужасные вещи. Не про огорчения, а кое-что пострашней огорчений. Все мне все рассказывают. Только ты вот не хочешь.

— Мне не станет легче, если я расскажу. Мне от этого всегда только хуже становится.

— Том, зачем Вилли говорит мне всякие гадости? Он же знает, что для меня это прямо как ножом по сердцу — слушать такие слова. Он же знает, что я сама никогда никаких таких слов не говорю и ничего не делаю

свинского и противного природе.

— Оттого-то мы и зовем тебя Умницей Лил.

— Если бы мне сказали: будешь делать такое, разбогатеешь, а не будешь, останешься навсегда в бедности, — я бы предпочла остаться в бедности.

— Знаю. Ты, кажется, хотела съесть сандвич?

— Это когда я проголодаюсь. Сейчас я еще не проголодалась.

— Тогда, может, выпьешь еще со мной?

— Охотно. Слушай, Том, что я тебя еще хочу спросить. Вилли сказал, у тебя есть кот, который в тебя влюблен. Неужели правда?

— Правда.

— Какой ужас!

— Что же тут ужасного? Я и сам влюблен в этого кота.

— Фу, даже слышать не хочу. Ты меня нарочно дразнишь, Том, не надо меня дразнить. Вилли вот дразнил меня и довел до слез.

— Я этого кота очень люблю, — сказал Томас Хадсон.

— Перестань, довольно об этом. Скажи мне лучше, когда ты меня поведешь в бар, куда ходят психи из сумасшедшего дома?

— Как-нибудь на днях.

— Неужели психи в самом деле ходят туда так же, как мы, — выпить, людей повидать?

— Совершенно так же. Вся разница в том, что на них штаны и рубахи из мешковины.

— А это правда, что ты играл в бейсбольной команде сумасшедшего дома, когда там был матч с колонией прокаженных?

— Еще бы! У них никогда не было лучшего подающего.

— А как ты вообще к ним попал?

— Ехал раз мимо, возвращаясь с ранчо Бойерос, и мне приглянулось место.

— Ты правдаводишь меня в этот бар?

— Конечно, свожу. Если тебе не страшно.

— Страшно. Но с тобой мне будет не так страшно. Мне для того и хочется сходить туда. Чтоб было страшно.

— Среди этих психов есть замечательные люди. Тебе понравятся.

— Мой первый муж был псих. Но он был тяжелый псих.

— А как тебе кажется, Вилли не псих?

— Ну что ты. Просто у него трудный характер.

— Он очень много тяжелого перенес.

— А кто нет? Но Вилли слишком любит козырять этим.

- Вряд ли. Я знаю. Можешь мне поверить.
- Тогда поговорим о чем-нибудь другом. Видишь, вон стоит человек, разговаривает с Генри?
- Вижу.
- Он в постели ничего, кроме свинских штук, не признает.
- Бедный.
- Он вовсе не бедный. Он богатый. Но ему нравится только *porquerías*[44](#).
- А тебе никогда не нравилось *porquerías*?
- Никогда. Спроси кого хочешь. И с женщинами я тоже никогда в жизни не баловалась.
- Умница Лил.
- А что, разве ты хотел бы, чтобы я была другая? Тебе ведь *porquerías* ни к чему. Тебе нужно простой любви и радости и потом спокойно заснуть. Я тебя знаю.
- *Todo el mundo me conoce*[45](#).
- Нет, все не знают. Все о тебе воображают невесть что. А я тебя знаю.

Томас Хадсон снова пил замороженное дайкири без сахара, и сейчас, приподняв тяжелый с заиндевевшими краями стакан, он смотрел на его содержимое, зеленовато-прозрачное под шапкой пены, и оно напоминало ему море. Взбитая сверху пена походила на след за кормой, а прозрачная жидкость внизу была как морская волна, когда катер взрезает ее на мелководье над глинистым дном. Почти точно такой же цвет.

— Жаль, нет напитков цвета морской воды на глубине восьмисот саженей, когда стоит мертвый штиль, и солнце палит почти отвесно, и море кишит планктоном.

- Что? — спросила Умница Лил.
- Ничего. Давай пить эту мелководную жижу.
- Том, что с тобой такое? Что-нибудь не ладится?
- Нет.
- Ты сегодня ужасно грустный и как будто чуть-чуть постарел.
- Это от северного ветра.
- Но ты всегда говорил, что северный ветер бодрит тебя и придает тебе силы. Как мы часто любили с тобой оттого, что дул северный ветер.
- Очень часто.
- Ты всегда хвалил северный ветер, и ты купил мне вот это пальто носить, когда он задует.
- Что ж, пальто красивое.

— Я бы его уже десять раз могла продать, — сказала Умница Лил. — Ты даже не представляешь, сколько на него было охотниц.

— Сегодня подходящая для него погода.

— Развеселись, Том. Ты же всегда такой веселый, когда выпьешь. Допей свой стакан и закажи еще.

— Это нельзя пить быстро, лоб заболит.

— Ну, тяни медленно, глоток за глотком. А я, пожалуй, выпью еще один highbolito.

Она сама приготовила себе хайболл, взяв бутылку, заранее поставленную перед ней Серафином, и Томас Хадсон посмотрел и сказал:

— Ну что это за питье — одна пресная вода. И цвет такой, как у воды в реке Файрход до слияния с Гиббоном, от которого образуется Мэдисон. Долей еще виски, тогда хоть получится цвет той речушки, что впадает в Медвежью реку у кедровой рощи за Ваб-Ми-Ми.

— Какое смешное название «Ваб-Ми-Ми», — сказала она. — А что оно означает?

— Не знаю, — ответил он. — Просто так называется индейский поселок. Я, наверно, когда-то знал, как перевести, да забыл. Это на языке оджибвеев.

— Расскажи мне про индейцев, — попросила Умница Лил. — Про индейцев даже интереснее, чем про психов.

— Здесь, на побережье, индейцев немало. Только эти индейцы — поморяне, они больше рыбаки и угольщики.

— Про кубинских индейцев ты мне не рассказывай. Они все mulatos⁴⁶.

— Нет, это неверно. Среди них есть и чистокровные индейцы. Их предков привезли сюда, наверно, пленниками с Юкатана.

— Не люблю уscatecos⁴⁷.

— А я люблю. Даже очень.

— Расскажи лучше про Ваб-Ми-Ми. Это на Дальнем Западе?

— Нет, это на Севере. Недалеко от Канады.

— В Канаде я была. Ездила раз в Монреаль на экскурсионном пароходе. Но шел дождь, и ничего не было видно, и мы в тот же вечер уехали поездом обратно в Нью-Йорк.

— И все время, что вы плыли, шел дождь?

— Не переставая. А пока мы еще не вошли в устье реки, был туман и временами шел снег. Нет уж, бог с ней, с Канадой. Расскажи про Ваб-Ми-Ми.

— Это был небольшой городок с лесопилкой на берегу реки. Прямо

через городок проходила железная дорога, и у самого полотна громоздились кучи опилок. На реке была устроена запань, и речное русло было на несколько миль запружено бревнами. Как-то раз я там ловил рыбу, вздумал перейти с удочкой на другой берег и ползком стал перебираться с бревна на бревно. Вдруг одно бревно подо мной повернулось, и я очутился в воде. А когда я хотел выкарабкаться, оказалось, что надо мной сплошной бревенчатый свод. Сколько я ни шарил руками в темноте в поисках щели или просвета, мои пальцы встречали только древесную кору. Нигде не было такого места, чтобы можно было раздвинуть два бревна и пролезть между ними.

— Что же ты стал делать?

— Утонул.

— Ой, не шути так, — сказала она. — Скорей расскажи, что ты сделал.

— Я сразу же понял, что медлить нельзя. Стал пядь за пядью ощупывать ближайшее бревно, пока не нащупал то место, где оно прижималось к соседнему. Тогда я уперся обеими руками и до тех пор подталкивал его кверху, пока бревна чуть-чуть не разошлись. Я быстро просунул в просвет кисти рук, потом предплечья и локти и, уже работая локтями, развел бревна настолько, что смог высунуть голову и выпростать руки до самых плеч. Долго я лежал между двумя бревнами, обняв их руками и чувствуя, как нежно я их люблю. От бревен вода в реке казалась коричневой. А в речушке, впадающей неподалеку, она была такого цвета, как то, что ты сейчас пьешь.

— Мне бы ни за что не раздвинуть этих бревен.

— Я и сам не надеялся, что смогу их раздвинуть.

— Сколько времени ты пробыл под водой?

— Не знаю. Знаю только, что я очень долго лежал между бревнами, отдыхая, прежде чем решился действовать дальше.

— Этот рассказ мне нравится. Но после него меня будут мучить кошмары. Расскажи мне что-нибудь веселое, Том.

— Хорошо, — сказал он. — Дай подумать.

— Нет. Рассказывай сразу, не задумывайся.

— Хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Когда Том-младший был еще совсем маленький...

— Que muchacho mas guapo![48](#) — перебила его Умница Лил. — Que noticias tienes de el?[49](#)

— Muy buenas[50](#).

— Me alegro[51](#), — сказала Умница Лил, и при мысли о Томе-младшем, о летчике, глаза у нее наполнились слезами. — Sierapre tengo su fotografia

en uniforme con el sagrado corazon de Jesus arriba de la fotografia y al lado la virgen del Cobre.[52](#)

— Ты свято веришь в богоматерь дель Кобре?

— Верю. Слепо верю.

— Вот и продолжай верить.

— Она денно и ночью заботится о Томе.

— Прекрасно, — сказал Томас Хадсон. — Серафин, еще одну двойную порцию, пожалуйста. Ну, так хочешь слушать веселую историю?

— Да, пожалуйста, — сказала Умница Лил. — Прошу тебя, расскажи что-нибудь веселое. А то мне опять стало грустно.

— Это веселая история, — сказал Томас Хадсон. — Когда мы в первый раз поехали с Томом в Европу, ему исполнилось всего три месяца, а пароходишко был древний, маленький, тихоходный, и море большей частью было бурное. На пароходе пахло трюмной водой и машинным маслом, и медью иллюминаторов, покрытых смазкой, и lavabos[53](#), и дезинфекцией — большими розовыми лепешками, которые клали в писсуары...

— Pues[54](#), что-то не очень весело.

— Si, mujer[55](#). Ни черта ты не понимаешь. Это веселая история, очень веселая. Так, продолжаю. Кроме того, на нашем пароходе пахло ванными, и ты должен был мыться в определенные часы, а не помоешься, тогда стюард при ванной будет презирать тебя; пахло горячей соленой водой, льющейся из медных кранов в кабине, и мокрой деревянной решеткой на полу, и накрахмаленной курткой стюарда. Кроме того, там пахло дешевой английской стряпней, что способна испортить человеку настроение, и потухшими окурками сигарет «Вудбайнз», «Плейерс» и «Голд флейкс» в курительной комнате и всюду, где их ни бросят. Там не было ни одного приятного запаха, а ты ведь знаешь, что от англичан — и от мужчин и от женщин — идет специфический дух, они сами его чувствуют, как негры чувствуют наш запах, и поэтому им надо очень часто мыться. От коровы, когда она дыхнет на тебя, пахнет сладко, а вот от англичан — нет. И курение им не помогает, трубка может только добавить кое-что к их запаху. Правда, твид у них пахнет хорошо, и кожаная обувь, и седельное снаряжение тоже хорошо пахнет. Но на пароходе седельного снаряжения не бывает, а твид пропитан вонью потухшей трубки. Единственный приятный запах на этом пароходе можно было почувствовать, уткнувшись носом в высокий стакан с сухим искристым девонским сидром. Сидр пах замечательно, и я утыкался в него носом по мере своих возможностей. Иногда даже превышая их.

— Pues. Вот это уже немножко повеселее.

— А сейчас пойдет самое веселое. Наша каюта была расположена низко — чуть выше уровня воды, так что иллюминатор приходилось держать закрытым. В него было видно, как вода мчится мимо и какой плотной зеленой стеной кидается она на стекло. Мы связали наши кофры и чемоданы и устроили из них заграждение у койки, чтобы Том не падал, а когда приходили проверить его, он каждый раз встречал нас смехом, если, конечно, не спал.

— Трехмесячный и уже смеялся?

— Он всегда смеялся. Я не помню, чтобы Том когда-нибудь плакал в младенчестве.

— Que muchacho mas lindo y mas guapo![56](#)

— Да, — сказал Томас Хадсон. — Рассказать тебе еще одну веселую историю о нем?

— Почему ты разошелся с его очаровательной матерью?

— Вышло такое странное стечение обстоятельств. Ну так как, хочешь еще одну веселую историю?

— Да. Только чтобы в ней было поменьше запахов.

— Вот этот замороженный дайкири, так хорошо взбитый, похож на волну, когда нос парохода, делающего по тридцать узлов, испарывает ее и она разваливается на две стороны. А что, если б замороженный дайкири еще и фосфоресцировал?

— Добавь в него фосфора. Только, по-моему, это будет вредно. У нас на Кубе бывает, что люди совершают самоубийство, наевшись спичечных фосфорных головок.

— И выпив tinte rapido. А что это такое «быстрые чернила»?

— Это такая жидкость, ею красят обувь в черный цвет. Но девушки — те, кому не повезло в любви или кого обманули женихи, сделав с ними нехорошее и так и не женившись на них, чаще всего обливаются спиртом и поджигают себя. Это классический способ самоубийства.

— Да, знаю, — сказал Томас Хадсон. — Auto da fe.

— Это уж наверняка, — сказала Умница Лил. — При этом не выживешь. Вся голова в ожогах, и обычно ожоги и по всему телу. Быстрые чернила — это чаще всего просто красивый жест. Йод au fond[57](#) тоже чаще всего красивый жест.

— О чем это вы, упыри, тут болтаете? — спросил бармен Серафин.

— О самоубийствах.

— Naу mucho[58](#), — сказал Серафин. — Особенно среди бедного люда. Я не припомню, чтобы кто-нибудь из богатых кубинцев кончал с собой. А

ты?

— А я помню, — сказала Умница Лил. — Было несколько таких случаев. И все хорошие люди.

— Уж ты запомнишь что надо и что не надо, — сказал Серафин. — Сеньор Томас, а вы не хотите заесть чем-нибудь свой дайкири? Un poco de pescado? Puerco frito?[59](#) Закуски?

— Si, — сказал Томас Хадсон. — Давайте, что у вас найдется.

Серафин поставил перед ним блюдо с хрустящими коричневыми ломтиками жареной свинины и блюдо с красным снеппером, запеченным в тесте так, что розоватокрасная кожица его была покрыта желтой корочкой, а под ней белела нежная мякоть. Серафин был рослый малый, не очень-то церемонный на язык, и ступал он тоже не церемонясь, потому что носил башмаки на деревянной подошве, постукивающие на мокром полу за стойкой, где всегда было что-нибудь расплескано.

— Холодное мясо подать?

— Нет. Хватит с него.

— Бери все, что ни предложат, Том, — сказала Умница Лил. — Ты же знаешь здешние порядки.

Про этот бар было известно, что даровыми коктейлями тут не угощают. Зато гости могли получать бесплатную горячую закуску, куда входили не только жареная рыба и свинина, но и кусочки жареного мяса и гренки с сыром и ветчиной. Кроме того, бармены смешивали коктейли в огромных миксерах, и после разлива там всегда оставалось по меньшей мере еще порции полторы.

— Теперь тебе не так грустно? — спросила Умница Лил.

— Да.

— Скажи мне, Том. Что тебя так огорчает?

— El mundo entero[60](#).

— А кого же не огорчает то, что творится во всем мире? И день ото дня все хуже и хуже. Но нельзя же только и делать, что сокрушаться из-за этого.

— Законом это не преследуется.

— А зачем законы, мы сами понимаем, что хорошо, что плохо.

Дискуссии с Умницей Лил на этические темы не совсем то, что мне требуется, подумал Томас Хадсон. А что тебе, дьяволу, требуется? Тебе требовалось как следует напиться, и ты, вероятно, уже пьян, хоть и не замечаешь этого. Того, что тебе нужно, ты получить не можешь, и твои желания никогда больше не исполнятся. Но ведь есть различные паллиативы, вот и воспользуйся ими. Действуй, Хадсон. Действуй.

— Voy a tomar otro de estos grandes sin azúcar⁶¹, — сказал он Серафину.

— En seguida, don Tomas⁶², — сказал Серафин. — Вы что, хотите перекрыть свой же рекорд?

— Нет. Я просто пью, и пью спокойно.

— Когда ставили рекорд, вы тоже пили спокойно, — сказал Серафин. — Спокойно и мужественно, с утра и до вечера. И вышли отсюда на своих на двоих.

— Плевал я на свой рекорд.

— Имеете шанс побить его, если будете много пить и мало закусывать, — сказал ему Серафин. — Тогда шансы у вас есть.

— Том, побей рекорд, — сказала Умница Лил. — Я буду свидетельницей.

— Не нужны ему свидетели, — сказал Серафин. — Я свидетель. А кончу смену, передам счет Константе. Помните тот день, когда вы поставили рекорд? Так вот вы уже сейчас его перекрыли.

— Плевал я на свой рекорд.

— Вы в хорошей форме, пьете отлично, без перерывов, и пока на вас ничего не сказывается.

— К матери мой рекорд.

— Ладно. Como usted quiere⁶³. Счет я веду на всякий случай, вдруг вы передумаете.

— Со счета он не собьется, — сказала Умница Лил. — Чеки-то у него с копиями.

— Тебе что нужно, женщина? Тебе нужен настоящий рекорд или фиговый?

— Ни то и ни другое. Я хочу highbolito con agua mineral.

— Como siempre⁶⁴, — сказал Серафин.

— Я коньяк тоже пью.

— Мне бы лучше не видеть, как ты пьешь коньяк.

— Знаешь, Том, я однажды, когда садилась в трамвай, упала и чуть не погибла.

— Бедная Лил, — сказал Серафин. — Какая у тебя жизнь — полная опасностей и всяких переживаний!

— Уж лучше твоей — с утра до вечера стоишь за стойкой в деревянных башмаках и угождаешь пьяницам.

— Это моя работа, — сказал Серафин. — А угождать таким выдающимся пьяницам, как ты, для меня большая честь.

В бар вошел Генри Вуд. Он стал рядом с Хадсоном — высокий, весь

потный, взволнованный переменой в ранее принятых планах. Что может доставить ему большее удовольствие, подумал Томас Хадсон, чем внезапное изменение планов!

— Мы едем к Альфреду в его «Дом греха», — сказал Генри. — Хочешь с нами, Том?

— Вилли ждет тебя в «Баскском баре».

— Пожалуй, на этот раз Вилли нам брать незачем.

— Тогда так и скажи ему.

— Хорошо, я ему позвоню. А ты поедешь, Том? Будет очень весело.

— Тебе надо бы поесть.

— Я закажу себе большой сытный обед. Ну, как твои дела?

— Мои дела хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Отлично.

— Будешь перекрывать свой рекорд?

— Нет.

— Вечером увидимся?

— Вряд ли.

— Если хочешь, я приеду и переночую у тебя.

— Нет. Развлекайся. Только поешь чего-нибудь.

— Я закажу себе великолепный обед. Даю честное слово.

— Не забудь позвонить Вилли.

— Вилли я позвоню. Можешь не беспокоиться.

— А где у Альфреда этот «Дом греха»?

— У него великолепно. Дом смотрит на гавань, хорошо обставлен, и вообще там замечательно.

— Я спрашиваю адрес.

— Адреса я не знаю, но я передам с Вилли.

— Ты не думаешь, что Вилли обидится?

— А что поделаешь, Том? Не могу я пригласить его туда. Ты знаешь, как я люблю Вилли. Но есть места, куда я не могу таскать его за собой. Ты знаешь это не хуже меня.

— Ладно. Только не забудь позвонить ему.

— Честное слово, позвоню. И даю слово, что закажу себе шикарный обед.

Он улыбнулся, похлопал Умницу Лил по плечу и вышел. Для такого гиганта походка у него была удивительно красивая.

— А какие у него девочки в «Доме греха»? — спросил Томас Хадсон Умницу Лил.

— Да нет их, все разбежались, — сказала Умница Лил. — Там есть нечего. И выпивки, по-моему, тоже маловато. Куда ты поедешь — туда

или, может, ко мне?

— К тебе, — сказал Томас Хадсон. — Но попозже.

— Расскажи мне еще что-нибудь веселое.

— Хорошо. Но о чем?

— Серафин, — сказала Лил. — Дай Томасу еще одну порцию двойного замороженного, без сахара. Tengo todavia mi highbolito⁶⁵. — Потом, обратившись к Томасу Хадсону: — Вспомни, когда тебе жилось всего веселее. Только чтобы без запахов.

— Без запахов не обойдется, — сказал Томас Хадсон. Он смотрел, как Генри Вуд прошел через площадь и сел в спортивную машину очень богатого сахарного плантатора по имени Альфред. Генри Вуд был слишком громоздкий для такой машины. Громоздкость ему во всем мешает, подумал Томас Хадсон. Но есть кое-какие дела, где она не помеха. Нет, сказал он себе. Сегодня же у тебя свободный день. Пользуйся своим свободным днем. — О чем же тебе рассказать?

— О том, о чем я тебя просила.

Он смотрел, как Серафин наклоняет миксер над высоким бокалом и как шапка дайкири завитками переливается через его край на стойку. Серафин надел на бокал снизу картонный кружок, и Томас Хадсон поднял его — тяжелый, холодный — за тонкую ножку и сделал большой глоток, и, прежде чем проглотить, задержал дайкири во рту, холодя им язык и зубы.

— Хорошо, — сказал он. — Самые веселые дни в моей жизни были те, когда я мальчишкой просыпался утром, и мне не надо было идти в школу, и не надо было работать. По утрам я всегда просыпался очень голодным и чувствовал запах росы на траве и слышал, как ветер шумит в верхушках деревьев, если было ветрено, а если ветра не было, тогда я слышал лесную тишину и покой озера и ловил первые утренние звуки. Первым звуком иногда был полет зимородка над водой, такой спокойной, что его отражение скользило по ней, а он летел и стрекотал на лету. Иногда это цокала белка на дереве около дома, подергивая хвостом в такт своему цоканью. Часто это был голос ржанки, доносившийся с холмов. И всякий раз, когда я просыпался и слышал первые утренние звуки, хотел есть и вспоминал, что ни идти в школу, ни работать не надо, мне было так хорошо, как никогда больше не бывало.

— Даже с женщинами?

— С женщинами я был счастлив. Отчаянно счастлив. Невыносимо счастлив. Так счастлив, что самому не верилось — казалось, ты пьян или сошел с ума. Но такого счастья, как с моими мальчиками, когда они были со мной, или как по утрам в детстве, я никогда больше не испытывал.

— Как это может быть? Один, без людей — и счастлив не меньше, чем с людьми.

— Это все ерунда. Ты сама просила меня рассказать первое, что придет в голову.

— Вовсе нет. Я просила, расскажи мне веселую историю о самом приятном, что у тебя было в жизни. А какая же это история? Проснулся человек, и ему стало приятно. Ты расскажи настоящую.

— О чем?

— Чтобы там была любовь.

— Какая любовь? Небесная или земная?

— Да ну тебя. Просто настоящая любовь и чтоб было весело.

— Об этом могу рассказать очень интересную историю.

— Вот и рассказывай. Еще порцию заказать?

— Сначала дай эту допью. Так вот. Это было в Гонконге, в городе замечательном, где я веселился вовсю. Там очень красивая бухта, а на материковом ее берегу стоит город Каулун. Сам Гонконг расположен на холмистом острове, покрытом густыми рощами, наверх там ведут извилистые дороги, всюду разбросаны виллы, а город внизу, у подножия холмов, как раз напротив Каулуна. Между Гонконгом и Каулуном курсируют современные быстроходные паромы.

Каулун красивый город, тебе бы он очень понравился. Чистый, хорошо спланированный, рощи подходят к самым его окраинам, а рядом с двором женской тюрьмы прекрасный участок для охоты на лесных голубей. Мы ходили охотиться на этих голубей — они крупные, красивые, с прелестным лиловатым оперением на шейке, а полет у них стремительный, сильный. Охота шла в сумерках, когда они прилетали на ночлег к огромному лавровому дереву, которое росло у побеленной стены тюремного двора. Иногда мне удавалось подстрелить голубка, быстро летящего по ветру над самой моей головой, и он падал на тюремный двор, и я слышал, как арестантки поднимали из-за него драку, кричали, визжали от восторга, а потом опять крик и визг, когда охранник-пенджабец, разогнав их, подбирал птицу и, как человек обязательный, выносил ее нам из служебной калитки.

Район на материке за Каулуном называется Новые Территории. Среди холмов в рощах там водилось много лесных голубей, и по вечерам бывало слышно, их перекличку друг с другом. В этих местах мне часто приходилось видеть, как женщины и дети копают землю у обочин дорог и ссыпают ее в корзины. Увидев человека с ружьем, они убегали и прятались в лесу. Как выяснилось, землю они копали потому, что в ней был

вольфрам. В те годы вольфрам очень ценился.

— Es un poco pesada esta historia⁶⁶.

— Нет, Умница Лил. Эта история совсем не скучная. Подожди, не торопись. Сам по себе вольфрам действительно pesado⁶⁷. Но это все очень любопытно. Добывать его, оказывается, легче легкого. Копай землю и вывози ее или собирай камни. В Эстремадуре, в Испании, есть целые деревни, где дома сложены из камней с высоким содержанием вольфрама, и каменные изгороди в полях тоже из этой руды. А тамошние крестьяне живут бедно. В те времена вольфрам был в такой цене, что мы использовали транспортные самолеты «ДС-2» — сейчас они летают отсюда в Майами — для доставки его с полей Нам Янга в Свободном Китае в аэропорт Кай-Так в Каулуне. А оттуда его морем вывозили в Соединенные Штаты. Вольфрам — редкий металл, он считался жизненно необходимым в нашей подготовке к войне, так как его употребляли при изготовлении стали, а на Новых Территориях любой мужчина, любая женщина выкапывали столько земли, сколько могли унести в плоской корзине на голове, и сгружали эту землю в большом сарае, где ее продавали из-под полы. Я выяснил это на голубиной охоте и довел до сведения людей, которые были заняты скупкой вольфрама на материке. Моими сообщениями никто не заинтересовался, но я продолжал свое и пошел с докладом выше, и наконец один крупный военный, которому не было никакого дела до того, что вольфрам на Новых Территориях расхищается, сказал мне: «Друг мой, вы же знаете, разработки в Нам Янге ведутся». Но по вечерам, когда мы охотились около женской тюрьмы и видели, как старый двухмоторный «Дуглас», только что перелетев через японскую линию фронта, появляется из-за холмов и идет на снижение к аэропорту, груженный мешками с вольфрамом, нам странно было представить себе, что многие женщины в женской тюрьме отбывают срок за незаконную добычу вольфрама.

— Si, es raro⁶⁸, — сказала Умница Лил. — Но когда же будет про любовь?

— Когда захочешь, тогда и будет, — сказал Томас Хадсон. — Но если ты послушаешь про места, где все это происходило, тогда мой рассказ произведет на тебя еще большее впечатление.

Около Гонконга много островов и заливчиков и вода в море чудесная, чистая. Новые Территории — это холмистый, заросший лесами полуостров на материке, а остров, где построен город Гонконг, лежит в большой, синей, глубокой бухте, протянувшейся от Южно-Китайского моря до самого Кантона. Зимой погода там была как у нас сейчас, когда норд

переходит в ураган с дождями, и спать там было прохладно.

Я просыпался по утрам и даже в дождь шел на рыбный рынок. Тамошняя рыба почти такая же, как наша, а основное, что идет у них в пищу, — это красный групер. А еще там были бочковатые, мокро поблескивающие помпано и огромные креветки, я таких громадин нигде больше не видел. Рыбный рынок особенно хорош был рано утром, когда туда приносили свежую, только что выловленную, мокро поблескивающую рыбу. Незвестные мне сорта попадались, но мало, а кроме рыбы, там торговали и дикими утками, пойманными в силки: шилохвосты, чирки, свиязи — и селезни и уточки — в зимнем оперении, а такого нежного, сложнейшего, как у наших вальдшнепов, узора оперения я у диких уток никогда раньше не видел. Я любовался этими птицами, их невероятным оперением, прекрасными глазами, любовался жирной, мокро поблескивающей, только что выловленной рыбой и прекрасными овощами, выращенными на человеческих экскрементах, именующихся там «ночной подкормкой», а овощи были такие красивые — что твои змеи. Я ходил на рынок каждое утро и каждое утро испытывал наслаждение.

Еще по утрам на улицах всегда встречались похоронные процессии. Провожающие были одеты во все белое, оркестр играл веселые мотивы. В тот год на похоронах чаще всего можно было услышать «Минуты счастья вновь пришли». Днем эта песенка все время стояла у тебя в ушах, потому что люди мерли как мухи, а ведь на этом острове, по слухам, жили четыреста миллионеров, не считая тех, что обосновались в Каулуне.

— *Millonarios chinos?*

— Да, главным образом миллионеры-китайцы. Но были и всякие другие. Я сам знал многих миллионеров, и мы часто обедали вместе в знаменитых китайских ресторанах. В Гонконге было несколько шикарных ресторанов, не уступающих самым известным в мире, а кантонская кухня великолепна. В тот год среди моих лучших друзей были десять миллионеров, которых я знал только по их инициалам — Х. М., М. Я., Т. В., Х. Ж. и тому подобное. Так именовались все важные китайцы. Кроме того, я дружил с тремя китайскими генералами, один из них приехал из Уайтчепела в Лондоне и служил инспектором полиции — замечательный был человек; и еще с шестью летчиками Китайской национальной авиакомпания, которые получали баснословные деньги, но стоили того; еще был у меня знакомый полисмен, и не совсем нормальный австралиец, и много англичан офицеров, и... Но не буду утруждать тебя перечислением всех моих друзей. Стольких хороших, близких дружков у меня больше не было ни до, ни после Гонконг.

— Cua'ndo viene el amor?[69](#)

— Я все думаю, какую amor пустить первой. Ладно. Вот тебе одна моя amor.

— Только чтобы было интересно, а то мне немножко надоел твой Китай.

— И напрасно. Ты бы влюбилась в него так же, как я.

— Почему же ты не остался там?

— Нельзя там было оставаться, того и гляди, могли прийти япошки.

— Todo esta' jodio por la guerra[70](#).

— Да, — сказал Томас Хадсон. — Согласен. — Он никогда не слышал от Умницы Лил такого крепкого словца и, услышав его, удивился.

— Me cansan con la guerra[71](#).

— Мне тоже, — сказал Томас Хадсон. — Я здорово устал от нее. Но вспоминать Гонконг никогда не устаю.

— Ну, так Расскажи мне о нем побольше. Это bastante interesante[72](#). Но я хотела послушать про любовь.

— Да знаешь, там все было так интересно, что времени на любовь почти не оставалось.

— А кто у тебя была там первая?

— Первой была очень высокая и красивая китаянка, сильно европеизированная, эмансипированная, но она не хотела приходить ко мне в гостиницу, говоря, что тогда все об этом узнают, и ночевать у нее дома тоже не позволяла, потому что тогда узнает прислуга. Но ее овчарка уже знала о нас. Она сильно нам все осложняла.

— Тогда где же вы с ней сходились?

— Сходились, как молокососы сходятся, — там, где мне удавалось ее уговорить, главным образом в машинах, в лодках.

— Бедный наш дружок мистер Икс!

— Конечно, бедный.

— И тем ваша любовь и ограничивалась? Вы так-таки и не провели ни одной ночи вместе?

— Нет.

— Бедный Том. А стоила она таких терзаний?

— Кто ее знает. Кажется, стоила. Мне, конечно, надо было снять дом, а не оставаться в отеле.

— «Дом греха» тебе надо было снять, как это здесь делают.

— Не люблю я эти «Дома греха».

— Да, знаю. Но если уж она так тебе была нужна.

— Это все как-то обошлось. Тебе еще не надоело слушать?

— Нет, Том, что ты! Про такое не надоест. Чем же это все кончилось?

— Однажды мы ужинали с этой девушкой, а после ужина долго катались в лодке, и это было замечательно, только не очень удобно. У нее была чудесная кожа, все, что предшествует тому самому, очень возбуждало ее, и губы у нее были тонкие, не отягощенные любовью. Потом мы вышли из лодки и пошли к ней в дом, а там эта овчарка, и надо было стараться, чтобы никто не проснулся, и наконец я ушел к себе в отель, неудовлетворенный, усталый от споров, хотя она и была права. Но зачем тогда эта дурацкая эмансипация, если нельзя лечь в постель с мужчиной? Если уж провозглашать эмансипацию, тогда надо прежде всего дать свободу простыням. Словом, я был настроен мрачно и frustrado⁷³.

— Я никогда не видела, чтобы ты был frustrado. Это, наверно, очень смешно.

— Нет, не смешно. Я был злющий в ту ночь, все мне казалось отвратительным.

— Ну, рассказывай дальше.

— Взял я ключ у портье с таким настроением, что к черту все на свете. Отель был большой, и мрачный, и мрачно роскошный, и я поднялся на лифте, зная, что меня ждет большой, и роскошный, и мрачный, и неуютный номер и не ждет прекрасная китаянка. Прохожу по коридору, отпираю массивную дверь своего огромного мрачного номера, и как ты думаешь, что я там вижу?

— Что ты там видишь?

— Трех совершенно прелестных молодых китаянок, таких прелестных, что моя китаянка, которую мне не удалось в тот день заполучить, рядом с ними выглядела бы школьной учительницей. До того они были хороши, что просто выдержать невозможно, и ни одна из трех ни слова не говорила по-английски.

— Откуда же они взялись?

— Один из моих миллионеров прислал. Они мне передали записку от него. Записка была на толстой бумаге в веленовом конверте, и там было сказано только: «С приветом от С. В.».

— И что ты стал делать?

— Я ведь совершенно не знал их обычаев, поэтому я сперва поздоровался с каждой за руку, потом перецеловал всех по очереди, потом предложил пойти вместе под душ, чтобы лучше перезнакомиться между собой.

— На каком языке ты им это предложил?

— На английском.

— И они поняли?

— Я им все очень хорошо объяснил.

— А что было дальше?

— Я не знал, как быть, мне еще ни разу не приходилось ложиться в постель с тремя девушками сразу. Две — это еще куда ни шло спяну, хоть я знаю, что ты этого не одобряешь. Но три — это уже целая компания, и я просто не знал, как быть. Я спросил, не желают ли они выпить, но они не пожелали. Тогда я выпил сам, и мы все вчетвером сели на кровать — по счастью, кровать была огромных размеров, а девушки маленькие. А потом я выключил свет.

— Ну и как это было?

— Чудесно. Никогда бы не думал, что можно обнимать трех девушек сразу. Но оказалось, что можно. Тем более в темноте. Мне даже спать не хотелось. Но в конце концов я заснул, а когда проснулся, они все три спали и при утреннем свете были так же хороши, как накануне. Это были самые красивые девушки, каких я когда-либо видел.

— Лучше, чем я при нашем первом знакомстве двадцать пять лет назад?

— Нет, Лил. No puede ser⁷⁴. Но ведь они были китаянки, а ты знаешь, как китаянки могут быть хороши. У меня и раньше бывали китаянки.

— Но целых три сразу.

— Да, три — это многовато. Для любви нужна только одна, это я согласен.

— Ты не думай, что я ревную. Ты ведь их не искал сам, и потом, это был подарок. Вот ту, что с собакой, что не захотела с тобой спать, ее я ненавижу. Но скажи мне, Том, как ты себя чувствовал утром?

— Я себя чувствовал так, как будто меня выжали. Как будто во мне ничего не осталось, одна пустота. Спина у меня не гнулась, поясница болела так, что не прикоснись, и я чувствовал себя развратником до мозга костей.

— И первым делом ты выпил.

— Первым делом я выпил, и тогда мне стало немного лучше, а на душе так совсем хорошо.

— А потом что ты сделал?

— Посмотрел на них, как они спят все втроем, и пожалел, что у меня нет фотоаппарата. Прелестная получилась бы фотография. Но я все еще чувствовал себя выжатым, и меня мучил голод, и я подошел к окну посмотреть, какая погода, и увидел, что идет дождь. Я обрадовался, решив, что можно будет весь день проваляться в постели. Но сперва нужно было

позавтракать и позаботиться о завтраке для девушек. Я заперся в ванной, принял душ, потом потихоньку оделся и вышел из комнаты, осторожно притворив за собою дверь, чтобы не хлопнула. Внизу, в утреннем кафе при отеле, я плотно позавтракал — ел копчушки, булочки с джемом, шампиньоны и бекон. За завтраком я выпил целый чайник чаю и двойную порцию виски с содовой, но ощущение пустоты не проходило. Я просмотрел утреннюю гонконгскую газету на английском языке и при этом все думал: в котором же часу здесь встают? Потом я прошел через вестибюль к главному подъезду и выглянул на улицу. Дождь лил еще сильнее. Я хотел было зайти в бар, но он еще не открылся. Виски к завтраку мне приносили из служебного буфета. Дольше ждать не хотелось, и я поднялся к себе в номер. Отпер дверь и увидел, что китайки исчезли.

— Какая жалость.

— Вот и я тогда так подумал.

— Что же ты стал делать? Выпил, наверно.

— Да. Я выпил, а потом еще раз принял душ, хорошенько вымывшись с мылом, и тут меня стали вдвойне одолевать сожаления.

— Un doble remordimiento?

— Нет, не двойное сожаление, а два рода сожалений. О том, что я спал с тремя девушками, и о том, что они исчезли.

— Со мной по утрам тебя тоже, бывало, одолевали сожаления. Но ты быстро с ними справлялся.

— Верно. Я со всем умею быстро справляться, такой я человек. И я всегда был подвержен сожалениям. Но в то утро в отеле сожаления были просто гигантские, и притом вдвойне.

— И ты опять выпил.

— Как это ты догадалась? Да, а потом позвонил своему миллионеру. Но его нигде не было. Ни дома, ни в конторе.

— Наверно, он был в своем «Доме греха».

— Скорей всего. И туда же отправились мои китайки, рассказать, как у нас прошла ночь.

— Но где он сумел раздобыть трех таких красивых девушек? В Гаване теперь трех красавиц не раздобудешь. Ты не представляешь себе, как я сегодня намучилась, чтобы достать что-нибудь сносное для Генри и Вилли. Правда, утром это еще труднее.

— Ну, у гонконгских миллионеров это было поставлено по-деловому. Их агенты рыскали по всей стране. По всему Китаю. Совсем как антрепренеры бейсбольной команды «Бруклин Доджерс» в поисках пополнения. Только в каком-нибудь городе или деревне объявится

красавица, они уже тут как тут — купили и доставили для обучения, выхаживания и подготовки.

— Но как эти девушки могли выглядеть утром не хуже, чем вечером, ведь, наверно, у них были прически muy estilizado⁷⁵, как у всех китаянок. А чем сложнее прическа, тем трудней сохранить ее после такой ночи.

— А у них вовсе не было сложных причесок. У них волосы были подрезаны и распущены по плечам, как носили в то время американки, да и теперь еще многие носят. И чуть-чуть завиты. Так этому С. В. нравилось. Он бывал в Америке и, наверно, смотрел американские фильмы.

— И больше они у тебя не появлялись?

— Появлялись, но уже по одной. С. В. посылал их мне время от времени в виде подарка. Но трех сразу больше никогда не посылал. Они были новенькие, понятно, что он их приберегал для себя. И кроме того, он говорил, что не хочет подрывать мои моральные устои.

— Наверно, хороший был человек. А где он теперь?

— Его, кажется, расстреляли.

— Бедняга. Мне очень понравилась эта история, Том, и ты ее рассказал по возможности деликатно. И вроде бы сам немного развеселился.

Вроде бы так, подумал Томас Хадсон. Ну что ж, для этого я сюда и пришел. Разве нет?

— Слушай, Лил, — сказал он. — Не хватит ли нам пить?

— А как ты себя чувствуешь?

— Лучше.

— Поддай Томасу еще двойной замороженный, без сахара. А я уже немножко пьяненькая. Мне больше ничего не надо.

Я действительно чувствую себя лучше, подумал Томас Хадсон. То-то и странно. Всегда тебе становится лучше, все в конце концов преодолеваешь. Только одного нельзя преодолеть, это — смерти.

— Ты была когда-нибудь мертвая? — спросил он Лил.

— Конечно, нет.

— Yo tampoco⁷⁶.

— Зачем ты так говоришь? Мне страшно, когда ты так говоришь.

— Я не хотел пугать тебя, милая. Я никого не хочу пугать.

— Мне приятно, когда ты называешь меня милая.

Все это без толку, подумал Томас Хадсон. Неужели нельзя придумать что-нибудь другое, не менее действенное, чем сидеть и пить во «Флоридите» с потасканной старушкой Лил на том конце стойки, где обычно сидят старые шлюхи и напиваются в лоск? У тебя только четыре

свободных дня, неужели же нельзя провести их как-нибудь получше? Где? — подумал он. У Альфреда, в его «Доме греха»? Тебе и здесь неплохо. Где найдешь лучшую или хотя бы равноценную выпивку, а раз уж ты взялся пить, так пей, братец, на всю катушку. Этим ты сейчас занят, и пусть это занятие будет тебе по душе — по душе на всех частотах. Ты всегда одобрял и любил это занятие, так что изволь любить и сейчас.

— Люблю, — сказал он вслух.

— Что?

— Пить. Не просто пить, а пить вот эти двойные замороженные, без сахара. Если бы выпить столько, сколько я выпил, да с сахаром, пожалуй, стошнило бы.

— *Ya lo seo*⁷⁷. А если бы кто другой выпил столько, сколько ты, да без сахара, он, наверно, умер бы.

— Может, я тоже умру.

— Еще чего! Ты просто побьешь свой рекорд, а потом мы пойдем ко мне и ты заснешь и на самый худой конец будешь храпеть.

— А я храпел последний раз?

— *Horrores*⁷⁸. И называл меня десятью разными именами.

— Извини.

— Ничего. Мне было смешно. Я кое-что узнала о тебе, о чем раньше не догадывалась. А другие девушки не обижаются, когда ты называешь их по-разному?

— Других девушек у меня нет. Жена — есть.

— Я изо всех сил стараюсь, чтобы она мне нравилась, стараюсь не думать о ней плохо, но это очень трудно. Ругать ее при себе, конечно, никому не позволяю.

— Я ее буду ругать.

— Нет. Не надо. Это пошло. Я терпеть не могу две вещи. Мужчин, когда они плачут. Я знаю, плакать им иногда приходится. Но я этого не люблю. И еще не терплю, когда они ругают своих жен. А почти все этим занимаются. Так что ты свою, пожалуйста, не ругай, мне так хорошо с тобой, не порть мне удовольствия.

— Ладно. Пошла она к черту. Не будем о ней говорить.

— Том, прошу тебя. Ты же знаешь, я считаю ее красавицей. Она и есть красавица. Правда. *Pero no es tu mujer para ti*⁷⁹. Но не будем ее ругать.

— Хорошо.

— Расскажи мне еще что-нибудь веселое. Если тебе будет весело рассказывать, тогда можно и без любви.

— Нет у меня веселых историй.

— Зачем ты так говоришь? Ты их сотни знаешь. Выпей еще одну порцию и расскажи мне веселую историю.

— А ты почему ничего не расскажешь?

— Что же мне рассказывать?

— Что-нибудь для укрепления этой, как ее, морали.

— Tu tienae la moral muy baja⁸⁰.

— Конечно. Я это прекрасно знаю. Но ты бы все-таки рассказала мне что-нибудь такое для укрепления.

— Этим тебе надо заниматься. Сам знаешь. Все другое, все, что ни попросишь, я сделаю. И это ты тоже знаешь.

— Ладно. Так ты правда хочешь послушать еще одну веселую историю?

— Да, пожалуйста. Вот твой бокал. Еще одна веселая история и еще один дайкири, и тебе станет совсем хорошо.

— Ручаешься?

— Нет, — сказала она и заплакала, глядя на него, заплакала легко и естественно, будто вода забила в роднике. — Том, что с тобой? Почему ты мне ничего не говоришь? Я боюсь спросить. Это?

— Это самое, — сказал Томас Хадсон. Тогда она заплакала навзрыд, и он обнял ее за плечи при всем честном народе и стал успокаивать. Она плакала некрасиво. Она плакала откровенно и сокрушительно.

— Бедный мой Том, — сказала она. — Бедный Том.

— Возьми себя в руки, miјer, и выпей коньяку. Вот теперь мы с тобой повеселимся.

— Не хочу я веселиться. Я никогда больше не буду веселиться.

— Постой, — сказал Томас Хадсон. — Видишь, как бывает, когда расскажешь людям все как есть.

— Сейчас я развеселюсь, — сказала она. — Подожди, дай мне минутку. Я схожу в уборную и успокоюсь.

Да уж, будь любезна, подумал Томас Хадсон. Потому что мне очень плохо, и, если ты не перестанешь плакать или заговоришь об этом, я отсюда смоюсь. А если я смоюсь отсюда, куда мне, к черту, деваться? Он понимал, что возможности его ограничены и что никакой «Дом греха» тут не поможет.

— Дай мне еще двойного замороженного дайкири без сахара. No se lo que pasa con esta miјer⁸¹.

— Она плачет, как из лейки льет, — сказал бармен. — Вот кого бы пустить вместо водопровода.

— А как там дела с водопроводом? — спросил Томас Хадсон.

Его сосед слева — веселый коротышка со сломанным носом (в лицо Томас Хадсон его знал, но ни имени, ни политических убеждений вспомнить не мог) — сказал:

— Это *sabrones*⁸²! За воду они всегда деньги вытянут, потому что без воды не обойдешься. Без всего прочего можно обойтись, а воду ничто не заменит. Без воды как ты обойдешься? Так что на воду они деньги у нас всегда вытянут. И значит, хорошего водопровода здесь не будет.

— Я что-то не совсем вас понимаю.

— *Si, hombre*⁸³. Денег на водопровод они всегда наберут, потому что водопровод — вещь необходимая. Значит, проводить его не станут. Будете вы резать курочку, которая несет вам золотые водопроводы?

— А почему не провести водопровод, хорошо заработать на нем и словчить как-нибудь еще?

— Лучше, чем с водой, не словчишь. Пообещайте людям воду, вот вам и деньги. Какой политик будет проводить хороший водопровод и тем самым ставить крест на своем *truco*⁸⁴? Политики неопытные, бывает, постреливают друг друга из-за всяких мелких дел, но кто захочет выбивать истинную основу из-под политической экономии? Предлагаю тост за таможенную, за махинации с лотереей, за твердые цены на сахар и за то, чтобы у нас никогда не было водопровода.

— *Prosit*, — сказал Томас Хадсон.

Во время их разговора из дамской уборной появилась Умница Лил. Лицо она привела в порядок и не плакала, но вид у нее был убитый.

— Ты знаешь этого джентльмена? — спросил Томас Хадсон, представляя ей своего нового или же вновь обретенного старого знакомого.

— Знает, но только в постели, — сказал этот джентльмен.

— *Callate*⁸⁵, — сказала Умница Лил. — Он политик, — пояснила она Томасу Хадсону. — *Muy hambriendo en este momento*⁸⁶.

— Хочу пить, — поправил ее политик. — К вашим услугам, — сказал он Томасу Хадсону. — Что будем заказывать?

— Двойной замороженный дайкири без сахара. Бросим кости, кому платить?

— Нет, плачу я. У меня здесь неограниченный кредит.

— Он хороший человек, — шепотом сказала Томасу Хадсону Умница Лил, а хороший человек тем временем старался привлечь внимание ближайшего бармена. — Политик. Но очень честный и очень веселый.

Политик обнял Лил за талию.

— Ты с каждым днем худеешь, *mi vida*⁸⁷, — сказал он. — Мы с тобой, наверно, одной политической партии.

— Водопроводной, — сказал Томас Хадсон.

— Ну нет! Что это вы? Хотите отнять у нас хлеб наш насущный и напустить нам полон рот воды?

— Выпьем за то, чтобы рута гуегта⁸⁸ скорее кончилась, — сказала Лил.

— Пьем.

— За черный рынок, — сказал политик. — За нехватку цемента. За тех, кто контролирует цены на черные бобы.

— Пьем, — сказал Томас Хадсон и добавил: — За рис.

— За рис, — сказал политик. — Пьем.

— Как тебе сейчас — лучше? — спросила Умница Лил.

— Конечно, лучше.

Томас Хадсон взглянул на нее и увидел, что она, того и гляди, опять зальется слезами.

— Только попробуй заплакать, — сказал он. — Я тебе физиономию разобью.

На стене за стойкой висел литографированный плакат, на котором был изображен человек в белом костюме, а под ним надпись: «Un Alcalde Mejor». «За лучшего мэра». Плакат был большой, и «лучший мэр» смотрел прямо в глаза всем здешним пьянчугам.

— За «Un Alcalde Mejor», — сказал политик. — За худшего мэра.

— Будете баллотироваться? — спросил его Томас Хадсон.

— А как же?

— Вот и хорошо! — сказала Умница Лил. — Давайте изложим нашу политическую платформу.

— Это не трудно. Лозунг у нас завлекательный: «Un Alcalde Peor». А собственно, зачем нам платформа?

— Без платформы нельзя, — сказала Лил. — Ты как считаешь, Томас?

— Считаю, что нельзя. Ну а если так: долой сельские школы?

— Долой! — сказал кандидат в мэры.

— Menos guaguas y reoges⁸⁹, — предложила Умница Лил.

— Прекрасно. Автобусы ходят реже и возят хуже.

— А почему бы нам вообще не разделаться с транспортом? — сказал кандидат. — Es mas sensillo⁹⁰.

— Правильно, — сказал Томас Хадсон. — Cero transporte⁹¹.

— Коротко и благородно, — сказал кандидат. — И сразу видно, что мы люди беспристрастные. Но этот лозунг можно развить. Если так: Cero transporte aereo, iterrestre, maritimo⁹².

— Прекрасно! Вот теперь у нас настоящая платформа. А что мы

скажем о проказе?

— Pora una lepra mas grande para Cuba⁹³, — сказал кандидат.

— Por el cancer cubano⁹⁴, — сказал Томас Хадсон.

— Por una tubersulosis ampliada, adecuada y permanente para Cuba y los cubanos⁹⁵. — сказал кандидат. — Это малость длинновато, но по радио прозвучит хорошо. Как мы относимся к сифилису, единоверцы мои?

— Por una sifilis criola cien por cien⁹⁶.

— Прекрасно, — сказал кандидат. — Долой пенициллин и все прочие штучки американского империализма.

— Долой, — сказал Томас Хадсон.

— По-моему, нам надо выпить, — сказала Умница Лил. — Как вы к этому относитесь, correlligionarios⁹⁷?

— Блестящая мысль, — сказал кандидат. — Никому другому она и в голову не могла бы прийти.

— Даже тебе? — сказала Умница Лил.

— Наваливайтесь на мой кредит, — сказал кандидат. — Посмотрим, выдержит ли он такую атаку. Бар-мен, бар-друг, всем нам того же самого, а вот этому моему политическому соратнику без сахара.

— Вот хорошая идея для лозунга, — сказала Умница Лил. — Кубинский сахар кубинцам.

— Долой Северного Колосса! — сказал Томас Хадсон.

— Долой! — повторили остальные.

— Наши лозунги должны больше касаться внутренних дел и городских проблем. Пока мы воюем, пока мы все еще союзники, вникать в международные отношения не следует.

— Тем не менее лозунг «Долой Северного Колосса!» должен остаться в силе, — сказал Томас Хадсон. — Колосс ведет глобальную войну, и сейчас самое время валить его. Этот лозунг необходим.

— Когда меня выберут, тогда и свалим.

— За Un Alcalde Peor, — сказал Томас Хадсон.

— За всех за нас. За нашу партию, — сказал Alcalde Peor. Он поднял стакан.

— Надо запомнить все обстоятельства рождения нашей партии и написать ее манифест. Какое сегодня число?

— Двадцатое. Более или менее.

— Двадцатое — чего?

— Двадцатое более или менее февраля. El grito de la Floridita⁹⁸.

— Торжественный момент! — сказал Томас Хадсон. — Ты умеешь писать, Умница Лил? Можешь все это увековечить?

— Писать я умею. Но сейчас я ничего не напишу.

— Есть еще несколько проблем, по которым мы должны определить свою позицию, — сказал Alcardo Peor. — Слушайте, Северный Колосс, почему бы вам не заплатить за следующую порцию? Вы убедились, что мой кредит мужественно выдержал все наши атаки. Но мы же знаем, что он на исходе, так зачем его, бедняжку, еще и приканчивать? Давайте, Колосс, давайте.

— Не называйте меня Колоссом. Мы же против этого Колосса.

— Ладно, хозяин. А вы, собственно, чем занимаетесь?

— Я ученый.

— Sobre todo en la sama⁹⁹, — сказала Умница Лил. — Он глубоко изучил Китай.

— Ладно. Все равно этот раз платите вы, — сказал Alcardo Peor. — И давайте дальше обсуждать нашу платформу.

— Что мы скажем о Домашнем очаге?

— Это предмет священный. Домашний очаг пользуется таким же уважением, как и религия. Тут надо проявить осторожность и деликатность. Ну, скажем, так: Abajo los padres de familias¹⁰⁰?

— Это уважительно. Но не лучше ли просто — Долой Домашний очаг?

— Abajo el Home¹⁰¹. Чувства здесь выражены прекрасные. Но многие могут спутать этот очаг с настоящим очагом.

— А о детях что скажем?

— Пустите детей и не мешайте им приходить ко мне, как только они достигнут возрастного ценза и смогут участвовать в выборах, — сказал Alcardo Peor.

— Теперь развод, — сказал Томас Хадсон.

— Тоже щекотливая тема, — сказал Alcardo Peor. — Bastante espinoso¹⁰². А вы сами как относитесь к разводу?

— Может, развода касаться не следует? А то это будет противоречить нашей кампании в пользу Домашнего очага.

— Ладно, отставить. Теперь давайте посмотрим...

— Куда ты посмотришь? — сказала Умница Лил. — Ты же совсем окосел!

— Не осуждай меня, женщина, — сказал Alcardo Peor. — Одну вещь мы должны сделать.

— Какую?

— Orinar¹⁰³.

— Поддерживаю, — услышал себя со стороны Томас Хадсон. — Это

основное.

— Отсутствие водопровода тоже основное. А это основано на воде.

— Вернее, на алкоголе.

— По сравнению с водой процент алкоголя невелик. В основе вода. Вот вы ученый. Какой процент воды у нас в организме?

— Восемьдесят семь целых и три десятых процента, — сказал Томас Хадсон наугад, зная, что это неверно.

— Точно, — сказал Alcalde Peor. — Ну как, пойдем, пока ноги ходят?

В мужской уборной спокойный, благородного вида негр читал розенкрейцеровскую брошюру. Он прорабатывал недельное задание по курсу изучаемых им наук. Томас Хадсон почтительно приветствовал его, и негр так же почтительно ответил ему.

— На улице сегодня холодно, сэр, — заметил служитель, читавший религиозную брошюру.

— В самом деле, холодно, — сказал Томас Хадсон. — Как твои занятия?

— Очень хорошо, сэр. Не хуже, чем можно было ожидать.

— Прекрасно, — сказал Томас Хадсон. Потом, обратившись к Alcalde Peor, у которого что-то там не ладилось: — В Лондоне есть клуб, одна половина членов которого испытывает трудности с мочеиспусканием, а другая страдает недержанием мочи. Я тоже был членом этого клуба.

— Великолепно, — сказал Alcalde Peor, закончив свою работу. — Как он назывался, этот клуб? He El Club Mundial¹⁰⁴?

— Нет. По правде говоря, я забыл его название.

— Забыли название своего клуба?

— Да. А что тут такого?

— Давайте сделаем еще разок. Сколько стоит помочиться?

— Сколько дадите, сэр.

— Я плачу, — сказал Томас Хадсон. — Обожаю платить за это дело. Будто цветы покупаешь.

— Может, это был Королевский автоклуб? — спросил негр, подавая ему полотенце.

— Нет, ни в коем случае.

— Извините, сэр, — сказал адепт розенкрейцеров. — Я знаю, это один из самых больших клубов в Лондоне.

— Правильно, — сказал Томас Хадсон. — Один из самых больших. Вот, возьми, купишь себе на это что-нибудь хорошее. — Он дал негру доллар.

— Зачем вы дали целый песо? — спросил Alcalde Peor, когда они

вышли за дверь и вернулись в сутолоку бара-ресторана и в грохот, доносившийся с улицы.

— Он мне не нужен.

— Hombre, — сказал Alcalde Peor. — Как вы себя чувствуете? Хорошо? О'кей?

— Вполне, — сказал Томас Хадсон. — Вполне о'кей. Большое вам спасибо.

— Как ездилось? — спросила со своего табурета у стойки Умница Лил. Томас Хадсон посмотрел на нее и опять словно бы впервые увидел. Она показалась ему много толще и гораздо темнее лицом.

— Хорошо ездилось, — сказал он. — В путешествии всегда встречаешь интересных людей.

Умница Лил положила руку ему на бедро и ласково сжала, но он уже не смотрел на Умницу Лил, он смотрел мимо смуглых кубинских лиц и светлых панам, мимо пьющих и играющих в кости, туда, где за распахнутыми дверьми белела залитая солнцем площадь, и вдруг увидел, как к дверям подкатила машина, и швейцар, сняв фуражку, отворил заднюю дверцу, и из машины вышла она.

Это была она. Только она умела выйти так из машины, деловито, и легко, и красиво, и в то же время так, будто она оказывала большую честь тротуару, ступив на него ногой. Вот уже много лет все женщины старались походить на нее, кое-кто даже не без успеха. Но стоило появиться ей — и становилось ясно, что это лишь жалкие подделки. Сейчас на ней была военная форма. Она улыбнулась швейцару, о чем-то его спросила, он ответил, сияя от удовольствия, и она прошла прямо в бар. За ней шла еще одна женщина, тоже в военной форме.

Томас Хадсон встал с места, что-то сдавило ему грудную клетку, и сделалось трудно дышать. Она уже заметила его и шла к нему по свободному неширокому проходу между стойкой и столиками. Ее спутница шагала следом.

— Извините меня, — сказал Томас Хадсон Умнице Лил и Alcalde Peor. — Мне нужно поговорить с одной знакомой.

Они встретились на середине прохода, и он сжал ее в объятиях. Они сжимали друг друга так, что, кажется, крепче уже нельзя было, и он целовал ее крепко и бережно, и она тоже целовала его и руками ощупывала его плечи.

— Ты, — сказала она. — Ты. Ох, ты.

— Чертовка, — сказал он. — Как ты попала сюда?

— Очень просто — из Камагуэя.

На них стали оглядываться, и он приподнял ее, все так же тесно прижимая к себе, и еще раз поцеловал, а потом снова поставил на пол и взял за руку и потянул к столику у стены.

— Здесь нельзя так, — сказал он. — Нас могут арестовать.

— Ну и пусть арестуют, — сказала она. — Знакомься, это Гинни. Моя секретарша.

— Привет, Гинни, — сказал Томас Хадсон. — Помогите мне усадить эту сумасшедшую за столик.

Гинни была симпатичная, очень некрасивая девица. Одеты они обе были одинаково: офицерская куртка, только без знаков различия, рубашка с галстуком, юбка, чулки и ботинки на низком каблуке. На голове пилотка, а на левом плече нашивка, каких Томас Хадсон раньше никогда не видал.

— Сними пилотку, чертовка.

— Не полагается.

— Сними.

— Ну так и быть.

Она сняла пилотку и тряхнула рассыпавшимися волосами, а потом, откинув голову, посмотрела на Томаса Хадсона, и он увидел знакомый открытый лоб, и знакомую колдовскую волнистость волос все такого же цвета спелой пшеницы с серебристым отливом, и высокие скулы, и чуть запавшие щеки под ними, чуть запавшие, от чего, как ни взглянешь, так и защемят сердце, и плосковатый нос, и размазанные его поцелуями губы, и прелестный подбородок, и линию шеи.

— Как я выгляжу?

— Сама знаешь.

— Тебе уже приходилось целовать женщину в таком костюме? И оцарапываться о пуговицы армейского образца?

— Нет.

— А ты меня любишь?

— Я тебя всегда люблю.

— Нет, а вот сейчас, сию минуту — любишь?

— Да, — сказал он, и у него запершило в горле.

— Тем лучше, — сказала она. — Плохо бы тебе было, если б не любил.

— Ты сюда надолго?

— Только до вечера.

— Я хочу еще поцеловать тебя.

— Ты же сказал, что за это нас арестуют.

— Ладно, потерпим. Что ты будешь пить?

— Есть тут порядочное шампанское?
— Да. Но есть и местные напитки, которые очень хороши.
— Очевидно. Сколько порций ты уже выпил сегодня?
— Не знаю. Десять или двенадцать.
— Но пьяного в тебе только тени под глазами. Ты влюблен в кого-нибудь?
— Нет. А ты?
— Потом разберемся. Где твоя стерва-жена?
— В Тихом океане.
— Хорошо бы поглубже. Саженой так на тысячу. Ох, Томми, Томми, Томми, Томми, Томми, Томми.
— Ты в кого-нибудь влюблена?
— Кажется, да.
— Негодяйка.
— Ужасно, правда? Первый раз мы встречаемся после того, как я ушла от тебя, и ты ни в кого не влюблен, а я влюблена.
— Ты ушла от меня?
— Это моя версия.
— Он славный?
— Он? Да, очень славный, как бывают славными дети. Я очень нужна ему.
— А где он сейчас?
— Это военная тайна.
— И ты туда едешь?
— Да.
— К какому ты принадлежишь ведомству?
— Мы — СОДВ¹⁰⁵.
— Это все равно что УСС¹⁰⁶?
— Да нет же, глупый. Не прикидывайся дурачком и не строй из себя обиженного только потому, что я влюблена в кого-то. Ты же ведь не спрашиваешь моего совета, когда собираешься в кого-то влюбиться.
— Ты его очень любишь?
— Я вовсе не говорила, что я его люблю. Я сказала, что влюблена в него. А хочешь, сегодня даже и влюблена не буду, раз тебе это неприятно. Я ведь здесь только на один день. Я не хочу быть нелюбезной.
— Ну тебя к черту, — сказал он.
— Может быть, мне взять машину и вернуться в отель? — спросила Гинни.
— Нет, Гинни. Мы сперва выпьем шампанского. У тебя машина есть?

— спросила она Томаса Хадсона.

— Есть. Стоит там на площади.

— Можем мы поехать к тебе?

— Конечно. Позавтракаем здесь и поедем. А можно прихватить чего-нибудь и поесть дома.

— До чего это замечательно вышло, что мне удалось попасть сюда.

— Да, — сказал Томас Хадсон. — А откуда ты вообще знала, что здесь можно кое-кого встретить?

— Мне сказал один человек на аэродроме в Камагуэе, что ты здесь бываешь. И мы решили: не найдем тебя, посмотрим Гавану.

— Так давай посмотрим Гавану.

— Нет, — сказала она. — Пусть уж Гинни одна смотрит. А может быть, у тебя кто-нибудь есть, кто бы показал Гинни Гавану?

— Найдется.

— Только к вечеру мы должны вернуться в Камагуэй.

— В котором часу самолет?

— В шесть, кажется.

— Все устроим, — сказал Томас Хадсон.

К их столику подошел молодой человек, кубинец.

— Простите, пожалуйста, — сказал он. — Мне хотелось бы получить у вас автограф.

— С удовольствием, — сказала она.

Он подал ей открытку с изображением бара и Константе за стойкой, сбивающего коктейль, и она расписалась актерским размашистым почерком, так хорошо знакомым Томасу Хадсону.

— Не стану говорить, что это для моей маленькой дочки или для сына-школьника, — сказал молодой человек. — Это для меня самого.

— Тем приятнее, — сказала она и улыбнулась ему: — Очень мило, что вы меня попросили об этом.

— Я видел все ваши фильмы, — сказал молодой человек. — Я считаю вас самой красивой женщиной в мире.

— Чудесно, — сказала она. — Пожалуйста, продолжайте считать так.

— Не окажите ли вы мне честь выпить со мной?

— Мы тут пьем с моим другом.

— Я вашего друга знаю, — сказал молодой человек. — Мы знакомы уже много лет. Можно к вам подсесть, Том? Тем более у вас две дамы.

— Мистер Родригес, диктор городского радио, — сказал Томас Хадсон. — А как ваша фамилия, Гинни?

— Уотсон.

— Мисс Уотсон.

— Рад познакомиться, мисс Уотсон, — сказал диктор. Он был красивый молодой человек, черноволосый, загорелый, с ласковыми глазами, приятной улыбкой и большими, ухватистыми руками бейсболиста. Он и в самом деле играл в бейсбол, и не только в бейсбол, но и в азартные игры, и в его привлекательности было нечто от привлекательности профессионального игрока.

— Может быть, мы позавтракаем все вместе? — сказал он. — Сейчас как раз время ленча.

— Нам с мистером Хадсоном нужно съездить за город, — сказала она.

— Я охотно позавтракала бы с вами, — сказала Гинни. — Вы мне очень понравились.

— А он — приличный человек? — спросила она Томаса Хадсона.

— Даже отличный. Во всей Гаване лучшего не найдешь.

— Большое спасибо, Том, — сказал диктор. — Так вы решительно отказываетесь от завтрака?

— К сожалению, нам нужно ехать, — сказала она. — Мы и так задержались. Встретимся в отеле, Гинни. Спасибо, мистер Родригес.

— Вы, бесспорно, самая красивая женщина в мире, — сказал мистер Родригес. — Я всегда это знал, но сейчас я в этом убедился.

— Пожалуйста, продолжайте так считать, — сказала она, и мгновение спустя они уже были на площади. — Что ж, — сказала она. — Все очень хорошо получилось. Гинни он понравился, и он, кажется, милый.

— Он очень милый, — сказал Томас Хадсон, и шофер отворил перед ними дверцу машины.

— Ты сам милый, — сказала она. — Жаль только, что ты уже так много выпил сегодня. Потому-то я и замяла разговор о шампанском. Кто была твоя смуглая приятельница у стойки бара?

— Просто моя смуглая приятельница у стойки бара.

— Хочешь выпить еще? Можно остановиться где-нибудь по дороге.

— Нет. А ты хочешь?

— Ты же знаешь, я никогда не пью спиртного. Но от бокала вина я бы не отказалась.

— Дома у меня есть вино.

— Вот и чудесно. Теперь можешь меня поцеловать. Здесь нас не арестуют.

— Avonde vamos?[107](#) — спросил шофер, не поворачивая головы.

— A la finca[108](#), — сказал Томас Хадсон.

— Ах, Томми, Томми, Томми, — сказала она. — Ну что же ты меня не

целуешь? Пусть он видит, это ведь ничего, правда?

— Да. Это ничего. Можешь потом ему вырезать язык, если хочешь.

— Не хочу. И вообще не хочу никаких жестокостей, теперь и никогда.

Но ты милый, что предложил это.

— Идея была недурная. Расскажи мне о себе. Ты все прежняя люби-
меня?

— Я такая же, как была.

— Правда, такая же?

— Конечно, такая же. В этом городе я твоя.

— До отправления самолета.

— Точно, — сказала она и поудобней устроилась на сиденье машины.

— Посмотри, — сказала она. — Все нарядное, светлое осталось позади, и
кругом грязно и неприглядно. Всегда с нами бывало так.

— Не всегда.

— Да, пожалуй, — сказала она. — Не всегда.

Они смотрели на все грязное и неприглядное кругом, и ее зоркий
взгляд и грациозный ум мгновенно отмечали то, что он сумел разглядеть
лишь за долгие годы.

— Вот теперь уже лучше, — сказала она. За всю жизнь она ни разу не
солгала ему, и он тоже старался ей не лгать, но это очень плохо удавалось.

— Ты все еще меня любишь? — спросила она. — Говори как есть, не
приукрашивай.

— Да. Ты сама должна знать.

— Я знаю, — сказала она и в доказательство обняла его, если это
могло служить доказательством.

— Кто он, твой теперешний?

— Не будем о нем говорить. Тебе бы он не понравился.

— Скорей всего, — сказал он и так крепко прижал ее к себе, что,
казалось, еще немного — и что-нибудь будет сломано, если один из них не
высвободится. Это была старая их игра, и в конце концов высвободилась
она и ничего не сломалось.

— Ты всегда выигрываешь, — сказала она. — Тебе хорошо, у тебя
грудей нет.

— У меня многого нет, что есть у тебя. Ни таких длинных ног, ни
лица, на которое взглянешь — и защежит сердце.

— Зато у тебя есть многое другое.

— Ну как же, — сказал он. — Например, по ночам — общество кота и
подушки.

— Сегодня я заменю тебе это общество. Долго еще нам ехать?

- Одиннадцать минут.
- Слишком долго при данных обстоятельствах.
- Хочешь, я возьму руль и доеду за восемь?
- Нет, не надо. Лучше вспомни, как я учила тебя быть терпеливым.
- Это было самое разумное и нелепое, чему меня в жизни учили.

Давай вкратце повторим урок.

- А нужно?
- Нет. Все равно уже только восемь минут осталось.
- У тебя дома уютно? Постель широкая?
- Увидишь, — сказал Томас Хадсон. — Что, уже начались обычные сомнения?

— Нет, — сказала она. — Но я хочу широкую-широкую постель. Чтобы можно было совсем забыть про армию.

— Есть широкая постель, — сказал он. — Настолько, что и для армии места хватит.

— Не хами, — сказала она. — Знал бы ты этих Сынов воздуха. Даже самые лучшие под конец демонстрируют фотографии своих жен.

— Слава богу, что я их не знаю. Мы хоть, может, и задубели от морской воды, но по крайней мере не именуем себя Сынами моря.

— Расскажи мне про это, — попросила она, угнездив руку у него в кармане.

— Нет.

— Я так и знала, и я потому тебя и люблю. Но мне любопытно, и люди расспрашивают меня, и я тревожусь.

— Любопытно — это куда ни шло, — сказал он. — А тревожиться незачем. Хотя, по пословице, любопытство кошку сгубило. У меня есть кошка, и она очень любопытна. — Он вспомнил Бойза и продолжал: — А тревоги губят дельцов, даже в полном расцвете сил. Мне за тебя не нужно тревожиться?

— Только как за актрису. И то не очень. Еще всего две минуты. Здесь красиво, мне нравится. А можно, мы позавтракаем в постели?

— А вдруг потом нас сморит сон?

— Ну и пусть, это не страшно. Лишь бы только я не упустила самолет.

Машина теперь круто взбиралась вверх по старой булыжной дороге, обсаженной большими деревьями.

— А ты ничего не боишься упустить?

— Только тебя, — сказал он.

— Нет, а в смысле обязанностей.

— Разве я похож на человека, у которого есть обязанности?

— Кто тебя знает. Ты превосходный актер. Хуже никогда не видала. Милый ты мой, сумасшедший, я тебя так люблю, — сказала она. — Я пересмотрела тебя во всех твоих главных ролях. Больше всего ты мне нравился в роли Верного Мужа, она у тебя очень искренне получалась. Помнишь, например, у «Рица» в Париже?

— Да, там роль Верного Мужа особенно удавалась мне, — сказал он. — Как Гаррику в Олд-Бейли.

— Ты что-то путаешь, — сказала она. — По-моему, лучше всего ты играл эту роль на «Нормандии».

— Когда ее сожгли, я неделю ни о чем думать не мог.

— Тебе случалось и побивать этот рекорд.

— Да, — сказал он.

Машина остановилась, и шофер вышел отпереть ворота.

— Так вот где мы живем.

— Да. На самом верху. Извини, дорога в ужасном состоянии.

Машина еще немного поднялась в гору, поросшую деревьями манго и отцветающими уже фламбоянами, обогнула загон для скота и выехала на круглую подъездную аллею. Он отворил дверцу, и она ступила на землю, будто великодушно и щедро одаривая ее своим прикосновением.

Она взглянула на дом, увидела раскрытые окна спальни. Окна были большие и почему-то напомнили ей «Нормандию».

— Пропущу самолет, — сказала она. — Могу я заболеть в конце концов? Болеют же другие женщины.

— У меня есть два знакомых врача, которые под присягой подтвердят, что ты больна.

— Чудесно, — сказала она, уже поднимаясь по лестнице. — Но нам не придется для этого приглашать их к обеду?

— Нет, — сказал он и распахнул перед ней двери. — Я с ними сговорюсь по телефону и пошлю шофера за свидетельством.

— Решено, — сказала она. — Я больна. И пусть на этот раз войска развлекаются сами.

— Ты все равно улетишь.

— Нет. Я буду развлекать тебя. Наверно, тебя давно уже никто как следует не развлекал.

— Да.

— И меня — да. Как правильно в этом случае — «да» или «нет»?

— Не знаю. — Он крепко сжал ее и заглянул ей в глаза, потом отвел взгляд в сторону. Они стояли у входа в большую спальню, и он толчком отворил дверь. — Пожалуй, «нет», — сказала он задумчиво.

Окна были распахнуты настежь, по комнате гулял ветер, но сейчас, при солнце, это даже было приятно.

— Совсем как на «Нормандии». Ты это нарочно для меня сделал, чтоб было похоже на «Нормандию»?

— Конечно, дорогая, — солгал он. — А ты как думала?

— Ох и лгун же ты, хуже меня.

— Где уж мне до тебя.

— Лгать не нужно. Просто притворимся, что ты это сделал для меня.

— Для тебя, — сказал он. — Только ты выглядела немного иначе.

— А покрепче обнять человека ты не можешь?

— Не поломав ему костей — нет, — сказал он. И добавил: — Во всяком случае, стоя.

— А кто сказал, что мы непременно должны стоять?

— Не я, — сказал он и, подхватив ее на руки, понес к постели. — Дай только закрою жалюзи. Я ничего не имею против того, чтобы ты развлекала армию. Но для развлечения слуг в кухне имеется радио. Мы им не нужны.

— Иди скорее, — сказала она.

— Иду.

— Вспомни все, чему я тебя учила когда-то.

— Я и так помню.

— Не всегда.

— Ну вот, — сказал он. — Когда мы с ним познакомились?

— Мы просто встретились. Ты разве не помнишь?

— Слушай, давай лучше не будем ничего вспоминать и не будем разговаривать, не будем, не будем, не будем.

Немного спустя она сказала:

— Даже на «Нормандии» людям иногда хотелось есть.

— Сейчас вызову стюарда.

— Но ведь этот стюард не знает нас.

— Так узнает.

— Нет. Лучше выйдем отсюда, я хочу посмотреть дом. Что ты написал за последнее время?

— Что, что. Ничего.

— У тебя разве нет свободного времени?

— Как это свободного?

— Ну, когда ты на берегу.

— Что это значит «на берегу»?

— Том, — сказала она. Они дошли до большой комнаты и уселись в

глубокие старые кресла, и она сняла туфли, чтобы ощутить под ногами циновку, устилавшую пол. А потом свернулась в кресле клубочком, распушив свои волосы ему в угоду и потому что она знала, как это на него действует, и теперь при каждом движении ее головы они колыхались тяжелой шелковистой массой.

— А, чтоб тебя, — сказал он. — Милая, — добавил он.

— Я уже привыкла к твоим проклятиям, — сказала она.

— Не будем об этом говорить.

— Зачем ты на ней женился, Том?

— Потому что ты была влюблена.

— Причина не слишком основательная.

— Никто этого и не утверждал. Я-то во всяком случае. Но может быть, мы не будем обсуждать мои старые ошибки, в которых я уже раскаялся?

— Если захочу, будем.

Вошел большой черный с белым кот и начал тереться об ее ноги.

— Он спутал тебя со мной, — сказал Томас Хадсон. — Впрочем, он, вероятно, знает, что делает.

— Так это...

— Именно. Он самый. Бой, — позвал он.

Кот подошел и вспрыгнул к нему на колени. Ему было все равно, чьи это колени.

— Мы можем оба любить ее, Бойз. Ты посмотри на все хорошенько. Другой такой женщины тебе вовек не увидеть.

— Это тот кот, с которым ты спишь в постели?

— Да. А что, есть возражения?

— Никаких. Он куда симпатичней человека, с которым сплю я, хотя у него такие же грустные глаза.

— Нам непременно нужно о нем разговаривать?

— Нет. Так же как тебе не нужно пытаться меня уверить, что ты не выходишь в море, хотя веки у тебя воспалены, и в уголках глаз белые стуски, и волосы выгорели от солнца, и...

— И шагаю я по-матросски, враскачку, и на левом плече у меня сидит попугай, и я больно дерусь своей деревянной ногой. Дорогой мой глупыш, я действительно выхожу иногда в море, потому что я маринист и делаю зарисовки для Музея естественной истории. Даже война не должна мешать научным исследованиям.

— О, священная наука, — сказала она. — Что ж, постараюсь запомнить этот вымысел и придерживаться его. Том, ты правда несколько ее не любишь?

- Нисколько.
- И все еще любишь меня?
- Ты могла бы судить по некоторым признакам.
- А вдруг это тоже роль? Любовник, неизменно хранящий верность предмету своей любви, с какими бы шлюхами его этот предмет ни заставлял. Ты и по-своему Синаре не был верен.
- Я всегда говорил, что образованность тебя погубит. Меня уже в девятнадцать лет не интересовали эти стихи.
- А я всегда говорила, что если бы ты побольше писал и серьезно работал над своими картинами вместо того, чтобы придумывать небылицы и влюбляться во всяких...
- Жениться на всяких, хотела ты сказать.
- Нет. Жениться — это, конечно, плохо. Но ты влюбляешься, а после этого я не могу тебя уважать.
- Какие знакомые милые слова: «После этого я не могу тебя уважать». Продай мне их, я дам любую цену, чтобы только изъять их из обращения.
- Теперь я тебя уважаю, Том. Ты ведь ее не любишь, правда?
- Я люблю тебя и уважаю тебя, а ее я не люблю.
- Ну вот и чудесно. Как хорошо, что я заболела и не могу лететь.
- А ведь я в самом деле тебя уважаю. Отношусь с уважением к любой глупости, которую ты делаешь или сделала когда-то.
- И ты чудесно ведешь себя со мной и всегда исполняешь данные мне обещания.
- Какое, кстати, было последнее?
- Не знаю. Но если было какое-нибудь, ты наверняка его не сдержал.
- Может быть, обойдем это, радость моя?
- Хорошо, если б это можно было обойти.
- А давай попробуем. Мы ведь многое умели обходить.
- Нет. Не умели. Тому есть реальные доказательства. Тебе всегда кажется, что физическая близость — это в любви все. Ты не думаешь, что любимой женщине хотелось бы гордиться тобой. Не стараешься проявлять иногда нежность в мелочах.
- Не разыгрываю младенца, которого нужно нянчить и опекать, — тебе ведь именно такие мужчины нравятся.
- Если б только ты больше нуждался во мне и я чувствовала, что я тебе в самом деле нужна, а не только дай-и-возьми и убери-я-не-голоден.
- Слушай, зачем мы приехали сюда? Морализировать?
- Мы приехали потому, что я люблю тебя и хочу, чтобы ты был

достоин самого себя.

— А также тебя, и господа бога, и прочих абстракций. Но я даже в живописи не абстракционист. Ты, наверно, требовала бы от Тулуз-Лотрека, чтобы он не шатался по публичным домам, а от Гогена, чтобы он не болел сифилисом, а от Бодлера, чтобы он пораньше возвращался домой. Я себя не равняю с ними, но все-таки — ну тебя к черту.

— Никогда я такой не была.

— Была. А к тому же еще твоя работа. Эти чертовы съемки с утра и до вечера.

— Я отказалась бы от съемок.

— Ну, конечно. Я в этом не сомневаюсь. И выступала бы в ночных клубах, а меня определила бы в вышибалы. Помнишь, мы строили такие планы?

— Какие новости у Тома?

— Все в порядке, — сказал он, и колючий озноб прошел у него по телу.

— Он мне вот уже три недели не пишет. Можно бы, кажется, выбрать время для матери за такой срок. Он всегда писал очень аккуратно.

— Знаешь, как оно бывает с ребятами на войне. А может быть, сейчас задерживают всю переписку. Это иногда делается.

— Помнишь, когда он был маленький и совсем не говорил по-английски?

— А ты помнишь, какой оравой он верховодил в Гстааде? И в Энгадине и в Цуге.

— У тебя есть какие-нибудь его новые фотографии?

— Только та, которая и у тебя есть.

— Я бы выпила чего-нибудь, что в этом доме можно выпить.

— Все что угодно. Пойду поищу кого-нибудь из слуг. Вино в погребе.

— Только не уходи надолго.

— Не подходящие слова для нас с тобой.

— Не уходи надолго, — повторила она. — Слышишь? И никогда я не требовала, чтобы ты пораньше возвращался домой. Не в этом была беда. Ты сам знаешь.

— Знаю, — сказал он. — И я не уйду надолго.

— Может быть, твой слуга приготовит нам и поест?

— Может быть, — сказал Томас Хадсон. И прибавил, обращаясь к коту: — Ты пока побудь с нею, Бойз.

Зачем? — думал он. Зачем я солгал? Зачем затеял эту комедию осторожничанья? Не потому ли, что, как говорит Вилли, я хочу сохранить

свое горе для себя одного? Но разве я правда такой?

А что было делать? — думал он. Как сказать матери о гибели сына сразу же после возврата к любовной близости с ней? Как самому себе сказать об этом? Когда-то у тебя на все находился ответ. Вот найди ответ и сейчас.

Нет ответа. Пора бы уж тебе это знать. Нет и не может быть.

— Том, — услышал он ее голос. — Мне тоскливо одной, а кот, как он ни старайся, не может заменить мне тебя.

— Сбрось его на пол. Я сейчас, только наколю лед. Слуга ушел в деревню.

— Да бог с ним. Мне уже не хочется пить.

— Мне тоже, — сказал он и вернулся в комнату, мягко ступая по циновке после гулкого изразцового пола. Он взглянул на нее и убедился, что она здесь, не исчезла.

— Ты не хочешь о нем говорить, — сказала она.

— Не хочу.

— А почему? Разве так не лучше?

— Он слишком похож на тебя.

— Не в том дело. Скажи мне. Он погиб?

— Да, погиб.

— Обними меня, Том, только крепче. Я, кажется, правда заболела.

Он почувствовал, что ее бьет дрожь, и он опустился на колени у кресла, и обнял ее, и чувствовал, как она дрожит всем телом. Потом она сказала:

— Бедный ты мой. Бедный, бедный. — Помолчав, она сказала еще: — Прости меня за все, что я когда-нибудь делала или говорила.

— Ты меня прости.

— Бедный ты, и бедная я.

— Бедные все, — сказал он, но не добавил: «Бедный Том».

— Больше тебе нечего мне рассказать?

— Нет. Только это.

— Вероятно, мы потом научимся справляться.

— Очень может быть.

— Я бы хотела заплакать, но у меня внутри только пустота, от которой мутит.

— Понимаю.

— У всех это случается?

— Почти. Но у нас это уже больше случиться не может.

— Мне теперь кажется, будто мы в доме у мертвого.

— Я жалею, что не сказал тебе, как только мы встретились.

— Да нет, все равно, — сказала она. — Ты всегда был такой, все откладывал. Я не жалею.

— Я так нестерпимо хотел тебя, что поступил, как эгоист и дурак.

— Это не эгоизм. Мы всегда любили друг друга. Только слишком часто совершали ошибки.

— Особенно я.

— Нет. Мы оба. Давай больше никогда не будем ссориться, хорошо?

Что-то вдруг произошло в ней, она наконец разрыдалась и сказала:

— О Томми, я не могу, не могу это вынести.

— Я понимаю, — сказал он. — Родная моя, дорогая, прекрасная. Я тоже не могу.

— Мы были такие молодые, и глупые, и такие красивые оба, а Томми — господи, до чего же он был хорош...

— Весь в мать.

— Теперь этого уже и не докажешь ничем.

— Моя бедная любимая девочка.

— Что же мы будем делать дальше?

— Ты будешь заниматься своим делом, а я — своим.

— Нельзя ли нам хоть немного побыть вместе?

— Только если не уляжется ветер.

— Так пусть дует подольше. Иди ко мне — или, может быть, это нехорошо сейчас?

— Том бы не осудил нас за это.

— Я тоже так думаю. Помнишь, как ты ходил на лыжах, посадив его к себе на плечи, и мы спускались с гор уже в сумерках и пели, проходя через сад за гостиницей?

— Я всю помню.

— Я тоже, — сказала она. — Почему мы были такие глупые?

— Мы были не только влюбленными, но и соперниками.

— Увы, да. Но ведь ты никого другого не любишь, правда? Ведь теперь это все, что у нас осталось.

— Нет. Можешь мне верить.

— И я нет. А мы не могли бы вернуться друг к другу, как тебе кажется?

— Не знаю, что бы из этого вышло. Можно попробовать.

— Долго еще продлится война?

— Спроси у того, кто над нею хозяин.

— Несколько лет?

— Год-два во всяком случае.

— А тебя тоже могут убить?

— Вполне.

— Тогда что толку?

— Ну а если меня не убьют?

— Не знаю. Может быть, теперь, когда Тома нет, мы не станем злобствовать и давать волю самому дурному в себе.

— Я могу постараться. Злобы у меня нет, а с дурным в себе я научился справляться. Правда.

— Вот как? Это проститутки тебя умудрили?

— Должно быть. Но если мы будем вместе, они мне не понадобятся.

— Ты всегда умел для всего найти красивые слова.

— Ну вот. Уже начинается.

— Нет. Ведь мы в доме у мертвого.

— Ты это уже говорила.

— Извини, пожалуйста, — сказала она. — Но я не знаю, как по-другому сказать то же самое. У меня сейчас как-то немеет внутри.

— Чем дальше, тем больше будет неметь, — сказал он. — И вначале это не дает облегчения. Но потом будет легче.

— Скажи мне все самое худшее, что тебе известно, может быть, тогда быстрее онемеет совсем.

— Хорошо, — сказал он. — Как же я люблю тебя, господи.

— И всегда любил, — сказала она. — Ну, говори же.

Он сидел у ее ног и не смотрел на нее. Он смотрел на кота Бойза, который лениво развалился на циновке в солнечном прямоугольнике, падавшем от большого окна.

— Он был сбит зенитным оружием во время разведывательного полета в районе Абвиля.

— Он не выпрыгнул с парашютом?

— Нет. Машина сгорела. Вероятно, его убило сразу.

— Слава богу, — сказала она. — Слава богу, если так.

— Я почти уверен в этом. Он бы успел выпрыгнуть.

— Ты мне правду говоришь? Может быть, парашют сгорел после того, как он выпрыгнул?

— Нет, — солгал он, решив, что на сегодня довольно.

— От кого ты узнал?

Он назвал знакомое имя.

— Тогда это верно, — сказала она. — У меня больше нет сына и у тебя тоже. Надо привыкать к этому. Больше ты ничего не знаешь?

— Нет, — сказал он, стараясь, чтобы это прозвучало как можно правдивей.

— А мы будем жить дальше?

— Именно.

— Чем же?

— Ничем, — сказал он.

— Можно я останусь и буду с тобой?

— Едва ли в этом есть смысл, — сказал он. — Как только немного утихнет, я должен буду уйти в рейс. Ты не из болтливых, и ты умеешь похоронить то, что слышишь от меня. Так вот, похорони это.

— Но я бы могла быть с тобой, пока ты здесь, а потом дожидаться твоего возвращения.

— Не стоит, — сказал он. — Я никогда не знаю, когда мы вернемся, и потом, тебе будет тяжелей без работы. Если хочешь, побудь, пока мы не уйдем в рейс.

— Хорошо, — сказала она. — Я побуду с тобой это время, и никто нам не мешает думать о Томе. И любить друг друга, как только ты скажешь, что можно.

— Эта комната никак не связана с Томом.

— Да. А с кем она связана, тех я самый дух изгоню отсюда.

— Может быть, нам правда поесть чего-нибудь и выпить по стакану вина?

— Бутылку вина, — сказала она. — Он был такой красивый мальчик, Том. И такой забавный, и такой добрый.

— Послушай, из чего ты сделана?

— Из того, что ты любишь, — сказала она. — С примесью стали.

— Не пойму, куда девались все слуги, — сказал Томас Хадсон. — Они, правда, не ждали, что я вернусь сегодня домой. Но кто-то, во всяком случае, должен дежурить у телефона. Сейчас принесу вино. Оно уже, наверно, холодное.

Он откупорил бутылку и налил два стакана. Это было то вино, которое он приберегал для своих возвращений и пил его, уже успев поостыть после рейса, и на поверхности дружелюбно вскипали мелкие аккуратные пузырьки.

— За нас и за все, чего у нас уже нет, и за все, что у нас будет.

— Было, — сказал он.

— Было, — сказала она. Потом она сказала: — Единственное, чему ты всегда оставался верен, — это хорошему вину.

— Большое достоинство, не правда ли?

— Извини, мне не нужно было упрекать тебя утром, что ты много выпил.

— Ты знаешь, это мне очень помогает. Смешно, а это так.

— Что именно — то, что ты пил, или упреки?

— То, что я пил. Замороженное, в высоких стаканах.

— Возможно. И я впредь воздержусь от замечаний — разве насчет того, что в этом доме очень трудно дожидаться какой-нибудь еды.

— Умей терпеть. Сколько раз ты меня этому учила.

— Я терплю, — сказала она. — Только я голодна. Я теперь понимаю, почему люди едят на поминках.

— Ничего, будь циничной, если тебе от этого легче.

— И буду, не беспокойся. Не прикажешь ли извиняться за каждое сказанное слово? Я уже раз извинилась, хватит.

— Слушай, ты, — сказал он. — Я живу с этим на три недели дольше тебя и, должно быть, уже нахожусь в другой стадии.

— Ну конечно, ты всегда в другой стадии, более значительной и интересной. Я тебя знаю. Не пора ли тебе возвращаться к своим шлюхам?

— Может быть, ты все-таки перестанешь?

— Нет. Мне так лучше.

— Кто это написал «Помилуй всех женщин, Мария»?

— Мужчина, конечно, — сказала она. — Какая-то сволочь в брюках.

— Хочешь, я прочитаю тебе эту вещь целиком?

— Нет. И вообще ты мне уже надоел со своим «на три недели дольше» и со всем прочим. Если я нестроевая, а ты занят чем-то настолько секретным, что даже спишь только с кошкой, чтобы не проговориться во сне, это...

— Тебе все еще не ясно, почему мы расстались?

— Расстались потому, что ты мне надоел. Ты всегда любил меня, и не мог не любить, и теперь не можешь.

— Это верно.

Рядом, в столовой, стоял мальчик-слуга и все слышал. Он и прежде не раз становился невольным свидетелем ссор и всегда огорчался этим так, что его даже в пот кидало. Он любил своего хозяина, любил его кошек и собак и с почтительным восхищением относился к красивым женщинам, бывавшим в доме, и, когда они ссорились, ему было невыразимо грустно. А эта женщина красивее всех других, и все равно кабальеро ссорится с ней, и она говорит кабальеро недобрые слова.

— Сеньор, — сказал он, подойдя к двери. — Простите великодушно. Но не выйдете ли вы в кухню, мне нужно кое-что передать вам.

— Извини, дорогая.

— Все какие-то тайны, — сказала она и налила себе еще вина.

— Сеньор, — сказал мальчик, когда они вышли. — Звонил лейтенант и просил вас немедленно явиться, даже повторил два раза: немедленно. Он сказал, что вы знаете куда и что это по делу. Я не хотел разговаривать по нашему телефону и позвонил из деревни во «Флоридиту». Там мне сказали, что вы поехали сюда.

— Хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Большое тебе спасибо. Пожалуйста, изжарь нам с сеньорой яичницу и скажи шоферу, чтобы готовил машину.

— Слушаю, сэр.

— Что случилось, Том? Что-нибудь нехорошее?

— Меня вызывают на работу.

— Ты ведь говорил, что в такой ветер нельзя.

— Говорил. Но это не от меня зависит.

— Мне остаться здесь?

— Оставайся, если хочешь. Можешь почитать письма Тома, а к шести мой шофер отвезет тебя на аэродром.

— Хорошо.

— Можешь взять письма себе, если хочешь, и фотографии тоже, и все, что попадется. Просмотри все ящики моего стола.

— А ты все-таки изменился.

— Может, кой в чем и изменился, — сказал он. — Пойди в мастерскую, взгляни на работы, — сказал он. — Там есть неплохие вещи, написанные раньше, до всего. Возьми что понравится. Есть твой портрет, неплохой.

— Я возьму его, — сказала она. — Какой ты хороший, когда ты хороший.

— Почитай и ее письма, если захочешь. Среди них есть уникальные, прямо хоть в музей. Их тоже можешь взять, если это тебя позабавит.

— Ты, видно, думаешь, что я разъезжаю с сундуком.

— Ну, прочтешь, а потом спустишь в унитаз в самолете.

— Вот разве что.

— Я еще постараюсь вернуться к твоему отъезду. Но не знаю, удастся ли, так что не жди. Если шофер должен будет задержаться со мной, я пришлю такси, и оно отвезет тебя в отель или на аэродром.

— Хорошо.

— Если тебе что понадобится, скажи мальчику. Он тебе и выгладить может что нужно, а ты пока надень что-нибудь из моих вещей.

— Хорошо. Ты только люби меня, Том, и пусть такое, как только что было, этому не мешает.

— Не бойся. Это все пустяки, а не любить тебя я не могу, ты же сама сказала.

— Вот пусть так оно и будет.

— Это не от меня зависит. Возьми любые книги, все, что тебе приглянется в доме, а мою яичницу, всю или половину, отдай Бойзу. Ему только нужно нарезать помельче, он так любит. Ну, мне пора. И так уже вышла задержка.

— До свидания, Том.

— До свидания, чертовка. Смотри береги себя. А мне, верно, не предстоит ничего серьезного.

Он толкнул дверь и вышел. Кот прошмыгнул в коридор вместе с ним и смотрел на него, задрав мордочку кверху.

— Ничего, Бойз, все в порядке, — сказал он коту. — Я еще покажусь тут до выхода в море.

— Куда ехать? — спросил шофер.

— В город.

Не могу представить себе, чтобы нам нашлось дело в такую погоду. А может, и обнаружено что-нибудь. Может, кто-нибудь терпит бедствие в море. Черт, только бы не впустую опять. Не забыть бы составить коротенькое завещание, чтобы дом в случае чего достался ей. И не забыть заверить его в посольстве и положить в сейф. Она молодец, сумела принять это и не сломиться. Но до нее еще не дошло по-настоящему. Жаль, когда дойдет, меня с ней не будет. Жаль, я ничем не могу помочь ей. А может, еще смогу, если на этот раз все сойдет благополучно, и на следующий тоже, и на через следующий.

Ладно, пока пусть сойдет и на этот раз. Интересно, возьмет ли она письма и прочее. Надеюсь, возьмет, и надеюсь, она не забудет дать Бойзу яичницу. Когда холодно, у него всегда разыгрывается голод.

Разыскать людей будет нетрудно, вот только как катер, выдержит ли еще рейс до ремонта. Ну один-то выдержит. Один-то наверняка выдержит. Рискнем, во всяком случае. Запасных частей у нас хватит. Удалось бы только поближе подойти, это главное. А хорошо было бы, если бы не понадобилось выходить сегодня. Наверно, хорошо было бы. Да, черта с два.

Давай разберемся. Сына ты потерял. Любовь потерял. От славы уже давным-давно отказался. Остается долг, и его нужно исполнять.

А в чем он, твой долг? В том, что ты на себя взял. А все прочее, что ты

на себя брал в жизни?

Она в это время лежала на постели в большой спальне, комнате, чем-то напоминавшей «Нормандию», и кот Бойз лежал около нее. Яичницу она так и не могла съесть, а вино показалось ей безвкусным. Всю яичницу она отдала Бойзу, нарезав на маленькие кусочки, а сама выдвинула верхний ящик стола, и увидела почерк сына на голубых конвертах со штампом цензуры, и вернулась назад, и ничком бросилась на кровать.

— И тот и другой, — сказала она коту, разнеженному яичницей и теплом, исходившим от женщины, которая была рядом. — И тот и другой, — сказала она. — Скажи, Бойз, что же нам теперь делать?

Кот тихонько урчал.

— Ты тоже не знаешь, Бойз, — сказала она. — И никто не знает.

Часть третья

В МОРЕ

Они подходили к острову, где за длинной песчаной береговой полосой росли кокосовые пальмы. Бухту перегораживал риф, и сильный восточный ветер разбивал о него волны, то и дело открывая проход туда. На берегу не было ни души, а песок был такой белый, что резал глаза своей белизной.

Человек, стоявший на мостике, разглядывал берег. Вон там, казалось бы, должны быть хижины, но никаких хижин не было. Ни хижин, ни лодок в лагуне.

— Ты ведь бывал здесь раньше, — сказал он своему помощнику.

— Да.

— Разве не там должны стоять хижины?

— Там они и были. Деревня и на карте значится.

— А сейчас ее нет как нет, — сказал старший. — Лодок в зарослях тоже не видно?

— Ничего не вижу.

— Придется войти в бухту и стать на якорь, — сказал капитан. — Проход этот я знаю. Здесь раз в восемь глубже, чем кажется.

Он посмотрел вниз, в зеленоватую воду, и увидел на дне большую тень своего судна.

— Хороший грунт есть восточнее того места, где была деревня, — сказал его помощник.

— Знаю. Трави якорь с правого борта. Там я и стану. При таком ветре — он день и ночь дует — насекомых не будет.

— Да, сэр.

Они стали на якорь, и катер, не столь уж большой, чтобы кто-нибудь, кроме владельца, мог хотя бы мысленно называть его судном, лег по ветру за рифом, о который разбивались зеленоватые волны с белыми гребешками пены.

Человек, стоявший на мостике, проследил, чтобы его судно свободно и крепко держалось на якоре. Потом он посмотрел на берег и выключил моторы. Он смотрел и смотрел на берег и не мог понять, в чем дело.

— Возьми с собой троих и поглядите, что там случилось, — сказал он. — Я немного посплю. И помните, что вы ученые.

Когда они считались учеными, оружия у них не было видно — в руках

мачете, на головах широкополые соломенные шляпы, какие носят багамские ловцы губок. Команда называла их *sombreros científicos*¹⁰⁹. Чем больше была шляпа, тем она считалась научнее.

— Кто-то спер мою научную шляпу, — сказал широкоплечий баск с густыми, сросшимися на переносице бровями. — Дайте-ка мне связку гранат во имя науки.

— Возьми мою шляпу, — сказал ему другой баск. — Она в два раза научнее твоей.

— О-го, какая она у тебя научная! — сказал широкоплечий. — Я в этой шляпе что твой Эйнштейн. Томас, можно нам брать образцы породы?

— Нет, — сказал капитан. — Антонио знает, что ему делать. А вы глядите там в оба, не хлопайте своими научными буркалами.

— Я пойду искать воду.

— Это позади того места, где была деревня, — сказал капитан. — Проверьте, какая она. Ее надо взять побольше.

— H_2O , — сказал баск. — Вот она, ученость-то. Эй ты, дерьмовый ученый, ты, шляпокрад, дай сюда четыре пятигаллонных бутылки, чтобы нам не зря мотаться.

Второй баск поставил в шлюпку четыре оплетенные бутылки.

Капитан слышал, как они переговариваются между собой.

— Не тычь меня в спину своим дерьмовым научным веслом.

— Это я для пользы науки.

— К такой-то матери науку с ее братцем.

— С ее сестрицей.

— А звать сестрицу *Penicilina*.

Капитан смотрел, как они гребут к слепяще-белому берегу. Мне самому надо было поехать, подумал он. Но я всю ночь провел на ногах и у штурвала стою уже двенадцать часов. Антонио не хуже меня во всем разберется. Но все-таки, что же там случилось?

Он посмотрел на риф, потом перевел взгляд на берег, потом на чистую воду, которая струилась вдоль борта и закручивалась воронками с подветренной стороны судна. Потом закрыл глаза, повернулся на бок и заснул.

Проснулся он, когда шлюпка подошла к борту, и по лицам людей понял, что дело плохо. Его помощник обливался потом, как с ним всегда бывало, когда случалась какая-нибудь беда или приходили дурные вести. Человек он был сухощавый, и пот его прошибал не часто.

— Кто-то сжег хижины, — сказал он. — Кто-то разделался с людьми,

в золе лежат трупы. Отсюда ничего не учуешь, потому что ветер в ту сторону.

— Сколько трупов?

— Мы насчитали девять. А их, может, и больше.

— Мужчины или женщины?

— И те и другие.

— Следы какие-нибудь остались?

— Ничего не осталось. С тех пор прошел дождь. Ливень. Песок и сейчас рябой.

Широкоплечий баск, которого звали Ара, сказал:

— Они уже с неделю валяются мертвые. Птицы до них еще не добрались, а крабы там уже трудятся.

— Откуда ты знаешь, что они неделю лежат мертвые?

— Точнее трудно сказать, — ответил Ара. — Но неделя, пожалуй, прошла. Судя по следам крабов, дождь шел дня три назад.

— А как вода?

— На вид ничего.

— И вы привезли ее?

— Да.

— Зачем бы им отравлять воду? — сказал Ара. — Запах у нее был хороший, я попробовал и налил в бутылки.

— Не следовало тебе пробовать.

— Запах хороший. Чего это мне опасаться, что она отравлена?

— Кто их убил?

— Откуда нам знать?

— Вы никого не выследили?

— Нет. Мы вернулись сказать тебе. Ты здесь командир.

— Ладно, — сказал Томас Хадсон. Он сошел вниз и пристегнул револьвер к поясу. С другой стороны висели ножны с ножом, а револьвер всей своей тяжестью лежал у него на бедре. В камбузе он остановился, взял ложку и сунул ее в карман. — Ара и Генри, пойдете со мной на берег. Вилли, ты отвезешь нас и, пока будешь ждать, поищи креветок. Питерс пусть спит. — Помощнику он сказал: — Проверь, пожалуйста, моторы и все баки с горючим.

Вода над белым песчаным дном была прозрачная, чудесная, и сквозь нее он видел каждую бороздку, каждую морщинку на песке. Когда шлюпка села днищем на песчаный нанос, они пошли к берегу вброд, и Томас Хадсон почувствовал, как маленькие рыбешки резвятся у его ног, посмотрел вниз и увидел, что это крохотные помпано. А может, и не

помпано, подумал он. Но на вид они точно такие же и ведут себя дружелюбно.

— Генри, — сказал он, когда они вышли на берег. — Ты обойди остров с наветренной стороны до мангровой рощи. Посмотри, нет ли там чьих следов или еще чего-нибудь. Потом вернешься сюда, ко мне. Ара, ты пойдешь в ту сторону, задание у тебя то же самое.

Ему не надо было спрашивать, где лежат трупы. Он увидел следы, которые вели к ним, и услышал, как громыхают крабы в сухом кустарнике. Он посмотрел вдаль на свое судно, на линию прибоя, на Вилли, который сидел в покачивавшейся на волне шлюпке и, перегнувшись через борт, высматривал в оптическую трубу креветок.

Надо так надо, подумал он, и тогда чем скорее, тем лучше. Но день этот был явно рассчитан на что-то другое. Странно, что здесь, где это совсем не нужно, прошли обильные дожди, а на нас хоть бы капля упала. Сколько уже времени мы видим, как дожди идут то справа, то слева, а нам ничего не достается.

Дул сильный ветер, дул непрерывно, и днем и ночью, вот уже больше пятидесяти суток. Он стал неотделимой частью Томаса Хадсона и не действовал ему на нервы. Ветер подбадривал его, придавая ему силы, и он надеялся, что ветер не утихнет.

Всегда мы ждем чего-то, а оно не идет и не идет, подумал он. Но в ветреные дни ждать проще, чем в штиль или когда начинаются капризные, злобные штормы. Вода где-нибудь да найдется. Ладно, пусть будет сушь. А воду мы всегда найдем. На всех здешних островках, есть вода, надо только суметь отыскать ее.

Хватит, сказал он себе. Давай кончай с этим.

Ветер помог ему покончить с этим. Сидя на корточках под спаленными солнцем кустами дикого винограда, он пересыпал пригоршнями песок, и ветер относил от него запах того, что лежало перед ним. В песке, к своему недоумению, он ничего не обнаружил, но, прежде чем идти дальше, осмотрел с наветренной стороны все пространство около сожженных хижин. Он надеялся найти то, что искал, без лишних усилий. Но тут ничего не было.

Потом, сев на корточки спиной к ветру, то и дело поворачиваясь, и хватая ртом воздух, и задерживая дыхание, он стал ковырять ножом угольно-черную жижу, которую пожирали крабы. Нож наткнулся на что-то твердое у кости, и он выскреб это ложкой. Потом с ложки скатил на песок, снова стал скрести и ковырять и нашел в останках еще три. Потом повернулся лицом к ветру и вычистил о песок нож и ложку. Эти четыре

пули он прихватил вместе с пригоршней песка и, держа в левой руке нож и ложку, пошел сквозь кусты назад.

Огромный, непристойно белый краб стал на его пути и, попятившись, поднял вверх свои клешни.

— Ты, мальчуган, туда? — сказал ему Томас Хадсон. — А я оттуда.

Краб удерживал свои позиции, высоко задрав остро распыленные клешни.

— Ишь какой ты вымахал, — сказал Томас Хадсон. Он не спеша вдвинул нож в ножны, ложку опустил в карман. Потом пересыпал песок с четырьмя пулями в левую руку. Правую старательно вытер о штанину. Потом взялся за свой потемневший от пота, хорошо смазанный «магнум-357». — Еще не поздно, есть шанс спастись, — сказал он крабу. — Никто тебя не осуждает. Ты услаждаешь себя как можешь и выполняешь свой долг.

Краб не шелохнулся, все так же высоко держа клешни. Он был очень большой, с добрый фут в ширину, и Томас Хадсон выстрелил ему между глаз, и от краба ничего не осталось.

— Эти «магнумы» теперь трудно получить, потому что ими вооружили увиливающих от призыва агентов ФБР, которые охотятся за такими же увиливающими от призыва молодчиками, — сказал Томас Хадсон. — Но надо же человеку пальнуть кое-когда, иначе и стрелять разучишься.

Бедняга краб, подумал он. Ведь он же занимался своим делом. Только вот остановился он зря — полз бы себе и полз.

Он вышел на берег и увидел свое судно, и ровную линию прибоя, и Вилли, который бросил якорь и теперь нырял за креветками. Томас Хадсон как следует почистил нож, отскреб и вымыл ложку, а потом вымыл все четыре пули. Он держал эти пули на ладони и разглядывал их, как старатель, который промывает песок, отыскивая в лотке золотые крупинки, и вдруг видит там четыре самородка. Головки у всех четырех пуль были черные. Теперь, когда мяса на них не осталось, был ясно виден короткий виток нарезки. Это были девятимиллиметровые пули образца, принятого для шмейссеровского автомата.

Он радовался, глядя на них.

Ведь подобрали за собой все гильзы, подумал он. А вот это оставили, будто визитные карточки. Теперь мне надо все как следует обдумать. Мы знаем две вещи. Здесь они в живых никого не оставили и лодки отсюда увели. Вот с этого и начинай, друг мой. У тебя, говорят, хорошо работает голова. Подумай как следует.

Но думать он не стал. Вместо этого он лег на спину, подтянул револьвер и положил его между ног, а сам стал смотреть на скульптуру, которую ветер и песок сработали из топляка. Топляк был серый, испещренный песком и стоял, зарывшись нижним концом в мелкий белый песок. Точно на художественной выставке. Отличный экспонат для Salon d'Automne¹¹⁰.

Он слышал рев волн, разбивавшихся о риф, и думал: хорошо бы написать это. Он лежал и смотрел в небо, где ничего не было, кроме восточного ветра, а четыре пули покоились у него в застегнутом кармашке для мелочи. Он знал, что в них весь оставшийся смысл его жизни, но сейчас не хотел думать об этом, не хотел давать ход практическим рассуждениям, которых от него ждали. Буду любоваться вот этим куском серого дерева, подумал он. Теперь мы знаем, что противник — вот он и что ему не миновать встречи с нами. А нам не миновать встречи с ним. Но до возвращения Ары и Генри думать об этом нет никакой необходимости. Ара обязательно что-нибудь найдет. Что-нибудь должно обнаружиться, а он малый не промах. Песчаный берег может много наврать, но правда обязательно где-нибудь проступит. Он нащупал пули в кармашке шортов, а потом подтянулся на локтях туда, где песок был суше и даже белее, если только такая белизна поддавалась сравнению, и лег, прислонившись головой к серому топляку, с револьвером между ног.

— И давно ты стал моей девушкой? — сказал он револьверу. — Не отвечай, — сказал он револьверу, — лежи там тихо, смирно, а придет время, ты у меня убьешь кого-нибудь получше этого сухопутного краба.

II

Он лежал, глядя на линию прибоя, и к тому времени, когда Ара и Генри появились на берегу, у него уже почти все было обдумано. Он увидел их, отвел взгляд в сторону и снова стал смотреть на море. Он пытался не думать об этом, пытался ослабить напряжение и не мог. Пока они не подойдут, он будет лежать спокойно, ни о чем таком не думая — только о волнах, разбивающихся о риф. Но времени на это ему не хватило. Они подошли слишком быстро.

— Нашли что-нибудь? — спросил он Ару, который сел под серым топляком. Генри сел рядом с ним.

— Одного нашел. Молодой человек. Убит.

— Факт, немец, — сказал Генри. — В одних шортах, длинноволосый. Блондин, волосы выгоревшие, пегие. Лежит, уткнувшись лицом в песок.

— Его застрелили?

— Да. Выстрелом в поясницу и в затылок, — сказал Ара. — Rematado¹¹¹. Вот пули. Я их отмыл.

— А у меня. — сказал Томас Хадсон, — четыре таких.

— Девятимиллиметровые, от «люгера»? — спросил Генри. — Того же калибра, что и наши.

— Эти, с темными головками от автомата, — сказал Томас Хадсон. — Благодарю вас, доктор, что вы извлекли их.

— Рад стараться, — сказал Ара. — Та, что в шею, прошла навывлет, я ее в песке нашел. Вторую Генри вырезал.

— Вырезал, и ничего, — сказал Генри. — На солнце, на ветру он вроде подсох. Нож будто в пирог вошел. Этот совсем другой, но то что-то. Почему его убили, Том?

— Не знаю.

— А как ты думаешь? — спросил Ара. — Зачем они сюда зашли — ремонтироваться?

— Нет. Они свою подлодку бросили.

— Да, правильно, — сказал Ара. — И увели лодки отсюда.

— Но почему же они убили этого матроса? — спросил Генри. — А, может, непонятливый, так ты уж извини, Том. Но ты же знаешь, как мне хочется помочь всем, чем могу, и я так рад, что мы наконец-то вошли с ними в соприкосновение.

— Какое там соприкосновение, — сказал Томас Хадсон. — Один только запашок.

— Но, Том, кто же убил матроса и почему его убили?

— Семейные неурядицы, — сказал Томас Хадсон. — Ты видел когда-нибудь, чтобы человека из добрых чувств убивали выстрелом в позвоночник? А вот в затылок ему выстрелили, чтобы прикончить — это уже из добрых чувств.

— Может, их было двое? — сказал Ара.

— Гильзы ты нашел?

— Нет, — сказал Ара. — Я искал их там, где им бы следовало упасть. Даже если стреляли из пулемета, их бы не выбросило дальше того места, где я искал.

— Тут, наверно, действовал тот же дотошный стервец, который и там подобрал гильзы.

— Куда они могли уйти отсюда? — спросил Ара. — Куда они направились на лодках?

— К югу, конечно, — сказал Томас. — Ты что, не знаешь, что на север им нельзя?

— А мы куда пойдём?

— Я стараюсь разгадать, что у них на уме, — сказал Томас Хадсон. — Только фактов у меня маловато.

— А трупы, а угнанные лодки? — сказал Генри. — Ты все сообразишь, Том.

— Одно нам известно — оружие, а вот где они бросили свою подлодку и сколько их? Смешай все это и добавь, что вчера ночью мы так и не добились связи с Гуантанамо, да подсчитай все островки к югу отсюда плюс то время, которое уйдет у нас на доставку воды на борт. Добавь еще Питерса, и готово — подавай кушанье на стол.

— Все будет хорошо, Том.

— Конечно, — сказал Томас Хадсон. — Хорошо — плохо, это в нашем деле близнецы.

— Но ты не сомневаешься, что мы этих немцев, найдем?

— Ни минуты! — сказал Томас Хадсон. — А теперь пойдё крикни Вилли — пусть идет сюда. Антонио надо приниматься за стряпню. Будем есть сегодня тушеных креветок. Ара, даю тебе три часа, наполни водой все бочки. Скажи Антонио, чтобы занялся моторами. Я хочу выйти отсюда засветло. Больше тебе ничего не попало на острове? Ни свиней, ни птицы?

— Ничего, — ответил Ара. — Они все забрали.

— Ну что ж, придется им поскорее все это скушать. Кормить живность нечем, льда тоже нет. Немцы — народ хитрый, они и черепах в это время года наловят. Я думаю, мы найдем их в Лобосе. Логично предположить, что они придут в Лобос. Скажи Вилли, чтобы он доверху забил ледник ракушками, а воды мы возьмем только до следующего островка.

Он замолчал, обдумывая что-то.

— Нет, виноват. Не то сказал. Воду таскай до заката, а судно я выведу отсюда, когда взойдет луна. Три часа мы потеряем, зато потом шесть выгадаем.

— Ты пробовал воду? — спросил Ара.

— Пробовал, — сказал он. — Вода хорошая, чистая. Ты был прав.

— Спасибо, — сказал Ара. — Так я пойду позову Вилли. Он уже сколько времени ныряет.

— Том, а мне что делать? — спросил Генри. — Остаться с тобой, или таскать воду, или, может, еще что?

— Таскай воду, а когда совсем уморишься, ложись спать. Ночью постоишь со мной на мостике.

— Привезти тебе рубашку или свитер? — спросил Генри.

— Пожалуй, рубашку и самое легкое одеяло, — сказал Томас Хадсон. — Песок сухой, сейчас можно и на солнце спать. А попозже на ветру похолодает.

— Какой тут песочек! Я такого сухого, рассыпчатого в жизни своей не видал.

— Это ветры его взбили за много лет.

— Томми, поймает ли их?

— Конечно, поймает, — сказал Томас Хадсон. — Никаких сомнений быть не может.

— Ты уж меня прости за мою дурость, — сказал Генри.

— За твою дурость тебя еще в люльке простили, — сказал Томас Хадсон. — Ты храбрец, Генри, и я тебя люблю и верю тебе. И никакой ты не дурень.

— Ты, правда, думаешь, что у нас будет бой с ними?

— Наверняка будет. Но ты об этом не думай. Думай о разных разностях. Думай о том, что тебе надо делать, и помни, что у нас у всех должно быть хорошее настроение, пока не начнется бой. О бое думать буду я.

— Я сделаю все, что от меня требуется, — сказал Генри. — Жалко, этот бой нельзя прорепетировать, тогда я бы еще лучше выполнил свой долг.

Томас Хадсон сказал:

— И так справишься. Нам этого боя не миновать.

— Уж очень ждать долго, — сказал Генри.

— Ждать всегда долго, — сказал ему Томас Хадсон. — Особенно когда гоняешься за кем-нибудь.

— Ты бы поспал, — сказал Генри. — Ты теперь совсем не спишь.

— Я посплю, — сказал Томас Хадсон.

— А как ты думаешь, Том, где они бросили свою подлодку? — спросил Ара.

— Лодки они увели отсюда и всех здешних поубивали, допустим, неделю назад. Значит, это та самая подлодка, о которой шла речь в Камагуэе. Но пока она еще была на плаву, они добрались на ней сюда. На резиновых лодках в такой ветер не ходят.

— Значит, подлодка затонула где-то недалеко, к востоку отсюда.
— Правильно. И тогда им, голубчикам, пришлось совсем раскрыться,
— сказал Томас Хадсон.

— А до дома-то еще далеко, — сказал Генри.
— Теперь еще дальше будет, — сказал Ара.
— Немцы — чудной народ, — сказал Томас Хадсон. — В общем-то они храбрые, некоторые вызывают просто восхищение. И вдруг такие вот мерзавцы попадают.

— Давайте лучше делом займемся, — сказал Ара. — Поговорить можно и ночью, на вахте, чтобы ко сну не клонило. А ты отдохни, Том.

— Тебе надо поспать, — сказал Генри.
— Что отдых, что сон — все едино.
— Нет, неверно, — сказал Ара. — Тебе важно выспаться, Том.
— Что ж, попробую, — сказал Томас Хадсон. Но когда он остался один, ему так и не удалось заснуть.

И надо же им было так напакостить здесь, думал он. Ничего, мы все равно их накроем. Здешние люди могли бы только рассказать нам, сколько было немцев и как они вооружены. За это, очевидно, и стоило их убить — с немецкой точки зрения. Что, мол, с ними считаться — негры! Но до некоторой степени это выдает их. Если они пошли на такое убийство, значит, руководствовались каким-то планом, значит, надеялись, что их подберут свои. Опять же этот план мог вызвать разногласия, иначе зачем им было убивать своего. Впрочем, с ним могли расправиться за что угодно. Может, он повел лодку на погружение, когда она должна была всплыть и пробираться домой.

Ну и что нам дадут мои домыслы? — подумал он. Полагаться на них нельзя. Может, так было, а может, нет. Но если было, значит, лодка пошла на погружение в виду берега, и пошла быстро. Следовательно, с собой они почти ничего не успели взять. Может быть, тот матросик тут ни при чем и зря его убили.

Сколько у них лодок, тоже не известно, потому что на двух — на трех здешние жители могли уйти за черепахами. Так что тебе остается только ломать голову и обследовать ближайшие островки.

Но что, если они пересекли Старый Багамский пролив и пристали к берегам Кубы? Ну, конечно! Как же ты раньше об этом не подумал? Для них это наилучший выход.

А если так, то из Гаваны они смогут добраться домой на любом испанском судне. Правда, в Кингстоне суда проходят проверку. Но риск тут наименьший, многим удавалось проскочить это препятствие. А наш

Питерс, собака! Надо же, рация у него отказала. ПСО, подумал он: Пункт Связи Отказал. Нам дали большой передатчик, а он с этим красавцем не справился. Как он его заporол, понятия по имею. Но вчера в наш час ему не удалось связаться с Гуантанамо, а если и сегодня ночью ничего не выйдет, тогда мы сядем в калошу. А, к черту! — подумал он. Калоша еще ничего, есть места и похуже. Спи, сказал он себе. Это самое толковое, что ты можешь сделать сейчас.

Он поерзал плечами, укладываясь на песке, и заснул под рев волн, разбивавшихся о риф.

III

Томас Хадсон спал, и ему снилось, что сын его Том не убит, и что два других мальчика живы и здоровы, и что война окончилась. Ему снилось, что мать Тома спит вместе с ним, навалившись на него во сне, как это часто бывало. Он всем телом ощущал ее тело, ногами ее ноги и грудью ее грудь и губами ее сонно ищущие губы. Шелковистая масса ее волос накрыла ему глаза и щеки, и он отвел свои губы от ее губ, и захватил прядь волос в рот, и не выпускал. Потом, не просыпаясь, он нащупал револьвер на поясе и сдвинул его в сторону, чтобы не мешал. Потом затих под тяжестью ее тела, медленно и ритмично покачиваясь вместе с ней, чувствуя на лице шелковистую завесу ее волос.

Было это, когда Генри накрыл его с головой легким одеялом, и Томас Хадсон пробормотал во сне:

«Спасибо тебе, что ты такая ласковая и теплая и что так тесно прижимаешься ко мне. Спасибо, что ты так скоро вернулась и что ты не слишком худа».

— Эх, бедняга, — сказал Генри, заботливо оправляя одеяло. Потом он подхватил две пятигалонные оплетенные бутылки, взвалил их на плечи и ушел.

«А я думала, тебе хочется, чтобы я похудела, Том, — сказала женщина во сне. — Ты говорил, что когда я худею, то становлюсь похожа на молодого козленка, а лучше молодого козленка ничего и вообразить нельзя».

«Ах ты, — сказал он. — Ну, кто кого будет любить, ты меня или я тебя?»

«Оба вместе, — сказала она. — Если ты согласен, конечно».

«Люби ты меня, — сказал он. — Я очень устал».

«Ты просто лентяй, — сказала она. — Дай-ка я сниму с тебя револьвер и положу рядом. А то он все время мешает».

«Положи его на пол, — сказал он. — И пусть все будет так, как должно быть».

Когда все уже было так, как должно быть, она сказала:

«Ты хочешь, чтобы я была тобой или ты мной?»

«Тебе право выбора».

«Я буду тобой».

«Я тобой быть не сумею. Но попробовать можно».

«Попробуй — смеха ради. Главное, не старайся беречь себя. Старайся все отдать и все взять тоже».

«Ладно».

«Ну как, получается?»

«Да, — сказал он. — И это чудесно».

«Вот теперь понимаешь, что мы чувствуем?»

«Да, — сказал он. — Да, понимаю. Отдавать не так трудно».

«Только отдавать нужно все-все. А ты рад, что я вернула тебе мальчиков и что по ночам я прихожу к тебе прежней чертовкой?»

«Да. Я рад и счастлив, а теперь откинь волосы с моего лица, и дай мне твои губы, и обними меня так крепко, чтобы нельзя было дышать».

«Сейчас. А ты — меня, хорошо?»

Проснувшись, он нащупал рукой одеяло и не сразу понял, что все это только привиделось ему во сне. Он повернулся на бок, и боль от вдавившейся в бедро кобуры возвратила его к действительности, но внутри теперь было еще более пусто — приснившийся сон оставил новую пустоту. Постепенно он разглядел, что еще светло, разглядел шлюпку, которая везла на судно пресную воду; разглядел белую пену мерно ударяющих в риф бурунов. Он лег на другой бок, подоткнул под себя одеяло и, положив голову на руки, заснул опять. Он спал без просыпу, пока его не разбудили к началу вахты, и больше уже не видел никаких снов.

IV

Он простоял за штурвалом всю ночь, и вместе с ним до полуночи нес

вахту Ара, а потом Генри. Волны били им в борт, и править при такой качке было нелегко — похоже на спуск верхом с крутой горы, думал он. Едешь все время вниз и вниз, а иной раз вильнешь поперек склона. Только море — это не одна, а много гор, оно как пересеченная местность.

— Говори со мной, — сказал он Аре.

— О чем говорить, Том?

— О чем угодно.

— Питерс опять не смог поймать Гуантанамо. Он эту штуку совсем доконал. Новую, большую.

— Знаю, — сказал Томас Хадсон, стараясь спускаться с горы как можно тише, чтобы судно не так качало. — Он там пережег что-то и не может починить.

— Но он слушает, — сказал Ара. — И Вилли с ним — следит, чтобы он не заснул.

— А кто следит, чтобы не заснул Вилли?

— Вилли-то не заснет, — сказал Ара. — Он такой же бессонный, как и ты.

— А ты сам?

— Я всю ночь могу не ложиться, если надо. Хочешь, передай мне штурвал.

— Нет. Мне тогда нечего будет делать.

— Очень тебе скверно, Том, а?

— Не знаю. Как скверно может быть человеку?

— Ведь все равно не поможет, — сказал Ара. — Принести тебе бурдюк с вином?

— Нет. Принеси лучше бутылку холодного чая да проверь, как там Питерс и Вилли. Все вообще проверь.

Ара ушел, и Томас Хадсон остался один с ночью и морем, и по-прежнему это было как езда по сильно пересеченной местности на лошади, прибавлявшей ходу, когда дорога шла под уклон.

На мостик поднялся Генри с бутылкой холодного чая в руках.

— Как идем? — спросил он.

— Идем — лучше не надо.

— Питерс по старой рации установил связь с полицией Майами. Со всеми патрульными машинами. Вилли рвется поговорить с ними сам. Но я сказал, что нельзя.

— Правильно сделал.

— Питерс говорит, по УКВ что-то вроде бурчали по-немецки, но это, наверно, далеко отсюда — там, где у них база.

— Тогда бы он ничего не услышал.
— Забавная сегодня ночь, Том.
— Не такая уж забавная, как тебе кажется.
— Ну, не знаю. Скажи мне курс, и я стану к штурвалу, а ты ступай вниз.
— Питерс сделал запись в журнале?
— Само собой.
— Скажи Хуану, пусть определит наши координаты и сообщит мне, а Питерс пусть занесет все в журнал. Когда, говоришь, эти сучьи дети бурчали?
— Когда я поднялся наверх.
— Скажи Хуану, пусть не копается и чтобы все было занесено в журнал.
— Слушаю, Том.
— Как там прочие чудики?
— Спят все. И Хиль тоже спит.
— Ну, давай живей к Питерсу, пусть отметит наши координаты в журнале.
— Тебе это так нужно?
— Я-то знаю, где мы находимся. Слишком хорошо, черт дери, знаю.
— Ладно, Том, — сказал Генри. — Постарайся все-таки быть поспокойнее.

Генри вернулся на мостик, но Тому разговаривать не хотелось, и Генри молча стоял с ним рядом, пошире расставив ноги для упора. Час спустя он сказал:

— Вижу маяк, Том. По правому борту, примерно на двадцать градусов в сторону от нашего курса.
— Правильно.

Когда они уже были на траверзе светящейся точки, он развернул судно и поставил его кормой к открытому морю.

— Теперь пойдет резво, конюшня близко, — сказал он Генри. — Мы входим в протоку. Разбуди Хуана, пусть тоже поднимется сюда, а сам держи глаза нараспашку. Ты поздно заметил маяк.

— Виноват, Том. Может, будем теперь нести вахту по четверо?

— Пока не рассвело, не нужно, — сказал Томас Хадсон. — А там я тебе дам команду.

Может быть, они проскочили над отмелью, думал Томас Хадсон. Только едва ли. Ночью они бы не решились на такое, а в дневное время подводники побоятся отмели. Скорей всего, они теперь развернутся там

же, где развернулся я. А потом пойдут себе потихоньку протокой так же, как мы собираемся сделать, и облюбуют самый высокий выступ кубинского побережья. От портов им лучше держаться подальше, так что они просто будут идти по ветру, Конфитес постараются обойти стороной — там радиостанция, и это им хорошо известно. Но запасы продовольствия надо пополнять и запасы пресной воды тоже. Самое разумное для них было бы подойти поближе к Гаване, высадиться где-нибудь близ Бакуранао и уже оттуда пробираться куда нужно. Я пошлю радиogramму из Конфитеса. Указаний спрашивать не буду. А то, если полковника нет на месте, нас это задержит. Просто сообщу то, что есть, и как думаю действовать. Пусть принимают свои меры. А Гуантанамо будет принимать свои, а Камагуэй — свои, а Ла-Фэ — свои, а ФБР — свои; глядишь, через неделю что-нибудь получится.

К черту, подумал он. Я сам до них доберусь за эту неделю. Придется же им остановиться, чтобы набрать воды и сварить чего-нибудь поесть, а то там вся живность околеет с голоду. Скорей всего, они будут плыть по ночам, а в дневное время постараются не двигаться. Так логика подсказывает, так я сам поступил бы на их месте. Попробуй-ка влезть в шкуру толкового немца — командира подводной лодки, как бы ты справился со всеми его заботами?

Забот у него немало, думал Томас Хадсон. И самая большая забота — это мы, о чем он и не подозревает. Ничего опасного он в нас не видит. Так, безобидные людишки на катере.

Ты только не разжигай в себе кровожадность, подумал он. Ничего и никого ты этим не вернешь. Шевели мозгами и радуйся, что у тебя есть какое-то дело и есть в этом деле хорошие помощники.

— Хуан, — сказал он. — Что видишь, друг?

— Один хреновый океан кругом.

— А прочие джентльмены, кто что видит?

— Ни хрена, — сказал Хиль.

— Мой хреновый желудок видит кофе. Но до него еще далеко, — сказал Ара.

— Вижу землю, — вдруг сказал Генри. Он ее только что заметил — квадратное пятнышко над горизонтом, будто кто-то приложил к постепенно светлевшему небу большой палец, запачканный чернилами.

— Это мыс за Романо, — сказал Томас Хадсон. — Спасибо, Генри. Вот что, чудики, вы теперь ступайте пить кофе, а сюда пришлите другую четверку удалцов — им предстоит увидеть много удивительного и занятного.

— Тебе принести кофе, Том? — спросил Ара.

— Нет. Я лучше чаю выпью, когда вы заварите свежий.

— Мы не так давно заступили на вахту, Том, — сказал Хиль. — Нам еще рано сменяться.

— Ладно, ладно, идите пить кофе, дайте и другим удалцам возможность прославить себя.

— Том, ты вроде говорил, что фрицы, наверно, в Лобосе.

— Да. Но теперь я думаю иначе.

Они ушли вниз, а на смену им поднялась новая четверка.

— Джентльмены, — сказал Томас Хадсон. — Прошу вас поделить между собой страны света. Что, кофе есть внизу?

— Сколько душе угодно, — сказал его помощник, — И чай тоже. И моторы в полной исправности, и воды мы зачерпнули совсем немного для такой волны.

— Как там Питерс?

— Ночью пил виски из собственной бутылки. Из той, что с ягненком на этикетке. Но спать не спал. Вилли тоже прикладывался к его бутылке и не давал ему заснуть.

— В Конфитесе заправимся горючим и по части продовольствия кое-чем разживемся.

— Погрузка много времени не займет, но я успею зарезать свинью и ошпарить ее, — сказал помощник, — Дам радистам со станции четверть туши, они мне помогут управиться, а разделявать буду уже на ходу. А ты поспи, пока мы будем грузиться. Хочешь, я тебя сейчас сменю?

— Нет. Мне нужно будет послать из Конфитеса три радиogramмы, а потом вы будете грузиться, а я буду спать. А после Конфитеса возобновим погоню.

— В направлении к порту?

— А что? Может, мы их и потеряем на какое-то время. Но уйти они от нас все равно не уйдут. Ладно, об этом еще успеется. Как ребята?

— Ты же их знаешь. Об этом тоже еще успеется. Возьми круче к берегу, Том. Течение благоприятное, и это сократит нам путь.

— Мы много потеряли из-за качки?

— Да нет, не особенно. Но вообще нам досталось, — сказал помощник.

— Ya lo creo, — сказал Томас Хадсон. — Верю.

— Кроме этой подлодки, здесь в окрестностях ничего не должно быть. Наверно, это та, которую сочли потопленной. Шла она из Ла-Гуайры, так что они могут быть и у Кингстона и всюду, где есть горючее. И с базой,

наверно, держат связь.

— Они могут и здесь показаться.

— Да, за грехи наши.

— И за свои собственные.

— Ничего, мы будем действовать осторожно и с умом.

— Скорей бы начать, — сказал Томас Хадсон.

— Задержки до сих пор не было.

— Для меня все разворачивается слишком медленно.

— Ладно, — сказал помощник. — Ты только ухитрись поспать в Конфитесе, а там увидишь, все пойдет быстрее быстрого.

V

Впереди уже виднелась площадка наблюдательной вышки острова и высокая сигнальная мачта. И то и другое было покрашено белой краской и раньше всего бросалось в глаза. Потом Томас Хадсон увидел приземистые радиомачты и ржавый остов выброшенного на камни судна, заслонявший домик, где помещалась радиостанция. Конфитес не слишком живописно выглядел с этой стороны.

Восходящее солнце светило Томасу Хадсону в спину, и ему нетрудно было найти между рифами проход пошире, а потом, лавируя среди мелей и коралловых островков, вывести судно к удобному для причала месту. Песчаный пляж полумесяцем огибал защищенную от ветра бухту, а дальше земля на острове была покрыта пересохшей травой, и только с наветренной стороны громоздились большие плоские камни. Глядя в зеленую воду, сквозь которую просвечивало песчаное дно, Томас Хадсон прошел по самому центру бухты и стал на якорь, почти ткнувшись носом в берег. Солнце уже взошло, над радиостанцией и служебными постройками развевался кубинский флаг. Сигнальная мачта торчала голая, обдуваемая ветром. Кругом не было ни души, только флаг, новенький, чистый и яркий, хлопал на ветру.

— Вероятно, прибыла смена, — сказал Томас Хадсон. — Когда мы последний раз уходили отсюда, флаг был как линялая тряпка.

Он огляделся по сторонам; бочки с горючим стояли там, где он их оставил, а на том месте, где он велел закопать предназначенные для него брусски льда, высились песчаные холмики. Они были похожи на свежие

могилы, а над ними носились чернокрылые чайки — крачки, гнездившиеся среди камней с наветренной стороны острова. Впрочем, в сухой траве на подветренной стороне тоже попадались их гнезда. Сейчас они носились назад и вперед, то по ветру, то наперерез ветру, то ныряя вниз, к траве и камням, и оглашая воздух тоскливыми, жалобными криками.

Кто-нибудь, наверно, охотится за яйцами к завтраку, подумал Томас Хадсон. Тут из камбуза донесся запах жареной ветчины, и он, подойдя к краю мостика, крикнул, чтобы завтрак ему принесли сюда, наверх. Он внимательно оглядывал остров. А вдруг они здесь, думал он. Вдруг они захватили Конфитес.

Но в эту минуту на дорожке, спускавшейся от радиостанции к берегу, показался человек в шортах, и Томас Хадсон узнал лейтенанта. Он сильно загорел, не стригся месяца три и, увидев Томаса Хадсона, весело закричал:

— Как плавалось?

— Хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Идите сюда, пивом угостим.

— Потом, — сказал лейтенант. — Лед, и пиво, и продовольствие для вас доставили два дня назад. Лед мы закопали в песок. Остальное там, в доме.

— Какие новости?

— Дней десять назад самолеты вроде бы потопили одну подлодку в районе Гуинчоса. Но это было еще до вашего выхода в рейс.

— Да, — сказал Томас Хадсон. — Это было две недели назад. Или речь не о той?

— О той самой.

— Еще какие новости?

— Позавчера другая подлодка сбила дозорный аэростат в районе Кайо Саля.

— Это точно?

— Пока только по слухам. Ну и потом ваша свинья.

— А что со свиньей?

— Как раз в этот день доставили для вас живую свинью, а она назавтра уплыла в море и утонула. А мы еще кормили ее целые сутки.

— Que puerco mas suicido¹¹², — сказал Томас Хадсон.

Лейтенант расхохотался. У него было веселое лицо, смуглое от загара, и он был далеко не глуп. Если он валял дурака, так только для собственного развлечения. Ему был дан приказ оказывать всяческое содействие Томасу Хадсону и ни о чем его не спрашивать. Томасу Хадсону был дан приказ воспользоваться радиостанцией и ни о чем не рассказывать.

— Других новостей нет? — спросил он. — Не заходили сюда лодки багамских ловцов губок или ловцов черепах?

— А что им здесь делать? У них там и губок и черепах сколько угодно. Хотя на прошлой неделе мы тут видели две лодки, вернее, шхуны ловцов черепах. Они обогнули мыс и, видно, хотели зайти в бухту, но передумали и пошли на Кайо Крус.

— Интересно, что им тут нужно было.

— Не знаю. Вы, скажем, курсируете в здешних водах с научными целями. А вот зачем ловцам черепах бросать самые черепашии места и приплывать сюда — не понятно.

— Сколько там было человек?

— Мы только видели тех, кто стоял у руля. На обеих шхунах были устроены вроде бы шалаши из пальмовых листьев. Может быть, черепахам нужна тень.

— А рулевые были белые или негры?

— Белые, но загорелые дочерна.

— Никаких названий или номеров не было на борту?

— Может, и были, но на таком расстоянии ничего нельзя было разобрать. Я объявил на острове угрожаемое положение, однако за двое суток ничего решительно не произошло.

— Когда именно они здесь проходили?

— За день до получения ваших припасов, и вашего льда, и вашей свиньи-самоубийцы. Через одиннадцать дней после потопления вашей авиацией той подлодки. За три дня до того, как вы сами пожаловали сюда. А что, это были ваши знакомые?

— Вы о них сообщили, конечно?

— Разумеется. И не получил никакого ответа.

— Мне нужно отправить три радиограммы, можно будет?

— Конечно. Пришлите только тексты на станцию, и все немедленно передадут.

— Сейчас мы начнем грузить лед и горючее и переносить на катер продукты. Может, там есть что-нибудь, что пригодилось бы вам?

— Не знаю. Там был приложен список. Я расписался в получении, но написано было по-английски, так что прочесть я не мог.

— А кур или индеек не прислали?

— Прислали, — сказал лейтенант. — Я их отложил особо, хотел сделать вам сюрприз.

— Этим мы с вами поделимся, — сказал Томас Хадсон. — И пивом поделимся тоже.

— Хотите, мои люди помогут вам грузить бензин и лед?
— Отлично. Большое спасибо. Я бы хотел часа через два уже сняться с якоря.

— Понятно. Нас, как видите, опять не сменили. Обещают через месяц.
— Еще через месяц?
— Да.
— А как ваши люди, не ропщут?
— У меня тут почти все — штрафники.
— Большое спасибо за помощь. Весь ученый мир вам благодарен.
— И Гуантанамо тоже?
— Гуантанамо — Афины современной науки.
— Мне кажется, эти шхуны прятались где-то неподалеку отсюда.
— Мне тоже так кажется, — сказал Томас Хадсон.
— Шалаши были из листьев кокосовой пальмы, еще совсем зеленых.
— Скажите мне все, что вы еще знаете.
— А я больше ничего и не знаю. Давайте ваши радиogramмы. Я не хочу подниматься к вам на борт, чтобы не мешать и не отнимать у вас времени.

— Если в наше отсутствие пришлют что-нибудь скоропортящееся, пожалуйста, возьмите себе.

— Спасибо. Такая досада, что ваша свинья утопилась в море.
— Ничего, — сказал Томас Хадсон. — У каждого из нас свои заботы.
— Я скажу моим людям, чтобы они на борт не поднимались, пусть только помогут перенести все.

— Спасибо, — сказал Томас Хадсон. — Так вы ничего больше не можете вспомнить о тех шхунах?

— Они были такие, как все шхуны ловцов черепах. Обе совершенно одинаковые. Как будто один мастер их строил. Они обогнули риф и уже разворачивались для входа в бухту. А потом повернули по ветру и пошли на Кайо Крус.

— По эту сторону рифа?
— Шли по эту, пока не скрылись из виду.
— А что вы такое говорили про подлодку в районе Кайо Саля?
— Она всплыла и снарядом сбила дозорный аэростат.
— На вашем месте я бы не отменял угрожаемого положения.
— А я и не отменял его, — сказал лейтенант. — Оттого-то вы и не видели никого на берегу.

— Я видел птиц, которые летают кругом.
— Бедные птицы, — сказал лейтенант.

Они шли фордевиндом, держа курс на запад, огибая риф с обращенной к острову стороны. Горючее в баки было залито, ледник набит льдом, и в камбузе дежурная смена ощипывала и потрошила кур. Другая смена была занята чисткой оружия. Мостик затянули брезентом до половины человеческого роста, на борту укрепили две длинные доски, огромными буквами вещавшие о научных целях экспедиции. Заглядывая за борт, чтобы проверить глубину, Томас Хадсон видел, как на вспененную катером воду летят и ложатся куриные перья.

— Держи как можно ближе к берегу, только так, чтобы не наскочить на мель, — сказал он Аре. — Ты же эти места знаешь.

— Знаю, что это довольно рискованно, — сказал Ара. — Где мы должны стать на якорь?

— Я хочу пошарить немного вокруг Кайо Круса.

— Пошарить можно, только это вряд ли что-нибудь даст. Не думаешь же ты, что они так и торчат там.

— Нет. Но, может, их видели местные рыбаки. Или угольщики.

— Хоть бы этот ветер улегся, — сказал Ара. — Денька два-три мертвого штиля — вот бы нам что нужно.

— За Романо штиля не жди.

— Знаю. Но здесь ветер дует прямо как в горном ущелье. Если он не уляжется, нечего и рассчитывать на удачу.

— До сих пор все у нас шло как надо, — сказал Томас Хадсон, — Может, еще повезет. Вдруг они захватили радиостанцию в Лобосе и оттуда радировали, чтобы другая подлодка пришла им на выручку?

— Значит, они не знали, что другая подлодка уже там.

— Наверное даже. За десять дней они могли далеко уйти.

— Если хотели, — сказал Ара. — Ладно, Том, хватит рассуждать. У меня от рассуждений голова болит. Лучше уж возиться с горючим. Ты все рассуди сам, а мне давай команду, как держать.

— Держи прежним курсом, только помни об этой окаянной Минерве. Не налететь бы там на подводный риф.

— Ладно.

Может быть, от удара у нее рация вышла из строя, думал Томас

Хадсон. Но ведь наверняка там была запасная установка для таких случаев. Однако Питерсу ни разу не удалось поймать ее по УКВ после того, как ее подбили. И все-таки это ничего не доказывает. Ничто ничего не доказывает; достоверно только одно: три дня назад две шхуны прошли здесь тем курсом, которым сейчас идем мы. Спросил я его, были ли у них шлюпки на палубе? Нет, забыл. Но, наверно, были, ведь он же сказал, что это обыкновенные шхуны, на каких ходят ловцы черепах, если не считать шалашей из пальмовых листьев.

Сколько людей? Не известно. Есть ли раненые? Не известно. Какое оружие? Известно только, что есть один автомат. Куда направляются? Туда же, куда и мы за ними, — пока что.

Может быть, удастся обнаружить что-нибудь между Кайо Крусом и Мегано, думал он. Стаи птиц — вот и все, что ты обнаружишь, наверно, да еще следы игуан на песке, где они пробирались к воде.

Ну, хотя бы это тебе поможет не думать о другом. О чем другом? Нет больше ничего другого, и думать тебе не о чем. Как это не о чем? Ты должен думать об этом судне, и о людях на нем, и о тех сволочах, за которыми ты охотишься. А кончишь тут — вернешься к своим зверям, и съездишь в город, чтобы там напиться в дым, так, чтобы тебя потом приволокли замертво, и переспишь с кем придется, а там — очухаешься и будешь готов начинать все сначала.

Может быть, на этот раз тебе удастся изловить этих сволочей. Не ты уничтожил их подводную лодку, но ты был немного причастен к ее уничтожению. И если тебе удастся выследить ее экипаж, ты этим принесешь немалую пользу.

Так почему же тебе все это вроде бы ни к чему, спросил он себя. Почему ты не видишь в них убийц и не испытываешь тех праведных чувств, которые должен испытывать? Почему просто скачешь и скачешь вперед, точно лошадь, потерявшая наездника, но не сошедшая с круга? Потому что все мы убийцы, сказал он себе. Все, и на этой стороне и на той, если только мы исправно делаем свое дело, и ни к чему хорошему это не приведет.

Но ты все-таки должен это делать, сказал он себе. Да, конечно. Но гордиться этим я не должен. Я только должен это делать хорошо. Я не нанимался получать от этого удовольствие. Ты и вообще не нанимался, сказал он себе. И тем хуже.

— Пусти, Ара, я сам буду править, — сказал он.

Ара передал ему штурвал.

— А ты продолжай наблюдение по правому борту. Смотри только,

чтобы солнце не слепило тебе глаза.

— Сейчас схожу за биноклем. Слушай, Том. Почему ты не хочешь, чтобы я правил и чтобы вахту несли сразу четверо? Ты же очень устал, даже на остановке у острова не дал себе отдохнуть.

— Четверым сейчас на вахте делать нечего. Это понадобится позже.

— Но ты уже устал, Том.

— Мне не хочется спать. Понимаешь, если они идут ночами и близко к берегу, без поломки у них не обойдется. Тогда они вынуждены будут пристать, чтобы исправить повреждение, и тут-то мы их и настигнем.

— Это не причина, чтобы тебе не знать ни сна, ни отдыха, Том.

— Я этим делом занимаюсь не для форсу, — сказал Томас Хадсон.

— Никто никогда так и не думал.

— Слушай, Ара, что ты чувствуешь к этим сволочам?

— Просто думаю: вот мы доберемся до них, перестреляем сколько нужно будет, а остальных захватим с собой.

— Ну а бойня, которую они устроили?

— Не хочу сказать, что мы на их месте поступили бы так же. Но им это, видно, казалось необходимым. Не ради удовольствия же они это сделали.

— А свой, которого они убили?

— Генри несколько раз готов был убить Питерса. Мне самому иногда хочется его убить.

— Да, такое бывает, — согласился Томас Хадсон.

— Я просто не думаю обо всем этом, вот оно меня и не беспокоит. А ты вместо того, чтобы изводить себя беспокойными мыслями, лег бы и почитал. Раньше ведь ты всегда так делал.

— Сегодня я буду спать. Вот станем на якорь, я почитаю и усну. У нас есть в запасе четыре выигранных дня, хоть оно и незаметно. Теперь от нас требуется только одно: искать как следует.

— Рано или поздно они попадут к нам в руки — не к нам, так к другим, — сказал Ара, — Не все ли равно? У нас есть своя гордость, но это гордость особая, о которой люди понятия не имеют.

— Да, я и забыл, — сказал Томас Хадсон.

— Это гордость без тщеславия, — продолжал Ара. — Дерьмо ей брат, неудача — сестра, а со смертью она в законном браке.

— Велика должна быть сила такой гордости.

— Очень велика, — сказал Ара. — Ты о ней не забывай, Том, и не изводи себя попусту. У нас тут у всех эта гордость есть, даже у Питерса. Хоть я и не люблю Питерса.

— Спасибо тебе за твои слова, — сказал Томас Хадсон. — Мне иногда, правда, до того невтерпёж становится, думаешь, хрен с ним со всем.

— Том, — сказал Ара. — У человека только и есть что гордость. Бывает, ее у него слишком уж много, и тогда это грех. Ради гордости все мы иногда делаем то, что кажется невозможным. А мы идем на это. Но нужно, чтобы гордость была подкреплена разумом и осмотрительностью. Тебе сейчас этого недостает, и я прошу тебя: будь осмотрителен. Ради нас и ради судна.

— Кого это нас?

— Всех нас.

— Ладно, — сказал Томас Хадсон. — Крикни, чтоб тебе принесли твой бинокль.

— Том, пойми меня.

— Я понял. И очень благодарен тебе. Я сегодня на совесть поужинаю и буду спать сном невинного младенца.

Аре не стало смешно от этих слов, а он всегда думал, что смешное должно быть смешным.

— Постарайся, Том, — сказал он.

VII

Они бросили якорь с подветренной стороны Кайо Круса в бухте между двумя островами.

— Бросим-ка еще другой якорь, раз уж будем здесь стоять! — крикнул Томас Хадсон своему помощнику. — Не нравится мне здешний грунт.

Помощник пожал плечами и наклонился над вторым якорем, а Томас Хадсон подал судно немного вперед, против течения, глядя, как травянистый берег медленно скользит мимо борта, а потом дал задний ход и выждал, пока второй якорь не зарылся как следует в песок. Судно теперь стояло носом к ветру, а зыбь отлива бежала мимо. Даже в этом укрытом месте ветер был довольно силен, и Томас Хадсон понимал, что, когда отлив сменится приливом, судно повернет бортом к волне.

— Ну и черт с ним, — сказал он. — Пусть его покачает.

Но помощник тем временем спустил шлюпку, и сейчас они уже травили кормовой якорь. Томас Хадсон увидел, что этот якорь, маленький

«дэнфорт», был сброшен с таким расчетом, чтобы удержать катер носом к ветру, когда начнется прилив.

— Уж привесили бы заодно еще парочку, — крикнул он. — Тогда его можно было бы выдать за особую породы паука.

Помощник ухмыльнулся.

— Давай к борту. Я поеду на берег.

— Нет, Том, — сказал помощник. — Пусть Ара и Вилли едут. Я перевезу их на берег. А потом вторую партию — в Мегано. Хочешь, чтобы они взяли с собой [pinos113](#)?

— Нет. Будьте учеными.

Я мирюсь с тем, что мною вертят как хотят. Это, пожалуй, значит, что мне и в самом деле надо отдохнуть. Беда только в том, что я и усталости не чувствую и спать мне не хочется.

— Антонио, — позвал он.

— Да? — откликнулся помощник.

— Я возьму надувной матрац, и две подушки, и хороший коктейль.

— Какой именно?

— Джин с кокосовой водой, с ангостурой и лимоном.

— А, «Томини», — сказал помощник, обрадованный тем, что Томас Хадсон опять захотел выпить.

— И притом двойной.

Генри забросил на мостик надувной матрац и сам поднялся следом, держа под мышкой книгу и журнал.

— Тут ты за ветром, — сказал он. — Хочешь, я раздвину немного брезент для вентиляции?

— С каких это пор со мной такие нежности?

— Том, мы посоветовались и все решили, что тебе нужно отдохнуть. Ты так себя загонял, никто бы не выдержал. И ты не выдержал.

— Чушь, — сказал Томас Хадсон.

— Может быть, — сказал Генри. — Я говорил им, что, по-моему, ты в форме и можешь еще держаться и дальше. Но другие беспокоятся, и они меня убедили. А ты попробуй разубедить. Но сейчас дай себе все-таки передышку.

— Я себя чувствую как нельзя лучше. И плевать я на все хотел.

— Вот то-то и есть. Ты не желаешь сходить с мостика. Желаешь стоять все вахты подряд у штурвала. И плевать на все хотел.

— Ладно, — сказал Томас Хадсон. — Картина ясная. Но пока что здесь все-таки командую я.

— Я это не в каком-нибудь дурном смысле, честное слово.

— Правильно. Забудь, — сказал Томас Хадсон. — Стану отдыхать. Как прочесывать заросли на острове, знаешь?

— Да уж, надо думать, знаю.

— Вот и займись Мегано.

— Точно. Вилли и Ара уже уехали. А мы, вторая партия, только ждем, когда Антонио пригонит назад шлюпку.

— Как там у Питерса?

— Полдня возился с этой большой рацией. Думает, что теперь как будто наладил.

— Это бы здорово. Если я засну, разбуди меня, как только вернетесь.

— Хорошо, Том. — Генри нагнулся и взял то, что ему подали снизу. Это был высокий стакан с ржавого цвета жидкостью и кусочками льда, обернутый сложенным вдвое бумажным полотенцем и перетянутый резинкой. — Двойной «Томини», — сказал Генри. — Выпей, потом почитай и спи. Стакан можешь поставить вон в одну из ячеек для гранат.

Томас Хадсон отхлебнул из стакана.

— Приятно, — сказал он.

— Тебе всегда нравилось. Все будет хорошо, Том.

— Да уж все, что мы сейчас можем сделать, надо делать как следует.

— Главное — отдохни хорошенько.

— Постараюсь.

Генри сошел вниз, и Томас Хадсон услышал приближающийся стук шлюпочного мотора. Стук затих, послышались голоса, потом снова стук, но уже удаляющийся, Томас Хадсон немного подождал, прислушиваясь. Потом взял стакан и высоко через борт выплеснул его содержимое, а ветер подхватил это и отнес к корме. Томас Хадсон сунул стакан в подходящую по размеру ячейку в тройном стеллаже и ничком растянулся на надувном матрасе, обняв его обеими руками.

В этих пальмовых шалашах у них, наверно, были раненые. А может быть, они просто хотели спрятать побольше народу. Но навряд ли. Будь их много, они бы заявили сюда в первую же ночь. Надо было мне самому поехать на берег. Впредь так и буду делать. Хотя Ара и Генри молодцы первый сорт и Вилли тоже молодец. И я должен быть молодцом. Да уж постарайся сегодня вечером, сказал он себе. И устрой им травлю, настоящую и без пощады, не делай ошибок и смотри, чтобы как-нибудь их не прозевать.

Он почувствовал, что его трогают за плечо. Это был Ара, и он сказал:

— Том, одного мы достали, Вилли и я.

Томас Хадсон сбежал вниз, и Ара за ним.

Немец лежал на корме, закутанный в одеяло. Под головой у него были две подушки. Питерс сидел рядом на палубе, держа в руках стакан с водой.

— Посмотрите, что у нас тут есть, — сказал он.

Немец был очень худ, подбородок и впалые щеки уже обросли белокурой бородкой. Волосы у него были длинные и спутанные, и в последнем дневном свете, какой бывает, когда солнце почти уже зашло, он был похож на святого.

— Он не может говорить, — сказал Ара. — Мы с Вилли уже пробовали. И между прочим, держись так, чтоб ветер не дул от него к тебе.

— Да, я еще с трапа учуял, — сказал Томас Хадсон. — Спроси, не нужно ли ему чего-нибудь, — обратился он к Питерсу.

Радист заговорил с пленным по-немецки, и тот повел глазами на Томаса Хадсона, но ничего не сказал и не повернул головы. Томас Хадсон услышал стук мотора и, оглянувшись на бухту, увидел шлюпку, выплывавшую из огней заката. Она была так нагружена, что сидела в воде выше ватерлинии. Он снова поглядел на немца.

— Спроси, сколько их там. Скажи: нам надо знать. Скажи: это очень важно.

Питерс снова заговорил с немцем — мягко и, как показалось Томасу Хадсону, даже ласково.

Немец с трудом выговорил три слова.

— Он говорит, что ничто не важно, — сказал Питерс.

— Скажи: он ошибается. Мне необходимо знать. И спроси, не сделать ли ему укол морфия.

Немец дружелюбно посмотрел на Томаса Хадсона и произнес три слова.

— Он говорит, теперь ему уже не больно, — сказал Питерс. Он быстро заговорил по-немецки, и опять Томас Хадсон уловил в его речи ласковую интонацию, но, может быть, такая интонация была присуща самому языку.

— Уймись-ка, Питерс, — сказал Томас Хадсон. — Переводи только то, что я говорю, и переводи точно, слышишь?

— Да, сэр, — сказал Питерс.

— Скажи ему, что я могу заставить его говорить.

Питерс что-то сказал немцу, и тот обратил глаза к Томасу Хадсону. Это были старческие глаза, вставленные в лицо молодого человека, только постаревшее, как стареет топляк, и почти такое же серое.

— Nein, — медленно выговорил немец.

— Он говорит — нет, — перевел Питерс.

— Это я и сам понял, — сказал Томас Хадсон. — Вилли, пойді принеси ему теплого супа и коньяку немного захвати. Питерс, спроси его, если я не буду требовать, чтобы он говорил, так, может, он все-таки не откажется от морфия? Скажи, у нас его много.

Питерс перевел, и немец посмотрел на Томаса Хадсона и улыбнулся скупой северной улыбкой.

Он что-то почти неслышно сказал Питерсу.

— Он говорит спасибо, но ему уже не нужно, а морфий лучше поберечь.

Тут он еще что-то тихо сказал Питерсу, и тот перевел:

— Он говорит, вот на прошлой неделе морфий был бы ему очень кстати.

— Скажи ему, что я уважаю его за его мужество, — сказал Томас Хадсон.

Антонио уже подходил на шлюпке вместе с Генри и остальными, ездившими на Мегано.

— Потихе поднимайтесь на борт, — сказал им Томас Хадсон. — И держитесь подальше от кормы. Там у нас фриц умирает, и я хочу, чтобы он умер спокойно. Что вы обнаружили?

— Ничего, — сказал Генри. — Ровнехонько ничего.

— Питерс, — сказал Томас Хадсон. — Говори с ним, сколько хочешь. Может, что-нибудь выудишь. Мы с Вилли и Арой пойдем выпьем.

Внизу он сказал:

— Ну как у тебя с супом, Вилли?

— Да попалась мне тут похлебка из моллюсков, — сказал Вилли. — Она еще теплая. Сейчас дам ему.

— Почему тогда не суп из бычьего хвоста или индийский с пряностями? — сказал Томас Хадсон. — Это его еще вернее прикончит. А где куриный бульон?

— Есть и куриный бульон, да я не хотел ему давать. Это же для Генри.

— И правильно, — сказал Генри. — Чего ради нам с ним цацкаться?

— А мы вовсе и не цацкаемся. Когда я велел насчет супа, я подумал, что тарелка горячего бульона и глоток-другой коньяку помогут ему заговорить. Но он говорить не будет. Налей-ка мне джину, Ара.

— Они сделали для него укрытие, Том, и у него была хорошая постель из веток, и вдоволь воды, и еда в глиняном горшке. Старались сделать, чтобы ему было удобно, и канавки прорыли в песке для стока. От берега к укрытию протоптаны были дорожки, и ходило по ним человек восемь или десять. Не больше десяти. Мы с Вилли очень осторожно его несли. Обе его раны гангренозные, и по правому бедру гангрена уже высоко поднялась. Может, зря мы его сюда притащили, лучше было вам и Питерсу поехать туда и допросить его на месте? Если так, то это я виноват.

— У него было оружие?

— Нет. Ни оружия, ни личного опознавательного знака.

— Дай мне мой джин, — сказал Томас Хадсон. — Как по-твоему, когда были срезаны ветки для укрытия?

— По-моему, не позже, чем вчера утром. Но я, конечно, не уверен в этом.

— Вообще-то он хоть что-нибудь говорил?

— Нет. Как увидел нас с автоматами, так и сделался точно деревянный. Вот только испугался Вилли. Должно быть, когда увидел его глаз. А когда мы его подняли, он улыбнулся.

— Чтобы показать, что он еще может улыбаться, — вставил Вилли.

— И сразу сомлел, — сказал Ара. — Долго еще ему умирать, как ты считаешь, Том?

— Не знаю.

— Ну, пойдем-ка наверх и выпивку с собой возьмем, — сказал Генри. — Я не доверяю Питерсу.

— Сперва съедим эту похлебку, — сказал Вилли. — Я голоден. А ему можно согреть банку с куриным бульоном, если Генри согласен.

— Если он от этого заговорит, тогда пожалуйста, — сказал Генри.

— Ну, навряд ли, — сказал Вилли. — Но, видно, и в самом деле свинство — совать ему эту похлебку, когда он так плох. Отнеси ему коньяку, Генри. Может, он его любит, как мы с тобой.

— Не тревожьте его, — сказал Томас Хадсон. — Он хороший фриц.

— Ну как же, — сказал Вилли. — Все фрицы хорошие, когда лапки кверху поднимают.

— Он не поднимал лапок, — сказал Томас Хадсон. — Он просто умирает.

— И с большим достоинством, — сказал Ара.

— Ты что, тоже записался в обожатели фрицев? — спросил его Вилли. — Значит, вас теперь двое — ты да Питерс.

— Прекрати, Вилли, — сказал Томас Хадсон.

— А тебе-то что? — сказал ему Вилли. — Ты же всего-навсего выдохшийся вожак горсточки пылких обожателей фрицев.

— Пойдем на бак, Вилли, — сказал Томас Хадсон. — Ара, когда суп согреется, отнеси его на корму. А вы, все, кто хочет, можете идти смотреть, как этот фриц умирает. Только не лезьте к нему.

Антонио хотел было пойти за Вилли и Томасом Хадсоном, но Томас Хадсон отрицательно покачал головой, и Антонио вернулся в камбуз.

Уже почти стемнело. Томас Хадсон только-только различал лицо Вилли. При таком освещении оно показалось ему более приятным, может быть и потому, что он стоял со стороны его зрячего глаза. Томас Хадсон посмотрел на Вилли, на обе якорные цепи, на еще маячившее в сумраке дерево на берегу. Ненадежный здесь грунт — песок, подумал он и сказал:

— Ну, Вилли, выкладывай, что там тебе еще не дает покоя?

— Ты, — сказал Вилли. — Изматываешь себя до полусмерти, потому что у тебя сын погиб. У всех дети умирают, не знаешь, что ли?

— Знаю. Еще что?

— Этот хреновый Питерс и этот хреновый фриц развели смрад на всю корму, и вообще, что это за судно такое, на котором первым помощником — кок?

— Как он стряпает?

— Стряпает он что надо и насчет вождения мелких судов знает побольше, чем мы все, вместе взятые, включая и тебя.

— Да, гораздо больше.

— А, к матери все это, Том. Ты не думай, что я злюсь на тебя. Мне не на что злиться. Просто я привык к другим порядкам. Но мне нравится это судно, и люди все мне здесь нравятся, кроме этого дерьмового Питерса. Только ты перестань себя изматывать.

— А я не изматываю, — сказал Томас Хадсон. — Я ни о чем не думаю, кроме работы.

— Ох, до чего же возвышенно, прямо набить тебя опилками да на кресте распять, — сказал Вилли. — Ты бы лучше о шлюхах думал.

— Что ж, мы в общем к ним и держим путь.

— Вот это другой разговор.

— Вилли, а ты сейчас как — ничего?

— Конечно. А что? Просто этот фриц меня разбередил. Они ведь так аккуратно его устроили, как мы никого бы устроить не сумели. Или, может, сумели бы, будь у нас время. А они вот нашли время. Ну, положим, они не знали, что мы так близко. Но как им не знать, что кто-то за ними гонится? Теперь уж все за ними гонятся. А они так заботливо его устроили,

как только можно устроить человека в таком состоянии.

— Верно, — сказал Томас Хадсон. — И тех на острове они тоже очень заботливо устроили.

— Да, — сказал Вилли. — Вот в том-то и беда.

Тут вошел Питерс. Он всегда держался как солдат морской пехоты, даже когда был не в лучшем виде, и очень гордился той подлинной дисциплиной без внешних формальностей, которая была правилом на судне. Он больше чем кто-либо умел этим пользоваться. Но сейчас, войдя, он стал по стойке «смирно» и отдал честь, из чего стало видно, что он пьян, и сказал:

— Том, то есть, простите, сэр. Он умер.

— Кто умер?

— Пленный, сэр.

— Хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Включи свой генератор и постарайся связаться с Гуантанамо.

У них, наверно, что-нибудь для нас есть, подумал он.

— Пленный говорил? — спросил он Питерса.

— Нет, сэр.

— Вилли, — сказал Томас Хадсон, — как ты себя чувствуешь?

— Очень хорошо.

— Возьми несколько магниевых лампочек и сделай с него два снимка в профиль, с одной и с другой стороны. Откинь одеяло, и стяни с него шорты, и сделай один снимок во весь рост, как он там лежит на корме. Еще один снимок анфас головы и один — анфас во весь рост.

— Слушаю, сэр, — сказал Вилли.

Томас Хадсон поднялся на мостик. Он слышал, как заработал генератор, и видел вспышки магниевых лампочек. Там наверху, где все подсчитывают, не поверят даже тому, что у нас вообще был пленный. Доказательств нет. Кто-нибудь скажет, что это было просто мертвое тело, которое фрицы спихнули в море, а мы подобрали. Надо было раньше его сфотографировать. А, ладно, ну их к чертям. Может, завтра мы остальных добудем.

Подошел Ара.

— Том, кого ты назначишь отвезти его на берег и похоронить?

— Кто сегодня меньше всех работал?

— Все много работали. Я возьму с собой Хиля, и мы вдвоем все сделаем. Зароем его в песок над линией прилива.

— Лучше повыше.

— Я пришлю Вилли, и ты ему скажи, какую надпись сделать на доске.

У меня в кладовой есть подходящая доска от ящика.

— Присылай Вилли.

— Защить тело в брезент?

— Нет. Только заверните в его собственное одеяло. Присылай Вилли.

— Что нужно? — спросил Вилли.

— Сделай на доске надпись: «Неизвестный немецкий матрос» и поставь дату.

— Хорошо, Том. Мне съехать на берег для похорон?

— Нет, Ара и Хиль поедут. Сделай надпись и отдохни, выпей чего-нибудь.

— Как только Питерс поймает Гуантанамо, я пришлю тебе сказать. А ты сам не хочешь сойти вниз?

— Нет. Я и тут отдыхаю.

— И каково это — бодрствовать на мостике такого большого корабля, с сознанием своей ответственности и всякой прочей дерьмовой хреновины?

— Примерно так же, как делать надпись на той доске.

Пришла радиограмма из Гуантанамо. Расшифрованная, она гласила:

ПРОДОЛЖАЙТЕ ТЩАТЕЛЬНЫЕ ПОИСКИ ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ.

Это нам, сказал про себя Томас Хадсон. Он лег и тут же заснул, и Генри укрыл его легким одеялом.

IX

За час до рассвета Томас Хадсон уже был внизу и смотрел на барометр. Оказалось, что барометр упал на четыре десятых, и он разбудил помощника и показал ему.

Помощник посмотрел и кивнул.

— Ты же видел вчера грозовые тучи над Романо, — сказал он. — А теперь они переходят на юг.

— Завари мне, пожалуйста, чаю, — попросил Томас Хадсон.

— У меня есть холодный в бутылке на льду.

Томас Хадсон пошел на корму, отыскал ведро и тряпку и вымыл

палубу. Ее уже успели помыть, но он вымыл еще раз и прополоскал тряпку. Потом взял бутылку с холодным чаем, поднялся на мостик и стал ждать, когда рассветет.

Еще до света его помощник выбрал кормовой якорь, потом они с Арой выбрали бортовой якорь и наконец втроем с Хилем втащили шлюпку на борт. Потом помощник откачал трюмную воду и проверил моторы.

Помощник высунул голову наверх и сказал:

— Теперь можно в любое время.

— Почему столько набралось воды?

— Да там у меня сальник один разболтался. Я уже подтянул его немного. Но пусть лучше набирает воды, чем чтобы моторы перегревались.

— Хорошо. Пошли ко мне Ару и Генри. Будем уходить.

Они выбрали якорь, и Томас Хадсон повернулся к Аре:

— Покажи мне еще раз то дерево.

Ара показал. Оно виднелось чуть повыше линии прилива в бухте, которую они покидали, и Томас Хадсон карандашом поставил на карте маленький крестик.

— Питерсу больше не удалось поймать Гуантанамо?

— Нет. У него опять перегорело.

— Ну что ж, мы идем по пятам за ними, и впереди их тоже кто-то ждет, и у нас есть приказ.

— Ты думаешь, Том, ветер в самом деле переменится?

— По барометру выходит, что так. Увидим, когда он опять посвежеет.

— Около четырех часов ветра почти совсем не было.

— Донимают тебя мошки?

— Только днем.

— Сойди вниз и опрыскай там все. Какого черта нам возить их с собой?

День был прекрасный, и, глядя назад, на бухту, где они стояли на якорь, глядя на берег и чахлые деревья Кайо Круса, так хорошо им обоим знакомого, Ара и Томас Хадсон видели высокие, громоздившиеся над сушей облака. Кайо Романо так возвышался над морем, словно это был уже материк, а над ним еще выше в небе стояли облака, суля то ли южный ветер, то ли штиль, то ли прибрежные шквалы.

— Ара, что бы ты надумал, если б был немцем? — спросил Томас Хадсон. — Что бы ты сделал, если б видел все это и понимал, что очень скоро заштилеет?

— Попытался бы пробраться в глубь какого-нибудь острова, — сказал Ара. — Вот что я бы сделал.

— Но для этого нужен проводник.

— Я достал бы проводника, — сказал Ара.

— Где бы ты его взял?

— У рыбаков на Антоне или где-нибудь поглубже на Романо. Или на Коко. Там, наверно, рыбаки сейчас солят рыбу. На Антоне, может, даже нашелся бы вельбот.

— Попробуем сперва Антон, — сказал Томас Хадсон. — Приятно проснуться утром и стать к штурвалу, когда солнце светит тебе в спину.

— Если бы солнце всегда светило в спину, когда стоишь у штурвала, да еще погода была, как сегодня, океан был бы совсем уютным местечком.

День был прямо летний, и шквала ничто не предвещало. День весь был как доброе обещание, и море лежало вокруг светлое и гладкое. Они ясно видели дно, пока не перешли на большие глубины, и как раз там, где и следовало, показалась Минерва и волны, разбивающиеся у ее коралловых рифов. То была зыбь, оставшаяся после пассатов, непрерывно дувших два месяца. Но и эти волны разбивались мягко и ласково, с какой-то послушной регулярностью.

Как будто океан говорит: все мы теперь друзья, и никогда больше не будет у нас ни ссор, ни схваток, думал Томас Хадсон. Почему он такой коварный? Река может предать тебя и быть жестокой, но часто она и добра и благожелательна. Какой-нибудь ручей может стать твоим другом на всю жизнь, если только ты не причинишь ему зла. Но океан непременно должен обмануть, прежде чем он расправится с тобой.

Томас Хадсон снова поглядел, как вздымалась и опадала водная гладь, показывая все островки Минервы так аккуратно и в таком привлекательном виде, как будто океан старался их продать в качестве завидных участков под застройку.

— Не принесешь ли мне сандвич? — попросил Ару Томас Хадсон. — Из солонины с луком или яичницы с ветчиной и с луком. После завтрака составь вахту из четырех человек и приведи их сюда, и пусть проверят все бинокли. Я сперва выйду в открытое море, а потом уже повернем на Антон.

— Хорошо, Том.

Что бы я делал без этого Ары, подумал Томас Хадсон. Ты чудесно выспался, сказал он себе, и чувствуешь себя как нельзя лучше. У нас есть приказ, и мы сидим у них на хвосте и тесним их к другим, которые их поджидают. Ты выполняешь приказ и посмотри, какое прекрасное утро дано тебе для слежки за ними. Только как-то чересчур уж все хорошо.

Они прошли по проливу, настороженно следя за всем вокруг, но

ничего не увидели, кроме приветливо колышущегося утреннего моря и длинной зеленой полосы Романо за грядой мелких островков.

— С таким ветром они далеко не уйдут, — сказал Генри.

— Никуда они не уйдут, — сказал Томас Хадсон.

— А мы высадимся на Антоне?

— Конечно. И все прочедем.

— Мне нравится Антон, — сказал Генри. — Хорошее место, есть где отстаиваться при тихом море так, чтобы никто не тронул.

— Подальше от берега можно и попасться, — сказал Ара.

В небе показался небольшой самолет; он шел низко и направлялся к ним. Белый, и маленький, и ярко освещенный солнцем.

— Самолет, — сказал Томас Хадсон. — Скажи там, чтобы подняли большой флаг.

Самолет летел все в том же направлении, пока не прошел совсем низко над судном. Тогда он сделал над ним два круга, затем повернул и ушел на восток.

— Это ему даром бы не сошло, если б это были не мы, а те, кого он искал, — сказал Генри. — Его бы сбили.

— Он бы успел сообщить координаты на Кайо Франсес.

— Пожалуй, — сказал Ара.

Двое других басков ничего не сказали. Они стояли спина к спине и просматривали каждый свой квадрант.

Немного погодя тот баск, которого на катере называли Джордж, потому что его звали Эухенио, а Питерсу не всегда удавалось это выговорить, обратиться к Томасу Хадсону, сказал:

— Самолет возвращается в восточном направлении между дальними островами и Романо.

— Домой полетел завтракать, — сказал Ара.

— Он про нас доложит, — сказал Томас Хадсон. — И глядишь, этак через месяц все уже будут знать, где мы находились сегодня утром.

— Если только не спутает координаты у себя на карте, — сказал Ара. — Том, смотри, это уже Паредон Гранде. Примерно в двадцати градусах по левому борту.

— У тебя зоркие глаза, — сказал Томас Хадсон. — Это он, точно. Поверну-ка я к берегу, и будем искать проход на Антон.

— Положи лево руля на девяносто градусов и, по-моему, как раз попадешь.

— Во всяком случае, упрусь в берег, а потом пойдем вдоль, пока не наткнемся на этот чертов проход.

Они шли к длинной цепи зеленых островков, которые сперва казались торчащими из воды черными кольями, потом постепенно обретали форму и цвет, а под конец становились видны и песчаные берега. Томасу Хадсону очень не хотелось менять широкий пролив, ласковые волны, красоту раннего утра в открытом море на кропотливую работу по прочесыванию лесистых островков. Но поведение самолета, летевшего сперва в их сторону, а потом круто повернувшего обратно, могло означать только одно: что на восточном направлении вражеские суда не обнаружены. Конечно, это мог быть обыкновенный патруль. Но логичнее предположить иное. К тому же обыкновенный патруль и над проливом прошел бы в обоих направлениях.

Он видел, как Антон, густо поросший лесом и приятный на вид остров, вырастал перед ним, и, подвигаясь все ближе к берегу, Томас Хадсон искал глазами известные ему ориентиры. Надо было найти самое высокое дерево на вершине острова и точно совместить его с небольшой седловиной на Романо. С этим ориентиром он мог попасть куда надо, даже если бы солнце било ему в глаза и вода сверкала, как расплавленное стекло.

Сегодня это не было нужно. Но он все проделал практики ради, нашел дерево, подумал, что на этом, столь подверженном ураганам побережье надо было бы избрать ориентиром что-нибудь более долговечное, потом пошел тихонько вдоль берега, пока дерево не вдвинулось точно в выемку седловины, и круто повернул. Катер очутился в узкой протоке меж двух мергельных, едва покрытых водой берегов, и Томас Хадсон сказал Аре:

— Попроси Антонио забросить крючки. Может, выудим что-нибудь съедобное. В этой протоке целый буфет на дне.

Дальше он прошел уже прямо вперед по своему первому ориентиру. У него появился было соблазн даже не смотреть на берега, а просто идти в заданном направлении, но он понял, что это в нем действует тот избыток гордыни, о котором говорил Ара, и он очень осторожно вел судно вдоль правого берега, следя за фарватером, а не только полагаясь на далекие ориентиры. Это было похоже на езду по прямым улицам нового городского района, и приливная волна бежала в ту же сторону, сперва бурая, а потом светлая и прозрачная. Еще не добравшись до того места, которое Томас Хадсон заранее облюбовал для стоянки, он услышал отчаянные крики Вилли: «Ры-ы-ба! Ры-ы-ба!» — и, оглянувшись, увидел, как за кормой выскочил из воды большой тарпон. Пасть у него была разинута, он был огромен, солнце сверкало на его серебристой чешуе и на длинном зеленом хлысте его спинного плавника. Он яростно дернулся и шлепнулся в воду,

подняв целый вихрь брызг.

— Sabalo¹¹⁴, — с отвращением сказал Антонио.

— Никчемный sabalo, — сказали баски.

— Можно, я с ним повожусь, Том? — спросил Генри. — Мне хочется его поймать, хоть он и не годится в пищу.

— Перейми его у Антонио, если на него не нацелился Вилли. Скажи Антонио, чтобы шел на бак. Будем становиться на якорь.

Пока травили якорную цепь, тарпон продолжал прыгать за кормой, но на это никто не обращал внимания, разве только ухмылялись мельком.

— Второй не нужен, думаешь? — крикнул Томас Хадсон помощнику. Тот покачал головой. Когда якорь крепко засел, Антонио поднялся на мостик.

— Катер теперь все выдержит, Том, — сказал он. — Любой шквал. Все что угодно. Ну, покачает его на месте, с якоря все равно не сорвет.

— В котором часу можно ждать шквала?

— После двух.

— Спусти шлюпку, — сказал Томас Хадсон. — И дай мне с собой лишнюю канистру горючего. Нам нужно будет гнать что есть духу.

— Кто еще поедет?

— Только мы трое — Ара, Вилли и я. Не хочу перегружать шлюпку.

X

В шлюпке они все трое завернули pinos в свои плащи. Это были томпсоновские автоматы в чехлах из овчины мехом внутрь. Чехлы кроил и шил Ара, не учившийся портновскому ремеслу, а Томас Хадсон пропитал стриженный мех овчины каким-то защитным маслом, издававшим легкий запах карболки. Оттого, что автоматы так уютно лежали в своих меховых колыбельках и колыбельки так уютно покачивались, когда висели, открытые, в одном из отделений под мостиком, баски и прозвали автоматы «детишками».

— Дай нам фляжку воды, — сказал Томас Хадсон помощнику. Когда Антонио принес фляжку, тяжелую и холодную, с широкой завинчивающейся пробкой, Томас Хадсон передал ее Вилли, и тот уложил ее где-то под передней банкой. Ара любил править шлюпкой, поэтому сидел на корме, Томас Хадсон — в середине, а Вилли пристроился на носу.

Ара повел шлюпку прямо к острову, а Томас Хадсон смотрел на облака, громоздившиеся в небе над сушей. Когда они вышли на мелководье, Томас Хадсон увидел сероватые раковины съедобных моллюсков, торчавшие из песка. Ара нагнулся вперед и спросил:

— Берег будем осматривать, Том?

— Да, пожалуй, лучше сейчас, пока дождь не пошел.

Ара погнал шлюпку к берегу, приподняв мотор точно в последний момент. В одном месте приливом размыло песок, образовался небольшой заливчик, в него-то Ара и загнал шлюпку и косо врезал ее в песок.

— Вот мы и дома, — сказал Вилли. — Как эту потаскуху зовут?

— Антон.

— Не Антон Большой, и не Антон Маленький, и не Антон Вонючий Козел?

— Просто Антон.

— Ты ступай вон к тому мысу на востоке, обогни его и иди дальше — мы тебя потом подберем. Я быстро осмотрю берег с этой стороны. Ара пройдет на шлюпке до следующего мыса, оставит ее там и осмотрит все, что за мысом. А я потом нагоню его на шлюпке, и мы вернемся за тобой.

Вилли взял своего піно, завернутого в плащ, и взвалил себе на плечо.

— Если я найду фрицев, можно их перестрелять?

— Полковник сказал — всех, кроме одного, — пояснил Томас Хадсон. — Уж постарайся оставить кого потолковее.

— Я у каждого проверю коэффициент умственных способностей, прежде чем открывать огонь.

— Ты сперва у себя проверь.

— У меня-то он невелик, а то разве я был бы здесь, — сказал Вилли и пустился в путь. Он шествовал с видом величайшего презрения, но осматривал все так дотошно, как не всякий бы сумел.

Томас Хадсон объяснил Аре по-испански, что каждый из них должен делать, и затем столкнул шлюпку на воду. Сам он двинулся вдоль берега, со своим піно под мышкой, чувствуя, как песок забивается между пальцами его босых ног. Шлюпка уже огибала маленький мыс впереди.

Он был рад очутиться снова на суше и шел так быстро, как только можно было идти, одновременно осматривая окрестность. Идти по берегу было приятно, и здесь у Томаса Хадсона не возникало дурных предчувствий, как утром, в открытом море. Жуткое какое-то было утро, подумал он. Может быть, именно от тишины на море. И облака в небе все еще громоздятся. Но ничего плохого не случилось. Сейчас на жарком солнце не было ни mosquitos, ни мошек, и впереди Томас Хадсон увидел

высокую белую цаплю, которая стояла, глядя в мелкую воду и нацелясь на что-то головой, шеей и клювом. Она не улетела, когда Ара проехал мимо в шляпке.

Надо тщательно все обыскать, подумал Томас Хадсон, хоть я и не верю, что тут что-нибудь есть. На сегодня они заштилевали, так что мы ничего не теряем. Но было бы непростительно их прозевать. Почему я так мало о них знаю, подумал он. Это моя вина. Надо было мне там самому съехать на берег и осмотреть укрытие, которое они устроили для раненого, и следы на песке. Я расспрашивал Вилли и Ару, а они, конечно, свое дело знают. Но все-таки надо было поехать самому.

Тут все дело в том, что мне противно с ними сталкиваться, подумал он. Это мой долг, и я хочу их поймать и поймаю. Но не могу отделаться от чувства какой-то общности с ними. Как у заключенных в камере смертников. Бывает ли, чтобы люди в камере смертников ненавидели друг друга? Думаю, что нет, если они не душевнобольные.

Как раз в эту минуту цапля вдруг снялась и полетела вдоль берега дальше. Потом, спланировав на своих больших белых крыльях и сделав несколько неловких шагов, она снова стала наземь. Как жаль, что я ее спугнул, подумал Томас Хадсон.

Он проверил весь берег выше черты прилива. Но следов не было, кроме следов черепахи, которая проползла тут дважды. Один широкий след к морю, другой обратно да еще рыхлое углубление, где она лежала.

Нет у меня времени выкопать черепашины яйца, подумал он. Облака понемногу сгущались и наплывали ближе.

Если бы фрицы побывали с этой стороны острова, они, конечно, вырыли бы яйца. Он посмотрел вперед, но не увидел шляпки, потому что там выступал другой, закруглявшийся, мыс.

Он шел по песку, плотному после прилива, и смотрел, как раки-отшельники тащат на себе свои раковины и как более проворные крабы перебегают полосу песка и соскальзывают в море. Справа в неглубокой протоке он увидел что-то серое — косяк лобанов и их движущиеся тени на песчаном дне. Увидел еще тень очень большой барракуды, которая подстерегала лобанов, а потом и саму ее, длинную, бледную, серую и как будто застывшую в неподвижности. Он шел и шел и вскоре миновал рыб и уже опять подходил к цапле.

Посмотрим, сумею ли я пройти мимо и не спугнуть ее, подумал он. Но как раз когда он почти поравнялся с ней, стая лобанов вдруг выскочила из воды. Прыгали они неуклюже, лупоглазые и головастые, серебряные на солнце и все же некрасивые, Томас Хадсон обернулся: ему хотелось и

понаблюдать за лобанами, и разглядеть барракуду, которая, очевидно, напала на них. Но хищной рыбины он не увидел — только дикие прыжки испуганных лобанов. Потом стая опять соединилась в воде в серую движущуюся массу, а когда он повернул голову, цапли уже не было. Она летела на своих белых крыльях над зеленой водой, а впереди был только желтый песок и темнел ряд деревьев на мысу. Облака все больше сгущались за Романо, и Томас Хадсон прибавил шаг, стремясь скорее обогнуть мыс и найти оставленную Арой шлюпку.

От быстрой ходьбы он пришел в возбуждение и подумал, что, наверно, никаких фрицев поблизости нет. Он не мог бы так себя чувствовать, если бы они были близко. Впрочем, не знаю. Может, и мог бы, если бы думал, что их нет, и не знал, что ошибается.

На мысу песок был совсем светлый, и он подумал: хорошо бы здесь полежать. Славное местечко. Потом далеко впереди он увидел на берегу шлюпку и подумал: а ну его. Буду сегодня спать на судне и буду любить надувной матрац или, скажем, мостик. Почему бы мне не любить мостик? Мы с ним так давно вместе, впору пожениться. Уж наверно, про нас с ним давно ходят сплетни. Пора узаконить наши отношения. А ты что делаешь? Топаешь по нему и стоишь на нем. Нечего сказать, хорошее обращение! И еще проливаешь на него холодный чай. Это уж совсем нелюбезно. И для чего ты его бережешь? Чтобы умереть на нем? Он, без сомнения, это оценит. Ходи по нему, стой на нем и умри на нем. Это будет очень мило. Но я тебе скажу, что ты сейчас действительно можешь сделать — это перестать нести чепуху и хорошенько тут все обследовать и подобрать Ару.

Он шагал дальше по отмели и старался больше ни о чем не думать, а только замечать окружающее. Он хорошо знал свой долг и никогда не пытался от него уклониться. Вот и сегодня он съехал на берег — хотя и любой из команды мог бы это сделать с тем же успехом, — потому что, если он оставался на судне, а они ничего не находили, он чувствовал себя виноватым. Он внимательно во все вглядывался. Но не мог не думать.

Может быть, на той стороне, у Вилли, дела идут живее, подумал он. Может быть, Ара уже напал на что-нибудь. Я бы именно здесь высадился, будь я на месте фрицев. Это первое удобное для них место. Но они могли его проскочить и пройти дальше. Или, наоборот, раньше свернуть, между Паредоном и Крусом. Но не думаю, потому что их бы заметили с маяка, а ночью в темноте никогда бы им оттуда не пробраться вглубь, даже будь у них проводник. Скорей всего, они прошли дальше. Может, мы найдем их на Коко. Или где-нибудь поблизости. Тут рядом есть еще островок,

который тоже не мешает обшарить. Надо помнить, что они все время руководствуются картой. Если только не взяли здесь какого-нибудь рыбака в проводники. Дыма я нигде не видел, не похоже, чтоб кто-нибудь тут жег уголь. Ну, я рад, что этот остров будет у нас прочесан до дождя. Я люблю это делать. Только вот финал мне не нравится.

Он столкнул шлюпку на воду и сел в нее, смыв при этом песок с ног. Своего піно, завернутого в дождевик, он положил так, чтобы его легко было достать, и завел мотор. Он не питал такой любви к подвесному мотору, как Ара, и, заводя его, всегда помнил о том, что нужно продуть и прососать карбюратор и что могут подгореть свечи или пропасть искра — словом, обо всех радостях общения с малыми моторами. Но у Ары никогда не было трудностей с зажиганием, и, если мотор вытворял что-нибудь неполюженное, Ара воспринимал это с оттенком восхищения — так, как шахматист мог бы воспринять блестящий ход противника.

Томас Хадсон двигался вдоль берега, но Ара ушел далеко вперед, и его не было видно. Он, наверно, уже на полпути к Вилли, подумал Томас Хадсон. Но Ара в конце концов обнаружился почти у самых мангровых зарослей, где кончался песок и прямо из воды поднимались тяжелые и зеленые мангровые деревья с их воздушными корнями, похожими на перепутанные коричневые сучья.

И тут он заметил, что в зарослях торчит мачта. Больше ничего он не увидел. Только минутой спустя заметил Ару, который залег за невысокой песчаной дюной, так, чтобы глядеть поверх ее гребня.

Он почувствовал, что у него точно иголками закололо голову, как бывает, если вдруг увидишь, что прямо на тебя по правой стороне дороги несется машина. Но Ара услышал стук мотора, и повернул голову, и поманил Томаса Хадсона к себе, Томас Хадсон пристал к берегу наискосок от Ары.

Баск влез в шлюпку, держа обмотанного плащом піно дулом вперед на правом плече, прикрытом старой полосатой рубашкой. Вид у него был довольный.

— Иди по протоке, она тебя сама выведет, — сказал Ара. — Мы там встретимся с Вилли.

— Это одна из тех шхун?

— Факт, — сказал Ара. — Но я уверен, они ее бросили. Скоро будет дождь, Том.

— Ты что-нибудь видел?

— Ничего.

— Я тоже.

— Это хороший островок. Я нашел старую тропинку к воде. Но там давно уже не ходили.

— На той стороне, где Вилли, тоже должна быть вода.

— А вот и Вилли, — сказал Ара.

Вилли сидел на песке, поджав ноги, со своим піпо на коленях. Томас Хадсон подогнал к нему шлюпку. Вилли поглядел на них. Черные волосы свисали ему на мокрый от пота лоб, здоровый глаз был голубой и сердитый.

— Где вы, говнюки, пропадали? — спросил он.

— Давно они были здесь, Вилли?

— Вчера, судя по их дерьму. Или мне следовало сказать — по их экскрементам?

— Сколько их было?

— Восемь, которые могли экскрементировать. И у троих из них был понос.

— Еще что?

— У них был проводник или лоцман — или какая там у него кличка.

В проводники они взяли местного рыбака. Рыбак жил в хижине, крытой пальмовыми листьями, и солил и сушил на решетке нарезанное полосками мясо барракуды, а потом продавал его китайцам, а те скупали его для китайских лавочников, которые продают сушеную барракуду под видом трески. Рыбак насолил и засушил огромное количество рыбы, судя по виду решетки.

— Фрицы кушай треска много-много, — сказал Вилли.

— Это на каком языке?

— На моем личном, — сказал Вилли. — Тут у всех свой язык. У басков, например, или еще у кого. Есть возражения?

— Рассказывай дальше.

— Бай-бай тут все возле дыма, — сказал Вилли. — Кушай свинкино мясо. То самое, что взяли, где устроили бойню. У главный фриц нет консервы или бережет.

— Не валяй дурака и говори по-людски.

— Масса Хадсон все равно теряй день, потому ливневые осадки, сопровождаемые шквальными ветрами. Лучше слушай Вилли, знаменитый следопыт пампасов. Вилли говори свой язык.

— Прекрати.

— Слушай, Том, кто дважды находил фрицев?

— А что случилось со шхуной?

— Шхуна больше нету. Много гнилой доска. Из корма одна доска вон

упал.

— Шли в темноте, наверно, наткнулись на что-нибудь.

— Должно быть, так. Ну ладно, больше не буду. Они ушли на запад, к солнцу. Восемь человек и проводник. А может, и девять, если капитан не мог экскрементировать по причине своей высокой ответственности, что случается и с нашим капитаном, когда у него неполадки, а тут еще дождь собрался. Шхуна, что они бросили, провоняла насквозь и вся загажена свиньями, и курами, и тем фрицем, которого мы похоронили. У них еще один раненый, но, кажется, не тяжело, судя по бинтам.

— Гной?

— Да. Но чистый гной. Хочешь все это сам посмотреть или поверишь мне на слово?

— Я верю каждому твоему слову, но посмотреть все-таки хочу.

Он все увидел: следы, костер, возле которого они спали и на котором стряпали, брошенные бинты, заросль, которую они использовали как отхожее место, канавку, которую шхуна прорезала в песке, когда они загнали ее на берег. Теперь уже шел сильный дождь и налетали первые порывы шквала.

— Наденьте плащи и спрячьте пинес под ними, — сказал Ара. — Мне же вечером придется их укладывать.

— Я тебе помогу, — сказал Вилли. — Мы дышим фрицам в затылок, Том.

— Но впереди у них обширная территория, и с ними человек, знающий местность.

— Вот у тебя всегда так, — сказал Вилли. — Что он может знать, чего мы не знаем?

— Очень многое.

— Ну и хрен с ним. Вот доберемся, и я вымоюсь с мылом на корме. Ух, до чего стосковалась кожа по хорошей пресной воде и мылу!

Дождь теперь так лил, что, когда они вышли из-за мыса, трудно было даже найти судно. Шквал передвинулся к океану и был так свиреп, а дождь так силен, что пытаться разглядеть судно было все равно что смотреть на какой-нибудь предмет сквозь струи водопада. Все бочки в одну минуту переполнит, подумал Томас Хадсон. Из кранов в камбузе вода уже, наверно, в море хлещет.

— Том, сколько дней назад был последний дождь? — спросил Вилли.

— Надо посмотреть в корабельном журнале. Что-то вроде пятидесяти.

— Похоже, это уже муссон начинается, — сказал Вилли, — Дай мне тыкву, я буду вычерпывать.

— Не замочи своего піно.

— Приклад у меня между колен, а ствол на левом плече под плащом, — сказал Вилли. — Такого комфорта он в жизни своей не видал. Дай мне тыкву.

На корме все купались гольшом. Мылились, стоя то на одной ноге, то на другой, нагибаясь, чтобы не сразу смыло, а потом, растершись, откидывались назад, прямо под хлещущий дождь. Смуглые тела казались белыми в этом странном освещении. Томасу Хадсону вспомнились купальщики Сезанна, но потом он решил, что интересней бы это получилось у Эйкинса. А потом подумал, что следовало бы ему самому это написать: катер на фоне сокрушительной белизны прибоя, прорвавшей серую пелену дождя, и чернота налетевшего шквала, и мгновенный проблеск солнца, сделавший серебряными дождевые струи и осиявший купальщиков на корме.

Он подвел шлюпку к борту, и Ара забросил конец, и вот они уже были дома.

XI

Вечером, во время дождя, он проверил все места, где после долгих засушливых дней обнаружилась течь, и присмотрел за тем, чтобы всюду были поставлены ведра, а самые щелки, пропускавшие воду, были обведены толстой карандашной чертой; и, когда все это было сделано и дождь перестал, он посоветовался со своим помощником и с Арой, и они распределили все вахты, установили обязанности каждого из команды и договорились о разных других делах. После ужина те, кто был свободен от вахты, сели играть в покер, а Томас Хадсон поднялся на мостик. Он взял с собой свой опрыскиватель, надувной матрац и легкое одеяло.

Он решил полежать и отдохнуть, не думая ни о чем. Иногда это ему удавалось. Иногда он просто думал о звездах, не философствуя, или об океане — вне связанных с ним задач, или о восходе солнца — без тревоги за наступающий день.

Он чувствовал себя с головы до ног очень чистым после того, как с мылом вымылся на корме под дождем. Вот буду просто лежать и радоваться ощущению чистоты, думал он. Он знал, что не стоит теперь думать о женщине, бывшей матерью его сына, и о том, как они любили

друг друга, о тех местах, где они бывали вдвоем, и о днях, когда произошел их разрыв. И о Томе тоже думать не нужно. Это он запретил себе, как только узнал.

О двух других тоже ни к чему было думать. Их он тоже потерял, и теперь думать о них ни к чему. Все это он обменял на новую лошадь и должен твердо сидеть в седле. Вот и лежи тут и радуйся, что ты такой чистый после дождя и мыла, и постарайся вовсе не думать ни о чем. Одно время это у тебя неплохо получалось. Может быть, тебе удастся заснуть и увидеть во сне что-нибудь смешное или просто приятное. Лежи спокойно и смотри в ночь и не думай. Ара или Генри разбудят тебя, если Питерсу вдруг удастся что-нибудь поймать.

Скоро он и в самом деле заснул. Он опять был мальчишкой-подростком и верхом взбирался на крутой склон ущелья. Потом ущелье раздвинулось и показалась песчаная отмель у прозрачной реки, такой прозрачной и чистой, что можно было разглядеть каждый камешек на дне, и видно было, как одурелая форель чуть не выпрыгивает из воды в погоне за плывущими по течению мошками. Он сидел на лошади и наблюдал за форелью, когда Ара разбудил его.

В радиোগрамме было сказано: ПРОДОЛЖАЙТЕ УСИЛЕННЫЙ ПОИСК ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ — и кодовая подпись.

— Спасибо, — сказал Томас Хадсон. — Если будет еще что-нибудь, сообщи.

— Конечно. Ты спи пока дальше, Том.

— Я видел замечательный сон.

— Не рассказывай мне его. Тогда он, может, и сбудется.

Он снова заснул; и, уже засыпая, улыбнулся при мысли, что, в сущности, выполняет приказ: продолжает поиск в западном направлении. И зашел я на запад довольно далеко, подумал он. Дальше, чем там могли предполагать.

Он спал, и ему снилось, что хижина сгорела и что кто-то подстрелил его олененка, успевшего вырасти в оленя. Кто-то подстрелил и его собаку: он нашел ее под деревом мертвую и проснулся весь в поту.

Сны — тоже не решение вопроса, сказал он себе. Лучше уж относиться к ним попросту и не ждать от них анестезирующего действия. Давай-ка продумаем это до конца.

Все, что у тебя теперь есть, — это твоя главная задача, и те частные задачи, которые приходится решать попутно. Это все, что у тебя теперь есть, так что относись к этому по-хорошему. Больше тебе никогда не будут сниться приятные сны, поэтому спать, может, вовсе не стоит. Просто

нужно лежать и чтобы голова у тебя работала, пока не откажет, а уж если заснешь, будь готов ко всяким кошмарам. Ночные кошмары — таков твой выигрыш в азартной игре, которую затеял кто-то другой. Ты принял правила и сделал ставку, и вот что тебе выпало: тяжелый, беспокойный сон. А могла выпасть и полная бессонница. Но этот свой выигрыш ты обменял на то, что у тебя есть теперь, так что не жалуйся. Вот сейчас тебя уже клонит ко сну. Так спи, только будь готов проснуться весь в поту. Ну и что? А ничего, совсем ничего. Но ведь было время, когда ты всю ночь спал с женщиной, которую ты любил, и был счастлив и просыпался, только когда она будила тебя, потому что ей хотелось любви. Можешь вспоминать то время, Томас Хадсон, не знаю только, станет ли тебе легче от этого.

Хотел бы я знать, есть ли у них перевязочный материал для второго раненого. Если они успели раздобыть перевязочный материал, могли успеть и еще кое-что раздобыть. А что именно? Как ты думаешь, что у них есть кроме того, о чем тебе известно? Едва ли много чего. Ну, пистолеты, может, несколько автоматов. Может, немного взрывчатки, которую они попытаются приспособить к делу. Я обязан исходить из возможности, что у них есть и станковый пулемет. Только не думаю. Вряд ли им хочется драться. Чего им хочется — это выбраться к чертям отсюда и попасть на испанский пароход. Будь они расположены драться, они бы в ту ночь вернулись и захватили Конфитес. Хотя кто знает. Может, что-нибудь насторожило их. Может, они увидели на берегу наши бочки с горючим и подумали, что мы на ночь возвращаемся туда. Ведь они же не знают, кто мы. Они могли увидеть бочки на берегу и решить, что на Конфитес базируется какое-то судно, потребляющее много горючего. И потом, едва ли им хочется драться, имея уже раненых на борту. Правда, шхуна с этими ранеными могла бы где-нибудь отстояться ночью, а те, кто способен к бою, высадились бы и захватили радиостанцию, если им очень нужно было связаться со второй подлодкой. Хотел бы я знать, куда девалась эта вторая подлодка. Что-то очень с ней странно все.

Подумай-ка лучше о чем-нибудь более веселом. Например, как приятно будет стоять у штурвала спиной к солнцу. Но помни, что, наевшись соленой рыбы, они теперь лучше разбираются в местных условиях, так что придется тебе поработать головой. Он заснул и проснулся только за два часа до рассвета, когда его стали кусать мошки. Мысли о деле успокоили его, и он проспал это время без всяких снов.

Они снялись с якоря еще до рассвета, и Томас Хадсон повел судно по узкой, похожей на канал протоке между двух отмелей, серевших по сторонам. К восходу солнца он уже выбрался из этой протоки и, осторожно минуя каменистые выступы большого рифа, взял курс на север, туда, где синело открытое море. Можно было выиграть в расстоянии, пройдя вдоль рифа с внутренней стороны, но там путь был бы опаснее.

Ветер улегся, и море было настолько спокойно, что волны лишь тихо плескались у камней. Но день обещал быть горячим и душным, и можно было ждать, что после полудня налетит шквал.

Его помощник взошел на мостик и огляделся кругом. Потом стал всматриваться в дальнюю полосу берега, где торчала высокая, безобразная башня маяка.

— Можно было спокойно идти с внутренней стороны.

— Знаю, — сказал Томас Хадсон. — Но так лучше, по-моему.

— День будет как вчера. Только еще жарче.

— Они не уйдут далеко.

— Они никуда не уйдут. Они где-нибудь выжидают. На маяке тебе скажут, шли они через проход между Паредоном и Коко или нет.

— Верно.

— Я схожу к маяку на шлюпке, — сказал Антонио. — Я знаю смотрителя. А вы можете подождать меня у маленького островка против мыса. Я мигом обернусь.

— Пожалуй, и бросать якорь не стоит.

— Ну, якорь нетрудно выбрать, у тебя достаточно дюжих парней.

— Пошли наверх Вилли и Ару, если они поели. Едва ли кто рискнет здесь показаться, уж очень близко от маяка, и потом треклятое солнце так бьет в глаза, что ничего и не увидишь. Но все-таки пошли еще Джорджа, и Генри тоже. Наше дело — ничего не упустить.

— Том, ты не забывай только, что подводные камни в этих местах попадают даже там, где вода уже совсем синяя.

— Не забываю, тем более что их можно увидеть.

— Чай будешь пить холодный?

— Да. И пожалуйста, сделай мне сандвич. Только раньше вышли людей на вахту.

— Сейчас вышлю. С кем-нибудь из них передам тебе чай, а сам буду готовить шлюпку к спуску.

— Смотри только, разговор там ве́ди осторожно.
— Для этого я и вызвался идти туда сам.
— Захвати рыболовную снасть. Меньше вызовешь подозрений, когда шлюпка подойдет к маяку.

— Верно, — сказал его помощник. — Хорошо бы еще захватить им каких-нибудь гостинцев.

Четверо поднялись на мостик и заняли каждый свой пост. Генри спросил:

— Ничего не видал, Том?

— Видал черепаху, а над ней летала чайка. Я все думал, она опустится черепахе на спину, но она не опустилась.

— *Mi capitán*¹¹⁵, — сказал Джордж. Хотя тоже баск, он был более рослый, чем Ара, и он был хороший спортсмен и отличный моряк, но во многом другом далеко уступал Аре.

— *Mi señor obispo*¹¹⁶, — сказал Томас Хадсон.

— Ладно, Том, — сказал Джордж. — Если я вдруг увижу большую подлодку, тебе доложить?

— Если такую, как ты в тот раз увидел, лучше оставь ее при себе.

— Та мне до сих пор по ночам снится, — сказал Джордж.

— Слушай, перестань ее поминать, — сказал Вилли. — Я только что позавтракал.

— Мы тогда как оглянулись, так на мне прямо вся шерсть дыбом встала, — сказал Ара. — А ты что почувствовал, Том?

— Страх.

— Вижу, всплывает, — продолжал Ара. — И вдруг Генри кричит: «Том, это авианосец!»

— А я виноват, что ли, если она была похожа. Я бы и сейчас так сказал.

— Она мне существование отравила, — сказал Вилли. — С того дня я так и хожу сам не свой. За пятак зарекся бы еще когда-нибудь выходить в море.

— Вот тебе двадцать центов и можешь сойти на берег в Паредон-Гранде, — сказал Генри. — Там тебе еще сдачи дадут.

— А я не хочу сдачи. Я лучше возьму пересадочный билет.

— Да ну? — сказал Генри. После двух последних посещений Гаваны между ними кошка пробежала.

— Слушай, ты, богач, — сказал Вилли. — Мы тут никаких подлодок не ищем, а то ты бы и на мостик не взошел, не хватив прежде для храбрости. Мы просто собираемся перебить десяток фрицев,

улепетывающих на дрянной посудине. А это даже тебе по плечу.

— Ты все-таки двадцать центов возьми, — сказал Генри. — Пригодятся когда-нибудь...

— Засунь их себе в...

— А ну хватит, ребята, — сказал Томас Хадсон. — Хватит, говорю. — Он пристально посмотрел на обоих.

— Извини, Том, — сказал Генри.

— Извиниться и я могу, — сказал Вилли. — Хоть и не за что.

— Том, смотри, — сказал Ара. — Что это там почти у самого берега?

— Скала, которую обнажил отлив, — сказал Томас Хадсон. — На карте она показана чуть восточнее.

— Нет, я не об этом. Дальше смотри, примерно на полмили дальше.

— А это человек. Ловит крабов или проверяет вентери.

— Может, стоило бы потолковать с ним?

— Он с маяка, а на маяке уж Антонио со всеми потолкует.

— Ры-ыба! Ры-ыба! — закричал помощник, и Генри спросил:

— Можно, я займусь ею, Том?

— Давай. А Хиля пошли сюда.

Генри сошел вниз, и немного спустя большая рыбина выпрыгнула из воды — это была барракуда. Еще немного спустя Томас Хадсон услышал, как крикнул Антонио, вонзая ей под жабры багор, а потом раздались глухие удары дубины по голове. Он ждал громкого всплеска, когда мертвая рыба будет снова брошена в воду, и смотрел назад, чтобы увидеть, насколько она велика. Но всплеска не было, и тогда он вспомнил, что в этом районе кубинского побережья барракуду употребляют в пищу, и Антонио, должно быть, решил подарить ее служащим маяка. Вдруг снова раздался двукратный крик: «Ры-ыба!» — но на этот раз над поверхностью воды ничего не показалось, только зажужжала разматывающаяся леска. Он выровнял курс и застопорил оба мотора. Потом, видя, что леска продолжает разматываться, выключил один мотор совсем и медленно развернулся по направлению к рыбе.

— Агуха! — закричал помощник. — И здоровенная.

Генри уже выводил рыбу, и вся она видна была за кормой, причудливо вытянутая в длину, с полосами на спине, четко темневшими в синеве прозрачных верхних слоев воды. Казалось, ее уже можно достать багром, но тут она вдруг дернула головой и, круто рванувшись вглубь, мгновенно исчезла из виду.

— Всегда они пытаются спастись таким рывком, — сказал Ара. — А быстрая как пуля.

Но Генри очень скоро снова подвел рыбу к корме, и они увидели сверху, как забагрили и втащили на борт тугую, подрагивавшую тушу. Полосы у нее на спине ярко синели, челюсти, острые, как ножи, раскрывались и закрывались с ненужной теперь судорожной четкостью. Антонио уложил ее вдоль кормы, и она забила хвостом по дощатому настилу.

— Quo peto mas hermoso![117](#) — сказал Ара.

— Да, хороша агуха, — согласился Томас Хадсон. — Но если так будет продолжаться, мы отсюда до полудня не уйдем. Пусть удочки остаются, а поводки нужно снять, — сказал он помощнику. Он снова развернулся и, наверстывая потерянное время, но при этом стараясь, чтобы все выглядело так, будто они по-прежнему заняты рыбной ловлей, взял курс на каменистую оконечность мыса, где стоял маяк.

Пришел Генри и сказал:

— Хороша рыбина, а? Ее бы не на такую снасть брать. Странной формы голова у этих агух.

— Сколько она потянет? — спросил Вилли.

— Антонио говорит, не меньше шестидесяти. Вилли, ты уж извини, что я тебя не успел позвать. Это бы твоя должна быть рыба.

— Да чего там, — сказал Вилли. — Я с ней и не справился бы так быстро, как ты, и вообще пора нам заниматься своим делом. Было бы время, мы бы тут до дьявола рыбы наловили.

— А мы сюда приедем как-нибудь после войны.

— Черта с два, — сказал Вилли. — После войны я уеду в Голливуд, наймусь там в консультанты по части того, как валять дурака на море.

— Это ты сумеешь.

— Еще бы не суметь. Уже больше года практикуюсь, подготовка у меня будет хоть куда.

— Ты что это сегодня с утра в мерихлюндии, Вилли? — спросил Томас Хадсон.

— А черт его знает. Встал с левой ноги.

— Вот что, сходи-ка в камбуз и, если мой чай уже остыл, принеси его, пожалуйста, сюда. Антонио занят разделкой рыбы, так ты уж мне и сэндвич приготовь. Ладно?

— Ладно. С чем сэндвич?

— С арахисовым маслом и с луком, если луку у нас еще много.

— Есть приготовить сэндвич с арахисовым маслом и с луком, сэр.

— И постарайся избавиться от своей мерихлюндии.

— Есть, сэр. Уже избавился, сэр.

Когда он ушел, Томас Хадсон сказал:

— Ты с ним полегче, Генри. Мне этот сукин сын очень нужен, он свое дело здорово знает. Просто на него мерихлюндия напала.

— Я и то стараюсь, Том. Но уж очень с ним трудно.

— Больше нужно стараться. Зачем ты его подначивал насчет двадцати центов?

Томас Хадсон не отрывал глаз от ровной поверхности воды, от коварно безобидного на вид рифа, выступавшего из воды слева по борту. Он любил проходить в опасной близости к рифу, когда солнце было у него за спиной. Это как бы шло в возмещение за все те случаи, когда приходилось править против солнца, и за многое другое тоже.

— Извини, Том, — сказал Генри. — Буду теперь следить за всем, что говорю или думаю.

Вилли принес чай в бутылке из-под рома, которая была обернута бумажным полотенцем, в двух местах перехваченным резинкой, чтобы держалось.

— Холодный как лед, шкипер, — сказал он. — Я его еще изолировал для верности.

Он протянул Томасу Хадсону сандвич, завернутый в обрывок бумажного полотенца, и сказал:

— Сандвич-шедевр, фирменное название «Гора Эверест». Только для высшего начальства.

В недвижимом воздухе до Томаса Хадсона явственно донесся запах спиртного.

— Тебе не кажется, Вилли, что ты сегодня рановато начал?

— Нет, сэр.

Томас Хадсон посмотрел на него испытующе.

— Как ты сказал, Вилли?

— Нет, сэр. Вы не расслышали, сэр?

— Ну вот что, — сказал Томас Хадсон. — Мне тебя пришлось переспросить. А ты меня слушай так, чтобы не переспрашивать. Немедленно ступай вниз. Уберешь камбуз как следует, тогда иди на бак, чтоб быть у меня на глазах, и приготовься бросать якорь.

— Есть, сэр. Я себя что-то плохо чувствую, сэр.

— А мне на... как ты себя чувствуешь, морской законник. Если ты себя сейчас чувствуешь плохо, так скоро почувствуешь много хуже.

— Есть, сэр, — сказал Вилли. — Я себя плохо чувствую, сэр. Мне бы надо показаться судовому врачу.

— Он должен быть в носовом кубрике. Пойдешь мимо, стукни в

дверь, посмотри, там он или нет.

— Я и сам так думал, сэр.

— Что ты такое думал?

— Ничего, сэр.

— Пьян вдребезину, — сказал Генри.

— Нет, он не пьян, — сказал Томас Хадсон. — Выпить он выпил. Только, в голове у него мутится не от этого.

— Он уже давно какой-то чудной, — сказал Ара. — Но он всегда был чудной. Никто из нас не перенес того, что перенес он. Я, например, вовсе ничего не перенес.

— Том перенес предостаточно, — сказал Генри. — А пьет холодный чай.

— Ладно, не будем раскисать и разнюниваться, — сказал Томас Хадсон. — Ничего я не перенес, а холодный чай — мой любимый напиток.

— Что-то раньше ты его так не любил.

— Век живи, век учись, Генри.

Они уже были почти на траверзе маяка, впереди показалась скала, которую нужно было обойти, и ему хотелось прекратить этот пустой разговор.

— Ступай и ты на бак, Ара, посмотри, как он там. И не оставляй его одного. Генри, ты смотай и убери удочки. А Джордж пусть поможет Антонио со шлюпкой. Можешь даже сойти с ним на берег, Джордж, если он пожелает.

Оставшись один на мостике, он провел судно почти у самой скалы, откуда потянуло запахом гуано, и, обогнув мыс, выбрал место для якорной стоянки. Глубина там была не больше двух морских сажений, дно было чистое, ровное, и сильно чувствовалось течение. Он поглядел на покрашенный белой краской дом и на старомодную башню маяка, потом оглянулся туда, где за торчавшей из воды высокой скалой зеленели островки все в мангровых зарослях, а еще дальше темнел низкий, голый, скалистый берег Кайо Романо. Так долго жили они, не считая частых отлучек, в виду этого длинного, странного, кишевшего москитами острова, так хорошо знали многие его уголки, столько раз он служил им ориентиром в конце рейсов, удачных и неудачных, что Томас Хадсон невольно испытывал волнение, когда на горизонте возникали или же, наоборот, постепенно скрывались знакомые очертания. И вот сейчас он опять перед глазами, особенно голый и мрачный с этой стороны, словно кусок бесплодной пустыни, протянувшейся в море.

На этом большом острове можно было встретить диких лошадей, и

диких коз, и диких свиней; не раз, должно быть, находились люди, воображавшие, что им удастся его освоить. В глубине его были и холмы, покрытые сочной растительностью, и живописные долины, и рощи строевого леса, и однажды группа французов попыталась обосноваться на Романо и построила целый поселок, получивший название Версаль.

Теперь все каркасные дома поселка были заброшены, кроме одного, самого большого. Как-то раз Томас Хадсон пришел туда в поисках пресной воды и увидел собак, толкавшихся среди свиней, которые копались в луже. И собаки и свиньи были серыми от москитов, облепивших их сплошной пеленой. Этот остров был райским местом, когда несколько дней подряд дул восточный ветер; можно было сутки идти с ружьем среди великолепной природы, такой же девственной, как в те дни, когда Колумб высадился на этом побережье. Но стоило ветру улечься, как с болот налетали тучи москитов. Слово «тучи» здесь отнюдь не метафора, думал он. Они в самом деле налетали тучами и могли закусать человека насмерть. Нет, те, кого мы ищем, едва ли укрылись на Романо, думал он. В такой штиль это невозможно. Скорей всего, они прошли дальше.

— Ара, — позвал он.

— Что нужно, Том? — спросил Ара. Он всегда подтягивался на руках и вспрыгивал на мостик легко, как акробат с литым из стали телом.

— Ну, что там?

— Вилли не в себе, Том. Я его увел в тень и дал ему выпить и уложил его. Теперь он лежит спокойно, только очень уж пристально смотрит в одну точку.

— Может, ему напекло голову солнцем?

— Может, и так. А может, что другое.

— А остальные где?

— Хиль и Питерс спят. Хиль всю ночь дежурил при Питерсе, не давал ему заснуть. Генри тоже спит, а Джордж пошел на шлюпке с Антонио.

— Им уже пора бы вернуться.

— Они и вернутся.

— Вилли совсем нельзя быть на солнце с его головой. Болван я, что послал его на бак. Думал о дисциплине, а о чем нужно, не подумал.

— Я там разбираю и чищу большой пулемет, да еще все взрыватели пришлось проверять, не отсырели ли во время дождя. Вчера мы, как кончили играть в покер, все разобрали, вычистили и смазали.

— Да, в такую сырость стреляли или не стреляли, а проверять нужно каждый день.

— Знаю, — сказал Ара. — Надо бы ссадить Вилли. Только где?

— На Кайо Франсесе?

— Можно. Но лучше бы в Гаване, а оттуда пусть его отправят куда-нибудь. Он будет болтать, Том.

У Томаса Хадсона промелькнула мысль, о которой он сразу же пожалел.

— Не надо было нам брать человека, которого демобилизовали из-за больной головы, — сказал Ара.

— Верно. А мы взяли. Да мало ли мы всяких хреновых ошибок наделали?

— Не так уж много, — сказал Ара. — Можно, я пойду кончать свою работу?

— Иди, — сказал Томас Хадсон. — И большое тебе спасибо.

— A sus ordenes [118](#), — сказал Ара.

— Жаль, не могу приказать что-нибудь поумнее, — сказал Томас Хадсон.

Подошла шлюпка с Антонио и Джорджем. Антонио сразу же поднялся на мостик, предоставив Джорджу с помощью Генри втаскивать на борт шлюпку и мотор.

— Ну что? — спросил Томас Хадсон.

— Они, очевидно, прошли мимо ночью, еще до того, как совсем заштилело, — сказал Антонио. — Если бы они свернули в протоку, их бы заметили с маяка. Старик лодочник, который ездит проверять вентери, никакой шхуны не видел. Он болтун страшный и, уж наверно, не умолчал бы, если бы видел, — так мне сказал смотритель маяка. Если хочешь, мы можем вернуться и сами поговорить со стариком.

— Не нужно. Наверно, они сейчас в Пуэрто-Коко или в Гильермо.

— Да, при таком дохлом ветерке они едва ли успели зайти куда-нибудь дальше.

— Ты точно уверен, что они не могли пройти ночью через эту протоку?

— Самый лучший на свете лоцман не провел бы их тут.

— Значит, надо искать их у Коко с подветренной стороны или ближе к Гильермо. Будем сниматься с якоря и в путь.

Место здесь было гиблое, и он с осторожностью обходил все, что видел, держась саженой на сто от береговых извилин. Берег был низкий, скалистый, кругом множество рифов и больших отмелей, сейчас обнаженных отливом. Вахту несли по четверо, и слева от Томаса Хадсона стоял Хиль. Томас Хадсон все время смотрел на берег, видел пятна мангровых зарослей вдалеке и думал: занес же нас черт сюда в такую

погоду. Высоко в небе уже собирались тучи, и шквал, пожалуй, мог налететь раньше, чем он ожидал. За Пуэрто-Коко есть три местечка, где непременно нужно пошарить, думал он. Придется немножко пришпорить свою лошадку, чтобы быстрее домчала туда.

— Генри, — сказал он, — пожалуйста, стань к штурвалу и держи двести восемьдесят пять оборотов. Я хочу пойти взглянуть, как там Вилли. Если увидишь что-нибудь, мне просигналь. А ты, Хиль, перейди на его место к правому борту. Со стороны берега наблюдение можно снять. Там всюду слишком мелко, чтобы могла укрыться шхуна.

— Я бы все-таки последил за этой стороной, Том, если не возражаешь, — сказал Хиль. — Есть тут один кривой проливчик, который выходит почти к самой бухте, и проводник мог отвести их туда и спрятать в мангровых зарослях.

— Ладно, — сказал Томас Хадсон. — Я тогда пошлю наверх Антонио.

— В большой бинокль я разгляжу мачту даже среди зарослей.

— Черта с два ты ее разглядишь. А впрочем, может быть.

— Мне бы очень хотелось, Том. Если не возражаешь.

— Я ведь уже согласился.

— Извини, Том. Но понимаешь, мне кажется, если у них есть проводник, он мог их туда завести. Мы сами как-то заходили туда.

— И потом должны были тем же путем выбираться обратно.

— Все так. Но представь себе, вдруг им пришлось второпях искать укрытия из-за штиля. А мы пройдем дальше и минуем их.

— Это, конечно, нежелательно. Только вряд ли тебе удастся разглядеть мачту с такого расстояния. И потом, они бы тогда замаскировали ее, чтобы она не видна была с воздуха.

— Все так, — чисто по-испански упорствовал Хиль. — Но у меня очень зоркие глаза, и этот бинокль с двенадцатикратным увеличением, и при такой тихой погоде вообще хорошая видимость, и...

— Да я ведь сказал тебе: ладно.

— Все так. Но надо же мне было объяснить.

— Ты и объяснил, — сказал Томас Хадсон. — И если ты действительно вдруг обнаружишь мачту, можешь увешать ее земляными орехами и засунуть мне в зад.

Хиль немножко обиделся, но потом решил, что это очень остроумная шутка, особенно насчет земляных орехов, и, приставив бинокль к глазам, стал так усиленно вглядываться в мангровые заросли, что глаза у него чуть не вылезли из орбит.

А Томас Хадсон внизу разговаривал с Вилли, все время поглядывая на

море и на берег. Его всегда поражало, насколько меньше видишь, когда спустишься с мостика, и, если внизу все было в порядке, он считал, что глупо ему покидать свой пост. Он всегда старался быть в контакте со своими людьми настолько, насколько это необходимо, и по возможности избегал бессмыслицы формального надзора. Но он все больше и больше власти передавал Антонию, сознавая его превосходство как моряка, и Аре, сознавая его превосходство вообще. Оба они превосходят меня во многом, думал он, и все же командовать должен я, используя их способности, их опыт и их личные качества.

— Вилли, — сказал он. — Ну как ты тут?

— Я жалею, что по-дурацки вел себя, Том. Но мне, правда, что-то совсем нехорошо.

— Ты же знаешь, какие правила есть для тех, кто пьет, — сказал Томас Хадсон. — Нет никаких правил. И я, черт побери, не хочу пускать в ход разные там словечки вроде чести и достоинства.

— И не надо, — сказал Вилли, — Ты же знаешь, что я не пьяница.

— Пьяниц мы на борт не берем.

— Если не считать Питерса.

— Мы его не брали. Его дали нам. У него свои трудности.

— Бутылка — вот его главная трудность, — сказал Вилли. — И мы не успеем оглянуться, как его хреновые трудности станут нашими трудностями.

— Ладно, черт с ним, — сказал Томас Хадсон. — Что-нибудь еще тебя точит?

— Да вообще.

— Что вообще?

— А то, что я наполовину псих и ты наполовину псих, а вся команда у нас — наполовину святые, а наполовину оголтелые.

— Не такая уж это плохая комбинация — святого с оголтелым.

— Верно. Даже замечательная. Но я привык, чтоб все уж как-то было в большем порядке.

— Слушай, Вилли, ничего с тобой серьезного нет. Просто от солнца у тебя сделалось нехорошо в голове. И помоему, пить тебе сейчас не стоит.

— По-моему, тоже, — сказал Вилли. — Я вовсе не строю из себя какого-то ядерного хлюпика, Том. Но скажи, ты когда-нибудь сходил с ума по-настоящему?

— Нет. Мне это ни разу не удалось.

— Паршивое это дело, — сказал Вилли, — И сколько бы оно ни длилось, это всегда слишком долго. А пить я брошу.

— Не надо. Пей, только в меру, как ты всегда пил.
— Я для того и пил, чтобы отогнать от себя это.
— Мы всегда пьем для чего-нибудь.
— Точно. Но я ведь без дураков. Я бы тебе не стал врать, Том.
— Все мы врем. Но я не думаю, что ты бы стал врать намеренно.
— Ступай на свой мостик, — сказал Вилли. — Я же вижу, как ты все смотришь на воду, будто это девушка, которая вот-вот уйдет от тебя. Я больше ничего не буду пить, кроме разве морской воды, а сейчас я пойду помогу Ара ломать каждую вещь на куски и составлять снова.
— Не пей, Вилли.
— Сказал, не буду, — значит, не буду.
— Верю.
— Слушай, Том, можно тебе задать один вопрос?
— Хоть десять.
— Очень тебе скверно?
— Пожалуй, что очень.
— А спать ты можешь?
— Мало.
— Но прошлую ночь спал?
— Спал.
— Это после прогулки на берегу, — сказал Вилли. — Ну, ступай наверх и забудь про меня. Я буду заниматься делом вместе с Арой.

XIII

В поисках следов, оставленных немцами, они обследовали отмель в Пуэрто-Коко, объехали на шлюпке и мангровые заросли в глубине островка. Там были места, где вполне могла бы укрыться большая шхуна. Но их поиски ни к чему не привели, к тому же и шквалы начались раньше обычного, и под проливным дождем море стало взвиваться вверх белыми кипящими всплесками.

Томас Хадсон обследовал всю отмель и, обогнув лагуну, прошел в глубь островка. Он побывал в тех местах, куда слетаются в прилив фламинго, видал и стаи ибисов — сосос, — от которых островок и получил свое название, и парочку розовых колпиц, копавшихся в мергеле на берегу лагуны. Колпицы были очень красивы — ярко-розовые на фоне серого

мергеля, движения изящные, быстрые, с порывом вперед, но в них чувствовалась удручающая, вызванная вечным голодом безликость — то, что свойственно некоторым болотным птицам. Понаблюдать за ними подольше ему не удалось, так как он хотел проверить, — может быть, люди, которых они искали, оставили шхуну в мангровых зарослях, а сами поднялись выше, спасаясь от moskitov.

Он ничего там не обнаружил, кроме места, где когда-то обжигали уголь, вышел на отмель и уже сидел в шлюпке у Ары, когда налетел первый порыв шквального ветра.

Ара обожал выходить на шлюпке в дождь, в сильный шквал, и Томас Хадсон узнал от него, что поиски ничего не дали. Теперь все уже были на катере, кроме Вилли, который забрался на самый дальний конец острова за мангровую рощу.

— А ты что-нибудь обнаружил? — спросил Ара.

— Нет, ничего.

— Под этим дождиком Вилли немного поостынет. Вот отвезу тебя и за ним поеду. Как ты думаешь, Том, где они?

— В Гильермо. Я бы на их месте туда подался.

— И я тоже. И Вилли так считает.

— Как он там?

— Прямо землю роет. Ты же его знаешь, Том.

— Да, — сказал Томас Хадсон. Они подошли к катеру, и он взобрался на борт.

Томас Хадсон видел, как Ара развернул шлюпку и скрылся в белопенном шквале. Потом он крикнул вниз, чтобы ему дали полотенце, и вытерся досуха, стоя на корме.

Генри сказал:

— А выпить не хочешь, Том? Ты же промок насквозь.

— С удовольствием.

— Неразбавленного рому?

— Что ж, хорошо, — ответил Томас Хадсон. Он сошел вниз за свитером и шортами и увидел, что люди настроены весело.

— Мы все выпили неразбавленного рому, — сказал Генри и подал ему налитый до половины стакан. — Я считаю, что, если выпить да сразу же обсушиться, тогда не простудишься. Как по-твоему?

— А-а, Том! — сказал Питерс. — Присоединяешься к нашей компании? Мы для здоровья пьем.

— Ты когда проснулся? — спросил его Томас Хадсон.

— Когда бульканье услышал.

— Вот я сам как-нибудь ночью побулькаю, тогда посмотрим, проснешься ты или нет.

— Не трудись, Том. Вилли проделывает это каждую ночь.

Томас Хадсон решил не пить рома. Потом, увидев, что все пьют и все держатся бодро и весело, несмотря на невеселые дела, которые их ожидают, передумал: с его стороны это, пожалуй, было бы слишком педантично и добродетельно. Кроме того, ему хотелось выпить.

— Давай поделимся, — сказал он Питерсу. — Из всех сукиных сынов ты единственный, кто спит с наушниками лучше, чем без наушников.

— Чего тут делить? — сказал Питерс, позволяя себе отступить от служебной дисциплины. — Ни тебе, ни мне не получится.

— Ну, так наливай себе отдельно, — сказал Томас Хадсон. — Я это пойло не меньше, чем ты, люблю.

Остальные наблюдали за ними, и Томас Хадсон видел, как ходят скулы у Генри.

— Пей до дна, — сказал Томас Хадсон. — И смотри, чтобы твои таинственные механизмы работали сегодня ночью на полную катушку. Уж ты постарайся — и ради себя и ради нас.

— Ради всех нас, — сказал Питерс. — А кто здесь на катере самый работяга?

— Ара, — сказал Томас Хадсон и, оглядев их всех, сделал первый глоток из стакана. — Да и все прочие не хуже, мать их так.

— Твое здоровье, Том, — сказал Питерс.

— Твое здоровье, — сказал Томас Хадсон и почувствовал, как эти слова холодно и вяло сходят у него с языка. — За здоровье короля наушников, — сказал он, стараясь восстановить что-то утерянное. — За всяческое бульканье, — добавил он, теперь уже далеко шагнув по тому пути, который следовало избрать с самого начала.

— За здоровье моего командира, — сказал Питерс, слишком натягивая струну.

— Формулировка — дело твое, — сказал Томас Хадсон. — Уставом это не предусмотрено. Но так и быть. Можешь повторить это еще раз.

— Твое здоровье, Том.

— Спасибо, — сказал Томас Хадсон. — Но быть мне последним сукиным сыном, если я выпью за твое здоровье до того, как ты и вся твоя аппаратура будете действовать исправно.

Питерс посмотрел на Томаса Хадсона, и дисциплина сковала ему лицо, а тело его, порядком изувеченное, приняло осанку человека, отслужившего три срока на пользу дела, в которое он верил, и

расставшегося с ним ради чего-то другого, как это произошло и с Вилли. Он сказал машинально, без всяких попыток вложить иной смысл в свои слова:

— Слушаю, сэр.

— Твое здоровье, — сказал Томас Хадсон. — И подвинти там все свои хреновые чудеса.

— Слушаю, Том, — сказал Питерс. Сказал от всего сердца, без всяких подковырок.

Ну, пожалуй, хватит, подумал Томас Хадсон. Тут я поставлю точку и пойду на корму ждать появления своего другого трудного ребеночка. Не могу я относиться к Питерсу так, как к нему относятся остальные. Все его недостатки известны мне не хуже, чем им. Но в нем что-то есть. Он как ложь, в которой ты зашел так далеко, что уже недолго до правды. Он не справляется с нашей аппаратурой — это верно. Но, может, он способен на что-нибудь более серьезное?

Вилли тоже хорош, подумал он. Один другого стоит. Пора бы ему и Аре вернуться.

Сквозь дождь и белые всплески волн, закручивавшихся под хлесткими ударами ветра, он увидел шлюпку. Они поднялись на борт мокрые до нитки. Дождевиков ни тот, ни другой не надели, а завернули в них своих pinos.

— Здорово, Том, — сказал Вилли. — Мокрая задница и пустое брюхо — вот все наши достижения.

— Прими моих деток, — сказал Ара, подавая наверх закутанные в дождевики автоматы.

— Так-таки ничего?

— Ничего в десятикратном размере, — сказал Вилли. С него лило на корму, и Томас Хадсон крикнул Хилю, чтобы тот принес два полотенца.

Ара подтянул бакштовом шлюпку и поднялся на борт.

— Ничего, ничего и еще раз ничего, — сказал он. — Том, в такой дождь нам должны бы засчитать сверхурочные.

— Автоматы надо почистить немедленно, — сказал Вилли.

— Сначала сами обсушимся, — сказал Ара. — Меня хоть выжми. То никак не мог под дождь попасть, то вымок так, что даже на заднице гусиная кожа.

— Знаешь, Том, — сказал Вилли. — Эти мерзавцы могут выйти в шквальный ветер с зарифленными парусами. Если только у них пороуху хватит.

— Да, мне это тоже приходило в голову!

— С утра, в штиль, они, наверно, прячутся, а как шквал, так сразу выходят в море.

— Как ты думаешь, где они?

— Думаю, не дальше Гильермо. А, впрочем, кто их знает.

— Завтра на рассвете мы выйдем и у Гильермо поймаем их.

— Может, поймаем, а может, они уже уйдут оттуда.

— Все может быть.

— Какого черта у нас радара нет?

— А чем он нам помог бы сейчас?

— Ладно, молчу, — сказал Вилли. — Ты меня извини, Том. Но охотиться с УКВ за объектом, на котором нет радио...

— Да, правильно, — сказал Томас Хадсон. — Значит, преследование мы ведем плохо? По-твоему, можно лучше?

— Да, можно. Ничего, что я так говорю?

— Ничего.

— Мне бы только поймать этих сволочей и убить всех до одного.

— А что это даст?

— Ты забыл, какую бойню они устроили?

— Хватит причитать, Вилли. Ты уже давно на морской охоте, тебе это не к лицу.

— Ладно. Просто я хочу их убить. Такое желание дозволено?

— Это уже лучше, чем болтать про бойню. Но мне нужен язык с подводной лодки, которая проводила операции в здешних водах.

— Твой последний язык был что-то не очень разговорчивый.

— Да. Но ты бы тоже молчал на его месте, если б был при последнем издыхании.

— Ладно уж, — сказал Вилли. — Можно, я пойду хвачу, что мне законно причитается?

— Пожалуйста. Переоденься в сухие шорты, в сухую рубашку и не цепляйся к людям.

— Ни к кому?

— Пора бы тебе поумнеть, — сказал Томас Хадсон.

— Пора бы тебе помереть, — сказал Вилли и улыбнулся во весь рот.

— Вот таким я тебя люблю, — сказал ему Томас Хадсон. — Таким и оставайся.

В эту ночь молния сверкала не переставая, громыхал гром и часов до трех утра лил дождь. Питерс ничего не добился по радио, и они заснули в жаре, в духоте, а потом, после дождя, на них налетели мошки и всех перебудили. Томас Хадсон побрызгал вниз «флитом», и там закашлялись, но возиться и шлепать себя стали меньше.

Он разбудил Питерса, обрызгав его всего «флитом», и Питерс замотал головой в наушниках и тихо сказал:

— Я все время пробую, Том. Но ничего не могу поймать.

Томас Хадсон посветил фонариком на стену и увидел, что барометр идет вверх. Значит, у фрицев будет попутный бриз, подумал Томас Хадсон. Опять они не могут пожаловаться, что им не везет. Надо обдумать это обстоятельство.

Он вернулся на корму и обрызгал «флитом» всю каюту, не разбудив спящих.

Потом сел и стал смотреть, как светлеет ночь, и время от времени опрыскивал себя «флитом». Дезинсекторы у них все кончились, только «флита» было много. Правда, когда он попадал на потную кожу, там начинало жечь, но все же это было лучше мошек. От москитов песчаная мошка отличалась тем, что, пока она не сядет, ее приближения не слышно, а зуд начинается сразу после укуса. В этом месте появлялась припухлость размером с маленькую горошину. Кое-где на побережье и на островах мошки были особенно злые. Во всяком случае, их укусы почему-то казались гораздо больнее. Но, может быть, подумал он, все зависит от состояния нашей кожи, насколько она загорела, огрубела. Как эту мошкарку терпят местные жители, просто не представляю себе. Надо быть очень выносливым, чтобы жить здесь, на побережье, и на Багамских островах, когда пассаты не дуют.

Он сидел на корме, прислушиваясь, поглядывая по сторонам. Высоко в небе шли два самолета, и он слушал гул их моторов, пока они не затихли.

Мощные бомбардировщики, идут без посадки на Камагуэй по пути в Африку или куда-нибудь еще, а к нам это не имеет никакого отношения. Ну что ж, по крайней мере их не донимают песчаные мошки. Меня они тоже не донимают. Да ну, плевал я на них. Легко сказать — плевал. Хорошо бы поскорее рассвело — и уйти отсюда. Спасибо Вилли, мы проверили весь путь до конца мыса, а дальше я пойду узкой протокой, держась вдоль берега. Там есть только одно опасное место, но при дневном свете я его разгляжу даже в штиль. А там сразу — Гильермо.

На рассвете они вышли в море, и Хиль, самый зоркий из них,

осматривал в двенадцатикратный бинокль зеленую береговую линию. Они шли так близко к берегу, что можно было разглядеть сломанную ветку на мангровом дереве. Томас Хадсон стоял у штурвала. Генри вел наблюдение за морем. Вилли стоял с Хилем.

— Во всяком случае, здесь они уже побывали, — сказал Вилли.

— Надо все-таки проверить, — сказал Ара. Он стоял с Генри.

— Конечно, надо, — сказал Вилли. — Я просто так — отмечаю.

— А где же этот чертов патруль, который высылают на рассвете с Кайо Франсеса? — Разве по воскресеньям патрулируют? — спросил Вилли. — По-моему, сегодня как раз воскресенье.

— Надо ждать бриза, — сказал Ара. — Посмотрите на облака — перистые.

— Я только одного боюсь, — сказал Томас Хадсон. — Как бы они не прошли протокой у Гильермо.

— А мы это дело проверим.

— Давайте поскорее туда доберемся, — сказал Вилли. — А то у меня уже нервы не выдерживают.

— Оно и заметно, — сказал Генри.

Вилли взглянул на него и сплюнул через борт.

— Спасибо, Генри, — сказал он. — А я и хотел, чтоб было заметно.

— Хватит вам, — сказал Томас Хадсон. — Видите вон там справа по борту большой выступ коралла вровень с водой? Как бы нам не напороться на него. За этим рифом, джентльмены, лежит Гильермо. Посмотрите, как там все зелено. Настоящая страна обетованная.

— Очередной дерьмовый остров, и больше ничего, — сказал Вилли.

— А дыма от костров угольщиков не видно? — спросил Томас Хадсон.

Хиль медленно повел биноклем и сказал:

— Нет, Том.

— Какой может быть дым после вчерашнего дождя? — сказал Вилли.

— Вот сейчас ты и ошибся, друг мой, — сказал Томас Хадсон.

— Может, и ошибся.

— Да. Дождь, бывает, всю ночь льет как из ведра, а большим обжигам ничего не делается. Я помню, как дождь хлестал однажды трое суток и нигде не погасло.

— У тебя тут опыта больше, — сказал Вилли. — Ладно. Дым может быть. Надеюсь, мы этот дым увидим.

— Банка здесь очень коварная, — сказал Генри. — В такой шторм им вряд ли удалось пройти ее.

Они увидели четырех крачек и двух чаек, круживших над этой банкой. Птицы что-то нашли там и ныряли в воду за добычей. Крачки каркали, чайки пронзительно кричали.

— Что они там нашли, Том? — спросил Генри.

— Не знаю. Может, косяк рыбы? Только он на большой глубине, им не достать.

— Этим бедным птичкам приходится вставать еще раньше нас, чтобы добыть себе пропитание, — сказал Вилли, — Не ценят люди, сколько у них трудов на это уходит.

— Как ты решил идти, Том? — спросил Ара.

— Поближе к берегу и вон туда, к самой дальней точке острова.

— А этот полукруглый островок будешь обследовать — что там за обломки?

— Обогну их на близком расстоянии, а вы смотрите в бинокли. На якорь я стану в бухте у Гильермо.

— Мы станем на якорь, — сказал Вилли.

— Само собой. Чего это ты огрызаешься с самого утра?

— Я не огрызаюсь. Наоборот, я прихожу в восторг от океана и от этих прекрасных берегов, которые впервые открылись взорам Колумба. Мне, слава богу, не пришлось служить под его началом.

— А я думал, ты служил, — сказал Томас Хадсон.

— Я, когда лежал в госпитале в Сан-Диего, прочитал книжку о нем, — сказал Вилли. — И с тех пор считаю себя специалистом по Колумбу, а корабль у него был хуже нашей хреновой посуды.

— Наш катер не посуда и тем более не хреновая.

— Да, — сказал Вилли. — Пока еще нет.

— Ладно, ты, сподвижник Колумба. Видишь, градусах в двенадцати по правому борту обломки торчат из воды?

— Это пусть смотрит вахта штирборта, — сказал Вилли. — Но я эти обломки своим единственным глазом отлично вижу, на них сидит олуша с Багамских островов. Она, наверно, прилетела нам в подкрепление.

— Вот и хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Теперь мы не пропадем.

— Из меня, наверно, мог бы получиться великий орнитолог, — сказал Вилли. — Моя бабка курей разводила.

— Том, — сказал Ара. — А ближе нельзя подойти? Вода сейчас высокая.

— Можно, — ответил Томас Хадсон. — Скажи Антонио, пусть пройдет на нос и доложит мне, какая тут глубина.

— Глубина большая, Том! — крикнул Антонио. — До самого берега.

Ты же знаешь эту протоку.

— Да, знаю. Просто хотел удостовериться.

— Может, мне стать у штурвала?

— Нет, не надо, — сказал Томас Хадсон. — Спасибо.

— Вот сейчас весь остров у нас как на ладони, — сказал Ара. — Осмотри его в бинокль, Хиль. Весь осмотри. А после тебя я.

— Кто же ведет наблюдение за первым четвертным румбом? — спросил Вилли. — Когда это вы переложили руль?

— Когда Том попросил тебя посмотреть на обломки, тогда мы руль и переложили. Перекладывание происходит автоматически. Теперь ты стоишь со штирборта.

— Уж очень ты специально выражаешься, — сказал Вилли. — Если хочешь щегольнуть специальным языком, тогда не ошибайся. Говорил бы просто — с правого борта, с левого борта.

— Ты первый сказал — вахта штирборта, — ответил ему Генри.

— Правильно. А отныне буду изъясняться только так: вверх по лестнице, вниз по лестнице, перед катера, зад катера.

— Вилли, стань рядом с Хилем и Арой и осмотри, пожалуйста, берег в бинокль, — сказал Томас Хадсон. — Берег и ближайшую треть острова.

— Слушаю, Том, — сказал Вилли.

Если на этой стороне Кайо Гильермо, которая почти круглый год находится под ветром, было человеческое жилье, его нетрудно было бы увидеть. Но, двигаясь вдоль берега, они ничего такого не заметили. Когда катер вышел на траверз мыса, Томас Хадсон сказал:

— Я постараюсь пройти поближе к мысу, а вы все смотрите в бинокли. Если что-нибудь увидите, мы остановимся и спустим шлюпку.

Подул бриз, море начинало слегка разыгрываться, но прилив не давал волнам разбиваться о банку, а гнал их дальше. Томас Хадсон смотрел вперед, на маленький скалистый островок. Он знал, что у западной оконечности его лежит затонувшее судно; в прилив оно выступало из воды коричнево-красным горбом. А дальше была неглубокая бухта с песчаным, отлогим берегом, но, чтобы попасть в нее, надо было обогнуть затонувшее судно.

— А тут люди живут, — сказал Ара. — Я вижу дым.

— Правильно, — сказал Вилли. — Поднимается он с наветренной стороны, а ветром его относит на запад.

— Дым примерно в центре песчаного берега с той стороны, — сказал Хиль.

— Мачту не видать?

— Никаких мачт, — сказал Хиль.

— Может, они убирают ее на день, — сказал Вилли.

— Становись по своим местам, — сказал Томас Хадсон. — Ара, ты стань рядом со мной. Вилли, скажи Питерсу: пусть выходит на связь. Услышат его, не услышат, все равно надо стараться.

— Как по-твоему, что там? — спросил его Ара, когда остальные ушли.

— Если б я был рыбаком да вялил бы рыбу, то куда же еще мне было бы идти с Гильермо, когда стоит штиль и от москитов спасения нет?

— Я бы тоже сюда перебрался.

— Уголь тут никто не обжигает, дым небольшой. Значит, костер развели не так давно.

— Или это догорает старый.

— Да, у меня тоже была такая мысль.

— Через пять минут все узнаем.

Они обогнули затонувшее судно, на обломках которого сидела другая олуша, и Томас Хадсон подумал: наши союзники — народ расторопный. Катер вошел в бухту с подветренной стороны, и Томас Хадсон увидел узкий песчаный берег, стену зелени за ним и хибарку, над крышей которой поднимался дым.

— Слава тебе, господи, — сказал он.

— Вот именно, — сказал Ара. — Я тоже опасался кое-чего другого.

Никаких шхун тут не было.

— По-моему, мы им на пятки наступаем. Сойди на берег вместе с Антонио, да поскорее. Расскажите мне потом, что вы там увидите. Судно я подведу к самому берегу. Остальные пусть будут на своих местах и ничем себя не выдадут.

Шлюпка развернулась и двинулась к острову. Томас Хадсон увидел, как Ара и Антонио идут к хибарке. Шли они быстро, только что не бежали. Окликнули, есть ли там кто. Из хибарки вышла женщина. Она, видимо, была индианка — смуглая, босая, с распущенными, длинными, почти по пояс волосами. Пока она говорила с Арой и Антонио, из хибарки вышла другая женщина. Эта тоже была смуглая, длинноволосая, на руках у нее сидел ребенок. Кончив разговаривать, Ара и Антонио пожали обеим женщинам руки и вернулись к шлюпке. Они оттолкнулись от берега, включили мотор и пошли к катеру.

Антонио и Ара сразу поднялись на мостик. Шлюпку вытащили на борт.

— Там две женщины, — сказал Антонио. — Мужчины ушли на рыбную ловлю. Та, у которой ребенок, видела, как шхуна вошла в протоку.

Это было, когда подул бриз.

— Значит, часа полтора назад, — сказал Томас Хадсон. — Сейчас уже начался отлив.

— Да, — сказал Антонио. — Вода убывает очень быстро, Том.

— Когда спадет совсем, нам оттуда не выйти.

— Да.

— Как же быть?

— Судно твоё — решай сам.

Томас Хадсон круто переложил руль, включил оба мотора на две тысячи семьсот оборотов и повел катер к мысу.

— Они, пожалуй, сами на мель сядут, — сказал он. — Пропади все пропадом.

— В случае чего бросим якорь, — сказал Антонио. — Если сядем на мель, грунт тут мергелевый. Мергель и тина.

— И подводные камни, — сказал Томас Хадсон. — Пошли сюда Хиля, надо следить за вехами. Ара и ты, Вилли, проверьте все оружие. Антонио, ты, пожалуйста, стань рядом со мной.

— Сволочная эта протока, — сказал Антонио. — Но пройти можно.

— По малой воде пройти здесь нельзя. Но может, те сукины сыны тоже сядут на мель, а может, ветер утихнет.

— Ветер не утихнет, Том, — сказал Антонио. — Для пассата он слишком упорный, тугой.

Томас Хадсон посмотрел на небо и увидел длинные белые космы облаков, гонимых восточным ветром. Потом посмотрел вперед на мыс самого большого острова, на ближние отмели, которые уже начинали проступать из-под воды. Он чувствовал: вон там его и прижмет. Потом посмотрел на лабиринт маленьких островков, казавшихся просто зелеными пятнами на воде.

— Ну как, вехи еще не видно, Хиль? — спросил он.

— Нет, Том.

— Это, наверно, будет ветка или просто палка.

— Ничего пока не вижу.

— Она должна быть прямо по носу.

— Вижу, Том. Длинная палка. Прямо по носу.

— Спасибо, — сказал Томас Хадсон.

Отмели по обе стороны протоки были светло-желтые на солнце, а отливное течение, идущее им навстречу из лагуны, отсвечивало зеленью. Оно было не грязное, не замутненное мергелем, потому что ветер еще не успел взбаламутить море. Это помогало ему вести катер.

Но вот он увидел за вехой такой узкий поворот, что по голове у него побежали мурашки.

— Ничего, Том, проведешь, — сказал Антонио. — Держи ближе к правому берегу. Я уж точно увижу этот поворот, как только он откроется.

Томас Хадсон двигался на самом малом ходу почти впрыток к правому берегу. Он взглянул налево и увидел, что левый берег еще ближе, и взял лево руля.

— Тины много поднимаем? — спросил он.

— Тучи.

Они подошли к коварному повороту, и там оказалось не так плохо, как он ожидал. В узких местах протоки идти было куда труднее. Поднялся ветер, и, когда они пошли бортом к нему, Томас Хадсон почувствовал своими голыми плечами его сильные порывы.

— Веха прямо по носу, — сказал Хиль. — Это всего-навсего ветка.

— Да, вижу.

— Держи все так же, ближе к правому берегу, Том, — сказал Антонио. — Лавировать теперь осталось недолго.

Томас Хадсон жался к правому берегу так близко, точно ставил машину у тротуара. Впрочем, берег был похож не на тротуар, а на изрытое снарядами, утопающее в грязи поле сражения тех времен, когда бои велись сосредоточенным артиллерийским огнем, — поле сражения, вдруг словно поднявшееся со дна океана и растянувшееся справа от него, точно рельефная карта.

— Много тины выбрасываем?

— Много, Том. Вот пройдем поворот и станем на якорь. По эту сторону Контрабандо. Или с подветренной стороны Контрабандо, — предложил Антонио.

Томас Хадсон повернул голову и увидел Кайо Контрабандо — маленький, зеленый, веселый островок — и сказал:

— Нет, к черту. Хиль, осмотри остров и протоку, нет ли тут их шхуны. Впереди вижу еще две вехи.

По этой протоке идти было легко. Но дальше он увидел песчаную косу, которую уже обнажала вода. Чем ближе они подходили к Кайо Контрабандо, тем уже становилась протока.

— Обходи эту веху слева, — сказал Антонио.

— Я так и делаю.

Они обогнули сухую ветку, служившую вехой. Темная, она трепалась на ветру, и Томас Хадсон подумал, что при таком ветре глубина у них будет меньше, чем при средней малой воде.

— Тины по-прежнему много? — спросил он Антонио.

— Много, Том.

— Что ты там видишь, Хиль?

— Только вехи.

Вода становилась мутно-белой, потому что ветер уже поднимал волны, и теперь нельзя было разглядеть ни дна, ни берегов, обозначавшихся только когда вода скатывала с них.

Невесело, подумал Томас Хадсон. Но им тоже невесело. Волей-неволей придется менять галс. Они, наверно, настоящие мореходы. Теперь мне надо решать, какой протокой они пойдут — старой или новой. Это зависит от их лоцмана. Если он молодой, то, наверно, выйдет в новую протоку. Ту, которую промыло ураганом. Если старый, то, наверно, пойдет старой — по привычке и потому, что там идти спокойнее.

— Антонио, — сказал он. — Какой протокой лучше идти — старой или новой?

— Они обе плохие. Так что разница небольшая.

— А как бы ты поступил?

— Я бросил бы якорь с подветренной стороны Контрабандо и дождался бы там прилива.

— К утру прилив еще не будет в полной силе.

— То-то и оно. Но ты спрашивал меня, как бы я поступил.

— Попробую все-таки пройти по этой дерьмовой протоке.

— Судно твоё, Том. Но если не мы, так кто-нибудь другой их поймает.

— А почему Кайо Франсес не патрулируют здесь с воздуха?

— Сегодня утром один патрулировал. Ты разве не видел?

— Нет. А почему ты не сказал мне?

— Я думал, ты его видишь — маленький гидроплан.

— Вот дьявол, — сказал Томас Хадсон. — Я, наверно, на носу тогда был, а генератор работал.

— Ну, теперь это не имеет значения, — сказал Антонио. — Том, двух следующих вешек я что-то не вижу.

— А ты видишь две следующие вешки, Хиль?

— Я никаких вешек не вижу.

— А ну их к черту, — сказал Томас Хадсон. — От меня сейчас одно требуется: обойти следующий дерьмовый островок так, чтобы не угодить на песчаную косу, которая тянется от него на север и на юг. Потом мы подойдем к тому большому острову с мангровой рощей, а дальше сунемся в старую или в новую протоку.

— Восточный ветер гонит оттуда всю воду.

— А ну его к черту, этот восточный ветер, — сказал Томас Хадсон. И когда он произнес эти слова, они прозвучали, как самое древнее, самое кощунственное проклятие из всех, что связаны с христианской религией. Он знал, что проклинает вернейшего друга всех мореходов. И поскольку проклятие уже слетело с его уст, извиняться он не стал. Он повторил его.

— Не то ты говоришь, Том, — сказал Антонио.

— Да, верно, — согласился Томас Хадсон. А потом, принеся мысленно покаяние, прочитал, немного путая: «Вей, западный ветер, вей, дождиком нас кропи сильней. Когда бы милая моя со мной в постели здесь была». Это тот же самый проклятый ветер, только дует он с других широт, подумал он. Они налетают с разных континентов. Но оба хорошие, надежные, дружелюбные. Потом он снова повторил про себя: «Когда бы милая моя со мной в постели здесь была».

Вода стала теперь такой мутной, что ориентироваться можно было только по расстоянию между берегами и по скату воды с них. На носу стоял с лотом Джордж, в руках у Ары был длинный шест. Они измеряли глубину и докладывали результаты на мостик.

У Томаса Хадсона появилось странное чувство, что все это уже когда-то было, когда-то приснилось ему в дурном сне. Они прошли много трудных протоков. Но и это уже случалось с ним. — Может, всю жизнь случалось. Однако сейчас все требовало от него такого напряжения, что он чувствовал одновременно и свою власть над происходящим, и себя в его власти.

— Ты видишь что-нибудь, Хиль?

— Ничего не вижу.

— Позвать сюда Вилли?

— Нет. Что Вилли увидит, то и я увижу.

— Все-таки ему надо быть здесь.

— Как хочешь, Том.

Через десять минут они сели на мель.

XV

Они сели на мель, образовавшуюся из тины и наноса песка и почему-то не отмеченную вехой. Отлив еще продолжался, ветер дул сильней, вода была мутная. Впереди виднелся средней величины зеленый остров, словно

бы низко сидящий в воде, а левее были разбросаны маленькие островки. Слева и справа из-под убывающей воды начали показываться плешины голых берегов. Томас Хадсон видел стаи птиц, которые кружили в воздухе и садились на землю покормиться.

Антонио поднял шлюпку на борт и вдвоем с Арой бросил носовой якорь и два правобортных — полегче.

— Может, бросить еще один носовой? — спросил Томас Хадсон своего помощника.

— Нет, Том. По-моему, не надо.

— Если поднимется ветер, как бы нас не погнало навстречу приливу.

— Да нет, Том, вряд ли. Хотя кто его знает.

— Давай с наветренной стороны бросим маленький, а большой передвинем дальше в подветренную сторону. Так будет спокойнее.

— Ладно, — сказал Антонио. — Лучше так, чем опять садиться на мель в каком-нибудь гиблом месте.

— Ну, конечно, — сказал Томас Хадсон. — Но об этом уже был разговор.

— Бросать якорь надо.

— Знаю. Я просто попросил тебя бросить еще один; тот, что поменьше, а большой передвинуть.

— Да, Том, — сказал Антонио.

— Выбирать якоря любит Ара.

— Выбирать якоря никто не любит.

— Ара любит.

Антонио улыбнулся и сказал:

— Ну, может быть. Ладно уж, соглашусь с тобой.

— Рано или поздно мы с тобой всегда соглашаемся.

— Только не было бы слишком поздно.

Томас Хадсон проследил за выполнением этого маневра, потом перевел взгляд вперед, на зеленый островок, где отлив обнажил корни мангровых деревьев, и там начинала собираться темнота. Может быть, они отсиживаются в бухте на южной стороне острова, подумал он. Ветер не утихнет часов до двух, до трех, а на рассвете, когда начнется прилив, они, пожалуй, попытаются вырваться оттуда и войдут в любую из двух протоков. Потом — в тот большой, как озеро, залив, где можно без забот, без хлопот плыть всю ночь. А к следующему рассвету войдут в хорошую протоку по ту сторону залива. Все решит ветер.

С тех пор как они сели на мель, у него было такое чувство, что ему дана передышка. В ту минуту он ощутил сильный толчок, точно его самого

ударило. Морское дно здесь было не каменистое, он понял это по толчку, ощутил в руках и в ступнях. Но посадка на мель ударила его, как пуля. И только потом пришло ощущение передышки, какое наступает после того, как тебя ранило. Ему еще казалось, будто все это происходит в дурном сне, будто все это когда-то уже было. Но если было, то как-то по-другому, а сейчас, когда они сидят на мели, ему дана временная передышка. Он знал, что передышка короткая, но и это было хорошо.

Ара поднялся на мостик и сказал:

— Здешний грунт хорошо держит, Том. Якоря засели как следует. А когда большой поднимем, можно будет быстро сняться с места.

— Да, вижу. Спасибо.

— Ты не огорчайся, Том. Эти сукины дети, может, совсем близко, может, вон за тем островом.

— А я не огорчаюсь. Просто злюсь на задержку.

— Автомобиля ты не угробил, судна не потопил. Ну, сели на мель, ждем, когда нас прилив с нее снимет, только и всего.

— Да, правильно.

— Оба штурвала целы, а судно сидит задницей в иле. Только и всего.

— Знаю. Это я его туда засадил.

— Как он сел легко, так и сойдет.

— Конечно, сойдет.

— Том! Тебя что-то тревожит?

— Что меня может тревожить?

— Ничего. Это я за тебя тревожусь.

— Ну их к черту, эти тревоги, — сказал Томас Хадсон. — Ты и Хиль ступайте вниз. Проследите там, все ли сытно поели, все ли настроены бодро. А потом мы поедem и обьщем этот островок. Больше нам делать нечего.

— Мы с Вилли сейчас можем поехать. Даже не поевши.

— Нет. Я поеду с Питерсом и с Вилли.

— Не со мной?

— Нет. Питерс знает немецкий. Только не говори ему, что он поедет. Разбуди его, и пусть выпьет побольше кофе.

— А почему мне нельзя?

— Шлюпка мала, не влезешь.

Хиль передал ему большой бинокль и сошел вниз вместе с Арой. Томас Хадсон внимательно осмотрел островок; высокие мангровые деревья мешали разглядеть то, что было за ними. На твердом грунте острова росли и другие деревья — еще выше, так что ему не удалось

разглядеть, торчит ли мачта в глубине полукруглой бухты. От бинокля глаза у него устали, и он сунул его в футляр, накинул ремень на крючок, а бинокль положил на стеллаж для гранат.

Было приятно, что он снова один на мостике и может воспользоваться данной ему короткой передышкой. Он смотрел на птиц, копавшихся на берегу, и вспоминал, как много они значили для него в детстве. Теперь отношение к ним у него было другое, и убивать их ему совсем не хотелось. Вспомнил, как он сидел с отцом в укрытии, расставив ловушки на речной косе, и как птицы прилетали туда на обнажившийся в отлив берег, и как он подсвистывал им, когда они кружили у них над головой. Свист получался печальный, он и сейчас свистнул и завернул одну стайку. Но, описав дугу над сидевшим на мели катером, птицы полетели к дальнему концу острова на кормежку.

Он повел биноклем, осматривая горизонт, и никакой шхуны не увидел. Может быть, они вывели ее новой протокой в пролив между островами, подумал он. Хорошо бы, их поймал кто-нибудь другой. Теперь без боя мы их не возьмем. Не станут они сдаваться какой-то шлюпке.

Он так долго думал за них, что даже устал. Наконец-то я чувствую настоящую усталость, подумал он. Что мне делать, я знаю, так что это все просто. Чувство долга — замечательная вещь. Не знаю, что бы я стал делать после гибели Тома, если бы не чувство долга. Ты мог бы заниматься живописью, сказал он себе. Или делать что-нибудь полезное. Да, может быть, подумал он. Но повиноваться чувству долга проще.

Вот то, что ты делаешь сейчас, тоже полезно. Не сомневайся. То, что ты делаешь, помогает положить конец всему этому. Только ради этого мы и трудимся. А что там дальше, одному богу известно. Мы уже сколько времени ищем этих молодчиков, и неплохо ищем, а сейчас у нас десятиминутная отсрочка, и после нее снова продолжай выполнять свой долг. Неплохо ищем? — подумал он. Черта с два! Очень хорошо ищем.

— Ты есть не хочешь, Том? — крикнул ему Ара.

— Нет, друг, я не проголодался, — сказал Томас Хадсон. — Дай мне бутылку с холодным чаем, она стоит на льду.

Ара подал бутылку, и Томас Хадсон взял ее и прислонился к борту. Он глотнул холодного чая, глядя на большой остров, лежавший впереди. Корни мангровых деревьев были видны теперь ясно, а сам остров будто стал на ходули. Потом слева показалась стая фламинго. Они летели низко над водой — красивые, яркие на солнце. Длинные шеи вытянуты вниз, нелепые ноги болтаются, тельце неподвижное, а розовые с черным крылья машут ритмично, унося их к илистому берегу, который виднеется впереди,

чуть вправо. Томас Хадсон смотрел на фламинго, с их нацеленными вниз черно-белыми клювами, и в розовых отсветах, падавших от них на небо, терялась несуразность этих птиц, и каждая из них казалась ему удивительной и прекрасной. Они приблизились к зеленому острову и вдруг всей стаей круто свернули вправо.

— Ара! — крикнул он вниз.

Ара поднялся на мостик и сказал:

— Да, Том?

— Возьми трех pinos, к каждому по шесть дисков, и снеси их в шлюпку и туда же двенадцать гранат и санитарную сумку. И пошли сюда, пожалуйста, Вилли.

Розовые фламинго сели на берег далеко справа и принялись деловито кормиться. Томас Хадсон смотрел на них, когда к нему подошел Вилли.

— Погляди на этих паршивых фламинго, — сказал он.

— Они летели над островом и чего-то испугались. Я уверен, что там стоит шхуна или какое-нибудь другое судно. Хочешь пойти туда со мной, Вилли?

— Конечно.

— Ты уже поел?

— Приговоренный к смерти позавтракал с аппетитом.

— Тогда помоги Аре.

— Ара с нами пойдет?

— Я беру Питерса, потому что он говорит по-немецки.

— А нельзя вместо него Ару? Я не хочу быть рядом с Питерсом во время боя.

— Питерс поговорит с ними, тогда, может, и боя не будет. Слушай, Вилли. Мне нужны пленные, и я не хочу, чтобы погиб их проводник.

— Больно много условий ты ставишь, Том. Их там не то восемь, не то девять человек, а нас трое. И кому вообще известно, есть ли у них проводник?

— Нам известно.

— Катись ты к матери со своим благородством.

— Я спросил тебя, хочешь ли ты пойти с нами.

— Пойти-то я пойду, — сказал Вилли. — Только вот этот Питерс.

— Питерс будет драться. Пошли сюда, пожалуйста, Антонио и Генри.

— Ты думаешь, они там? — спросил Антонио.

— Я в этом почти уверен.

— Том, можно я пойду с вами? — спросил Генри.

— Нет. Шлюпка берет только троих. Если с нами что-нибудь

случится, дай по шхуне очередь, чтобы она не ушла, когда начнется прилив. Потом найдешь ее в длинном заливе. Она будет повреждена. Может быть, даже не дойдет туда. Если удастся, возьми пленного, доставь его на Кайо Франсес и сдай там под расписку.

— А нельзя мне с вами вместо Питерса? — спросил Генри.

— Нет, Генри. Что поделаешь? Он говорит по-немецки. Команда у тебя хорошая, — сказал он Антонио. — Если у нас все обойдется, я оставлю на шхуне Вилли и Питерса с тем, что мы там обнаружим, а пленного привезу на катер в шлюпке.

— Нашего последнего пленного ненадолго хватило.

— А я постараюсь привезти годного, крепкого, здорового. Идите вниз и проверьте, все ли там закреплено. Я хочу посмотреть на фламинго.

Он стоял на мостике и смотрел на фламинго. Тут дело не только в их окраске, думал он. Не только в том, что черный цвет лежит на светло-розовом. Все дело в их величине и в том, что, если разглядывать их по частям, они уродливы и в то же время изысканно прекрасны. Это, наверно, древняя птица, сохранившаяся с незапамятных времен.

Он смотрел на них невооруженным глазом, потому что не детали были ему нужны, а розовое пятно на серо-буrom берегу. Туда прилетели еще две стаи, и краски берега стали теперь такого цвета, какой он не осмелился бы нанести на холст. А может, и осмелился и написал бы так, подумал он. Приятно посмотреть на фламинго, прежде чем пускаться в этот путь. Пойду. Не надо давать людям время задуматься или встревожиться.

Он сошел вниз и сказал:

— Хиль, поднимись туда и смотри на остров, не отрываясь от бинокля ни на минуту. Генри, если услышишь пальбу, а потом шхуна покажется из-за острова, вдарь ей, сволочи, по носовой части. Остальные пусть следят в бинокли за уцелевшими, а ловить их будете завтра. Пробоину в шхуне надо заделать. На шхуне есть лодка. Лодку тоже отремонтируйте и пользуйтесь ею, если мы не очень ее изуродуем.

Антонио спросил:

— Какие еще будут приказания?

— Никаких. Еще следите за работой кишечника и старайтесь вести непорочный образ жизни. Мы скоро вернемся. А теперь, благородные ублюдки, пошли.

— Моя бабка уверяла, что я не ублюдок, — сказал Питерс. — Говорила, что другого такого хорошенького, вполне законнорожденного ребеночка во всем округе не найти.

— Моя мамаша тоже клялась, что я не ублюдок, — сказал Вилли. —

Куда нам садиться, Том?

— Когда ты спереди, шлюпка сядет на ровный киль. Но если хочешь, на нос перейду я.

— Садись на корму и правь, — сказал Вилли. — Вот теперь корабль у тебя что надо.

— Значит, мне козырь вышел, — сказал Томас Хадсон. — Делаю карьеру. Прошу на борт, мистер Питерс.

— Счастлив быть у вас на борту, адмирал, — сказал Питерс.

— Ни пуха вам, ни пера, — сказал Генри.

— Помирай поскорее! — крикнул ему Вилли. Мотор заработал, и они пошли к силуэту острова, который теперь казался ниже, потому что сами они были только чуть выше уровня моря.

— Я подойду к шхуне с борта, и мы поднимемся на нее, а окликать их не будем.

Они кивнули молча, каждый со своего места.

— Нацепите на себя свою амуницию. Пусть ее видно, плевал я на это, — сказал Томас Хадсон.

— Да ее и прятать тут некуда, — сказал Питерс. — Я нагрузился, как бабушкин мул.

— Вот и ладно. Мул хорошая животина.

— Том, обязан я помнить, что ты толковал про ихнего проводника?

— Помнить помни, но и мозгами шевели.

— Ну-с, так, — сказал Питерс. — Теперь нам все насквозь ясно.

— Давайте помолчим, — сказал Томас Хадсон. — На шхуну полезем все сразу, а если эта немчура внизу, ты им крикни по-ихнему, чтоб выходили и чтоб руки вверх. И хватит разговаривать, потому что голоса далеко разносятся, дальше, чем стук мотора.

— А если они не выйдут, тогда что делать?

— Тогда Вилли бросает гранату.

— А если они все на палубе?

— Откроем огонь, каждый по своему сектору. Я — по корме. Питерс — по средней части. Ты — по носовой.

— Так гранату мне бросать или нет?

— Конечно, бросай. Нам нужны раненые, которых еще можно спасти.

Поэтому я и захватил санитарную сумку.

— А я думал, ты ее для нас взял.

— И для нас. Теперь помолчим. Вам все ясно?

— Яснее дерьма, — сказал Вилли.

— А затычки для задниц нам выдали? — спросил Питерс.

— Затычки сбросили с самолета сегодня утром. Ты разве не получил?

— Нет. Но моя бабка говорила, что у меня такое вялое пищеварение, какого на всем Юге ни у одного ребеночка не найдешь. Одна моя пеленка лежит в качестве экспоната в Смитсоновском институте.

— Перестань трепаться, — вполголоса сказал Вилли, откинувшись назад, чтобы Питерс его лучше расслышал. — И все это мы должны проделать при свете, Том?

— Сейчас, не откладывая.

— Ой, лихо мне, голубчику, будет, — сказал Вилли. — В какую компанию я попал — кругом одно ворье, одни ублюдки.

— Заткнись, Вилли. Посмотрим, как ты драться будешь.

Вилли кивнул и своим единственным зрячим глазом уставился на зеленый остров, который будто привстал на цыпочки на коричневатокрасных корнях мангровых деревьев.

Прежде чем шлюпка обогнула мыс, он сказал еще только:

— На этих корнях попадаются хорошие устрицы.

Томас Хадсон молча кивнул.

XVI

Они увидели шхуну, когда обогнули мыс и вошли в пролив, отделяющий этот остров от другого — маленького. Шхуна стояла носом к берегу, с ее мачты свисали виноградные плети, палуба была устлана свежесрезанными мангровыми ветками.

Вилли снова откинулся назад и тихо проговорил Питерсу почти в самое ухо:

— Лодки на ней нет. Передай дальше.

Питерс повернулся своим веснушчатым, покрытым пятнами лицом к Томасу Хадсону и сказал:

— Лодки на ней нет, Том. Наверно, съехали на берег.

— Мы поднимемся на борт и потопим ее, — сказал Томас Хадсон. — План действий тот же. Передай дальше.

Питерс нагнулся и сказал это Вилли на ухо. Они подошли к шхуне со всей скоростью, какую только могли выжать из маленькой тарахтелки — мотора, и Томас Хадсон ловко, без малейшего толчка подвел шлюпку к борту. Вилли ухватил гак шкафута, откинул его назад, и они почти

одновременно, все втроем, взобрались на палубу шхуны. Под ногами у них были мангровые ветки, издававшие безжизненно свежий запах, и Томас Хадсон увидел обвитую виноградными плетями мачту, и это опять было как во сне. Он увидел открытый люк, и открытый форлюк, и набросанные на них поверху ветки. На палубе никого не было.

Томас Хадсон взмахом руки послал Вилли на нос мимо первого люка, а на форлюк навел автомат. Он проверил спуск у предохранителя. Его босые ноги ощущали твердую округлость веток, скользкость листьев и теплоту деревянной палубы.

— Скажи им, чтобы выходили с поднятыми руками, — вполголоса бросил он Питерсу.

Питерс грубо, гортанно заговорил по-немецки. Ответа на его слова не последовало — все как было, так и осталось.

У бабушкина внука недурная дикция, подумал Томас Хадсон и сказал:

— Повтори: пусть выходят. Даю им десять секунд. Обращение с ними будет, как с военнопленными. Потом сосчитай до десяти.

Питерс говорил так, словно вещал судьбу всей Германии. Голос у него звучит великолепно, подумал Томас Хадсон и, быстро повернув голову, посмотрел, не видно ли лодки. Но увидел он только темные корни и зеленую листву мангровых деревьев.

— Сосчитай до десяти и бросай гранату, — сказал он. — Вилли, следи за этим дерьмовым люком.

— Он, мать его, ветками прикрыт.

— Сунь туда гранату, только после Питерса. Протолкни ее внутрь, не бросай.

Питерс сосчитал до десяти. Высокий, свободный в движениях, как бейсболист на подаче, он взял автомат под мышку, выдернул зубами чеку, задержал гранату, уже окутанную дымом, в руке, точно поддавая ей жару, и швырнул ее из-под руки, как настоящий Карл Мейс, в темную дыру люка.

Глядя на него, Томас Хадсон подумал: ну и актер! И ведь ему кажется, что там никого нет.

Томас Хадсон бросился на палубу, держа открытый люк на прицеле. Граната, брошенная Питерсом, взорвалась с ослепительной вспышкой, с грохотом, и Томас Хадсон увидел, как Вилли раздвигает ветки над форлюком, прежде чем сунуть туда гранату. И вдруг справа от мачты, там, где с нее свисали виноградные плети, он увидел дуло винтовки, высунувшееся между ветками над тем форлюком, около которого был

Вилли. Он выстрелил по ней, но она сама дала пять выстрелов, простучавших быстро, дробно, как детская трещотка. Тут же следом, ярко сверкнув, взорвалась граната Вилли, и Томас Хадсон взглянул на него и увидел, как он срывает чеку с другой гранаты. Питерс лежал на боку, уткнувшись головой в фальшборт. Кровь с его головы стекала в шпигат.

Вилли швырнул гранату, и звук взрыва был совсем другой, потому что, прежде чем взорваться, граната далеко прокатилась под палубой.

— Как ты думаешь, остался там кто-нибудь в живых из этих подонков? — крикнул Вилли.

— Я сейчас отсюда брошу, — сказал Томас Хадсон. Он пригнулся и побежал, чтобы не попасть под обстрел из большого люка, сорвал чеку с удобно схваченной его рукой серой, тяжелой, плотной гранаты и, обогнув открытый люк, швырнул ее на корму. Раздался треск, гул, и над вздыбившимися досками палубы потянулись струйки дыма.

Вилли остановился около Питерса, Том подошел и тоже посмотрел на него. Он был почти такой же, как всегда.

— Вот и потеряли мы своего переводчика, — сказал Вилли. Веко на зрячем глазу у него подергивалось, но голос звучал обычно.

— Быстро она садится, — сказал Томас Хадсон.

— Да она уже сидела на мели. А теперь дает крен на концевые бимсы.

— Столько у нас несделанного осталось, Вилли.

— И обменялись поровну. Одного на одного. Но проклятую шхуну все-таки потопили.

— Знаешь что, езжай-ка ты поскорее на судно и возвращайся сюда с Генри и с Арой. Антонио скажешь, что, как только прилив снимет судно с мели, пусть ведет его к мысу.

— Сначала мне надо внизу все проверить.

— Я сам проверю.

— Нет, — сказал Вилли. — Это мое дело.

— Ну а как ты сам, друг?

— Хорошо. Только опечален вестью о гибели мистера Питерса. Поискать, что ли, тряпку какую прикрыть ему лицо? И положить его надо так, чтобы голова была повыше, а то шхуна дает сильный крен.

— А что с тем фрицем на носу?

— Вдребезги разнесло.

Вилли уехал за Арой и Генри. Томас Хадсон лежал под прикрытием высокого фальшборта шхуны. Ногами он упирался в люк и следил, не появится ли лодка. По другую сторону люка лежал Питерс, лицо его было закрыто немецкой рабочей курткой. Вот не замечал, что он такой длинный, подумал Томас Хадсон.

Они с Вилли вдвоем осмотрели шхуну; все в ней было разворочено. На борту оказался только один немец — тот самый, который убил Питерса, вероятно, приняв его за командира. Они обнаружили еще шмейссеровский автомат и около двух тысяч патронов в металлическом ящике, вскрытом при помощи плоскогубцев или ключа для консервов. Те, кто съехал на берег, видимо, были вооружены, так как оружия на борту не оказалось. Лодка была по меньшей мере шестнадцати футов в длину, судя по кильблокам и царапинам, которые она оставила на палубе. Еды у немцев было еще много — главным образом вяленая рыба и сильно прожаренная свинина. Своего раненого товарища они оставили на шхуне; он и застрелил Питерса. У немца было тяжелое ранение в бедро, почти зажившее, и в мякоть левого плеча, тоже почти зажившее. Еще имелись подробные карты побережья и Вест-Индских островов, непечатый ящик беспощинных сигарет «Кэмел» с печатью «Снабжение Морского ведомства», но ни кофе, ни чая, ни капли спиртного.

Теперь надо было рассудить, что они предпримут. Где они сейчас? Ведь, конечно, слышали или видели небольшое сражение, которое разыгралось на шхуне. Могут вернуться и за своим провиантом. Видели, наверно, что на шлюпке с мотором ушел один человек, а судя по стрельбе и взрывам гранат, на шхуне могли остаться трое — или убитых или тяжелораненых. Да, вернутся на шхуну за своим провиантом или еще за чем-нибудь припрятанным, а потом, ночью, будут прорываться к побережью. Если лодка сядет на мель, они сами ее и снимут.

А лодка эта, наверно, суденышко надежное. Радиста у Томаса Хадсона нет, и он не может передать описание этой лодки, следовательно, искать ее никто не станет. Еще, если фрицы захотят и если у них хватит дерзости, ночью они могут попытаться захватить катер. Что маловероятно.

Томас Хадсон обдумал это со всех сторон. И решил, что, скорее всего, фрицы зайдут в мангровую рощу, вытащат лодку на берег и спрячут ее. Если мы углубимся туда за ними, они уничтожат нас из засады. А потом выйдут в открытый внутренний залив, пройдут дальше и ночью попытаются пройти мимо Кайо Франсеса. Это нетрудно. Провиант раздобудут по пути или отнимут его где-нибудь и выйдут на запад к

одному из немецких отрядов в районе Гаваны, а там их подберут и спрячут. Найти более надежную лодку ничего не стоит. Захватят или украдут.

Мне надо рапортовать в Кайо Франсес, доставить туда Питерса и получить дальнейшие распоряжения. До прихода в Гавану неприятностей не будет. На Кайо Франсесе начальником лейтенант, а с ним никаких осложнений не предвидится — живо договоримся, и Питерса можно будет там оставить.

Льда у нас на него хватит, и там же я заправлюсь горючим, а лед возьму на Кайбарьене.

Этих фрицев надо поймать во что бы то ни стало. Но я не намерен подставлять Вилли, Ару и Генри неизвестно за каким хреном под огонь автоматов, которым нас будут поливать из мангровой рощи. Судя по тому, что мы видели на шхуне, их восемь человек. Сегодня у меня была возможность застукать их со спущенными штанами, а я ее упустил, потому что они слишком удачливые и, кроме того, очень деловиты.

Одного человека мы потеряли, к тому же радиста. Зато пересадили их на лодку. Если я эту лодку увижу, мы ее уничтожим, а остров блокируем и выследим их там. Но соваться в ловушку, где восемь против троих, я не собираюсь. Если мне всыпят за это, пусть. Так или иначе всыпят. За то, что у меня погиб Питерс. Если б погиб кто-нибудь из добровольцев, плевать бы они хотели. Им это безразлично, а мне и моему судну — нет.

Скорее бы мои сюда подъехали, подумал он. Я не хочу, чтобы эта немчура увидела, что мы тут натворили у них на шхуне, не хочу в одиночку вести с ними сражение на безымянном острове. И что они там делают? Может быть, пошли за устрицами? Вилли говорил что-то про устриц. Может быть, они не хотят находиться днем на шхуне — вдруг ее выследят с самолета. Но пора бы им знать, в какие часы здесь патрулируют с воздуха. А, дьявол, скорее бы они появились, и дело с концом. Я-то прикрыт, а они, прежде чем подняться на борт, будут все у меня под прицелом. А как ты думаешь, почему раненый не обстрелял нас, когда мы влезали на шхуну? Ведь он же слышал стук мотора. Может быть, спал? Ведь мотор работает очень тихо.

Слишком много у меня всяких вопросов, подумал он, и я не уверен, что рассчитал все правильно. Может, не следовало нам брать шхуну. Но это, кажется, было необходимо. Мы разворотили ее и потеряли Питерса и убили одного немца. Результаты не очень блистательные, но все же в нашу пользу.

Он услышал стрекот мотора и повернул голову. Шлюпка огибала мыс,

но сидел в ней на корме только один человек. Это был Ара. Шлюпка шла с большой осадкой, и он догадался, что Вилли и Генри лежат в ней ничком. Хитер Вилли, подумал он. Теперь немцы, спрятавшиеся на острове, решат, что едет кто-то один, и причем совсем не тот, кто прошел в ту сторону. Хитро это или нет, не знаю. Но Вилли, наверно, рассчитал правильно.

Шлюпка подошла к шхуне с подветренной стороны, и Томас Хадсон увидел могучую грудь Ары, его длинные руки и смуглое лицо — такое серьезное сейчас, увидел, как по ногам его пробегает нервная дрожь. Генри и Вилли лежали в шлюпке ничком, положив голову на руки.

Когда шлюпка остановилась с подветренной стороны шхуны, кренившейся от острова к морю, и Ара ухватился за поручни, Вилли лег на бок и сказал:

— Поднимайся на борт, Генри, и ползи к Тому. Ара передаст тебе снаряжение. И то, что от Питерса осталось, тоже возьми.

Генри осторожно пополз на животе по наклонной палубе. Проползая мимо Питерса, он метнул на него взгляд.

— Том, — сказал он.

Томас Хадсон положил руку ему на плечо и чуть слышно проговорил:

— Пробирайся на нос, там и ляжешь. И чтобы тебя не было видно над фальшбортом.

— Хорошо, Том, — сказал рослый детина и пополз медленно, дюйм за дюймом вниз, пробираясь к носу. Ему пришлось переползти через ноги Питерса, и он взял его автомат, обоймы и заправил обоймы за пояс. Потом сунул руку в карман Питерса, вынул оттуда гранаты и пристегнул их к поясу. Он похлопал Питерса по ногам и, держа оба автомата за стволы, пополз дальше к своему посту в носовой части шхуны.

Проползая по наклонной палубе, подминая под себя поломанные мангровые ветки, он заглянул в развороченный форлюк. То, что он увидел там, никак не отразилось на его лице. Добравшись до фальшборта с подветренной стороны, он положил оба автомата справа от себя, потом проверил автомат Питерса и вставил в него новую обойму. Остальные обоймы положил вдоль фальшборта, отстегнул от пояса гранаты и тоже приладил их так, чтоб были под рукой. Удостоверившись, что Генри занял свою позицию и смотрит на зеленый остров, Томас Хадсон отвернулся от него и заговорил с Вилли, который лежал на дне шлюпки, зажмурив от солнца оба своих глаза — и зрячий и искусственный. На нем были рваные шорты, выгоревшая рубашка цвета хаки с длинными рукавами, на ногах — резиновые туфли. Ара сидел на корме, и Томас Хадсон прежде всего увидел густую шапку его черных волос и то, как его большие руки

вцепились в фальшборт. Ноги у Ары все еще подрагивали, но Томас Хадсон знал, что он всегда нервничает перед боем, а стоит только делу начаться, как его поведение становится выше всяких похвал.

— Вилли, — сказал Томас Хадсон, — ты все рассчитал?

Вилли открыл свой зрячий глаз, а искусственный так и остался у него зажмуренным.

— Я прошу разрешения отбыть на дальний конец острова и посмотреть, что там делается. Этих сволочей нельзя отсюда выпускать.

— Я поеду с тобой.

— Нет, Томми. Я это паршивое дело знаю. Такова моя профессия.

— Одного тебя я не пущу.

— А туда только одному и надо ехать. Ты уж положишься на меня, Томми. Ара вернется и поможет тебе, в случае если я там их обнаружу. А если все обойдется благополучно, он подойдет к берегу и заберет меня.

Оба глаза у него были открыты, и он пристально смотрел на Томаса Хадсона, будто старался продать ему какую-то штуку, которая хоть и нужна в хозяйстве, да не известно, хватит ли на нее денег у покупателя.

— Все-таки я поеду с тобой.

— Слишком много шума будет. Нет, правда, Том, я это паршивое дело знаю. Я крупный специалист по такого рода дерьмовым делам. Лучшего специалиста ты не найдешь.

— Ладно. Поезжай, — сказал Томас Хадсон. — А лодку их подорви.

— А как ты думаешь, что я там собираюсь делать? По пляжу гулять?

— Ну, если ехать, так поезжай.

— Том, у тебя сейчас поставлены два капкана. Один на катере, другой здесь. Ара с тобой куда угодно поедет. Потерять ты можешь только пушечное мясо — одного морского пехотинца, белобилетника. Чего же ты, в самом деле?

— Хватит болтать, — сказал Томас Хадсон. — Проваливай к чертовой матери, и да благословит тебя господь дерьмовым венцом.

— Подыхай поскорее, — сказал ему Вилли.

— Ты, я вижу, в форме, — сказал Томас Хадсон и быстро объяснил Аре по-испански, что им предстоит делать.

— Не беспокойся, — сказал Вилли. — Я из положения лежачего все ему объясню.

Ара сказал:

— Я скоро вернусь, Том.

Томас Хадсон увидел, как Ара запустил мотор и как шлюпка отошла от шхуны, увидел широкую спину и черные волосы Ары, сидевшего на

корме, и Вилли, лежавшего на дне шлюпки. Вилли перевернулся на бок, и голова его пришлась вровень с ногами Ары, так что теперь они могли переговариваться.

Хороший, смелый, беспутный сукин сын, подумал Томас Хадсон. Старина Вилли. Он подтолкнул меня, когда я уже начал сдавать. Крепкий моряк, даже покалеченный моряк — это в нашем поганом положении лучшее, что может быть. А положение у нас поганое. Желаю вам удачи, мистер Вилли. И не подыхайте, пожалуйста.

— Как ты там, Генри? — тихо спросил он.

— Хорошо, Том. Какую Вилли доблесть проявил — сам вызвался ехать на остров.

— Доблесть? Он и слова такого не знает, — сказал Томас Хадсон. — Просто решил, что это его долг.

— Я жалею, что мы с ним не дружили.

— Когда дело плохо, тогда все мы дружим.

— Отныне я буду дружить с ним.

— Отныне мы все собираемся много чего свершить, — сказал Томас Хадсон. — Уж скорее бы оно наступило, это «отныне».

XVIII

Они лежали на горячей палубе, наблюдая за островом. Солнце сильно припекало им спины, но ветер охлаждал. Спина у них были почти такие же черные, как у индианок, которых они видели сегодня утром на дальнем острове. Кажется, что это было давным-давно, как и вся моя жизнь, подумал Томас Хадсон. И это, и открытое море, и длинные рифы с разбивающейся о них волной, и темный бездонный тропический океан за ними — все было сейчас так же далеко от него, как и вся его жизнь. А ведь с таким бризом мы могли уйти в открытое море и выйти на Кайо Франсес, и Питерс ответил бы на их позывные, и мы сегодня вечером уже пили бы холодное пиво. Не думай об этом, сказал он себе. Ты сделал как должно.

— Генри, — сказал он. — Как ты там?

— Великолепно, Том, — очень тихо ответил Генри. — Скажи, осколочная граната может взорваться от того, что перегрелась на солнце?

— Никогда не видал такого. Но, конечно, солнечный нагрев может повысить чувствительность ее запала.

— Надеюсь, у Ары есть вода, — сказал Генри.
— Они с собой брали воду. Ты разве не помнишь?
— Нет, Том, не помню. Я был занят собственным снаряжением и не обратил внимания.

Тут сквозь шум ветра они услышали стрекот подвесного мотора. Томас Хадсон осторожно повернул голову и увидел шлюпку, огибавшую мыс. Она высоко поднимала нос над водой, на корме сидел Ара. На таком расстоянии уже можно было разглядеть его широкие плечи и шапку черных волос. Томас Хадсон опять повернулся лицом к острову и увидел, как из рощи в самой его середине поднялась ночная цапля. Потом он увидел, как две каравайки тоже поднялись, описали круг и — сперва быстрые взмахи крыльев, потом планирующий спуск, потом опять быстрые взмахи крыльев — улетели по ветру в сторону маленького острова.

Генри тоже следил за ними, и он сказал:

— Вилли, наверно, уже далеко вглубь забрался.
— Да, — сказал Томас Хадсон. — Они взлетели с того высокого хребта в середине острова.
— Значит, кроме него, там никого нет.
— Да, если это Вилли их спугнул.
— Но он сейчас примерно там и должен находиться, если дорога не слишком тяжелая.

— Ты смотри лежи, не поднимайся, когда Ара подъедет.

Ара провел шлюпку вдоль накренившегося подветренного борта шхуны и зацепил якорь за планшир. Потом осторожно, с медвежьей сноровкой, вскарабкался на борт. Он привез бутылку воды и чай в бутылке из-под джина; обе бутылки были обвязаны крепкой рыболовной леской и подвешены у него на шее. Он ползком подобрался к Томасу Хадсону и лег рядом.

— Как бы мне этой водицы? — попросил Генри.

Ара сложил свое имущество возле Томаса Хадсона, отвязал бутылку с водой и пополз по наклонной палубе повыше люков, туда, где лежал Генри.

— Пей, — сказал он. — Только купаться в ней не вздумай.

Он хлопнул Генри по спине, пополз обратно и опять лег рядом с Томасом Хадсоном.

— Том, — очень тихо проговорил он. — Мы ничего там не увидели. Я высадил Вилли на той стороне острова, почти что напротив нас, если смотреть по прямой, и пошел к нашему судну. Поднялся на борт с подветренной стороны — не с той, где остров. Все объяснил Антонио, и он

меня понял. Потом я заправил мотор горючим и прихватил запасную канистру, да вот еще воды и холодного чая прямо со льда.

— Отлично, — сказал Томас Хадсон. Он сполз чуточку вниз по наклонной палубе и сделал долгий глоток из бутылки с холодным чаем. — Большое тебе спасибо за чай.

— Это Антонио вспомнил. Мы многое забыли в спешке, когда уезжали.

— Передвинься немного к корме, чтобы держать остров под прицелом.

— Хорошо, Том, — сказал Ара.

Они лежали так на солнце и на ветру, и каждый наблюдал за островом. Иногда вдруг взлетали одна-две птицы, и оба понимали, что этих птиц испугнул либо Вилли, либо те, другие.

— Вот, наверно, злятся Вилли на птиц, — сказал Ара. — Про них-то он и не подумал, когда забирался вглубь.

— Да, это все равно что воздушные шары запускать, — ответил Томас Хадсон.

Задумавшись, он повернулся и посмотрел через плечо.

Все это ему теперь совсем не нравилось. Слишком много птиц взлетало с острова. Какие, собственно, основания были у нас думать, что те, другие, сейчас там, в глубине острова? И главное: для какой надобности было им туда забираться? Лежа на палубе, он, точно какую-то пустоту в груди, ощущал подозрение, что их с Вилли обманули. Может быть, конечно, никто и не старался нас обставить. Но странно все-таки, что столько птиц взлетает, подумал он. Еще парочка караваек поднялась недалеко от берега, и Томас Хадсон повернулся к Генри и сказал:

— Генри, пожалуйста, спустись в форлюк и последи, что делается на той стороне.

— Очень уж там мерзко.

— Я знаю.

— Хорошо, Том.

— Гранаты и диски оставь тут. Возьми піпо и одну гранату сунь в карман.

Генри соскользнул в люк и стал смотреть на островки, маскировавшие пролив. Выражение его лица не изменилось. Но он плотно сжимал губы, чтобы сохранять его неизменным.

— Ты уж извини меня, Генри, — сказал ему Томас Хадсон. — Но тебе придется потерпеть.

— Я этого не боюсь, — сказал Генри. Тут нарочитая строгость, так

тщательно надетая им на лицо, вдруг распалась, и он улыбнулся своей чудесной доброй улыбкой. — Просто это не совсем та обстановка, в какой я мечтал бы провести лето.

— Я тоже. Но сейчас все получается не так просто.

Из мангровой рощи взлетела выпь, и Томас Хадсон услышал ее пронзительный крик и проследил за ее нервным, устремленным вниз полетом по ветру. Потом он попробовал представить себе путь Вилли сквозь мангровые заросли по вспархиванию и полету птиц. Когда они переставали взлетать, это значило, что Вилли повернул назад. Если немного погодя опять что-то их вспугивало, это значило, что Вилли осматривает наветренный склон острова. Через три четверти часа Томас Хадсон увидел, как испуганно взлетела большая белая цапля и медленными тяжелыми взмахами крыльев двинулась против ветра, и он сказал:

— Значит, Вилли теперь вышел на берег. Поезжай за ним следом на мыс.

— Вижу его, — через минуту сказал Ара. — Только что помахал нам. Лежит чуть повыше отмели.

— Поезжай, привези его. И пока будете ехать, пусть лежит, не встает.

Ара сполз в шлюпку со своим автоматом и двумя гранатами в карманах. Он сел на корме и оттолкнулся от шхуны.

— Том, кинь мне, пожалуйста, бутылку с чаем.

Для верности Ара поймал ее обеими руками, а не одной, как он обычно делал. Ему нравилось ловить гранаты одной рукой и в самых трудных положениях, нравилось зубами выдергивать чеку. Но чай этот предназначался для Вилли; Ара знал, что Вилли пришлось вытерпеть на острове, хоть это и не дало результатов, и он бережно уложил бутылку под кормой и пощупал, не нагрелась ли она.

— Что скажешь, Том? — спросил Генри.

— Хреновое наше дело. Сейчас по крайней мере.

Вскоре шлюпка уже стояла борт о борт со шхуной, а Вилли лежал на дне шлюпки, обеими руками держа бутылку с чаем. Руки и лицо у него были все в царапинах и в крови, один рукав оторван. Лицо, искусанное москитами, распухло, и всюду, где тело не было закрыто одеждой, виднелись бугорки от mosquito укусов.

— Ни черта там нету, Том, — сказал он. — Не бывали они на этом острове. А мы с тобой не больно хитры оказались.

— Неверно.

— То есть как?

— После того как шхуна села на мель, они пошли на лодке в глубь острова. То ли решили отсиживаться там, то ли чтобы разведать протоки — уж этого не знаю.

— Думаешь, они видели, как мы взбирались на шхуну?

— Либо все могли видеть, либо ничего. Они были слишком низко над водой, оттуда трудно что-нибудь увидеть.

— Могли слышать — мы же были у них с наветренной стороны.

— Может быть, и слышали.

— Так что же теперь?

— Ты отправляйся на судно, а потом пришли Ару за Генри и за мной. Они, пожалуй, еще вернутся.

— А как с Питерсом? Мы можем его взять.

— Ну, так берите сейчас.

— Томми, ты не с той стороны к этому подходишь. Мы оба ошибались, и я вовсе не подаю тебе советов.

— Я знаю. Я спущусь в задний люк, как только мы с Арой уберем Питерса.

— Пусть лучше он один это делает, — сказал Вилли. — Они могут увидеть вас издали. Но различить то, что плоско лежит на палубе, без бинокля нельзя.

Томас Хадсон объяснил это Аре, и Ара взобрался наверх и управился с Питерсом очень легко и без всяких эмоций — только обвязал ему голову парусиной. Он не выказал ни грубости, ни излишних чувств и сказал только, после того как поднял Питерса и спустил его головой вперед в шлюпку:

— Какой он весь твердый, точно дубовый.

— Потому, наверно, и говорят про покойника, что он дал дуба, — сказал Вилли. — Ты разве этого не слыхал?

— Да, — сказал Ара. — Мы их зовем «fiambres», это значит «холодное мясо» — ну, знаешь, как в ресторане, где можно взять рыбу, а можно холодное мясо. Но я думал о Питерсе. Он всегда был такой гибкий.

— Я в аккурате его доставлю, Том. Тебе еще что-нибудь нужно?

— Удача мне нужна, — сказал Томас Хадсон. — Спасибо за разведку, Вилли.

— Обычная дерьмовая работенка, — сказал Вилли.

— Скажи Хиллю, пусть смажет тебе царапины ментиолом.

— Плевать на царапины, — сказал Вилли. — Буду бегать, как дикарь из джунглей.

Томас Хадсон и Генри смотрели из обоих люков на ломаную и

зазубренную линию мелких островов, лежавших между ними и длинным заливом, который служил проходом в глубь острова. Они разговаривали, не понижая голоса, так как знали, что тех, других, не может быть нигде ближе, чем на этих маленьких зеленых островках.

— Ты покарауль, — сказал Томас Хадсон. — Я пойду выброшу за борт их боеприпасы и еще раз посмотрю, что тут есть внизу.

Внизу он нашел много такого, чего раньше не замечал, и, вытащив на палубу ящик с патронами, столкнул его за борт. Пожалуй, следовало бы расшвырять по отдельности все эти коробки. Ну да черт с ними. Он вынес на палубу шмейссеровский автомат, обнаружил, что тот не действует, и отложил его к собственным вещам.

Пусть-ка Ара с ним повозится, подумал он. По крайней мере мы знаем, почему они не взяли его с собой. Ты, может быть, полагаешь, что они оставили раненого в качестве комитета по организации встречи, а сами дали тягу? А может, они устроили его со всяческими удобствами, а сами отправились на разведку? И много ли они, по-твоему, видели и много ли они знают?

— А нам не стоило бы сохранить эту ихнюю амуницию как вещественное доказательство? — спросил Генри.

— Теперь нам уж не до вещественных доказательств.

— Их всегда хорошо иметь. Ты знаешь, какие там придиры. Наверняка поставят все под сомнение. А Управление военно-морской разведки — оно даже под сомнение взять не захочет. Помнишь, Том, как было с последней подлодкой?

— Помню.

— Она тогда вон на сколько зашла в устье Миссисипи, а мы все еще сомневались.

— Верно.

— По-моему, неплохо было бы сохранить амуницию.

— Генри, — сказал Томас Хадсон, — ты только не волнуйся. Убитые все находятся на острове. Есть у нас пули от шмейссеровского автомата, извлеченные из тех тел и из мертвого фрица. Еще одного фрица мы похоронили, и место захоронения точно указано в судовом журнале. Есть севшая на мель шхуна и еще один мертвый фриц на ней. Есть два шмейссеровских автомата — один неисправный, другой поврежденный осколочной гранатой.

— А вот налетит ураган и все сметет, и они скажут, что все эти факты сомнительны.

— Хорошо, — сказал Томас Хадсон. — Допустим, что все эти факты

сомнительны. Ну а Питерс?

— Скажут, что Питерса, наверно, застрелил кто-нибудь из нас.

— И верно, что скажут. Придется нам пройти через все это.

Они услышали шум подвесного мотора и увидели, что Ара огибает мыс. Шлюпка так же высоко задирает нос, как и каноэ, подумал Томас Хадсон.

— Собирай свои манатки, Генри, — сказал он. — Мы возвращаемся на судно.

— Если хочешь, я охотно останусь на этом корыте.

— Нет, ты мне нужен на судне.

Но когда Ара стал бок о бок со шхуной, он вдруг передумал.

— Генри, побудь здесь еще немного, а я пришлю за тобой Ару. Если они появятся, кидай им гранату в лодку. Перейди сюда, в задний люк, тут просторно. И шевели мозгами.

— Хорошо, Том. Спасибо, что разрешил мне остаться.

— Я бы сам остался, а тебя отослал, но мне нужно кое-что обсудить с Антонио.

— Понимаю. Может, мне обстрелять их, когда они будут тут рядом, прежде чем бросать гранату?

— Как хочешь. Но не высовывайся, а гранату кидай из другого люка. И крепче держись.

Он лежал у шпигатов с подветренного борта и передавал вещи Аре. Потом сам перевалился через борт.

— Внизу не слишком мокро? — спросил он Генри.

— Нет, Том. Все в порядке.

— Ну, не поддавайся клаустрофобии и будь настороже. Если они явятся, не торопись, подожди, пока их лодка станет точно борт о борт со шхуной, и тогда уж валяй.

— Конечно, Том.

— Представь себе, будто ты сидишь в шалаше и охотишься на уток.

— Это мне ни к чему, Том.

Томас Хадсон уже лежал в шлюпке.

— Ара приедет за тобой, как только это потребуеться.

— Не беспокойся, Том. Если нужно, я тут хоть всю ночь просижу, только хорошо бы Ара привез мне чего-нибудь поесть, ну и, может, немножко рома и воды.

— Он вернется и заберет тебя, и немножко рома мы выпьем на судне.

Ара дернул за шнур мотора, и они пошли к катеру. Лежа на дне шлюпки, Томас Хадсон чувствовал гранаты у своих ног и тяжесть піно на

груди. Он обнял его и побаюкал, и Ара засмеялся и, нагнувшись к нему, сказал:

— Неподходящая это жизнь для хороших деток.

XIX

К закату, когда ветер посвежел, все уже были на борту. Отмель еще не покрылась водой, но фламинго снялись и улетели. В предзакатном освещении отмель казалась серой, и на ней хлопотала стая бекасов. Позади было мелководье, протоки, в которых трудно было найти путь из-за ила, замутившего воду, и цепь островков на горизонте.

Томас Хадсон стоял на мостике, прислонясь к борту в самом углу, и слушал, что говорил ему Антонио.

— Вода поднимется достаточно высоко не раньше одиннадцати, — сказал Антонио. — Ветер гонит ее из бухты и с отмелей, и кто его знает, на какую тут можно рассчитывать глубину.

— Нас снимет течением или придется верпом тянуть?

— Должно снять. Но теперь, без луны, ночи очень темные.

— Да, верно. Оттого у нас и обнаружилась течь в стольких местах.

— Луна только вчера родилась, — сказал Антонио. — Совсем молодая. А мы ее вчера и не видели из-за туч.

— Да, верно.

— Я послал Джорджа и Хиля, велел им нарубить кустарника для вех. Расставим вдоль протоки вехи, тогда легче будет идти по ней. Пройдем на шлюпке, обследуем дно и вехами разметим фарватер.

— Вот что, Антонио. Когда течение поможет нам выбраться отсюда, я хотел бы стать на якорь в таком месте, чтобы можно было установить прожектор и взять шхуну под обстрел и чтобы кто-нибудь на борту сигнализировал нам, если они вдруг выйдут на лодке.

— Чего бы лучше, Том. Но в такой тьме входить в бухту нельзя. То есть можно, если освещать путь прожектором и если вперед пойдет шлюпка и будет ориентироваться по вехам и замерять глубину и выкрикивать сколько. Но тогда они не выйдут. И думать нечего.

— Ты прав. Это уже моя вторая ошибка сегодня.

— Согласен, — сказал Антонио. — Но такая ошибка — дело случая. Все равно как если наугад вытаскиваешь карту из колоды.

— Ошибка от этого не перестает быть ошибкой. Скажи мне теперь, как ты думаешь.

— Я думаю так: если они уже не ушли и если мы не будем стараться скрыть, что мы на мели, они вечером выйдут и попробуют взять нас на abordаж. Им не приходит в голову, что мы не просто компания рыболовов-любителей. Когда все это случилось, они, я уверен, были далеко среди островов. Они убеждены, что легко справятся с нами, — ведь если даже они следили целый день, что они могли увидеть? Одного человека в шлюпке. Они нас не принимают всерьез.

— На это и был расчет.

— А вот что, если они доберутся до шхуны и все увидят?

— Пошли-ка сюда Вилли, — попросил Томас Хадсон.

Вилли явился, все еще распухший после схватки с москитами. Но ранки от укусов поджили, и на нем, кроме шортов цвета хаки, ничего не было.

— Ну, дикарь из джунглей, как ты там?

— Все в порядке, Том. Ара мне смазал места укусов мертиолом, и они больше не чешутся. Это же форменные зверюги, эти москиты — с четверть дюйма величиной и черные, как чернила.

— Хреновое наше дело, Вилли.

— Оно с самого начала было хреновым.

— Где Питерс?

— Мы его зашили в брезент и обложили льдом. За товарный вид не ручаюсь, но денька два продержится.

— Вот что, Вилли. Я тут говорил с Антонио, что хорошо бы зайти куда-нибудь, откуда удобно взять на прицел эту дырявую посудину. Чтобы ее и осветить и обстрелять, когда понадобится. Но он говорит, если мы это сделаем, то переполошим весь океан. А так не годится.

— Точно, — сказал Вилли. — Он прав. Это уже твоя третья ошибка сегодня. Но одну я тебе, так и быть, не засчитаю.

— Как ты думаешь, попробуют они выйти и напасть на нас?

— Черта с два, — сказал Вилли.

— Но они могут сделать попытку.

— Психованные они, что ли! Если полезут, так только разве с отчаяния.

Они оба сидели на мостике, прислонясь к натянутому на поручни брезенту. У Вилли опять зачесалось правое плечо, и он тер его о брезент.

— От них всего можно ждать, — сказал он. — Ту бойню тоже могли устроить только психованные.

— Это смотря с чьей точки зрения. Не забудь, они тогда только что потеряли свое судно и были как бешеные.

— А сегодня они потеряли другое судно да еще одного из своих людей в придачу. Может, они его любили, сукиного сына.

— Наверное даже. Иначе не стали бы его выхаживать.

— Он был неплохой парень, этот фриц, — сказал Вилли. — Не поддался ни на какие разговоры о сдаче, и даже граната его не испугала. Питерса он, верно, принял за командира, потому что тот шпрехал по-ихнему; да и тон у него был командирский.

— Должно быть.

— Гранаты-то рвались вниз. Они могли их даже не услышать. Сколько очередей ты дал, Том?

— Не больше пяти.

— А тот только и успел что одну.

— Скажи, Антонио, здесь очень все было слышно?

— Да нет, не очень, — сказал Антонио. — Ветер не в нашу сторону, и потом, мы отделены рифом. Так что доходило все очень глухо. Но я все-таки слышал.

— Пусть даже они ничего не слышали, — сказал Томас Хадсон. — Но ведь наверняка они видели, как наша шлюпка сновала взад и вперед, а тут еще шхуна чуть не на боку лежит. Они, скорей всего, решат, что она заминирована. И даже близко к ней не решатся подойти.

— Пожалуй, ты прав, — сказал Вилли.

— Но как по-твоему, выйдут они вообще или нет?

— Я об этом столько же знаю, сколько ты и господь бог. Ты бы должен знать — ведь ты у нас специалист по влезанию в немецкие мозги.

— Да, — сказал Томас Хадсон. — Иногда я это умею. Но сегодня не получается.

— Ничего, получится, — сказал Вилли. — Просто на тебя временное затмение нашло.

— А может, нам правда устроить там ловушку?

— Пока что мы сами в ловушке сидим, — сказал Вилли.

— Отправляйся-ка ты туда, пока светло, и заминируй, что можно.

— Вот это разговор, — сказал Вилли. — Узнаю старого Тома. Я заминирую оба люка, и мертвого фрица заминирую, и поручни на подветренной стороне. Вот видишь, что значит взяться за ум.

— Взрывчатки не жалея. Ее у нас много.

— Я ее так оснащу, что сам Иисус Христос до нее дотронуться не сможет.

— Шлюпка возвращается, — сказал Антонио.

— Возьму с собой Ару и все, что требуется, и сразу к шхуне, — сказал Вилли.

— Смотри только не подорвись сам.

— А ты не думай, о чем не надо, — сказал Вилли. — Ступай, Том, отдохни пока. Тебе ведь всю ночь не спать.

— И тебе тоже.

— Ну, это дудки. Если я тебе понадобится, меня разбудят.

— Я становлюсь на вахту, — сказал Томас Хадсон помощнику. — Когда начнется прилив?

— Он уже начался, но сильный восточный ветер гонит воду из бухты течению наперерез.

— Поставь Хиля к пятидесятимиллиметровкам, а Джорджа отправь отдыхать. И все пусть отдыхают пока, до ночи.

— Может, выпьешь чего-нибудь, Том?

— Нет, не хочу. Что там у тебя сегодня на ужин?

— По куску вареной агухи с испанским соусом, рисом и черными бобами. А вот фруктовых консервов у нас больше нет.

— Кажется, в том списке в Конфитесе значились фруктовые консервы.

— Да, но они были вычеркнуты.

— И сушеных фруктов тоже нет?

— Только абрикосы.

— Замочи их с вечера сегодня, утром дашь людям к завтраку.

— Генри не будет есть с утра сушеные фрукты.

— Ну, ему дашь попозже, когда у него аппетит разыграется. Что, супа у нас еще много?

— Много.

— А со льдом как?

— На неделю должно хватить, если мы не изведем очень много на Питерса. Почему ты не хочешь похоронить его в море, Том?

— Может, и похороним, — сказал Томас Хадсон. — Он всегда говорил, что ему бы хотелось быть похороненным в море.

— Он много чего говорил.

— Да.

— Может, все-таки выпьешь чего-нибудь?

— Ладно, — сказал Томас Хадсон. — Джину у тебя не осталось?

— Твоя бутылка стоит в шкафчике.

— А кокосовая вода есть?

— Найдется.

— Смешай мне джину с кокосовой водой и выжми туда лимон. Если у нас есть лимоны.

— Лимонов у нас много. Питерс где-то прятал бутылку шотландского виски, я могу поискать. Может, ты бы охотнее выпил виски?

— Нет. Поищи и, если найдешь, запри в шкафчик. Еще пригодится.

— Сейчас приготовлю питье и принесу тебе.

— Спасибо. Авось нам повезет и они решатся выйти сегодня.

— Не думаю, чтобы решились. Я, как видишь, одной школы с Вилли. Но все может быть.

— Мы для них большой соблазн. Им необходимо какое-нибудь судно.

— Да, Том. Но не дураки же они. Ты бы не мог забираться в их мысли, будь они дураками.

— Ладно. Готовь питье. — Томас Хадсон уже наводил большой бинокль на ближние острова. — Попытаюсь забраться в их мысли еще раз.

Но эта попытка ни к чему не привела. Даже собственные мысли тяжело ворочались у него в голове. Он стал просто смотреть в бинокль. Вот шлюпка заходит за стрелку острова — Ару на корме еще видно, а Вилли уже скрылся с глаз. Вот стая бекасов снялась наконец с отмели и полетела на запад. В полном одиночестве он потягивал из стакана, который ему принес Антонио.

Он думал о том, что обещал себе в этот рейс совсем не пить, даже чего-нибудь прохладного на ночь, чтобы все мысли были только о работе, и ни о чем больше. Он думал о том, что намерен был изнурять себя до того, чтобы засыпать мертвым сном, едва добравшись до койки. Но он не оправдывался перед собой за этот стакан и за нарушенное обещание.

И я изнурял себя, думал он. Изнурял без поблажек. И один раз могу разрешить себе выпить и подумать о чем-нибудь еще, кроме тех, кого мы тут поджидаем. Появятся они этой ночью — у нас все готово для встречи с ними. Не появятся — я сам пойду их искать поутру, как только течением снимет нас с мели.

И он маленькими глотками потягивал холодное, чистое на вкус питье и оглядывал ломаный контур цепи островков впереди, круто загибавшийся к западу. Алкоголь, как всегда, распахнул его память, которую он теперь старался держать наглухо запертой, и, глядя на острова, он вспомнил те дни, когда выходил на ловлю тарпона с Томом-младшим, тогда совсем еще мальчуганом. Только там острова были не такие и протоки гораздо шире.

Фламинго там не встречались никогда, но вообще птицы были почти те же самые, кроме разве золотистой ржанки. Иногда, правда, попадались целые стаи ржанок серого цвета, но в другое время их черные крылья

отливали золотом, и он вспомнил, с какой гордостью Том-младший принес домой первую птицу, подстреленную им из его первой одностволки. Как он гладил ее пухлую белую грудку и проводил рукой по красивым черным отметинам под крыльями, а ночью Томас Хадсон вошел к нему в комнату и увидел, что он спит, крепко прижав птицу к груди. Он тогда осторожно высвободил тело птицы, стараясь не разбудить мальчика. Но мальчик не проснулся. Он только сцепил руки вместе и перевернулся на спину.

А Томас Хадсон унес ржанку в кухню, чтобы положить на лед, и у него было такое чувство, будто он во сне ограбил мальчика. Но он тщательно расправил крылышки птицы и положил ее на одну из решетчатых полочек ледника. На следующий день он маслом написал золотистую ржанку для Тома-младшего, и мальчик увез потом картину с собой в школу. Птица была написана на фоне песчаного берега и кокосовых пальм, и он постарался передать на полотне ее быстроту и стремительность.

Потом ему вспомнилось одно утро — они с Томом-младшим жили тогда в летнем туристском лагере. Он проснулся рано, а Том еще спал. Он лежал на спине, скрестив руки, и похож был на надгробное изваяние юного рыцаря. Так он его тогда и нарисовал, взяв за образец надгробие, виденное когда-то в Солсберийском соборе. Он хотел позднее написать по этому рисунку картину, но из суеверия не написал. Не очень-то это помогло, подумал он.

Он поднял глаза на солнце, которое уже клонилось к западу, и в его лучах увидел Тома на «спитфайре». Самолет был совсем крошечным в вышине и сверкал, точно осколок разбитого зеркала. Ему нравилось летать, сказал он себе. А ведь ты правильно рассудил, когда зарекся пить в этом рейсе.

Но обернутый бумагой стакан был еще более чем наполовину полон, и даже лед не растаял в нем.

Спасибо Питерсу, подумал он. Потом ему вспомнилось еще одно лето на острове. Том в тот год проходил в школе ледниковый период и очень боялся, что он наступит опять.

«Папа, — говорил он. — Это единственное, что меня тревожит».

«Здесь нам это не грозит», — сказал ему Томас Хадсон.

«Да, я знаю. Но что будет с теми, кто живет в Висконсине, Мичигане, Миннесоте? И даже в Иллинойсе и в Индиане».

«Едва ли стоит об этом беспокоиться, — сказал Томас Хадсон. — Если даже случится такое, процесс будет невероятно медленный».

«Да, я знаю, — сказал Том-младший. — Но это единственное, что

меня тревожит по-настоящему. Да еще, пожалуй, то, что вымирает порода странствующих голубей».

Уж этот мне Том, подумал он и, отставив недопитый стакан, принялся разглядывать в бинокль бухту. Но нигде не заметно было ничего похожего на парус, и он снова опустил бинокль.

Все-таки лучше всего им жилось на острове и еще на западном ранчо, думал он. И конечно, в Европе, но об этом думать нельзя, потому что тогда я начну думать о ней и все станет еще хуже. Интересно, где она теперь. Спит с каким-нибудь генералом, наверно. Что ж, дай бог, чтобы ей попался хороший генерал.

Она была очень красива, когда я ее встретил в Гаване. Я бы мог думать о ней всю ночь. Но не буду. Довольно и того, что я разрешил себе думать о Томе. А все потому, что выпил. Но я рад, что выпил. Иногда наступает время нарушить все свои правила. Ну, может быть, не все. Я еще немножко подумаю о нем, а потом займусь разработкой плана на сегодня — что мы будем делать после того, как вернутся Вилли и Ара. Они здорово спелись, эти двое. Вилли научился испанскому на Филиппинах, и говорит он чудовищно, но они отлично друг друга понимают. Отчасти благодаря тому, что Ара — баск и его испанский язык тоже плохой. Черт, не хотел бы я оказаться на этой посудине после того, как Вилли и Ара оснастят ее по-своему.

Ладно, допивай что осталось и думай о чем-нибудь приятном. Тома больше нет, и это дает тебе право думать о нем. Все равно, превозмочь это в себе невозможно. Но справляться с этим ты уже научился. Так вспоминай что-нибудь хорошее и приятное. У тебя немало такого было в жизни.

Когда же тебе жилось лучше всего? — спросил он себя. Да все время, в сущности, пока жизнь была проста и деньги еще не водились в ненужном избытке, и ты был способен охотно работать и охотно есть. От велосипеда радости было больше, чем от автомобиля. С него лучше можно было все разглядеть, и он помогал держать себя в форме, и после прогулки по Булонскому лесу хорошо было свободным ходом катить по Елисейским полям до самого Рон-Пуана, а там, оглянувшись, увидеть два непрерывных потока машин и экипажей и серую громаду арки в наступающих сумерках. Сейчас на Елисейских полях цветут каштаны. Деревья кажутся черными в сумерках, и на них торчат белые восковые цветы. Как тогда, когда ты спешил, бывало, у Рон-Пуана и вел свой велосипед к площади Согласия по усыпанной гравием пешеходной дорожке, чтоб спокойно полюбоваться каштанами и почувствовать их сень над собой, и, ведя велосипед по дорожке, ощущал каждый камешек сквозь тонкую подошву

спортивных туфель. Эти туфли он приобрел по случаю у знакомого официанта из кафе «Селект», бывшего олимпийского чемпиона, а деньги на покупку заработал, написав портрет хозяина кафе — так, как тому хотелось.

«Немножко в манере Мане, мосье Хадсон, если вы сможете».

Портрет вышел не настолько в манере Мане, чтобы Мане под ним подписался, но в нем было больше от Мане, чем от Хадсона, а больше всего было в нем от хозяина кафе. Денег, которые Томас Хадсон за него получил, хватило на покупку спортивных туфель, а кроме того, хозяин долгое время не брал с него за выпитое. Потом однажды, когда Томас Хадсон для приличия предложил уплатить, отказа не последовало, и он понял, что расчет с ним окончен.

В «Клозери де Лила» у них тоже был знакомый официант, который их любил и всегда наливал им двойную порцию спрошенного, так что, добавляя воды, они могли обойтись одной порцией в вечер. Поэтому они из «Селекта» перешли туда. Уложив Тома спать, они шли в это старое кафе и весь вечер сидели там вдвоем, счастливые тем, что они вместе. А потом гуляли по темным улочкам холма св. Женевьевы, где тогда еще не были снесены старые дома, каждый раз выбирая другой путь домой. Ложась спать, они слышали ровное дыхание спящего Тома и мурлыканье большого кота, который спал вместе с ним.

Томас Хадсон вспоминал возмущение знакомых: как это можно, чтоб кот спал в постели ребенка, и как можно оставлять ребенка по вечерам одного. Но Том всегда спал хорошо, а если бы и проснулся, он был не один, а с котом, своим лучшим другом. Кот никогда бы не подпустил к постельке чужого, и они с Томом нежно любили друг друга.

А теперь Том... к черту, к черту, сказал он себе. То, что случилось, случается со всеми. Пора бы уже тебе уразуметь это. Но это единственное, что по-настоящему непоправимо.

Почему ты так уверен в этом? — спросил он себя. Человек уезжает, и это может оказаться непоправимым. Хлопает дверью, и это тоже бывает непоправимо. Любое предательство непоправимо. Подлость непоправима. Вероломство непоправимо. Нет, это все пустой разговор. По-настоящему непоправима только смерть. Как долго не возвращаются Вилли и Ара. Они там, наверно, оборудуют настоящую комнату ужасов. Я никогда не любил убивать, ни при каких обстоятельствах. А Вилли это словно бы по душе. Станный человек Вилли, хотя, в сущности, очень хороший. Просто, если уж он взялся за что-то, так не успокоится, пока не сделает все в лучшем виде.

Вдалеке показалась шлюпка. Он услышал стрекот мотора и следил за тем, как она подходила, вырастая и все четче рисуясь на воде, пока наконец не пришвартовалась к борту.

Вилли поднялся на мостик. Вид у него был совсем страшный, поврежденный глаз весь затянуло белой пленкой. Он вытянулся во фронт, лихо откозырял и сказал:

— Разрешите обратиться, сэр.

— Ты что, пьян?

— Нет, Томми. Просто доволен.

— Я же вижу, что ты выпил.

— Выпил, не спорю. Мы с собой взяли немного рому, чтобы веселее было обрабатывать эту падаль. А когда мы прикончили бутылку, Ара помочился в нее, а потом начинил ее взрывчаткой. Так что теперь она взрывчата вдвойне.

— Вы как следует заминировали все?

— Даже мальчик-с-пальчик не сможет ступить там шагу, чтобы сию же минуту не взлететь на воздух. Даже таракан не проползет. Ара все боялся, как бы мухи, которые ползают по трупам, не устроили взрыва раньше времени. Работа выполнена на совесть, аккуратно и красиво.

— Что делает Ара?

— Разбирает и чистит что под руку попадется, в приливе энтузиазма.

— Много вы с ним выпили рому?

— Меньше полбутылки на двоих. Это была моя идея. Ара тут ни при чем.

— Ладно, черт с вами. Ступай тоже вниз и помоги Аре вычистить и проверить пятидесятимиллиметровки.

— Их не проверишь, пока не выстрелишь.

— Знаю. А все-таки проверьте что можно без стрельбы. Выкиньте аммонал, который был забит в казенную часть.

— Ловко придумано.

— Скажи Генри, пусть поднимется сюда и принесет мне еще стаканчик вот этого и себе пусть возьмет тоже. Антонио знает мой рецепт.

— Я рад, что ты снова понемногу начинаешь пить, Том.

— Нечего тебе ни радоваться, ни огорчаться по этому поводу.

— Ладно, не буду, Том. Просто я не могу видеть, как ты стараешься заездить себя, точно лошадь верхом на другой лошади. Лучше уж будь кентавром, Том.

— Откуда это ты знаешь про кентавров?

— В книжке прочел. Я ведь образованный, Томми. Я не по годам

развитой и образованный.

— Ты славный малый, хотя и сукин сын, — сказал ему Томас Хадсон. — А теперь катись вниз и делай, что тебе сказано.

— Есть, сэр. Томми, когда мы вернемся из этого рейса, продашь мне один из тех морских видов, что висят у тебя дома?

— На хрен он тебе сдался?

— А вот сдался. Знаешь, Том, ты не всегда все понимаешь.

— Возможно. Я даже думаю, что я всю жизнь не все понимал.

— Томми, ты плюнь на мою трепотню. Ты эту операцию провел что надо.

— Это будет видно завтра. Так скажи Генри, пусть принесет мне выпить. Хоть мне не хочется пить.

— Ничего, Томми. Если ночью что и будет, так только простая стычка, а может, и этого не будет.

— Ладно, — сказал Томас Хадсон. — Скажи Генри. И катись к такой-то матери с мостика и принимайся за дело.

XX

Генри поставил на край мостика два стакана и, подтянувшись на руках, вспрыгнул сам. Стоя рядом с Томасом Хадсоном, он напряженно всматривался в смутные очертания дальних островов. По небу, в западной его четверти, плыл тонкий серпик луны.

— Твое здоровье, Том, — сказал Генри. — Я не смотрел на луну через левое плечо.

— А сегодня не новолуние. Новолуние было вчера.

— Верно, вчера. Только из-за туч луны не было видно.

— Как там идут дела, внизу?

— Лучше некуда. Все работают и все веселы.

— Как Вилли и Ара?

— Они немножко хлебнули рому и очень повеселели от этого. Но сейчас они больше не пьют.

— Да. Сейчас уже не до этого.

— Мне очень хочется наконец столкнуться с фрицами, — сказал Генри. — И Вилли тоже.

— А мне ничуть. Но в конце концов это то, для чего мы здесь. Нам

нужны пленные, Генри.

— Знаю.

— Но они поостерегутся попасть в плен — после бойни, которую имели глупость устроить на том острове.

— Это чтобы не выразиться крепче, — сказал Генри. — Но как ты думаешь, нападут они на нас сегодня или нет?

— Думаю, что нет. Однако нам надо быть настороже, потому что все может случиться.

— Мы и так настороже. Но какие у них все-таки планы, Том, как потвоему?

— Трудно сказать, Генри. Может, с отчаяния они и попытаются завладеть нашим судном. Если среди них есть радист, ему, может, удастся починить нашу рацию, тогда они могли бы пойти на Ангилас, а оттуда уже — вызывай такси и кати прямо домой. Им, конечно, полный резон предпринять такую попытку. Может, кто-то в Гаване болтал лишнее и до них дошло, кто мы есть.

— Ну, кто же мог болтать?

— Нехорошо говорить дурное о мертвых, — сказал Томас Хадсон. — Но он-то как раз мог, под пьяную руку.

— Вилли уверен, что он болтал.

— Вилли что-нибудь знает?

— Нет. Но он уверен.

— Это не исключено. А может, у них другой расчет — высадиться на побережье и наземным путем добраться до Гаваны, а там уже сесть на испанский пароход. Или аргентинский. Но они пуще всего боятся быть пойманными — все из-за той бойни. И с отчаяния могут пойти напролом.

— Хорошо бы.

— Если мы сумеем справиться с ними, — сказал Томас Хадсон.

Но ночь прошла, и ничего не случилось. Только загорались и гасли звезды, и восточный ветер дул с прежней силой, и журчала вода, засасываемая под днище. Волнение, вызванное приливом и ветром, сорвало с корня много фосфоресцирующих водорослей, и они плавали там и сям, точно языки бледного, нездорового огня.

Под утро ветер утих немного, и, когда рассвело, Томас Хадсон улегся ничком на голые доски и заснул, уткнувшись в брезент лицом, — заснул так крепко, что даже не слышал, как Антонио куском брезента накрыл его вместе с его оружием.

Антонио простоял на вахте до тех пор, пока прилив не достиг такой высоты, что судно свободно заколыхалось на волнах. Тогда он разбудил

Томаса Хадсона. Они выбрали якоря и пошли, спустив на воду шлюпку, которая шла впереди, замеряла глубину и вехами отмечала места, внушавшие опасение.

Вода теперь была чистая и прозрачная, и размечать фарватер было хоть и нелегким делом, но не таким трудным, как вчера. В том месте, где они сели на мель накануне, воткнули в грунт большую ветку, и Томас Хадсон, оглядываясь, всякий раз видел, как зеленые листья полощутся в воде.

Шлюпка шла по протоке, а Томас Хадсон вел судно почти вплотную за ней. Они миновали остров, который издали казался круглым и маленьким, а теперь неожиданно развернулся в длину. Вдруг Хиль, смотревший в бинокль туда, где сплошной, но ломаной линией тянулись зеленые острова, сказал:

— Вижу веху, Том. В мангровых зарослях, прямо по ходу шлюпки.

— Внимание, — сказал Томас Хадсон. — Это что, канал?

— Похоже на то, но я не могу разглядеть, где вход в него.

— На карте он совсем узенький. Будем задевать за ветки с обеих сторон.

И тут он кое-что вспомнил. Как же это я так оплошал, подумал он. Но теперь делать нечего. Нужно идти вперед, пока судно не выберется из этой протоки. А уж тогда можно будет послать шлюпку обратно. Он позабыл сказать Вилли и Аре, чтобы они разминировали шхуну. Неровен час, какие-нибудь бедные рыбаки набредут на нее. Ну ничего, можно еще вернуться и привести все в порядок.

С шлюпки усиленно сигнализировали, показывая ему, что нужно держаться как можно правее, подальше от трех крошечных островков и поближе к мангровым зарослям. Потом, словно там не надеялись, что он правильно понял, шлюпка повернула и пошла назад.

— Проход чуть ли не в самых зарослях! — крикнул Вилли Томасу Хадсону. — Правь так, чтобы веха осталась у тебя слева. Мы пойдем дальше, а ты крой за нами, пока не получишь новых сигналов. Здесь глубоко.

Ара, ослабившись, сделал крутой разворот, и шлюпка опять заскользила впереди судна. Взяла было влево, потом вправо и наконец вовсе исчезла среди зелени.

Томас Хадсон старался не очень отставать от нее. Проход тут был довольно широким, хотя на карте он вовсе не значился. Должно быть, ураган расчистил заросшую протоку, подумал он. Много чего изменилось с тех пор, когда шлюпки американского экспедиционного судна «Нокомис»

обследовали эти места.

И тут он заметил: ни одна птица не вылетела из гущи мангровых зарослей, куда направилась шлюпка.

Не оставляя штурвала, он наклонился к переговорной трубке и сказал Генри, находившемуся в носовом кубрике:

— Здесь мы можем нарваться на них. Приведи в готовность орудия. Держись за щитком и, если они откроют огонь, стреляй туда, где увидишь вспышки.

— Слушаю, Том.

Антонио он сказал:

— Мы можем на них нарваться в этой протоке. Будь наготове внизу и, если они начнут стрелять, отвечай, целясь пониже замеченных вспышек. Будь наготове, Хиль, — сказал он. — Оставь свой бинокль. Достань две гранаты, поставь на боевой взвод и положи на стеллаж справа, чтоб они были у меня под рукой. Чеки на огнетушителях тоже поставь на боевой взвод, а бинокль брось. Нужно ждать нападения с обеих сторон. Скорей всего, именно так и будет.

— Ты мне скажешь, когда бросать, Том?

— Бросай, как только увидишь вспышки. Только бросай повыше, надо, чтобы они упали сверху на кусты.

Ни одной птицы не было видно, а он знал, что в часы прилива в мангровых зарослях должно быть полно птиц. Судно входило в узкий проход, и Томас Хадсон, в одних шортах, босой, с непокрытой головой, чувствовал себя голым настолько, насколько может быть гол человек.

— Ложись, Хиль, — сказал он. — Я тебе скажу, когда пора будет встать и бросить.

Хиль лег на мостик, держа наготове два огнетушителя, которые были начинены динамитом и снабжены взрывателями от гранат армейского образца.

Томас Хадсон оглянулся на него и увидел, что он весь мокрый от пота. И тут же перевел взгляд на заросли, окаймлявшие протоку с обеих сторон.

Можно бы еще попробовать выбраться задним ходом, подумал он. Только при таком течении вряд ли это бы удалось.

Он теперь неотрывно смотрел на зеленые берега впереди. Вода снова стала совсем бурой, а мангровые листья блестели как лакированные. Он всматривался, стараясь увидеть, нет ли где углубления или вырубки в зарослях. Но ничего не было видно, кроме зеленой листвы, темных веток и корней, обнажившихся от движения судна по воде. Кое-где из своих обнажившихся ямок под корнями выползали крабы.

Русло здесь постепенно сужалось, но видно было, что впереди оно снова становится шире. Может быть, у меня просто сдали нервы, подумал он. Большой краб торопливо вылез из-под корней и шлепнулся в воду. Томас Хадсон еще напряженной вгляделся в заросли, но ничего не увидел — только путаницу стволов и веток. Еще один краб, быстро перебирая лапками, пополз к воде.

И тут с берега открыли огонь. Он не видел вспышки, и боль пронзила его раньше, чем он услышал звук выстрела. Хиль был уже на ногах рядом с ним. Антонио слал трассирующие пули в то место, где он успел заметить вспышку.

— Туда бросай, туда, — сказал Томас Хадсон Хилю. Он чувствовал себя так, словно его три раза стукнули бейсбольной битой, и по левому бедру что-то текло.

Широко размахнувшись, Хиль метнул свою бомбу, и длинный заостренный корпус огнетушителя, блестя медью на солнце, пронесся над Томасом Хадсоном. Летел он не как стрела, а вращаясь на лету.

— Ложись, Хиль, — сказал Томас Хадсон. Ему самому очень хотелось лечь, но он знал, что нельзя, что не может судно остаться без управления. На носу Генри открыл огонь из обоих орудий, и он слышал глухие удары и босыми ногами ощущал, как при каждом выстреле содрогается весь корпус судна. Шуму много, подумал он. Тем лучше: нагонит страху на эту сволочь.

Когда бомба попала в цель, пламя ослепило его раньше, чем послышался грохот разрыва и повалил дым. Он почувствовал запах дыма, и расщепленной древесины, и горелой листвы.

— Встань, Хиль, и швырни две гранаты справа и слева от дыма.

Хиль не метал гранат. Он посылал их в воздух, точно бейсбольный мяч с третьей базы на первую, и они летели, похожие на железные серые артишоки с тонкими хвостиками дыма позади.

Прежде чем белые вспышки разрывов осветили заросли, Томас Хадсон успел проговорить в трубку:

— Бей их, Генри, разноси их к такой-то матери! Им тут некуда податься!

У дыма от гранат запах был не такой, как у дыма от бомбы, и Томас Хадсон сказал Хилю:

— Кинь еще две гранаты. Рассчитай так, чтобы одна попала дальше, чем бомба, а другая поближе сюда, к нам.

Он увидел, как обе гранаты взвились, а потом рухнул на палубу. То ли он рухнул, то ли палуба обрушилась на него, разобрать было трудно,

потому, что палуба была очень скользкая от натекшей с его бедра крови, но ушибся он крепко. Когда разорвалась вторая граната, слышен был сухой треск брезента, прорванного осколками в двух местах. Еще осколки попали в обшивку корпуса.

— Помоги мне подняться, — сказал он Хиллю. — Уж эту ты бросил — ближе некуда.

— Ты куда ранен. Том?

— В ногу и еще куда-то.

Впереди на воде показалась шлюпка с Вилли и Арой, которая шла к ним.

Дотянувшись до трубки, он велел Антонио передать наверх Хиллю санитарную сумку.

И тут он увидел, как Вилли вдруг бросился плашмя на бак шлюпки и открыл огонь по мангровым зарослям правого берега. Он услышал так-так-так-так его «томпсона». Потом раскатился другой, более затяжной звук. Он включил оба мотора и дал всю скорость, которая только возможна была в таком узком русле. Он не очень ясно представлял себе, какая это скорость, потому что его мучила дурнота. Дурнота проникала в кости, заполняла собою всю грудь и внутренности, спускалась в пах. Он еще не ослабел окончательно, но уже чувствовал, как слабость одолевает его.

— Поверни одно орудие в сторону правого берега, — сказал он Генри. — Вилли там что-то обнаружил.

— Слушаю, Том. Как ты?

— Ранен, но пока держусь. А ты и Джордж?

— У нас полный порядок.

— Как только заметишь что-нибудь, сразу же открывай огонь.

— Слушаю, Том.

Томас Хадсон застопорил моторы и дал задний ход, стараясь вывести судно из зоны, которую обстреливал Вилли. Вилли вставил в свой «томпсон» обойму с трассирующими пулями, чтобы указывать цель остальным.

— Ты готов, Генри? — спросил Томас Хадсон в трубку. — Готов, Том.

— Давай начинай короткими очередями.

Он услышал, как грохнули пятидесятимиллиметровки, и дал Вилли знак подходить. Шлюпка пошла к ним на всей скорости, которую можно было выжать из ее моторчика. Вилли все время стрелял, пока они не пришвартовались к судну с подветренной стороны.

Вилли взошел на борт и сразу же бросился на мостик, оставив Ару

возиться со шлюпкой.

Он увидел Тома, увидел Хиля, который накладывал жгут на его левую ногу у самого паха.

— Господи милостивый! — сказал он. — Сильно тебя, Томми?

— Не знаю, — сказал Томас Хадсон. Он и в самом деле не знал. Он не видел ни одной своей раны. Он видел только кровь, она была темная, и это успокаивало его. Но ее было слишком много, и дурнота подступала все сильнее.

— Что там, Вилли?

— Не знаю. Один гад высунулся и пальнул в нас из автомата. Я его положил на месте. Думаю, что положил.

— Я даже не слышал выстрела, такую ты поднял трескотню.

— А уж от вас грохоту — прямо будто склад боеприпасов взорвался. Как ты думаешь, там еще кто-нибудь есть?

— Может, и есть. Хотя мы им вкатили хорошую порцию.

— Так что будем делать? — спросил Вилли.

— Можно плюнуть, пусть их догнивают сами, — сказал Томас Хадсон. — А можно высадиться и покончить с этим делом.

— Меня больше сейчас заботят твои раны, — сказал Вилли.

Генри возился с пушками. Если с пулеметами он обращался небрежно и грубо, то тут он был сама деликатность, и даже удвоенная, поскольку пушек было две.

— Ты знаешь, где они, Вилли?

— Они только в одном месте и могут быть.

— Так высадимся и прикончим их к такой-то матери.

— Слышу слова офицера и джентльмена, — сказал Вилли. — Кстати, мы потопили их лодчонку.

— Да ну? Мы и этого не слышали, — сказал Томас Хадсон.

— А мы без лишнего шума, — сказал Вилли. — Ара ее рубанул своим мачете, а парус изрезал на куски. Самому Иисусу Христу не отремонтировать ее даже за месяц, если б он еще работал в своей плотницкой мастерской.

— Ступай на бак к Генри и Джорджу, а Ара и Антонио пусть перейдут на правый борт. Мы пойдем к берегу, — сказал Томас Хадсон. Его мутило, и все у него было как не свое, но голова еще не кружилась. Жгут, наложенный Хилем, слишком быстро остановил кровь — значит, кровотечение внутреннее. — Будешь мне показывать, как держать. Они далеко от берега?

— Там есть невысокая гривка, почти у самой воды, за ней они и

прячутся.

— Думаешь, Хиль сможет их достать своими бомбами?

— Я дам очередь трассирующими, наведу на цель.

— А если они ушли оттуда?

— Уйти им некуда. Они видели, как мы раздолбали их лодку. Могут теперь разыгрывать «Последний бой генерала Кастера» в мангровых зарослях. Эх, черт, сейчас бы пива.

— В жестяной банке со льда, — сказал Томас Хадсон. — Ладно, живей за дело.

— Ты страшно бледный, Томми, — сказал Вилли. — Ты много крови потерял.

— Тем более надо торопиться, — сказал Томас Хадсон. — Пока я еще держусь.

Он стал поворачивать штурвал, а Вилли, выставив из-за борта голову, время от времени корректировал ход.

Генри теперь стрелял с таким расчетом, чтобы попадания приходились то перед поросшей деревьями гривкой, то дальше, за ней, а Джордж бил туда, где верхушки деревьев были выше всего.

— Как там, Вилли? — спросил Томас Хадсон в трубку.

— Гильз столько валяется, что хоть медеплавильный завод открывай, — сказал Вилли. — Держи носом к берегу, а потом развернешься, чтобы Аре и Антонио удобно было открыть бортовой огонь.

Хилю почудилась человеческая фигура впереди, и он выстрелил. Но это была только большая, низко росшая ветвь — Генри подсек ее, и она повисла.

Томас Хадсон смотрел на приближавшийся берег. Когда уже можно было разглядеть каждый отдельный листок в зарослях, он снова развернул судно и почти тотчас же услышал «томпсон» Антонио и увидел его трассирующие пули, уходящие чуть правее пуль Вилли. Ара тоже открыл стрельбу. Томас Хадсон дал задний ход и подвел судно совсем близко к берегу, но так, чтобы оставался простор для Хилья.

— Брось один огнетушитель, — сказал он ему. — Туда, куда показывал Вилли.

Хиль бросил, и снова Томас Хадсон подивился меткости броска: медный цилиндр, блестя, взлетел высоко в воздух и канул вниз почти точно в указанном месте. Раздался взрыв, вспыхнуло пламя, и почти тотчас же в дыму появился человек — он шел к ним, сцепив вскинутые над головой руки.

— Не стрелять! — поспешно крикнул Томас Хадсон в обе

переговорные трубки.

Но Ара уже успел выстрелить, и человек, покачнувшись, упал головой вперед в мангровые заросли.

Он снова наклонился к трубкам и приказал возобновить огонь. Потом очень усталым голосом сказал Хилю:

— Постарайся метнуть туда же еще один. И следом добавь парочку гранат.

Уже был пленный. И он упустил его.

Немного погодя он сказал:

— Вилли, не хочешь сходить с Арой на берег посмотреть, что там делается?

— Хочу, — сказал Вилли. — Только вы прикрывайте нас огнем. Мы попробуем зайти с тыла.

— Объясни Генри, что тебе нужно. А когда прекратить огонь?

— Как только мы войдем в заросли.

— Ладно, дикарь из джунглей, действуй, — сказал Томас Хадсон. И тут только он впервые успел подумать, что, вероятно, это конец.

XXI

Он услышал, как за гривкой разорвалась граната. И сразу же стало тихо — ни шума, ни стрельбы. Тяжело привалившись к штурвалу, он следил, как тает на ветру дым от разрыва.

— Как только покажется шлюпка, я пойду вперед, — сказал он Хилю.

Он почувствовал на своем плече руку Антонио и услышал его голос:

— Ты ляг, Том. Я буду править.

— Хорошо, — сказал он и последний раз глянул на узкое русло в зеленых берегах. Вода была бурая, но прозрачная, и течение сильное.

Хиль и Антонио уложили его на дощатый настил мостика. Потом Антонио встал к штурвалу. Он чуть подал назад, потому что судно сносило течением, и Томас Хадсон чувствовал мягкое подрагивание моторов.

— Ослабь немного жгут, — попросил он Хилья.

— Я принесу надувной матрац, — сказал Хиль.

— На досках хорошо, — сказал Томас Хадсон. — И мне, наверно, лучше не делать лишних движений.

— Подложи ему подушку под голову, — сказал Антонио. Он не

отрываясь смотрел вперед.

Спустя несколько минут он сказал:

— Том, они машут нам.

И Томас Хадсон почувствовал, как моторы заработали и судно плавно пошло вперед.

— Как только мы выйдем из протоки, станешь на якорь.

— Хорошо, Том. Не нужно тебе разговаривать.

Когда якорь был брошен, пришел Генри сменить Антонио. Теперь, когда они находились в открытом море, Томас Хадсон ощущал легкое покачивание судна на волне.

— Воды кругом — без конца-краю, — сказал Генри.

— Да. Отсюда до Кайбарьена открытый путь, а там дальше есть две протоки, где фарватер размечен.

— Не разговаривай, Том. Лежи спокойно.

— Пусть Хиль принесет мне одеяло.

— Сейчас принесу сам. Тебе не очень больно, Том?

— Больно, — сказал Томас Хадсон. — Но так, что можно терпеть.

— Вот и Вилли, — сказал Генри.

— Том, старый чертяка, — сказал Вилли. — Молчи, я сам все скажу. Их там-было четверо, считая проводника. Это почти все, кто уцелел. Пятым был тот, которого подстрелил Ара. Он себя прямо растерзать готов; знает ведь, как тебе нужен был пленный. Сидит и плачет, я ему запретил подниматься сюда. Палец у него сам на спуск нажал, это можно понять.

— Куда ты бросал гранату?

— Мне там в одном месте что-то померещилось. Ты не разговаривай, Том.

— Нужно вернуться разминировать шхуну.

— Сейчас мы туда пойдем, и то место я тоже хочу проверить еще раз. Эх, была бы у нас быстроходная моторочка. Томми, а знаешь, эти огнетушители, мать их, лучше восьмидесятимиллиметровых минометов.

— Дальнобойность не та.

— А на кой тебе тут дальнобойность? Наш Хиль забрасывал их, прямо как баскетбольный мяч в кольцо.

— Ну, отправляйтесь.

— Тебе очень худо, Томми?

— Худо.

— Но ты ведь справишься, да?

— Попробую.

— Главное, ты лежи спокойно. Старайся совсем не шевелиться.

Шлюпка отвалила совсем недавно, но Томасу Хадсону казалось, что с тех пор прошло уже много времени. Он лежал на спине под навесом, который соорудил Антонио. Хиль и Джордж отвязали брезент, натянутый с наветренной стороны, и теперь его ласково обвевал свежий ветер. Ветер по-прежнему дул с востока, но не так сильно, как вчера, и облака в небе были высокие и редкие. Небо было синее-синее, как всегда в восточной части острова, сильнее всего обдуваемой пассатами, и Томас Хадсон смотрел в синеву и старался не поддаваться боли. Генри хотел сделать ему укол морфия, но он решил: нет, ему еще может понадобиться, чтобы голова была ясная. Прибегнуть к морфию он всегда успеет.

Он лежал под легким шерстяным одеялом, все три раны его были перевязаны. Хиль обильно засыпал их стрептоцидом, прежде чем перевязать, и на пол у штурвала, где он стоял во время перевязки, просыпался стрептоцид, похожий на сахарную пудру. Когда с борта снимали брезент, чтобы дать больше доступа воздуху, он заметил три дырочки от трех пуль и еще несколько — правой и левой их. И места, где брезент пропорол осколки гранаты, он тоже заметил.

Хиль стоял рядом и смотрел на него, на его выбеленные солью волосы и серое лицо над одеялом. Хиль был простая душа. Он был отличный спортсмен и почти так же силен, как Ара, и, если б ему отработать некоторые удары, из него вышел бы первоклассный бейсболист. Рука у него просто создана была для броска. Томас Хадсон улыбнулся, вспомнив, как он швырял гранаты. Потом улыбнулся просто так — ему и его сильным мускулистым рукам.

— Тебе бы питчером быть, — сказал он и не узнал своего голоса.

— У меня выдержки не хватает.

— Сегодня хватало.

— Может быть, появилась, когда дело потребовало, — сказал Хиль с улыбкой. — Смочить тебе губы, Томми? Ты не говори, только сделай знак головой.

Томас Хадсон отрицательно покачал головой и перевел взгляд на лагуну, похожую на большое озеро. Она теперь была в белых барашках. Но волна была мелкая и ветер такой, при каком хорошо идти под парусами, а вдали синели прибрежные холмы Туригуаньо.

Так и надо сделать, подумал он. Пойдем прямо в Сентраль или в тот поселок, что рядом, может быть, там найдется врач. Хотя сезон уже кончился. Но ведь можно доставить на самолете хорошего хирурга. Люди там живут славные. Попасть в руки к плохому хирургу — это хуже, чем вовсе остаться без врача, так уж лучше я полежу спокойно, пока не

прилетит хороший. Надо бы и внутрь принять стрептоцид. Но ведь воды-то мне пить нельзя. Ладно, друг, не расстраивайся, сказал он себе. Ты ведь шел к этому всю свою жизнь. Эх, не подстрелили Ара этого фрица, хоть бы что-нибудь хорошее вышло из всех наших трудов. Хорошее — это, пожалуй, не то слово. Полезное — вот что нужно было сказать. Счастье еще, что они были вооружены хуже нас. Наверно, они убрали все вехи в протоке, оставили только одну, чтобы мы свернули туда, куда им нужно было. Но, может быть, если бы мы и взяли пленного, он бы оказался олухом и ничего бы не знал. А все-таки была бы хоть какая-то польза. Теперь уже от нас никакой пользы не жди. Как это никакой? А шхуну разминировать надо?

Думай про «после войны», когда ты снова будешь писать картины. Столько еще можно написать хороших картин, и, если работать в полную силу и ни на что другое не отвлекаться, это и есть то, что по-настоящему нужно. Моря никому не написать лучше тебя, если только ты возьмешься как следует и выбросишь из головы все другое. И не отступай, пиши именно так, как считаешь верным. Только нужно сейчас крепко держаться за жизнь, иначе эти картины не будут написаны. Жизнь человека немного стоит в сравнении с его делом. Но чтобы делать дело, нужно жить. Так держись крепче. Пришло время показать, на какое ты способен усилие. Вот и покажи, ни на что не надеясь, покажи. У тебя всегда хорошо свертывалась кровь, и ты можешь это усилие осуществить. Мы не люмпен-пролетарии какие-нибудь. Мы — самый цвет, и то, что мы делаем, мы делаем не за плату.

— Смочить тебе губы, Том? — снова спросил его Хиль.

Томас Хадсон покачал головой.

Три дерьмовые пули, думал он, и столько хороших картин к такой-то матери без всякого смысла. Надо же было этим несчастным идиотам устроить бойню на острове. Если б не это, они спокойно сдались бы в плен и ничего бы не случилось. Любопытно, а кто был тот, что уже шел сдаваться, когда Ара в него выстрелил? Верно, из той же породы, что и тот, которого они сами убили на острове. Откуда в них этот остервенелый фанатизм? Мы преследовали их здесь, и мы будем драться с ними и дальше. Но фанатиками мы не были никогда.

Он услышал мотор возвращавшейся шлюпки. Лежа, он не мог видеть, как она подходила, увидел только Вилли и Ару, когда они поднялись на мостик. Они были все исцарапаны — видно, продирались сквозь кусты, — а у Ары тек с лица пот.

— Я очень виноват, Том, — начал Ара.

— Брось, — сказал Томас Хадсон.

— Ладно, вот снимемся к чертям со стоянки, тогда поговорим, — сказал Вилли. — Ара, топай вниз выбирать якорь и пришли сюда Антонио, пусть становится к штурвалу.

— На Централь пойдем. Так будет скорее.

— Толково, — сказал Вилли. — Ты молчи, Том, я сам все скажу. — Он осекся, глянув на Томаса Хадсона, потом легонько положил ему руку на лоб, а другую руку сунул под одеяло и уверенным, но осторожным движением нащупал пульс.

— Не смей умирать, сукин сын, слышишь, — сказал он. — Лежи тихонько, и все будет хорошо.

— Слушаюсь, — сказал Томас Хадсон.

— При первой стычке их полегло трое, — стал рассказывать Вилли. Он сидел на мостике слева от Томаса Хадсона, и тот чувствовал шедший от него кислый запах пота, и поврежденный глаз его был налит кровью, а швы от пластической операции на лице побелели. Томас Хадсон лежал не шевелясь и слушал его. — У них только и было что два миномета, но они занимали хорошую позицию. Первый огнетушитель Хиля угодил в цель, а Генри своими пятидесятимиллиметровками вовсе раздолбал их к матери. Антонио тоже попал куда следует. А здорово Генри палит из этих пятидесятимиллиметровок.

— Он это всегда умел.

— А сейчас тем более. В общем мы с Арой все там разминировали. Перерезали все провода, но взрывчатку оставили. Теперь там полный порядок, а местонахождение тех, что мы здесь уложили, я точно помечу на карте.

Якорь был уже поднят, и моторы работали.

— Не слишком успешно мы справились в этот раз, — сказал Томас Хадсон.

— Они нас перехитрили. Но перевес в огневой мощи был на нашей стороне. Ты уж не говори ничего Аре насчет пленного. Он себя и так совсем загрыз. Я, говорит, и подумать не успел, а уже выстрелил.

Набирая скорость, судно шло к синим холмам впереди.

— Томми, — сказал Вилли. — Я же тебя люблю, сукин ты сын, не смей умирать.

Томас Хадсон взглянул на него, не поворачивая головы.

— Ты пойми это, постарайся понять.

Томас Хадсон глядел на него. Все теперь отодвинулось куда-то, и не нужно было ни о чем размышлять и беспокоиться. Он чувствовал, как

судно набирает скорость, чувствовал прижатыми к полу лопатками милый знакомый перестук моторов. Он посмотрел в небо, которое всегда так любил, посмотрел на лагуну, которую он уже никогда не напишет, потом слегка изменил положение, чтобы меньше ощущать боль. Моторы теперь работали тысячи на три оборотов, не меньше, и, пробив палубу, грохотали у него внутри.

— Я, кажется, понимаю, Вилли, — сказал он.

— Черта с два, — сказал Вилли. — Не умеешь ты понимать тех, кто по-настоящему тебя любит.

Примечания

1

Э. Хемингуэй. Собр. соч., М., 1968, т. 3, стр. 613.

2

Г. Гейне, «Бимини». Перевод В. Левика.

3

Квартал (франц.).

4

Кофе с молоком (франц.).

5

Печальная (франц.).

6

Кофе со сливками (франц.).

7

Подкрашенная вода (франц.).

8

Точно (франц.).

9

Сани (нем.).

10

Бакалейная лавка (франц.).

11

Мне здесь очень хорошо, и я вас прошу оставить меня в покое (франц.).

12

Я отказываюсь видеть мою жену (франц.).

13

Судебный исполнитель (франц.).

14

Мастерство (франц.).

15

Острая приправа.

16

Мясное блюдо с острыми пряностями и чесноком.

17

В пути (франц.).

18

«Если зерно не погибнет» (франц.).

19

Стоит только сделать первый шаг (франц.).

20

Кубинский крестьянин (исп.).

21

Это очень возможно (исп.).

22

Маринованные съедобные ракушки (франц.).

23

Розовое (франц.).

24

Суп с рыбой (франц.).

25

Ты (исп.).

26

Яйца, как обычно (исп.).

27

А ты? (исп.).

28

Шлюха (исп.).

29

Тоска, воплощенная в человеке (исп.).

30

Вздор (нем.).

31

Пойдем прочистим ружье (исп.).

32

Да, сеньор (исп.).

33

Нет, сеньор (исп.).

34

А где собака? (исп.).

35

Да, сеньорита (исп.).

36

Зад (исп.).

37

Большое спасибо (исп.).

38

Женоподобный мужчина, гомосексуалист (исп.).

39

Городское управление (исп.).

40

Классически (исп.).

41

Сладко умереть за родину (иск. лат.).

42

А ты умеешь говорить на замороженном дайкири? (исп. —англ.).

43

Хайболл с минеральной водой (исп.).

44

Свинство (исп.).

45

Меня все знают (исп.).

46

Мулаты (исп.).

47

Юкатанцев (исп.).

48

Какой красивый мальчик! (исп.).

49

Какие у тебя вести от него? (исп.).

50

Очень хорошие (исп.).

51

Я очень рада (исп.).

52

Его фотография в военной форме висит у меня под изображением святого сердца Иисусова и рядом с богородицею дель Кобре (исп.).

53

Уборными (исп.).

54

Ну (исп.).

55

Нет, женщина (исп.).

56

Какой красивый и милый мальчик! (исп.).

57

В сущности (франц.).

58

Их много (исп.).

59

Что-нибудь рыбное? Жареную свинину? (исп.).

60

Весь мир (исп.).

61

Еще одну двойную порцию без сахара (исп.).

62

Сию минуту, дон Томас (исп.).

63

Как хотите (исп.).

64

Как всегда (исп.).

65

У меня еще есть немного (исп.).

66

Это немного тяжелая история (исп.).

67

Тяжелый (исп.).

68

Да, это странно (исп.).

69

Когда начнется про любовь? (исп.).

70

От войны все в дерьме (исп.).

71

Надоела мне эта война (исп.).

72

Довольно интересно (исп.).

73

Подавленно (исп.).

74

Этого не может быть (исп.).

75

Вычурные (исп.).

76

Я тоже (исп.).

77

Я думаю (исп.).

78

Ужас (исп.).

79

Но она тебе не подходит (исп.).

80

У тебя очень низкая мораль (исп.).

81

Я не знаю, что происходит с этой женщиной (исп.).

82

Бранное слово (исп.).

83

Да, друг (исп.).

84

Здесь: мошенничество, афера (исп.).

85

Замолчи (исп.).

86

Сейчас он хочет есть (исп.).

87

Жизнь моя (исп.).

88

Шлюха-война (исп.).

89

Меньше автобусов и похуже (исп.).

90

Это еще проще (исп.).

91

Никакого транспорта (исп.).

92

Никакого воздушного, наземного и морского транспорта (исп.).

93

За распространение проказы на Кубе (исп.).

94

За рак на Кубе (исп.).

95

За полноценный, массовый, постоянный туберкулез для Кубы и кубинцев (исп.).

96

За стопроцентный креольский сифилис (исп.).

97

Единоверцы (исп.).

98

Призыв к восстанию, брошенный в «Флоридите» (исп.).

99

Особенно в постели (исп.).

100

Долой отцов семейств (исп.).

101

Долой очаг! (англ.—исп.).

102

Довольно щекотливая (исп.).

103

Помочиться (исп.).

104

Клуб всего мира (исп.).

105

Служба организации досуга войск.

106

Управление стратегических служб.

107

Куда поедет? (исп.).

108

В усадьбу (исп.).

109

Научные шляпы (исп.).

110

Осенний салон (франц.).

111

Прикончили (исп.).

112

Свинья-самоубийца (исп.).

113

Деток (исп.).

114

Рыба-бешенка (исп.).

115

Мой капитан (исп.).

116

Сеньор епископ (исп.).

117

Какая у него красивая кираса! (исп.).

Готов выполнить приказ (исп.).